

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1966

7

1966

ИЗВЕСТИЯ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 7

Июль, 1966 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. ПАНОВА — Сколько лет, сколько зим! Пьеса	3
С. МАРШАК — Стихи разных лет	39
Б. МОЖАЕВ — Из жизни Федора Кузькина, повесть	42
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Окно, стихотворение	119
В. КОРНИЛОВ — Из лирики, стихи	120
ЕВГ. КОНСТАНТИНОВ — В будни. «Дедушка, а ты стрелять умеешь?..», стихи	123
ТРУМЭН КАПОТЕ — Лесная арфа, повесть. Окончание. Перевела с английского С. Митина	125
ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ — Из новых стихов. Перевел с болгарского А. Опульский	159
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
Н. ФЕДОРЕНКО — Японские записи	162
ПУБЛИЦИСТИКА	
К. ЛАГУНОВ — Нефть и люди	197
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ф. СВЕТОВ — О ремесленной литературе	219
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. ЛИТВИНОВА — Встречи и разлуки (Из воспоминаний о М. М. Литвинове). Перевела с английского Т. Литвинова	235

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Турков. Зов земли.— М. Рошин. Штурмья Парнас.— Е. Гинзбург. Ожившие тени.— Л. Копелев. Мертвый хватает живых.	251
<i>Политика и наука</i>	
Н. Петраков, К. Гофман. Поучительные размышления.— И. Забелин. Выдающийся ученый.— Б. Марушкин. Франклин Рузвельт. Ретроспективный портрет.— Г. Федоров. Об энтузиазме, бескорыстии и дилетантизме.— А. Кондратов. Проникновение в мир непознанного.	264
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	280
КОРОТКО О КНИГАХ — СССР и союзные республики в 1965 году.— Член-корреспондент Академии наук СССР В. С. Емельянов. Атом шагает по странам.— И. Горохов, Л. Замятин, И. Земсков. Г. В. Чичерин — дипломат ленинской школы.— Г. Курпнек. Повесть о неподкупном солдате.— И. И. Смирнов, А. Г. Маньков, Е. П. Подъяпольская, В. В. Мавродин. Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв.— Е. Носов. Где просыпается солнце.— В. Померанцев. Неспешный разговор.— Игорь Ефимов. Таврический сад.— Лев Разгон. Под шифром «Рб»	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

В. ПАНОВА

★

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ!

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БАКЧЕНИН
ШЕМЕТОВА
НЮША
АЛЕНА } дочери Шеметовой
БАБУШКА
ДЕДУШКА
КОЛОСЕНОК
ЛИНЕВСКИЙ
ЛЮСЯ, официантка
ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, продавец книг и газет
СЛАВИК, муж Люси
НАЧАЛЬНИК АЭРОПОРТА
ТАМАРА, служащая аэропорта
СТАРУШКА В ОЧКАХ
НАЧАЛЬНИК ЛИНЕВСКОГО
АРЕФЬЕВ
ОФИЦЕРЫ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, летящие в разные места

1

На сцене здание аэровокзала, показанное в разрезе. Мы видим часть нижнего этажа и часть верхнего — выход на посадку, лестницу, пассажирский зал, газетно-книжный ларек, угол ресторана, закрытые двери служебных кабинетов с табличками и без табличек. На стенах щиты расписаний.

За громадными окнами кружит метель. Сплошное снежное кипение.

Здание наполнено людьми. Они спуют от справочного к почтовому отделению, стоят в очереди к кабине телефона-автомата, сидят на скамьях и в креслах, собираются тревожно-озабоченными кучками. Среди пассажиров с отчужденным спокойствием проходят время от времени летчики и элегантные, подтянутые стюардессы.

Еще не смеркается, но горит электричество. Без него в здании было бы темно.

Радио. Внимание! Вылет самолета ИЛ-18, следующего рейсом шестьдесят два до Ташкента, задерживается. О времени отправки будет объявлено.

Старушка в очках. Поздравляю вас: еще один задерживается.

Право первой постановки в Москве принадлежит Московскому академическому театру имени Маяковского, в Ленинграде — Ленинградскому Большому академическому театру имени Горького.

Люся (*сбегает по лестнице, заглядывает в кабинет Тамары*).
Тамаронька, детонька, дай мне позвонить по твоему телефону!

Тамара. Еще чего.

Люся. Золотко, мне одну минуточку, домой, Славику...

Тамара. Две копейки есть? Иди на автомат.

Люся. Там очередь жуткая.

Звонит телефон на столе.

Тамара. У телефона. Да, без перемен. Не могу сказать, обратись в справочное. Не могу сказать. Ну вы же видите, в конце концов, или вы не видите! (*Бросает трубку, и сейчас же новый звонок.*) У телефона.

Люся. Ой, господи! (*Бежит к автомату.*)

Радио. Внимание! Вылет самолета ИЛ-18, следующего рейсом тридцать два тридцать шесть по маршруту Свердловск — Пермь — Москва, задерживается. О времени отправки будет объявлено.

Старушка в очках. Поздравляю вас!

Люся. Ой, граждане, разрешите мне без очереди! Будьте так добры! Мне очень нужно! Пожалуйста!

В очереди.

— Можно подумать — нам не нужно.

— Если б нам не было нужно, мы бы не стояли, как вы думаете?

Люся. Я здесь работаю, вы можете понять? Я свое рабочее место бросила.

В очереди.

— Все, девушка, где-нибудь работают.

— Раз вы здесь работаете, у вас должен быть служебный телефон.

Люся. Ой, господи! (*Становится в конце хвоста.*)

Линевский (*в кабине*). Это я. Ну как? Опять звонил? И что он сказал?

Женщина в очереди. Знала бы — дома бы лучше сидела, чем тут околачиваться неизвестно сколько.

Мужчина. Ну, знаете, это тоже рискованно. Вы будете сидеть дома, а он возьмет и улетит.

Женщина. Так вот же не улетает ничего.

Линевский (*в трубку*). Ты ему скажи, что я слышать ни о чем не желаю! Скажи — никаких материалов! Ну и пусть увольняет, пусть со скандалом, пусть что хочет! Нет, еще не отправляют — ничего не говорят — ну да, сижу, а что мне делать?.. Ты ему скажи, слышишь, пусть катится, если бы не он, я бы еще утром был в Одессе!

Нарастающий грохот мотора.

В очереди.

— Еще один пришел.

— Приходить-то они приходят.

За метелью пронесся силуэт самолета, идущего на посадку.

Радио. Внимание! Прибыл самолет ТУ-104, следующий рейсом четыреста семьдесят пятым по маршруту Москва — Новосибирск.

В очереди.

— Москва — Новосибирск... Москва — Новосибирск...

Проходит начальник аэропорта

— Начальник аэропорта! Начальник аэропорта!

— Товарищ начальник! Товарищ начальник!

Бросаются к нему.

Мужчина. Что там слышно, товарищ начальник?

Начальник (*бодро улыбаясь*). Пока ничего не слышно.

Женщина. Скоро это кончится?

Начальник. Ведь недавно только началось.

Женщина. Это длится уже третий час! Если не четвертый!

Начальник. Собственно, снегопад начался с ночи. Мы имели неблагоприятный прогноз. Но чтобы разразилась такая метель, служба погоды не предвидела.

Женщина. Они никогда ничего не предвидят! Или предвидят наоборот!

Начальник (*с полным самообладанием*). Почему же, гражданка, наоборот. Осадки, повторяю, были предвидены. Не предвидено только количество. И не так уж вам здесь неуютно, верно? Мы, во всяком случае, приложим все старания, чтоб вам было уютно.

Женщина. Нам нужен не ваш уют, а нам нужно лететь!

Мужчина. Вот именно. У каждого свои дела.

Бакченин (*подходит, солидно*). У меня, например, завтра утром доклад на коллегии министерства.

Начальник. Полетите, товарищи, все полетите.

Голоса. Но когда, когда?

Начальник. Когда будет можно.

Женщина. А если это продлится сутки?!

Начальник (*уходя*). Стихийное бедствие, товарищи. Метель небывалая во всем мире. На обоих полушариях. (*Ушел.*)

Голоса.

— Что он сказал?

— Во всем мире, говорит, такое же.

— На обоих полушариях.

Линевский (*подбегает*). А восемьдесят четвертый когда отправят, на Одессу,— не сказал?

Люся, воспользовавшись тем, что очередь рассыпалась, вошла в кабину.

Люся. Будьте так добры Славик. Ага, разбудите, пожалуйста. Славик? Славик, ты меня слышишь? Славик, я тебя разбудила, не сердись, потому что... Ну да, ты видишь... Славик, я насчет Виталика. Прогноз сообщили, что кончится неизвестно когда, может быть не скоро. Я до восьми, но когда домой доберусь, прямо не знаю, автобус, говорят, с трудом проходит... Когда Виталика заберешь, имей в виду, там между рамами бутылочка — это свежее, поставь бутылочку в теплую воду, ну ты знаешь, и покорми.

Радио. Внимание! Пассажир Колосёнок, потерявший документы, найдите к дежурному по аэровокзалу. Повторяю. Пассажир Колосёнок, потерявший документы, найдите к дежурному по аэровокзалу.

Мужчина. Какой-то Колосёнок потерял документы.

Женщина. Тут голову потеряешь, а не то что документы.

Очередь возвращается и выстраивается в прежнем порядке.

Люся. Попробуешь на язык, слышишь, чтоб разогрелось как следует. (*Кричит в трубку, прикрывшись ладонью.*) Ты меня хорошо слышишь? Холодное не давай. И горячее тоже. Да. Да. В шкафу на средней полке. И на веревке в коридоре. Славик, а ты как себя чувствуешь? Выспался? Не выпался? Ну ложись, спи дальше. Слава богу, что отдежурил, такая погода, ужас... Ну ладно, Славик, здесь народа много. Народа много! Ну хорошо. Ну пока. (*Выходит из кабины.*)

Женщина. Смотрите пожалуйста, она все-таки прорвалась без очереди!

Входят, отряхиваясь от снега, пассажиры только что прибывшего самолета Москва — Новосибирск. Среди них выделяется семья Шеметовых: моложавая мать, две дочери — двадцати четырех и восемнадцати лет, бабушка и дедушка. Их общая очень привлекательная черта — спокойствие, отсутствие суетливости, доброжелательная мягкость; от них как бы исходит тишина. Исключение представляет только Алена, младшая, но и в ней, при всей броскости ее полумальчишеского костюма и независимости поведения, отсутствует грубая шумность, и выходки ее благодаря врожденному обаянию воспринимаются с симпатией.

А л е н а. Ого! Довольно людно...

Б а б у ш к а. Хорошо бы присесть.

Н ю ш а. Может быть, наверху свободней, я посмотрю.

А л е н а. Сейчас, бабушка, мы с Нюшей наверх смотаемся.

Б а б у ш к а. Мы все пойдем наверх. Здесь дует от двери.

Поднимаются на второй этаж. Дедушка останавливается на лестничной площадке у газетно-книжного ларька.

Д е д у ш к а. Все центральные, пожалуйста, и местную.

И в а н Г а в р и л о в и ч (*подает газеты*). Двадцать две копейки, товарищ академик.

Д е д у ш к а. Вы полагаете?..

И в а н Г а в р и л о в и ч. В самом крайнем случае — член-корреспондент. Уж тут ошибки не будет.

Д е д у ш к а (*приподняв шапку*). Желаю доброго здоровья.

И в а н Г а в р и л о в и ч. Вам того же.

Семья вошла в верхний зал.

Ш е м е т о в а. Разденьтесь, девочки, жарко.

Снимают пальто.

Интересно, сколько это может продлиться.

Б а б у ш к а (*садится в одно из двух свободных кресел у входа*).

Ничего не поделаешь, запасемся терпением. А где у нас пироги?

Ш е м е т о в а. Нюша, пироги где?

Н ю ш а. В багаже.

Б а б у ш к а. Ты их сдала в багаж?

Н ю ш а. У нас все сдано в багаж.

А л е н а. Мы — голые люди на голой земле.

Б а б у ш к а. Садись, Оля, что ты стоишь?

Ш е м е т о в а. Пусть дедушка с вами. Вон там еще свободно.

Она идет, садится в освободившееся кресло рядом с Бакчениным, читающим газету, и достает из сумки книгу.

Внизу Линеvский рвется в телефонную будку.

Л и н е в с к и й. Я не могу ждать! Мне необходимо!

В о ч е р е д и.

— Безобразия! Бог знает что себе позволяет!

— Вы же только что говорили!

— Он три раза говорил!

— Я стою уже двадцать пять минут!

Л и н е в с к и й. У меня вопрос жизни и смерти!

В о ч е р е д и. Может быть, у всех жизни и смерти, почему вы знаете!

Л и н е в с к и й. У меня в буквальном смысле слова! (*Дрожащими пальцами сует монету в автомат*.) Это я. Это я! Я! Ну что? Он звонил? Ты ему сказала? Громче! Не слышу! Громче!

Д е д у ш к а (*сел рядом с бабушкой и развернул газету*). Если бы мои дамы прислушались к моему совету, мы бы ехали сейчас и ехали.

Бабушка. Ехали бы и ехали сорок восемь часов.

Дедушка. Но мои эмансипированные дамы, по обыкновению, не прислушались.

Бабушка. Наверняка на железной дороге то же самое. Наверняка заносы. Уж лучше тут посидеть, в тепле и цивилизации, чем гудеть в чистом поле.

Алена. Вообрази, дедушка, как это грустно — гудеть в чистом поле.

Дедушка. Зато из поезда видишь страну, а не только облачную вату.

Бабушка. А я слышать не могу о поездах, когда существуют ИЛы и ТУ. Когда я трясусь в поезде, а кто-то летит со скоростью тысяча километров в час, я себя чувствую скифом.

Алена. Вот видишь, дедушка. Каково бабушке чувствовать себя скифом.

Бабушка. Пошла отсюда!.. (Дедушке.) Поездом надо было выезжать в воскресенье, чтобы успеть. А ты только вчера в обед сказал, что освободился и можешь ехать. Будь элементарно справедлив, дорогой.

Алена. Пошли, Нюша. Купим книжек, посмотрим, кто тут есть...

Радио. Внимание! Пассажир Колосёнок, потерявший документы, найдите к дежурному по аэровокзалу. Повторяю. Пассажир Колосёнок, потерявший документы, найдите к дежурному по аэровокзалу.

Колосёнок, пивший в ресторане пиво, схватывается за карманы и выбегает.

Дедушка. Колосёнок. Белорусская фамилия.

Бабушка. В нашей молодости мы не знали такого сервиса. Теряешь документы, и тут же их тебе возвращают.

Дедушка (занялся газетой). Да, это удобно.

Алена (идя с Нюшей). Ни одного лица, которое захотелось бы взять с собой на другую планету.

Останавливаются у ларька с книгами.

Поэзия есть?

Иван Гаврилович. Чего-чего, а поэзии сколько угодно. Вам кого?

Алена (пресыщенно). Да не знаю...

Иван Гаврилович. Вот новый имеется, только что вышел — Елистратов. Сабинина Ариадна. Саломатов. Самых модных у нас не бывает, не дают нам.

Появляется радостно взбудораженный Колосёнок.

Алена. Бог с ними, с модными. Надоели. Я беру Ариадну и Елистратова с Саломатовым.

Колосёнок. Почитать чего-нибудь дайте... Вообразите: потерял документы и даже не знал! Сажу в ресторане, пью пиво... Вдруг слышу! Хватаюсь за карман — ничего! Ни паспорта, ни служебного удостоверения, ни командировочного! Один посадочный талон! Хорош бы я был, полетел безо всего...

Алена. Ну, лететь нам, видимо, не так скоро.

Иван Гаврилович. Вы гражданин Колосёнок? Вас тут целый час по радио выкликали.

Колосёнок. Да вот, говорят! А я сажу пью пиво! Замечтался! А кругом ведь не знает никто, что я Колосёнок! Пока наконец дошло до сознания! Смотрю — ни паспорта, ни служебного, ни командировочного...

Алена. Милая фамилия Колосёнок, правда, Ньюша?

Нюша отвернулась, перебирает книги.

Колосёнок. Находите — ничего фамилия?

Алена. Очень! Если б, например, она была напечатана на этой обложке: восемьдесят процентов успеха! «Вы читали стихи Колосёнка?» Прелесть! А то — Елистратов. Тоска.

Колосёнок. Стихов я, к сожалению, не пишу.

Алена. Но — любите?

Колосёнок. Кто же в наши дни их не любит?

Алена. И умеете читать? Вслух.

Колосёнок. Вот не пробовал. Ну в школе, ясно. Когда задавали. Меня в прошлом году приглашали в самодеятельность, там рольку одну сыграть, но я...

Алена. Я купила стихи какой-то Ариадны. Имя демоническое. Посмотрим, что она сочинила. Вам нравится Иннокентий Анненский?

Колосёнок. Кто это?

Алена. Был такой поэт на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий.

Колосёнок. А!

Алена. Он был директор гимназии, между прочим.

Колосёнок. Да?

Алена. Странное сочетание, правда? Директор гимназии — и вдруг поэт. Я вам прочту его стихи, если хотите. А пока почитаем эту Ариадну. Ньюша, ты скоро?

Нюша (*тихо*). Неужели хоть тут нельзя!..

Алена. Ньюшечка, ты посмотри, какой он приличный, милый... И мы же обречены ждать, ждать...

Нюша. Хотя бы ради стариков.

Алена. Да старикам до лампочки. Это ты у нас чувствительная ко всякой ерунде. Ну не надо дуться. Ну я тебя прошу. Ну ты моя радость. (*Колосёнку, с улыбкой*). Пошли!

Колосёнок тащится за нею.

Люся (*выходит из ресторана*). Ой, Иван Гаврилыч, что творится...

Иван Гаврилович. Метель как метель.

Люся. Я таких метелей и не помню.

Иван Гаврилович. Я еще хуже помню. Пометет и перестанет.

Люся. У нас уже яиц не осталось на омлеты. И сосиски кончаются.

Иван Гаврилович. Газеты тоже расхватили. Журналы — вот, все. Уже «Науку и религию» берут.

Люся. Говорят, автобусы почти не ходят. Как я домой доберусь? И смена, возможно, не придет нам.

Иван Гаврилович. Пойдут автобусы.

Люся. Когда, вопрос. Вам, Иван Гаврилыч, все равно. Вас никто не ждет.

Иван Гаврилович. Почему? Старуха ждет.

Люся. Жена — это разница. Прямо я работаю, и прямо руки не свои, боюсь поднос уронить. Оставила бутылочку между рамами и так спокойно из дому поехала, и в мыслях не было... Если автобус станет, я пешком пойду.

Иван Гаврилович. Ну и дура. Пешком она пойдет. И заметет тебя, дуру, а ребенка сиротой пустишь?

Линевский (*садится возле дедушки*). Ужасно! (*Раскачивается, взявшись за голову.*)

Дедушка. Позвольте спросить, может быть, я чем-нибудь...

Линевский (*смутно*). Что?

Дедушка. Могу быть полезным?

Линевский. Вы можете сделать, чтобы эта проклятая метель утихла? Сегодня в пять часов в Одессе опускают в могилу мою мать. Я лечу, рискуя быть уволенным с работы, потому что этот дуб ни перед чем не остановится, когда дело касается его амбиции,— в сущности, можете уже считать меня уволенным,— я лечу, и вместо того, чтоб быть в Одессе, я сижу тут— зачем? почему? что за бред?— в пятнадцати километрах от моей работы, от моей квартиры, и ни туда ни сюда!

Дедушка. Я не хочу вас расстраивать еще больше, но если реально смотреть на вещи,— возможно, вам и не удастся к пяти часам попасть в Одессу.

Линевский. К пяти? В пять погребение. Мне надо быть в Одессе в половине четвертого, чтобы поспеть на кладбище, максимум в четыре, брат сидит там на аэродроме с машиной и ждет меня! Он сидит там, я сижу тут, а в пять ее похоронят без нас!

Дедушка. Вот почему я сторонник железной дороги.

Линевский. Я хотел поездом! Хотел! Хотел!! У меня уже билет был!! Но он же волянил, давил мне на психику, не разрешал, пока я не дам ему материал для доклада! Материал! Для доклада!! Когда умер отец, нас у нее осталось шесть душ, представляете, вот такие, один за другим, как диаграмма... Всех воспитала, всю кровь нам отдала... Я спорил с ним, умолял, действовал через общественность,— вижу, наконец, остается один-единственный самолет... Главное что невыносимо— вы думаете, это такая срочность, этот материал? Вы думаете, он сам, болван, не мучается от своего упрямства?! Он ждал бы хладнокровно еще пять дней... неделю!— но он сболтнул, а теперь ему вожжа под хвост... Он мучается, я мучаюсь, общественность мучается... это жизнь?!

Дедушка. Принимая во внимание, как сложились обстоятельства,— в Одессу, боюсь, нечего и думать успеть к четырем,— может быть, вам есть смысл вернуться? Возобновить нормальные отношения. Вылить, так сказать, масло на бушующие волны. Горе есть горе, еще бы! Но если вы все равно опоздали? Очень трудно, вы знаете, работать, когда...

Линевский. Нет, этого он не дожидается! Чтобы в час ее похороня к нему притащился с повинной?! Не выйдет!! Я ему покажу, что я тоже... мне тоже... И почему вы уверены, что не успеть? Вдруг сейчас объявят, что мы летим? Ведь каждую минуту могут объявить. Каждую минуту!

Дедушка (*почти виновато*). Но метель метет...

Бабушка. Вы правы. Вот-вот могут объявить.

Линевский. Вы тоже думаете?.. Знаете, какой самый большой парадокс? Мы с ним учились вместе. Со студенческих лет на «ты». Был парень как парень, даже душевный. И вдруг что-то с ним сделалось. Как подменили!

Бабушка. Уволить вас он не может, пустые угрозы. Нет такого закона.

Линевский. Вы не знаете, что это за тип! Для него законы не писаны!

Бабушка. Ну, как это так. Для всех писаны. И гражданские законы, и законы совести писаны для всех.

Линевский. А, черт с ним. Уволит, не уволит. Мне лишь бы в Одессу к четырем.

Алена (*рассказывает Колосёнку, устроившись на подоконнике; неподалеку Нюша с журналом*). Мы летим к нашему папе. У нас папа чудный, воплощение изящного ума и изящной иронии, я его обожаю! Он в Новосибирске, в академгородке, вы, наверно, слышали. Он то там, то в Москве, а мы к нему летаем, то мама, то я, то сестра, главным образом мама, конечно; и в каникулы, и просто так иногда, вечно кто-нибудь улетает или прилетает, даже его любимый пирог с капустой возим ему из Москвы по воздуху. Когда кончу университет, тоже поеду в Новосибирск работать, восхитительно будем существовать там с папой.

Колосёнок. А родные ваши ничего не будут иметь против?

Алена. У нас не принято друг друга угнетать. У нас каждый живет как хочет.

Колосёнок. И скоро вы кончите университет?

Алена. Мне нравятся те места. Сочетание традиции и первозданности. Ощущение размаха, свистит в ушах! А сейчас мы летим всем колхозом, с бабушкой и дедушкой, по особому случаю...

Бабушка (*Линевскому*). Ну, наш случай скромный. Сегодня день рождения нашего сына, он работает сейчас в Новосибирске. Мы привыкли быть с ним в этот день, и мы, и его жена, и обе их девочки, теперь уже взрослые...

Дедушка. Человек в таком состоянии. Он тебя даже не слышит.

Бабушка. Он слышит голос, обращенный к нему. Это лучше, чем оставлять его одного в таком состоянии. (*Линевскому*.) У нас он, к сожалению, единственный. Все было сосредоточено на нем — привязанность, надежды... Сейчас я могла бы спокойно закрыть глаза, он окружен любящей, дружной семьей. Семья — великое дело. Видишь воочию, как жизнь передается из поколения в поколение...

Старушка в очках (*проходя, зловеще*). Поздравляю вас: автобус уже не ходит.

Линевский (*вскочил*). Я пойду позвоню домой...

Кружит метель. Смеркается.

Алена (*Колосёнку*). Мы летели над облаками, там было такое голубое, голубое солнце, прямо необыкновенно голубое, мы и не подозревали, что делается на земле. Как вдруг объявляют посадку в совершенно неожиданном месте. Пробиваем облака, и вдруг мрак кругом, и что-то клубится серое, серое...

Колосёнок. А не точнее ли будет сказать, что голубое было небо, а солнце было обыкновенное, солнце как солнце, и метель не серая, а обыкновенная белая?

Алена. Честное слово, солнце голубое, а метель серая, — клянусь! (*Показывает на окно, за которым заметно стемнело*.) Ну разве не серая?.. А Анатолий — я вас не могу называть. Чудовищно торжественно. Что-то древнеримское. Вроде — Капитолий.

Колосёнок. Называйте — Толя. Мне очень приятно.

Алена. Толя, Толечка... Вы в самом деле, Толечка, ни одного стихотворения не знаете?

Колосёнок. Ей-богу. Исключительно басни Крылова. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. Однажды лебедь, рак да щука. Какой-то повар-грамотей с поварни забежал своей...

Алена. Я буду читать стихи. Вам известно, что стихи, как и мюзыку, нельзя перебивать?

Колосёнок. Я ни за что не буду перебивать!

Алена. Вот:

Сила господня с нами,
Снами измучен я, снами...
Хуже томительной боли,
Хуже, чем белые ночи,
Кожу они искололи,
Кости мои измололи,
Выжгли без пламени очи...

Бакченин видит Шеметову.

Бакченин. Оля?

Шеметова вздрагивает и смотрит на него.

Алена.

Снами, где я расставаньё
Даже подобья не знаю...

Бакченин. Оля, ты?

Алена.

Снами, где я расставаньё
С жизнью порой начинаю...

Шеметова. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.

Бакченин. Боже мой, Оля! Сколько лет, сколько зим! Смотришь... Старый хрен, да?

Шеметова. Это сильно сказано. Разумеется, постарели оба.

Бакченин. Ты-то молодая, красивая. Даже еще лучше стала. Правда! Я ведь тебя никогда не видел так одетой. Всегда видел в гимнастерке. Молодая, вся новая,— это прекрасно! Ты всегда была прекрасной!

Шеметова. Будем на «вы», пожалуйста. Что касается молодости, то моей старшей дочери двадцать четыре года. У меня могли бы уже быть внуки.

Бакченин. Вы говорите — старшая, значит...

Шеметова. Есть и младшая. Две их у меня. У вас есть дети?

Бакченин. Да как сказать. И есть они, и нет. Двум бывшим женам на двух детишек плачу алименты.

Шеметова. Вы разошлись с первой... с Ниной?

Бакченин. Нет. Нина — Нина умерла.

Шеметова. Давно?

Бакченин. Давно. В общем, нескладно у меня в личном отношении получилось. Потери, разлуки, разочарования... Дети растут на стороне — по сути дела чужие, нет у меня с ними душевной спайки, кто-то другой им ближе и родней. Живу бобылем...

Шеметова. Ну, это дело поправимое, я думаю.

Бакченин. Понимаешь — уже не так просто.

Шеметова. На «вы».

Бакченин. Устал. Не хочется даже думать, что опять появится в доме ненужный какой-то человек и что-то будет говорить, требовать внимания к себе. В молодости туда-сюда, а когда старость подходит... Уж лучше бобылем. А ты?

Шеметова. У меня семья.

Бакченин. Все та же?

Шеметова. Да.

Бакченин. Так и не развелась?

Шеметова. Нет.

Бакченин. И что же, счастлива?

Шеметова. Да.

Бакченин. А старики живы?

Шеметова. Вон они сидят. Вон — у входа пожилая чета. И дочки здесь где-то.

Бакченин. Полный кворум?

Шеметова. Кроме мужа. Мы летим к нему на день рождения.

Бакченин. Ты прочно обосновалась.

Шеметова. «Вы». «Вы».

Бакченин. Вы обосновались прочно. А я прихожу домой — поздно вечером, — отпираю дверь ключом — ни души. Дворничиха чего-нибудь в холодильнике оставила, что ей заблагорассудилось, колбасы какой-нибудь, — ставлю чайник, сажусь один чай пить...

Шеметова (*с мимолетной улыбкой*). Когда-то вы любили шашлык.

Бакченин. Шашлыки есть в ресторане... Вот так сижу, радио слушаю, и голоса вокруг меня только из эфира, да по телефону позвонит кто-нибудь...

Шеметова. Слушайте, но это же мужской рай! Воображаю, сколько мужчин вам завидует.

Бакченин. А что ты думаешь, завидуют некоторые. Я марку держу: бедные вы, говорю, вот я живу — как бог! Но тебе скажу откровенно: нехорошо так жить. Не по-человечески. Холодно... Это не твои дочки — там, у окна?

Шеметова. Мои.

Бакченин. Видишь, я угадал. Очень видно, что твои.

Шеметова. Кто же вы теперь, Сергей Георгиевич, чем заняты в жизни?

Бакченин. Я занят наукой, хорошей наукой, химией, на одном из крупнейших наших химических предприятий заведу лабораторией, в будущем году буду защищать докторскую. А ты?

Шеметова. Преподаю на курсах иностранных языков.

Алена (*Колосёнку*). Ну как вам Анненский?

Колосёнок. Он был директор гимназии?

Алена. А что?

Колосёнок. Понятно, почему в начале века гимназисты стрелялись. Если сами директора писали такие стихи...

Алена. Смерть — это тема, которая всегда волновала поэтов. Особенно с тех пор, как человек перестал верить в свое личное бессмертие.

Колосёнок. Я считал, что их больше волнует любовь.

Алена. Это же взаимосвязано: любовь, бессмертие... Омара Хайяма тоже не знаете?

Колосёнок. Кто это?

Алена. Математик, астроном, философ и удивительный поэт.

Колосёнок. Он жив?

Алена. Умер восемьсот пятьдесят лет назад.

Ты опьянел — и радуйся, Хайям.
Ты полюбил — и радуйся, Хайям.
Придет Ничто, прикончит эти бредни,
Еще ты жив — и радуйся, Хайям.

Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь. А пешки? Мы с тобой.
Позвягают, притиснут — и побили,
И в темный ящик сунут на покой.

Дедушка. Как тихо. Словно мы не на аэродроме, а в аквариуме.
 Бабушка. Никого не отправляют и не принимают. Наш самолет был последний.

Дедушка. Странное ощущение — парализованности.

Бабушка. Пассивности.

Дедушка. Какого-то незаконного отпуска. Словно тебя ни с того ни с сего вынули из жизни.

Бабушка. Читай газетку.

Дедушка. Оля беседует очень серьезно. Кажется, это не новое знакомство.

Бабушка. Меня интересует Алена. У нее знакомство несомненно новое. *(Делает знаки, подзывая Ньюшу.)*

Алена.

Не станет нас. А миру хоть бы что.
 Исчезнет след. А миру хоть бы что.
 Нас не было, а он сиял и будет.
 Исчезнем мы. А миру хоть быть что.

Каких я только губ не целовал,
 Каких я только радостей не знал!
 И все ушло. Какой-то сон бесплотный
 Все то, что я так жадно целовал.

Нюша подходит к бабушке.

Бабушка. Нюша, кто там с Аленой?

Нюша. Колосёнок.

Бабушка. Это который потерял документы?.. Она ему стихи читает?

Нюша. О смерти. Подряд. Он сначала протестовал, а сейчас уже не трепыхается.

Бабушка. Не стоило бы так бросаться в глаза. На нее смотрят... Я тебя позвала зачем: если мы застрянем до завтра, не мешает хоть чокнуться за папу.

Нюша. Ну что ж. В ресторанчике. Шампанское?

Бабушка. Если оно тут есть. Узнай. На всякий случай. Конечно, мы еще двадцать раз можем улететь...

Нюша. Я узнаю. *(Уходит.)*

Алена.

Из края в край мы держим к смерти путь,
 Из края смерти нам не повернуть.
 Смотри же, в здешнем караван-сараяе
 Своей любви случайной не забудь.

Люся *(выбегает из ресторана)*. Слышали, Иван Гаврилыч, автобус не ходит! *(Сбегает по лестнице; к Тамаре)*. Тамара, автобус стал! Я позвоню!

Тамара. На автомат!

Люся. Почему ты такая вредная! Ну почему в тебе столько зла!

Тамара. На автомат!

Люся. Почему ты не можешь быть к людям милосердной, когда стихийное бедствие? Как мы теперь с Виталиком?

Тамара. Виталик, Виталик! Не помрет твой Виталик! Покричит, подумаешь... *(Плачет.)* Меня... меня на сегодняшний вечер в театр пригласили!

Люся. Тамарка!.. Кто пригласил?

Тамара. Лейтенант один.

Люся. Гриша?

Тамара. Нет, ты не знаешь. С Гришей — все.

Люся. Ты подумай...

Тамара. Теперь с другим кем-нибудь по этим билетам пойдет. И не звонит. Хоть бы позвонил, сожаление выразил.

Люся. Надо же!

Тамара (*сморкается*). Такое мое везенье. Всю жизнь так. А Гришка подонок оказался первой марки... Звони.

Люся (*поднимает трубку*). Чего-то гудка нет.

Тамара. Ну да?

Люся. Тамара, он не работает.

Линевский (*в телефонной кабине старается оживить отказавший автомат*). А, черт! Алло! (*Дует в трубку*.) Алло! Алло! (*Выходит из кабины*). Не работает. (*Идет вдоль очереди*). Не работает. Не работает.

Люся (*поднялась наверх*). И телефон не работает. Вот оно, Иван Гаврилыч. Вот теперь как знаешь.

Иван Гаврилович. Ну, а что телефон? По телефону ты его не накормишь.

Люся. Все-таки легче, когда связь. А сейчас как будто между мной и ими такое расстояние, как до луны.

Иван Гаврилович. Ты ж какое-то там питание обеспечила.

Люся. На вечер. А ночью?

Иван Гаврилович. До ночи далеко. В самом крайнем случае, ну — сварит ему твой Славик какую-нибудь кашу.

Люся. Вы не понимаете, что вы говорите.

Иван Гаврилович. Очень даже понимаю. Сам варил.

Люся. С ума сойти, и только.

Нюша (*Люсе*). Будьте добры. У вас есть шампанское?

Люся. Какое смотря. Сладкое?

Нюша. Полусухое.

Люся. Насчет полусухого спрошу. (*Уходит в ресторан*.)

Линевский (*поднялся наверх*). Не работает.

Иван Гаврилович. Кто?

Линевский (*сомнамбулически*). Телефон. (*Уходит в зал*.)

Иван Гаврилович. Все расстраиваются. Женщина о ребенке беспокоится, ребенок в городе, она тут, ничего такого особенного, чтоб так уж беспокоиться, перетерпит мальчонка, но, знаете, кормящая мать.

Нюша. А далеко до города?

Иван Гаврилович. Докуда считать. До центра пятнадцать километров.

Нюша. А мы тут с шампанским.

Иван Гаврилович. Ну, это что ж. Это ее служба.

Люся (*возвращается*). Вам одну бутылку полусухого?

Нюша. Две. И фрукты.

Люся. На сколько персон накрывать?

Нюша. На пятерых, будьте добры. Только мы не сейчас хотели бы, попозже.

Люся. Так и скажите.

Нюша. А сейчас — коктейль какой-нибудь я могу выпить?

Люся. Коктейлей у нас не бывает. Фруктовая вода.

Нюша. Ну, фруктовой воды.

Присела к столику. Люся приносит воду.

Кто же у вас дома с ребенком?

Люся. В данное время он в яслях. *(Отходит и возвращается.)* Потом муж его заберет. *(Отходит и возвращается снова — тема ее увлекает.)* Мы по очереди забираем, или муж, или я. Если уж оба на работе — тогда сосед, в одной квартире живем, пенсионер, отзывчивый старичок.

Нюша. Трудно.

Люся. То есть!.. Я так вам скажу: если б не ясли, во-первых, и сочувственные люди, во-вторых, — могли бы мы воспитывать Виталика? Никоим образом! Поженились молодыми, неустроенными, по общежитиям жили, — спасибо, комнату дали. Удачно вышло — пока я в роддоме была, муж ордер получил, так что мы с Виталиком из роддома прямо на новую квартиру поехали, а там уж и кровать приготовлена, и ванночка, муж позаботился... Если б не так мне далеко от работы!

Нюша. Надо сменить работу.

Люся. Ну, это я себе не могу позволить, такую хорошую работу бросить. Меня сюда двоюродный брат устроил, летчик-испытатель. Да я уже привыкла к этим расстояниям. Это сегодня погода сумасшедшая. Хоть бы к ночи утихло, господи! Как подумаю — как он будет кричать! А добраться пешком, все говорят, и думать нечего.

Нюша. Вы счастливая женщина.

Люся. Вообще, знаете, несмотря на трудности...

Нюша. Вас такие серьезные, важные вещи окружают. Основательные... Ребенок. Ванночка. Кроватька. Хороший муж... хороший?

Люся. Да ничего!

В верхнем зале. Бакченин и Шеметова.

Бакченин. Ваша дочь мне улыбается.

Шеметова. Не вам. Своему собеседнику.

Бакченин. Она смотрит на меня.

Шеметова. А улыбается ему. Через час объявит, что выходит за него замуж. Через два часа забудет об его существовании. Но пока что она занята только им.

Бакченин. Красивые у вас дочери.

Шеметова. Которая лучше?

Бакченин. Даже не скажешь. Обе. Но вы красивее. И двадцать лет назад были красивее, и теперь.

Шеметова. Как выяснилось на опыте, само по себе это ничего не приносит.

Бакченин. Прошлого не вернешь? Да, конечно. Но не знаю, как вы, а я согреваюсь, вспоминая. Озябну — и греться. У тебя, вероятно, настоящий домашний очаг...

Шеметова. Знаете, когда двое детей, и двое стариков, и работа, и очень занятой муж, которому надо помогать жить, — просто времени нет зябнуть. День начинается заботами и кончается заботами.

Бакченин. А у меня...

Шеметова. Да и у вас забот хватает, хоть вы и один.

Бакченин. У меня это рядом существует. Заботы, дела — а рядом ты. Стоишь тихо, смотришь своими глазами. В гимнастерочке... Родная моя! Я тебя всю жизнь пронес в гимнастерочке. Ты ее выбросила?

Шеметова. Не помню...

Бакченин. Если разобраться — никого никогда больше и не было...

Шеметова. Сергей Георгиевич!

Бакченин. Нельзя? Ни к чему, да?

Шеметова. Вот именно. Бессмысленно.

Они разговаривают, как и до сих пор, не повышая голоса, на ровной интонации, без жестов.

Бакченин. А если необходимо сказать?

Шеметова. Уж так-таки. Мы зрелые люди.

Бакченин. Что значит — зрелые люди? Все в них, что ли, пришло к завершению и далее уже не может изменяться? Тогда это мертвые. Я не хочу думать, что мы с тобой умерли.

Шеметова. Я серьезно прошу, говорите мне «вы».

Бакченин. Я стараюсь, стараюсь... Но я двадцать лет обращался к вам на «ты» — за час не переучишься... А вы в эти двадцать лет — почти двадцать, около девятнадцати мы в разлуке, да? — вы все-таки иногда со мной в мыслях разговаривали?

Шеметова. В первые годы.

Бакченин. А потом?

Шеметова. Потом вы отдалились. Ушли.

Бакченин. Совсем?

Шеметова. Да.

Бакченин. А вы ко мне, наоборот, приблизились. Вначале, после войны, засуетился я как-то... А сейчас, когда за полдень перевалило — давненько уже — и потребность чувствуешь оглядеться, оглянуться, осознать... Неужели тебе безразлично то, что было?

Шеметова. Ничего не было.

Бакченин. Даже так.

Шеметова. Твердо усвойте: не было ничего.

Бакченин. Что ты, Оля? Чего ты испугалась?

Шеметова. Прекратим.

Бакченин. Ничего не было? Так-таки ничего? В крематории сжигают — и то горсть пепла остается... Не помнишь наши первые встречи? Нашу последнюю встречу?

Шеметова. Фронтвой эпизод. Мало ли что случается с нашей сестрой. Да еще в войну.

Бакченин. Наши вечера не помнишь? И как я к тебе убежал из госпиталя? Не помнишь наше счастье? Наше отчаянье?..

Кружит метель.

2

Голос Бакченина. Неужели не помнишь?

Нет здания аэровокзала, сцена пуста и темна.

...Топится печурка. Это печурка в комнате, где живет Шеметова, в прифронтовом городке. Глухо доносится артиллерийская стрельба. Шепчет приглушенный репродуктор.

У печурки — молодая Шеметова в гимнастерке, в лейтенантских погонах, и молодой офицер Бакченин.

Бакченин. Никогда бы не подумал.

Шеметова. Вот, представьте.

Бакченин. Чтоб у такой женщины, как вы, — и не было счастья!.. Но вы его любили, да? Раньше. Сначала.

Шеметова. Да, конечно. Да, вероятно, — иначе как бы я шла за него? Он так все красиво обставил... Он это умеет, вся их семья умеет. Они знают, когда какой букет надо поднести, и какой праздник как праздновать, и когда что сказать, и кого как принять... Вообще знают, как надо жить. А мне с ними почему-то — так сонно... чуждо...

Бакченин. А я считал, и другие считают, что вас где-то ждет очень дорогой человек.

Шеметова. Почему вы считали?

Бакченин. Ну — вы часто получаете письма.

Шеметова. Главным образом от родителей мужа. Сводки о здоровье моей дочки. Правда, муж тоже пишет аккуратно.

Бакченин. Он где, вы говорили?

Шеметова. Пока еще в Казани. Видимо, вот-вот они вернутся в Москву.

Бакченин. На фронте не был?

Шеметова. Он ученый, у него бронь. Не усмехайтесь, пожалуйста, он действительно большой ученый, его под пули не пустят.

Бакченин. А вас пустили.

Шеметова. Ну, меня!.. Мне знаете что помогло — знание немецкого. Так по штабам с сорок третьего года...

Бакченин. И он не возражал?

Шеметова. Ну еще бы. Но если человек что-нибудь решил крепко... И у нас не принято давить друг на друга. Бурь, во всяком случае, не бывает. Даже сорроримся вполголоса, добропорядочно.

Бакченин. А дочка как же?

Шеметова. Она маленькая. Ей с бабушкой и дедушкой неплохо.

Бакченин. Скучаете все-таки?

Шеметова. Ну, господи!..

Бакченин. Дедушка и бабушка — это родители...

Шеметова. Мужа. Мои — умерли. Еще до войны... Удивительно!

Бакченин. Что вас удивляет?

Шеметова. Чуть не каждую ночь ходите смерть дразнить, и еще есть время и охота — замечать, кто сколько получает писем...

Бакченин. А вы ничего такого не замечаете?

Шеметова. Я не хожу смерть дразнить. Вы языка доставляете, я перевожу — мое дело маленькое.

Бакченин. Эх, Ольга Васильевна, живой живое думает. Пока живы — что нам смерть?

Шеметова. Ненавижу вашу бесшабашность. Ненавижу! Эту отчаянность оголтелую... лихачество сверх всякой меры...

Бакченин. Сплошь да рядом, чтоб вы знали, выигрывает отчаянный, а осторожный пропадает. Не подразнив даже, как вы выражаетесь, в полное свое удовольствие.

Шеметова. Лезете к черту в зубы — из-за чего: из-за паршивого барана!

Бакченин. Ах, это нехорошо! Этого я от вас не ожидал! Вы забыли, какой был шашлык? Сплошная нежность была, не барашек, а неземное существо, косточки во рту таяли, вы же сами хвалили, а теперь говорите — паршивый баран, ай-ай-ай!

Шеметова. Из-за шашлыка врываться на вражью полосу под огонь...

Бакченин. Уж и огонь там. Построчил кто-то из автомата. Все вам наврали.

Шеметова. Но я же серьезно. Это уже не храбрость, Сережа! Нелепость, безумие — так играть своей жизнью, когда конец завиднелся!

Бакченин. Какой конец?

Шеметова. Войне конец.

Бакченин. Когда ей конец, по-вашему?

Шеметова. Ну, может, полгода еще, от силы год.

Бакченин. Мы с вами можем знать, да? Когда началось, многие

тоже говорили — от силы год. Я лично так считал... И что такое год? Величина в высшей степени относительная. И полгода относительная. И день. И минута. Одна длина у мирного года, у военного другая, верно? Одна длина у минуты в Казани, другая у разведчика на вражеской полосе... Так что «скоро конец» — это смотря для кого... А в общем, ерунда. Суждено так суждено. Чему быть, того не миновать. В нашем деле хочешь не хочешь — фаталистом становишься.

Ше м е т о в а. Глупо.

Б а к ч е н и н. Совсем не так глупо и очень помогает. И как не быть фаталистом, вы подумайте. Жена меня в сорок первом провожала, — я на нее рассердился даже: что ты, говорю, меня как мертвого оплакиваешь, я еще живой, слава богу! Да и вся семья чересчур как-то убивалась... И вот, пожалуйста: я до сих пор цел, а уж в каких переплетках приходится бывать, вы знаете, — а они, гражданские люди, которых я оставил в нормальной обстановке, в нормальной квартире в центре Ленинграда, — в первый же год! Все до одного!.. Кто это шутит, интересно? Почему не меня, бойца, призванного отдать жизнь? Почему их — непризванных... уж таких не бойцов, таких смирных людей... (Помолчав.) По справедливости — не должен я уцелеть. Иначе что же...

Ше м е т о в а. Как ее звали?

Б а к ч е н и н. Нина.

Ше м е т о в а. Долго были вместе?

Б а к ч е н и н. Год. Третий курс окончил — женился... Какая-то она была невезучая. То на гололедице упадет, расшибется, то у нее деньги в трамвае вытащат... Детство нескладное, без ласки, без красоты... С легкими неважно было, вообще никуда здоровье... Она говорила, что только со мной ей жизнь улыбнулась.

Ше м е т о в а. Ребенок был?

Б а к ч е н и н. Нет, слава богу. Куда бы еще ребенок в блокаде. Хватит взрослых.

Ше м е т о в а. Как вы узнали?

Б а к ч е н и н. Написали чужие люди. Вынули мои письма из ящика и написали, чтоб больше не писал — некому... Это к вопросу о том, что фатализм — глупость... что лихачить — нелепо... Эх! Все эти слова благоразумные!.. (Смотрит на часы.) Ну вот. Поболтали мы с вами. (Встает.)

Ше м е т о в а. Так рано?

Б а к ч е н и н. Велено быть.

Ше м е т о в а. Разве и сегодня?

Б а к ч е н и н. Явиться всем в двадцать ноль-ноль. А там на кого, как говорится, падет жребий...

Ше м е т о в а. Сережа!

В репродукторе позывные.

Б а к ч е н и н. Приказ.

Увеличивает громкость. Они с Шеметовой ждут молча. Радио передает приказ Верховного главнокомандующего.

(Уменьшает громкость.) Вот так-то! А вы говорите! (Надевает шинель.)

Ше м е т о в а. Сережа. Все-таки. Я прошу.

Б а к ч е н и н. Быть благоразумным? До свиданья, Ольга Васильевна. Спасибо.

Ше м е т о в а. До свиданья.

Бакченин (*у двери*). Завтра можно прийти?

Шеметова. А как вы думаете?

Бакченин. В эту дверь войти, да, и сесть на эту табуретку, к этому огню, да?.. До свиданья.

Шеметова. Сережа!.. Сережа, я забыла сказать, я не успела дочитать ваш журнал, я вам отдам завтра...

Бакченин. До завтра. (*Уходит.*)

Шеметова стоит в открытой двери, смотрит вслед. Синяя лампочка горит на улице. Гремят в отдалении орудия. По радио опять звучат позывные, предваряющие новый приказ.

Голос Бакченина. Неужели не помнишь?

..Сцена пуста и светла, и из ее глубины идет Бакченин в госпитальном халате, широко раскинув руки, в которых он держит костыли.

Бакченин. Не обращай внимания, прошу тебя! Никаких костылей нет, одна видимость! Вот, пожалуйста! (*Бодро шагает, прихрамывая.*)

Шеметова (*бежит ему навстречу*). Ну-ну-ну, не форси! Осторожно!

Бакченин. Я боялся, ты понимаешь, что без них буду идти к тебе чересчур медленно!

Шеметова. Да что за мальчишество, кому это нужно!

Бакченин. Мне нужно. Мне! Чтоб рядом с тобой быть изящным.

Шеметова. Дурачок... Ну покажись, какой ты. Сто лет не видела.

Бакченин. Этот старый черт такие завел порядки! По воскресеньям — и всё! Хоть ты сдохни перед ним!

Шеметова. Ты похудел.

Бакченин. Похудеешь. Экий жлоб! Я на него орал, пока мы не охрипли оба.

Шеметова. С ума сошел! На профессора! На генерала!

Бакченин. И ни в какую: «Только по воскресеньям!» А сегодня еще только среда!

Шеметова. Ты получил мою записку?

Бакченин. Да. Ты умница. А ты мою получила?

Шеметова. Ну ясно, раз я здесь!

Бакченин. Вы, говорит, курорт развели в прифронтовом госпитале... А кому вред, что ты ко мне ходила?! Я благодаря этому раньше времени на ноги стал! Какой он профессор, если не понимает!..

Шеметова. Ну не волнуйся. Ну не волнуйся. Ну бог с ним. Увиделись же.

Бакченин. Да, но не виделись трое суток — с какой стати, спрашивается?!

Шеметова. Самовольно небось удрал или отпустили?

Бакченин. Они отпустят, жди. Ничего, ограда пустяковая. Арефьев помог, я ему на спину стал. А потом он мне перебросил... (*Позказывает на костыли.*)

Шеметова. Никто не видел?

Бакченин. Какие-то солдаты проходили. Будь здоров, говорят, желаем удачи.

Шеметова. Сережка. Тебя разоблачат и отправят в тыл. Что тогда будем делать?

Бакченин. Разоблачат, тогда и будем думать — что делать.

Шеметова. Тогда уже поздно. Нет, правда: ты не очень с ним задрирайся. Я не могу, чтоб тебя отправили.

Бакченин. Не отправят. Мне уже выписываться на днях.
Шеметова. Как я без тебя? Я эти трое суток умирала... (*Плачет.*)

Бакченин. Вот, ей-богу. Сводка хорошая, погода хорошая, так я славно организовал наше свидание, а ты... Вот он я, вот она ты, чего же плакать, ну?

Шеметова. И сама не знаю. От счастья. И теперь ведь тебя не смогут, правда, посылать в разведку? Не смогут, не смогут! И мы не будем каждый вечер прощаться навсегда!

Бакченин. Ненаглядная моя... Теперь я дорожку проложил. Через все заборы, через всех профессоров и генералов. Теперь жди меня к себе. Придешь из штаба, откроешь дверь,— а я тут как тут! (*Поцелуй.*) Если в тыл, Оля,— это уже по демобилизации.

Шеметова. Не говори о демобилизации.

Бакченин. Говорить не говорить — уже недалеко.

Шеметова. Когда я слышу это слово, мне гора представляется. Гора всяких сложностей. У, горища!

Бакченин. Опять-таки незачем переживать заранее.

Шеметова. Если б можно так: просто чтоб мы вместе и не надо разлучаться... и никому чтоб от этого не было боли...

Бакченин. Кому? Почему я обязан об этом беспокоиться? Я о нас с тобой хочу беспокоиться! А я не перенес боли? Дай бог, сколько мне ее выпало... И откуда известно, что ему так уж будет больно? Может, и не так уж!

Шеметова. Ты не знаешь, что такое для него ребенок. Он считает — семья должна существовать ради ребенка. Что бы ни было. У ребенка должны быть отец и мать, он говорит. Ну, и он... хорошо ко мне относится.

Бакченин. Ты ему написала?

Шеметова. Нет. Это прежде был разговор.

Бакченин. Вероятно, он не захочет отдавать ребенка.

Шеметова. На это я не пойду. Но когда представлю себе, как я буду забирать у них Ньюшу!.. И теперь ведь разводиться через суд. Эти процедуры! Говорить о нем, о тебе...

Бакченин. Так нельзя, моя радость. Не желаю видеть твои самоистязания. Подумаешь, суд! Это же проформа. Ну, неприятная, согласен. А что поделаешь, если нам приходится прорываться друг к другу через колючки. Важно одно: чтоб ты меня любила. Я хочу, чтоб сегодня же вечером, когда ты придешь домой и откроешь свою дверь...

...Г о л о с а. Горько! Горько!

Горит огонь в камине. У камина Шеметова, Бакченин в новом кителе, Арефьев, еще несколько офицеров с кружками в руках.

Арефьев (*подняв кружку*). Ну горько же людям!

Бакченин. Понимаешь, Оля, им горько. Надо их пожалеть. (*Целует Шеметову.*)

Офицеры. Ура!

Шеметова. Идиотизм! Какое горько?! Хотя бы вы, Арефьев, не подавали тут жару. Еще когда я разведусь!

Бакченин. Тихо, тихо. Им нельзя ждать, пока ты разведешься. Кто-нибудь может не дожидаться.

Дальние оружейные залпы.

Офицеры.

— Опять мы заговорили.

— Шагаем...
 — А в Москве сейчас салют гремит в вашу честь.
 — Почему не пьет молодая?
 Ш е м е т о в а. Да ведь гадость.
 О ф и ц е р ы.
 — Ну как же это.
 — Немножко.
 — Спирт ничего.
 — Глоточек.
 Б а к ч е н и н. Выпей. За нас.

Шеметова пьет.

О ф и ц е р ы. Ура!

Гитара, песня.

Б а к ч е н и н. Пойдите. Пойдите. Мои дорогие. Я хочу сказать слово. Маленькую речь. Можно, Оля, да? (*Вдруг задумался.*) Да, так о чем будет моя речь?

О ф и ц е р ы.

— О любви! О любви!

— Ну чего ж ты, мы слушаем.

— Подсказать начало? Ну, давай. «Дорогие товарищи, боевые друзья!»

А р е ф ь е в. Ничего, Сережа. Это у тебя немота от переживаний. Ну — храбро.

Б а к ч е н и н. Дорогие товарищи, да, я буду говорить о любви.

О ф и ц е р ы. То-то. Правильно.

Б а к ч е н и н. Но сначала хочу вам напомнить беспощадные черные ночи, ночи без любви, без надежды, без звезд, когда мы с вами идем дразнить смерть, а смерть выходит играть с нами в жмурки...

О д и н и з о ф и ц е р о в. Стихами говорит...

А р е ф ь е в. Пусть говорит как хочет. У него счастье.

Д р у г о й о ф и ц е р. А почему без надежды?

Т р е т ь и й. И звезды тоже видны, как правило...

Б а к ч е н и н. Ночи, когда мы забываем, что есть на свете женская тишина, женская нежность... женская благословенная ласка... и что есть на это все наше святое человеческое право!.. Но вот настает утро, оно настает наперекор всему. Выходит солнце. И уползает смерть в свои траншеи. И мы идем домой, уцелевшие, и что же мы видим — над кровавой, вытопанной землей утренний цветок раскрылся, такой свежий, такой новенький, что больно становится сердцу, и над этой крошечной чашечкой пчела дрожит, прилетела за медом, и в чашечке ей мед приготовлен! Я не знаю, как для вас. А для меня это всегда чудо, всегда. Я останавливаюсь, как дурак, над цветком и над пчелой, и я плачу. Дорогие друзья, я пью за цветок, за пчелу, за чудо жизни, за Олины глаза ..

Шеметова берет его руку и целует.

О ф и ц е р ы. Горько!

Гитара.

Г о л о с Ш е м е т о в о й. А это вы помните?

...Шеметова и Бакченин сидят на садовой скамье.

Ш е м е т о в а. Значит, так.

Б а к ч е н и н. Значит, так.

Ш е м е т о в а. Даже не верится, что вместе поедем, вместе приедем,

вместе по улицам, вместе в твой дом! Я уже устала от этих разных квартир, что я одна, ты с Арефьевым, видимся урывками, как будто мы тайные любовники... Теперь твой дом — и мой тоже. Мой дом меня ждет в Ленинграде. Мой родной дом...

Бакченин. Немножко беспокоюсь, как будет с пропиской. Пока мы не зарегистрированы официально.

Шеметова. А, господи. Сходим в милицию, объясним положение.

Бакченин. Могут и не прислушаться к нашим объяснениям.

Шеметова. Ну, не прислушаются, тогда и будем думать, что делать. Видишь, ты меня уже перевоспитал. Не хочу заранее переживать всякую ерунду. Подумаешь, прописка.

Бакченин. Не такая ерунда, как кажется. Это не армия, где все тебе по аттестату положено. Натопаемся по начальничкам.

Шеметова. Договорюсь о работе, оформлюсь, приберу комнату, — она, наверно, в кошмарном виде...

Бакченин. Да уж, могу себе представить. Начиная с того, что стекла выбиты, и достать — проблема.

Шеметова. Откуда ты знаешь, что выбиты?

Бакченин. По всему Ленинграду выбиты.

Шеметова. Ничего, достанем... И поеду за Ньюшей. Чтобы сразу там все покончить, одним ударом. Меньше встреч — меньше тяжелых разговоров.

Бакченин. Ты ему так и не написала?

Шеметова. Нет. По почте — по-моему, знаешь, не очень порядочно. Вроде — из-за угла. Раз уж я все равно должна туда поехать. Лучше сказать. Лицом к лицу... И потом, они так трудно в Москву возвращались, свекор болел, свекровь замучилась, а тут бы еще это письмо мое...

Бакченин. Что ж, мудро.

Шеметова. Ты пойми правильно.

Бакченин. Я понимаю.

Шеметова. Ты правда не сердисься?

Бакченин. Правда не сержусь.

Шеметова. Знаешь, я думаю, мне удастся из Москвы привезти. Стекла. Без стекол Ньюше никак нельзя, конечно.

Бакченин. Я бы сказал, что и нам не рекомендуется. Без стекол.

Шеметова. Мы-то пока уж как-нибудь...

Арефьев (*подходит*). Вы, счастливички! Строите лучезарные планы?

Шеметова (*улыбается ему*). Мы, счастливички, строим лучезарные планы.

Арефьев. Молодцы, ей-богу. А мне трубить. В Германию вроде бы прочат.

Бакченин. А что, интересно.

Арефьев. Может, оно и интересно. Но очень уж тянет до дому, до хаты. К своим. Как-то наладить, что война разладила.

Бакченин. И то верно.

Арефьев. Какие-то у меня последнее время желания сугубо штатские. До тоски. Выйти, например, рано утром на свое крылечко, кликнуть сынишку, дровишек с ним напилить...

Шеметова. Милые вы мои, милые. Мне совестно, страшно быть эгоисткой...

Арефьев. Но? Вы хотели сказать «но».

Шеметова. У меня война ничего не разладила. Мне она дала все на свете. Бывает же! Сережу дала. Это ужасно, да, что я говорю? Имея в виду, что этому сопутствовало.

Арефьев. Почему ужасно? Вы же ни в чем не виноваты, в том, что сопутствовало. И в том, что у вас так сложилось. Вы ему явились, как награда и утешение... и будьте счастливы! Мой вам наказ.

Шеметова. А когда вы отслужите в Германии, вы к нам в гости выберетесь, да?

Арефьев. Спасибо.

Шеметова. Нет, правда. Мы вам всегда будем рады, да, Сережа? Нам будет что повспоминать с ним, верно?

Арефьев. А знаете, Оля, вы стали говорить похоже на него. *(Имитирует.)* «В гости выберетесь, да? Будет что повспоминать, верно?» Как Сережка, точно!

Шеметова. А что тут странного? Кто-то мне говорил, что, когда муж и жена очень долго живут вместе, они даже наружностью становятся похожи.

Арефьев *(тихо поет)*. Ехал казак на винойбнюку, сказал: прощай, дивчинойбнюка! Прощай, дивчина, карие очи! Еду в чужую сторону...

Шеметова. Ох! Не надо грустного. Я вас очень прошу. Всю войну грустное, грустное... Радоваться пришло время! Смеяться! Никаких больше «прощай», только «здравствуй», запомните, слышите?!

Голос Шеметовой. Это-то уж конечно помните. Не могли забыть.

...Бакченин ждет Шеметову у нее на квартире. Он в состоянии несвойственного ему угрюмого напряжения. Шеметова входит.

Шеметова. Сереженька! Ну, вот и всё. На все четыре стороны. Цивильная гражданка. Теперь только забрать сухой паек на дорожку. Ты давно меня ждешь? *(Замечает его состояние.)* Что случилось?

Бакченин помогает ей снять портупею.

Неприятность?

Бакченин. Не знаю, как назвать.

Шеметова. Какая? Что такое? Не отпускают? Ну что? Что?

Бакченин. Оля...

Шеметова. Несчастье!

Бакченин. Не знаю, Оля.

Шеметова. Какое?

Бакченин. Я не в праве сказать — несчастье...

Шеметова. А что ж это?

Бакченин. У кого бы язык повернулся? Грешно, верно, сказать живому человеку — иди обратно в могилу?

Шеметова. Какому человеку?.. *(Садится.)* Скорей!

Бакченин. Письмо получил.

Шеметова. От Нины!

Бакченин. Она в Свердловске. По госпиталям два года с лишним. После бомбежки. Восстановили. Протез. Рука.

Шеметова сидит неподвижно.

Два года сплошных операций... И прежде-то была не ахти какого здоровья. Что-то находили с легкими. Я тебе говорил... Теперь инвалид. А остальные погибли. Все по очереди. Друг за другом. От голода. Вот почему, должно быть, мне написали, что она тоже... А ее вывезли в состоянии беспамятства, с тяжелыми увечьями. На улице бомба накрыла...

Стук в дверь.

Да!

Арефьев (*входит*). Добрый вечер. Что, Оля, поздравить можно? Ауфвидерзеен? Цу хаузе, нах Ленинград? Поздравляю от души... Чего у вас — случилось что-нибудь? Поругались? Неужели уже поругались?

Бакченин. Арефьев. Погуляй иди. У нас тут...

Арефьев. Это никуда не годится, если с этих пор начнете ругаться. Нет уж, на это вам моего благословения нет. Сережа, ты за почтой заходил? Там тебе заказное было. Из Свердловска. Я хотел взять, она говорит — пусть сам придет, распишется. Ты зайд.

Бакченин. Я заходил, заходил.

Арефьев. Ну ладно, ребяташки. Приду, когда помирится. Ты мне только не обижай Олю. Смотри, какая она сидит. Не давайте ему, Оля, в обиду. Хорошенько его! Да вы крепкая, не дадитесь.

Бакченин. Слушай, да иди ты!!

Арефьев уходит. Молчание. Оно разрешается криком Шеметовой. Шеметова рыдает, упав головой в руки.

Голос Шеметовой. И вернулась я в Москву. В дом, с которым мысленно уже распрощалась.

..Шеметова с чемоданом, с шинелью через руку, в гимнастерке без погон, звонит у двери. Время позднее, ночь.

Бабушка (*из-за двери*). Кто там?

Шеметова. Откройте, пожалуйста.

Бабушка (*смотрит через цепочку*). Вам кого угодно?

Шеметова. Бабушка, это я.

Бабушка. Оля! (*Торопливо снимает цепочку*). Оля, деточка! (*Схватывает, целует*.) Голубушка родная! Не узнала в этой форме... Как же ты, как же ты телеграмму не дала, мы и не встретили... Совсем? Или в отпуск?

Шеметова. Покажите Нюшу.

Бабушка. Сейчас, сейчас. Дай повешу. (*Берет шинель*.) Спит Нюша, лучше ей, слава богу. Теперь уж на поправку дело идет. А та неделя, по правде говоря, очень была тревожная. Хорошо — Мите удалось достать пенициллин. Сейчас все, все в порядке, не волнуйся.

Шеметова. Что было?

Бабушка. Ах, милая. Такую грозу пронесло. Двустороннее воспаление легких. Дура нянька вывела после гриппа без шарфика. Я отовзраться поехала, а она, вообрази, без шарфика ее повела — такого ребенка слабого, который прямо на лету хватает болезни! Мало того — даже пальтишко не застегнула как следует!

Шеметова. Вы не писали, что она слабая.

Бабушка. Зачем же, Оля, мы будем писать. Когда ты ни приехать, ни помочь не в состоянии. Просто глупо терзать человека понапрасну. Хотя, если б Митя не достал пенициллина, — я бы телеграфировала. Предел есть такой, за которым скрывать нельзя. Теперь могу тебе сказать, она за эти годы чем только не переболела. Без докторов и лекарств просто дня не живем.

Шеметова. Где она?

Бабушка. Ты, наверно, хочешь руки помыть с дороги.

Шеметова моет руки.

(*Приносит чистое полотенце*.) Когда я писала, что дедушка болен, это никакой не дедушка, это она болела. Скарлатиной. Из-за этой скарлатины мы лишних два месяца просидели в Казани. Дедушка у нас молдцом. А Нюша вся в Митю, он тоже маленький вечно болел, а вы-

рос — и ничего, как ты знаешь. Он в командировке сейчас. Дня через три будет. Вчера звонил, справлялся о Нюше и нет ли от тебя чего-нибудь... Ну, пойдем. Я ее к себе забрала. А бабушка пока в вашей комнате, полный кавардак. Он несколько ночей около нее со мной дежурил. Не знаю, как бы я без него. Чужому в таких случаях не доверишь.

Стоят у Нюшиного изголовья.

Выросла?

Шеменова. Длинненькая... косточки мои...

Бабушка. Что худенькая, это ничего. Терпеть не могу жирных детей. Ты без этих, без погон,— значит, совсем, слава богу... Хочешь, сию же минуту эвакуирую бабушку из твоей комнаты? Затоплю тебе ванну, выкупаешься, ляжешь как принцесса. Все твои вещи в шкафу, в порядке, сама разбирала, ждут тебя, из моды только, конечно, все по-выходило. Хотя большинство пока одевается, знаешь,— кто во что горазд...

Шеменова. А можно, я тут где-нибудь лягу? Около нее.

Бабушка. Где ты хочешь, родная. Главное, что вернулась совсем. Господи, дождалась! И Гитлера разбила в пух и прах, и сама с руками и с ногами, и Нюше к твоему возвращению легче, вот как хорошо все. Ну, тебе покушать надо, я чайник поставлю и ванну затоплю.

Шеменова. Я сама, не хлопчите, ради бога...

Бабушка. А у Мити, он писал тебе или нет,— такое сейчас положение, так его ценят... Предлагали директорство. Он, конечно, отказался,— к чему ему, действительно, административная канитель...

Шеменова молчит. Бабушка ушла. Вернулась.

Олечка.

Шеменова. Да?

Бабушка. Бывают вещи, которые скрывать можно и нужно. Обязательно нужно! Ты меня поняла? Это ерунда, голубчик, будто все друг перед другом должны изливаться, всю свою подноготную выкладывать, и тогда будет гармония. Никакая это не гармония, а мещанская распушенность и нечистоплотность. Человек обязан в обществе вести себя опрятно. Если он уважает себя и других. Если он хочет укреплять жизнь, а не расшатывать. Оля, ты меня слышишь?

Шеменова. Да...

Бабушка. Поняла меня?

Шеменова. Да.

Голос Шеменной. А о том разговоре, что был у вас после моего отъезда, о разговоре с Арефьевым,— не хотите напомнить? Ну да, мне ведь о нем знать не полагается...

...Бакченин готов к отъезду: уложил чемодан, перебирает старые письма. Арефьев смотрит на него.

Бакченин. Вот и конец. Странно...

Арефьев. Что странно?

Бакченин. В частности — что мне двадцать семь. Я на днях сообразил. Еще не много, верно?

Арефьев. Смотря для чего.

Бакченин. Еще все можно наверстать при желании. Одно время мне казалось, что я уже лет сто живу-живу, из них девяносто девять воюю. *(Напевает.)* «Все, что было задумано, все исполнится в срок»... Да, вот так.

Арефьев. Что у тебя было задумано?

Бакченин. Жизнь у меня была задумана. Жизнь!.. Вопрос: на какой курс подавать, на пятый или четвертый?

Арефьев. Ты же четвертый кончил?

Бакченин. А что я помню? Через это решето все вылилось... На четвертый, на четвертый, Сергей Георгиевич! Только так! Затягивай, студент, пояс потуже.

Арефьев. Слушай, Сережа...

Бакченин. Если откровенно — не надеялся. Абсолютно! Считал — крышка. Кто-то выкрутится, а с вами, товарищ Бакченин, всё.

Арефьев. Неужели совсем не надеялся?

Бакченин. Верись — совсем.

Арефьев. Как же воевал? Чувствуя себя смертником? Вот бы никогда, на тебя глядя... И давно?

Бакченин. С самого начала. Когда первый раз услышал, как мяукает мина.

Арефьев. Да что ты.

Бакченин. О, мерзкий звук! Так и хочется крикнуть — ну на, жри!

Арефьев. А это не от страха?

Бакченин. Ну, знаешь! Пойди кому-нибудь скажи, что Бакченин трус! Пойди! Не веря вот настолько, что уцелею, — лез в самую кашу, к черту на рога, скажешь нет?

Арефьев. Ну да, нервы тянули — надо, не надо — к черту на рога.

Бакченин. Что ж, человек цивилизованный обладает повышенной реактивностью, это известно.

Арефьев. Слушай, цивилизованный человек, зачем ты соврал Оле?

Бакченин. Прошу тебя!

Арефьев. Ну-ну, скажи: зачем?

Бакченин. Ты что, письмо прочел?

Арефьев. Нехорошо!

Бакченин. А письма чужие читать хорошо?

Арефьев. А ты не расшвыривай, это раз. А во-вторых, письмо было от мужчины, не от женщины. А в-третьих, я чувствовал, вот чувствовал, что ты врешь, и хотел проверить. А в-четвертых, ты на вопрос отвечаешь: почему не сказал прямо? Чтоб она держала тебя за порядочного? Не обозвала прохвостом? И как это, я не понимаю, — получишь подтверждение, что жена умерла, что ее уже четвертый год на свете нет, и врать, не моргнув глазом, что она жива, наплести сказки про бомбу, про операции, чего ты еще там навертел... Уже одно это кощунство — покойницу поднять из могилы, чтоб она, понимаешь, в амурных твоих спекуляциях участвовала... Дух ее оскорбить...

Бакченин. Дух... ты что, в бога веруешь?

Арефьев. Тут не в боге дело, а в людях. В уважении к живым и мертвым. Я ведь трезво мыслю, без сантиментов. Раз ты так поступил, раз ты смог так с ней поступить, — я о живой говорю, — какой ты ей спутник, что у вас могло получиться лучезарного. И с этой точки зрения даже неплохо, что вы расстались сейчас, не потом, — но меня форма возмущает, ложь твоя возмущает!

Бакченин. Поверь мне: солгать было лучше. Поверь.

Арефьев. Никогда лгать не бывает лучше!

Бакченин. Ну положим... Ты учти характер. Гордость. Решительность. Тут правдой такого можно наделать... Именно уважая, да, уважая ее и щадя, — я солгал, да. Я и ей тоже — не только себе! — создал позицию для отступления.

Арефьев. Я понимаю, что ты ее не любишь и что она тебе сейчас лишняя.

Бакченин. Не надо. Тут все слова не те, не то. Не люблю? На веки вечные это будет самое святое воспоминание!

Арефьев. Что ж ты делаешь, спрашивается! Лети, догоняй, прося прощенья! Она простит, она в твоей путанице разберется! Сережа, такой человек полюбил тебя, идиота, по-настоящему, и ты этим швыряешься, для тебя пустячки?

Бакченин. По-настоящему... С ненастоящей, чтоб ты знал,— легче. Настоящая — это такая...

Арефьев. Обуза?

Бакченин. Ответственность.

Арефьев. Мужчина принимает ответственность как должное. За себя и за женщину.

Бакченин. Ты меня только прописями не долбай. Прописные истины — не для моего положения. Мне на голом месте начинать. Я должен быть свободен, чтоб заставить себя заниматься, заставить сидеть над книгами в Публичке, вообще переключиться с этой жизни на ту, не машины же мы, чтоб переключаться нажатием кнопки! Я должен иметь право существовать на стипендию — впроголодь, уже нет тех рук, что меня когда-то поддерживали. А учиться и работать — это значит ни то ни другое... Дома — одни стены, я эту свою шинель года три таскать буду и укрываться ею буду, а она с девочкой придет, представляешь — смотрят на тебя две пары глаз — муж! отчим! — а у тебя на яблоко нет ребенку... Девочка хорошо жить привыкла, у них там ученые все, и Оля привыкла, хоть и фантазирует, что ей, видишь ли, стекло не нужно, без стекла обойдется... И ее отношение к нашим отношениям. Она уже не разбирала, где ее рука, где моя. Где был, куда идешь, что прочел, что подумал... Ничего не имей за душой, все на стол, как деньги из карманов... Рабство!

Арефьев. Противоречишь себе. То ответственность, а то рабство.

Бакченин. А это звенья одной и той же цепи!

Арефьев. Подойди к этому всему с крупной меркой. Как она подходила.

Бакченин. Я — с крупной. Или она и все, что с ней и от нее. Любимое служение. Или — я чем-то стану стоящим. А двум господам служить не умею.

Арефьев. Не любишь. Себя, во всяком случае, любишь больше.

Бакченин. Жизнь мою, чудом сохраненную, больше люблю. Это преступление? *(Закрывает чемодан.)* Ну, так. Что ж, поцелуемся?

Арефьев *(целует его)*. Жалко мне тебя. Больше, чем ее. Гораздо больше. Может, полетишь все-таки? Попросишь прощенья?

Бакченин. Ты бы мог сообразить — в таких вещах не сознаются. Ах, боже мой, ухожу — и сколько за спиной остается, боже мой... Ну, еще раз. Прощай, дорогой. Не поминай лихом.

Арефьев. Прощай, Сережа.

3

Перед занавесом проходит начальник аэропорта, окруженный пассажирами.

Начальник аэропорта *(он притомился, но продолжает держаться молодцом)*. Я все, товарищи, понимаю. Но я же не бог, так? — чтоб по моему мановению переменялась погода.

Пассажир. Я летаю регулярно уже четверть века, сколько раз приходилось летать в метель, и ничего.

Начальник аэропорта. Летали в метель, совершенно верно, когда она не сопровождалась грозowymi явлениями. Речь идет о вашей жизни, товарищи. И мы уж вам натопили, какется. И ресторан к вашим услугам, хотя смена и не пришла и работники, что называется, выдохлись. И кресла у нас покойные. И для товарищей преклонного возраста персонал уступил свои помещения. Покушайте, товарищи, я вам советую, и вздремните. Утро вечера мудреней.

Прошли.

Декорация первого действия. Бакченин и Шеметова на лестничной площадке у окна. Вечер, пассажиры угомонились. Закрыт книжный ларек. За окнами в метели бродит прожектор.

Шеметова. Вот так-то.

Бакченин. Не выдержал, продал? Гуманист, глубокая совесть... И ты ему написала «спасибо»?

Шеметова. За то, что нанес последний удар?

Бакченин. Я говорил!.. Воображает, что сделал благородное дело!

Шеметова. Он хотел по-честному... Конечно, нелегко было, когда уехала. Так душно, так горько,— но и гордость была, что свое счастье отдаю обездоленной. И одинокой себя не чувствовала, и тебя не чувствовала чужим,— вокруг нашей жертвы свет был, я голос твой издалека слышала... Потом приходит это письмо от Арефьева. И оказывается: никакой моей жертвы нет, твоей тем более, жертвовать-то никому... Я принесена в жертву, одна я.

Бакченин. Что я скажу?

Шеметова. Теперь что говорить. Одну вы тогда допустили ошибку. Испугались, что обузой вам буду. А я уж, поверьте, что-что, а обузой никогда никому не была, в высшей степени это умею — не быть обузой.

Бакченин. Ты очень несчастлива?

Шеметова. Это выкиньте из головы. С тех пор как заставила замолчать посторонние голоса, все у меня прекрасно. Люди рядом тактичные, внимательные. Живем на основах взаимного уважения. Дай бог другим женщинам жить, как я живу.

Бакченин. Разрешите сказать — ты тоже сгоряча вела себя не очень правильно. Если сколько-нибудь мной дорожила, должна была бороться. Вразумить дурака.

Шеметова. Бороться? Против безрукой, беспомощной, вставшей из могилы?

За колонной, стараясь не шуметь, танцуют Алена и Колосёнок. Колосёнок держит ее одной рукой, в другой транзистор, звучащий чуть слышно.

Алена. Вы хорошо танцуете. Практика?

Колосёнок. Угу.

Алена. По дворцам культуры?

Колосёнок. Главным образом.

Алена. Мне нравится, что вы хорошо танцуете.

Колосёнок старается изо всех сил.

А какая у вас специальность? Не очень, как видно, пыльная, если вы главным образом по дворцам культуры.

Колосёнок. Вот именно пыльная. Я инженер-строитель.

Алена. Строите дома?

Колосёнок. Мосты.

Алена. Я строителей мостов не такими представляла.

Колосёнок. А какими?

Алена. Суровыми и могучими.

Колосёнок. Я по утрам упражняюсь с гантелями. А на работе я достаточно суровый.

Алена. Нет-нет, вам не надо суровости! Мне как раз нравится, что вы такой несуровый строитель мостов. Что это за музыка, я ее не знаю.

Колосёнок. Что-то такое из-за океана.

Алена. Говорят, на обоих полушариях метель. Вообразите метель над океаном. Громадные, громадные, бесконечные волны, и над ними снег несется, и эта музыка, и все кружится... и мы с вами кружимся, как снег...

У окна. Бакченин и Шеметова.

Бакченин. Обе были чужие. Я когда женился, думал: что ж, сейчас чужая, потом своей станет. Не стала ни одна! Кто вкусил, говорят, сладкого, не захочет горького. Я знал такое, что не перешибить ничем. Заслужил, не заслужил, но подарили мне однажды такое. Вот в чем дело. И уже никто твое место занять не мог. Возмездие мое в этом, должно быть. Говорю себе — есть же другие области, где я и хорош, и нужен, не сошелся свет клином на сердечных делах, на семейных! А старость передо мной стоит и говорит — все равно ты пустоцвет, все равно подохнешь — никто не заплачет...

Шеметова. Иной раз, если вдруг нарушится привычный ход вещей... вроде вот сегодняшней вынужденной посадки... Словно шел-шел, и вдруг стоп, и смотришь... и дико станет — что это мной так распорядились?.. Но это на минутку, не думай. Знаете, как бывает — заснешь, увидишь страшное и велишь себе проснуться.

Бакченин. Милая моя! До чего мне все близко, что ты говоришь. И про страшные сны. И про остановки, когда оглянешься и думаешь — зачем я, что мне разум затмило, да я ли то был? Чтоб я предал эти руки родные, эти глаза? Вся ты родная, все в тебе мое кровное, до ужаса кровное!

Шеметова. Что ты сделал!

Алена и Колосёнок танцуют.

Алена. Сказать, что мне в вас не нравится?

Колосёнок. Скажите, если не очень обидное.

Алена. Что в смысле поэзии у вас ничего за душой. Не обиделись?

Колосёнок. На правильную критику чего ж обижаться. Но, может быть, — каждому свое? У вас стихи, можно сказать, тоннами, а у меня зато вот этот маленький транзистор — сознайтесь, он веселей ваших стихов.

Алена. Транзистор ерунда, у каждого может быть. Хотя мне понравилось, как вы его к стати достали из чемоданчика — как раз когда мне захотелось танцевать.

Колосёнок. Я многое делаю к стати.

Алена. А что-нибудь еще у вас в чемоданчике есть развлекательное?

Колосёнок. Теперь придется завести. Мы ведь не навсегда расстанемся? Я буду приезжать в Москву.

Алена. Как мы летаем в Новосибирск! Даже чаще! Каждую неделю!

Колосёнок. Каждую неделю — затруднительно.

Алена. Ну, каждый месяц.

Колосёнок. Месяц — тоже не выйдет.

Алена. Я буду вас встречать на аэродроме и махать цветами! Вы по цветам издали увидите, что я тут!

Колосёнок. Я тоже хочу вам что-то сказать. *(Волнуется.)* У меня первый раз в жизни такая встреча. Вы верите в любовь с первого взгляда?

Алена. Конечно.

Колосёнок. А вы считаете меня человеком, который может дать счастье?

Алена. А какое счастье вы можете предложить?

Колосёнок. Могу, например, выучить наизусть все стихи этого, как его, который умер восемьсот лет назад.

Алена. Прекратите эти шутки. Что за серость, в конце концов. Для меня нет ничего выше искусства, знаете. Самое мое большое горе — что мне не дано таланта. Когда пробую писать, дрянь получается. Но я его все равно обожаю и буду обожать всю жизнь. Знайте!

Колосёнок. Я согласен. Вы будете обожать его, а я вас. Я постараюсь не быть серым.

Алена. Серым — нехорошо.

Колосёнок. Уж куда хуже.

Алена. Я вам скажу, каким должно быть наше счастье. Я терпеть не могу быта.

Колосёнок. В каком смысле?

Алена. В самом прямом. Отягощающем душу. Меня вполне устраивает, как мы живем тут: едим что придется, танцуем где попало...

Колосёнок. Что ж, условие приемлемое. Будем танцевать где придется и есть что попало. А бриться по утрам можно?

Алена. Бриться — да.

Нюша *(проходит)*. Алена, мы идем в ресторан чокнуться за папу. *(Колосёнку)*. Я вас предупреждаю — из этого не получится ровным счетом ничего.

Алена *(танцуя)*. Нюшечка, душечка, не порти мне мой лучший вечер.

Нюша *(Колосёнку)*. Не обольщайтесь. Все только треп от упоения жизнью.

Алена. Нюшечка, всё равно моя фамилия будет Колосёнок.

Нюша *(Колосёнку)*. Имейте в виду.

Колосёнок. Я очень благодарен, но простите, это, возможно, самонадеянно, даже неприлично, даже безумно с моей стороны, — но, может быть, вы ошибаетесь?

Нюша. Идешь, Алена?

Алена. Да-да, сейчас.

Нюша уходит.

Толечка, вы понимаете, я не могу пригласить вас на наше узкосемейное торжество. Еще, пожалуй, рано.

Колосёнок. Я понимаю.

Алена. Я только чокнусь.

Колосёнок. Я буду у двери.

Алена. Только чокнусь, и сразу.

В ресторане за столиком собрались бабушка, дедушка, Нюша, Линеvский.

Нюша *(Люсе)*. Еще бокал.

Смотрят на дверь. Алена прибегает.

Люся. Открывать?

Н ю ш а. Минутку.

Шеметова входит и садится.

Теперь можно.

Люся откупоривает бутылку. Летит пробка.

Д е д у ш к а. И так — за Митю.

А л е н а. За папу!

Пьют стоя.

С т а р у ш к а в о ч к а х (*проходя, с приятностью*). Поздравляю вас.

Ее благодарят поклонами.

А л е н а. Чудная штука шампанское. Ты опьянел — и радуйся, Хайям... Еще дадут?

Б а б у ш к а. Что-то он сейчас делает?

Д е д у ш к а. Выпивает и закусывает.

Н ю ш а. За наше здоровье.

А л е н а. Собрался весь городок, как в прошлом году, и пьют за нас, потому что нас нет, а без нас им гораздо хуже.

Б а б у ш к а. Ничего подобного. Он висит на телефоне и звонит на аэродром, а ему отвечают одно и то же: опаздывает...

А л е н а (*Шеметовой*). Ма!

Ш е м е т о в а. Ну?

А л е н а. Видишь, вон парень.

Ш е м е т о в а. Давно вижу.

А л е н а. Ма, он тебе нравится?

Ш е м е т о в а. То есть — тебе нравится.

А л е н а. Я думаю, я выйду за него замуж.

Ш е м е т о в а. Что ж, скатертью дорога, милости просим. Мы давно не чаем, как бы тебя пристроить.

А л е н а. Он строит мосты.

Ш е м е т о в а. Еще что?

А л е н а. Его зовут Колосёнок.

Ш е м е т о в а. Еще что?

А л е н а. Он в общем славный.

Ш е м е т о в а. Дурак ты мой маленький...

Б а б у ш к а. Ему говорят «опаздывает», и он не знает что думать.

Н ю ш а. Папа всегда знает, что ему думать.

Д е д у ш к а. Совершенно верно.

А л е н а. У шампанского есть одна особенность. Когда наливают, кажется, что через край, а осядет пена — оказывается, всего ничего, на донышке...

Н ю ш а. Не спешите. Подождет.

Б а б у ш к а. Налейте. У меня еще тост.

Дедушка наполняет бокалы.

За всех наших прекрасных детей, украшающих нашу старость. (*Хочет чокнуться с Линевским.*)

Л и н е в с к и й (*ставит свой бокал*). Не обижайтесь, что я не пью. Искренно, искренно хотел присоединиться к вашей радости, но не в силах. Я считаю, мне надо идти. Что ж я тут...

Б а б у ш к а. Как, пешком?

Л и н е в с к и й. Не так, в сущности, далеко...

Л ю с я. Что вы! Не дойдете.

Л и н е в с к и й. А, дойду как-нибудь.

Б а б у ш к а. Вас заметет.

Линевский. А, не заметет. По крайней мере к утру попаду на работу. Вы правы (*дедушке*), когда отношения накалены, то как работать? Невозможно...

Алена. Бабушка, почему этот человек плачет?

Бабушка. Он опоздал на похороны матери.

Алена притихает.

Дедушка. Когда я вам это говорил, еще ходили автобусы.

Линевский. А, не так страшен черт... Если только он меня не уволил. Скорей всего уволил. Скорей всего. Не в его характере не уволить. В его характере именно уволить. Так или иначе, я больше не могу сидеть и не знать. Это жизненно важно, вы понимаете?

Дедушка. С одной стороны — безусловно...

Линевский. И жена там изнервничалась... Да. Спасибо за участие, я пошел. От души вам желаю всего хорошего. Долететь благополучно. Вот так вдруг нечаянно встретишь людей... А тут вместе учились, с институтских лет на «ты»... (*Застегивает пальто, опускает наушники, натягивает перчатки, поднимает воротник.*) Еще раз. Всем. От души. (*Уходит.*)

Люся. Сумасшедший! Нельзя пускать.

Шеметова. Как же вы не пустите? Свяжете?

Люся. Не пускать, и все. Когда псих.

Бабушка. Совершенно разумный человек. Мы воззвали к его рас судку. Он предпочел идти. Его воля.

Люся. А если он чего-нибудь себе отморозит?

Бабушка. А если наши настояния будут иметь для него еще более роковые последствия? В серьезных случаях человек собой распоря жается сам.

Алена. Bravo, бабусь!

Люся (*сообразила и успокоилась*). Да он, правда, только нос вы сунет. Увидит, каково там, и вернется.

Но Линевский спускается по лестнице, идет к выходу, не останавливаясь и не раздумывая. Лишь на миг заколебался — перед дверью; но тотчас открывает ее решительным рывком, вихрь сверкающего снега врывается навстречу, словно предупреждая о том, что ему предстоит, — и Линевский исчезает в вихре.

...Метель кружит — теперь мы вынесены в нее непосредственно, здание аэровокзала, наполненное светом, как громадный фонарь, отдалается и гаснет в несущейся белой мгле, и через эту мглу, кружась с нею, защищаясь от ее ударов поднятым воротником и руками в толстых перчатках, упорно бредет Линевский, и ему навстречу, так же кружась и защищаясь, бредет другой человек, тоже с поднятым воротником и опущенными наушниками, такой же задыхающийся и упорный — начальник Линева ского. И вот они встречаются.

Начальник Линева ского. Линевский! Это ты! Линевский!

Линевский. Я не хочу тебя видеть, я не хочу с тобой говорить!

Начальник. Ты домой? (*Берет его за локоть.*)

Линевский. Нет, я на бал! Пусти, слышишь? Не хочу, не желаю!

Начальник. Ну вот видишь, ну как с тобой разговаривать, как? Ты же не можешь по-человечески! Я пробираюсь к тебе в такую погоду черт знает куда... а ты даже сейчас не можешь не дать почувствовать!

Линевский. Что почувствовать, что?

Начальник. Что ты со мной не считаешься ни на копейку.

Линевский. А ты, а ты?

Начальник. Ты мне даешь это чувствовать с первого дня, с первого дня, на каждом шагу. Это стало основным содержанием твоей жизни.

Линевский. А содержание твоей? Оно в чем заключается?

Начальник. Линевский...

Линевский. Ежеминутно напоминать мне, что я тебе подчинен!

Начальник. Линевский...

Линевский. Чтоб я как-нибудь вдруг о себе не возмечтал, вот содержание твоей жизни!

Начальник. Линевский, а что мне остается делать при твоём отношении?

Линевский. Подумать только, что с этим человеком мы когда-то вместе готовились к экзаменам!

Начальник. Линевский, а ведь могло быть так, что я был бы на твоём месте, а ты на моем? Сколько угодно! Ты — моим начальником? Вполне! Ты бы примирился с таким отношением? Ты бы мне прощал эти улыбки? Кому приятно?! Эти шуточки, укольчики при всем честном народе? Эти постоянные нарушения распорядка, направленные на что? — на подрыв моего авторитета!

Линевский. Ты можешь сейчас говорить мне о распорядке? У тебя поворачивается язык?

Начальник. Потому что ты доводишь. Ты думаешь, я бы тебя не отпустил в Одессу? Ты бы еще договорить не успел — я бы отпустил. Если б ты не состроил гримасу. В чем был смысл гримасы? В том, что вот она, насмешка судьбы, — ты, Линевский, такой, как ты есть, у такого, как я, должен просить разрешения на самые естественные, самые даже священные в глазах человечества поступки!

Линевский. Я...

Начальник. Линевский, по всей совести, положи руку на сердце — была гримаса?

Линевский. Если и была — произвольная.

Начальник. Тем хуже, тем обидней, неужели ты не понимаешь, а еще интеллигентный человек. Значит, неуважение ко мне вошло тебе в плоть и кровь.

Стоят под метелью.

Линевский. Ее опустили в могилу без меня.

Начальник. Знаю.

Линевский. По твоей милости.

Начальник (*отчаянно*). Знаю!

Линевский. Ты считаешь, ты этой историей укрепил свой авторитет и повысил мое уважение к тебе?

Начальник. Ты в своем ожесточении... не то говоришь... неподходящее к моменту. Я когда узнал, что ты не улетел, сидишь на аэродроме... Ну что, вот он я перед тобой, полные бурки снега! Сел ужинать — не могу! Лег спать — не могу!.. (*Вытирает глаза.*) Как будто у меня тоже не было матери...

Где-то далеко плач ребенка.

Линевский. Ты меня уволил?

Начальник. Какое это имеет значение. Приказ можно отменить в два счета.

Линевский. Ага, значит, все-таки есть приказ!

Начальник (*сморкается*). Тем более что местком уже опротестовал. Меня не эта формальная сторона интересует.

Линевский. Ах, тебя она не интересует! Ха-ха-ха-ха, она тебя не интересует!

Начальник. Я хочу договориться. Из-за тебя на меня смотрят, как на крокодила. Из-за тебя я действительно становлюсь крокодилом, ты меня вынуждаешь.

Линевский. Ха-ха-ха-ха, вы слышите? Я его вынуждаю быть крокодиллом!

Начальник. Линевский, я тебя прошу как человек человека — обращай со мной иначе. Хотя бы при людях. А, Линевский? Неужели ты не можешь пойти на уступки?

Линевский. Я не понимаю, чего ты от меня требуешь. *(Идет прочь.)*

Начальник *(идет за ним)*. Наедине, так и быть, давай своим нервам отдушину. Но только наедине, тет-а-тет, а, Линевский?.. Ладно, пусть при людях тоже. Критикуй меня на собраниях, черт с тобой. Но с улыбками покончим раз навсегда. Неужели трудно? С гримасами этими... а, Линевский?

Скрываются в метели.

..В опустевшем ресторане аэровокзала сидят за бутылкой шампанского Ньюша, Люся и Тамара.

Тамара. Главное — будь человеком. Ну позвони, скажи хоть два слова. Голос подай. Хоть знать, что не одна переживаешь...

Люся. А вдруг звонил: телефон-то испорчен.

Тамара. Настоящий человек раньше сообразил бы позвонить. Не ждал бы, пока испортится... Так, может, и неглубокое чувство твое. Может, просто тебе с кем-то в театр надо сходить. Но при всем при том — можно же проявить чуткость?

Люся. Я когда выходила за Славика, все говорили, уж выбрала Люська, при ее, говорят, знакомствах, когда двоюродный брат — летчик-испытатель, могла, говорят, поперспективней мужа найти. А я посмотрела-посмотрела — какие у них намерения, у перспективных? Что ни познакомишься, у него намерения абсолютно несолидные, или же вообще женатый. А у Славика с самого начала были серьезные намерения.

Тамара. На укладку и маникюр целый вечер просидела...

Люся. Оставляй на него дом спокойно, все будет в ажуре. Потому, что любит жизнь основательную. Обсади его красавицами со всех сторон, пусть там будут какие хочешь мировые звезды экрана, — он и не посмотрит. Ему без надобности. Ему абы его Люська с ним была.

Ньюша. Божественно счастливая женщина. Выпейте капельку.

Люся. Ой, дорогая, мне никак нельзя.

Ньюша *(Тамаре)*. Выпьем за ее счастье.

Тамара *(чокается неохотно)*. Чего за него пить, она и так им с утра до вечера хвастается.

Люся. Тамаронька, я не хвастаюсь, честное слово, просто оно само выпирает, я стесняюсь даже.

Ньюша. За вас и вашего мужа.

Люся. Ой! За это как не выпить, грешно прямо. *(Чокается.)* Я вас благодарю от нас обоих. *(Отпивает из бокала.)* Как-то они там, мальчики мои золотые. Мы тут кутим, а Виталик мой, бедняга...

Тамара. Хватит уже. Никак не примирится с мыслью. Утром в яслях дадут ему лопать. Трагедия!

Люся *(плачет)*. Я примирилась.

Тамара. Так нечего опять истерики устраивать.

Люся. Но может душа болеть?

Тамара. Нечего твоей душе болеть!

Ньюша. Хорошо, когда по такой причине болит душа. Иметь ребенка, быть с ним скованной неразрывно, всем для него жертвовать, дрожать за него — хорошо!

Люся. У вас нет?

Ньюша. Нет.

Т а м а р а. Не замужем?

Н ю ш а. Разошлась.

Т а м а р а. Подонок оказался?

Н ю ш а. Не прижился к нашей семье. И я к нему не прижилась.

Л ю с я. Мне ваша семья очень понравилась. Такие все приличные, вежливые.

Н ю ш а. Чужому среди нас трудно. С одной стороны — все ему как будто разрешается. С другой — сделай он что-нибудь, скажи что-нибудь не так, не в нашем духе, — начинает чувствовать себя... на другом берегу. Не объяснишь даже почему. Никто ему не делает замечаний, никто не дается. Сам чувствует... Чтоб с нами ужиться, надо быть очень нашего поля ягодой... либо уж вовсе толстокожим.

Л ю с я. А на мой характер, лучше откровенно высказать, если что не так. Это даже для здоровья вредно — в себе держать. Уж лучше поругаться. Поругаешься, потом помиришься... *(Прерывает себя.)* Тихо! *(Слушает.)*

Т а м а р а. Чего ты?

Л ю с я. Да нет. Померещилось.

Т а м а р а *(Нюше)*. Дайте сигарету... Я согласна: побывать замужем и развестись. Но мне не везет исключительно...

Л ю с я. Тихо!

Теперь уже все слышат далекий плач ребенка.

Это Виталик!! *(Встает дрожа.)*

Т а м а р а. Спятила. Откуда Виталик? Мало крикунов помимо Виталика...

Внизу открылась дверь, входит Славик с огромным свертком в руках. И Славик и сверток занесены снегом. Из глубины свертка несется крик. Спящие на скамьях подняли головы. Славик отряхает снег сперва со свертка, потом с себя, и обнаруживается одеяло, в которое поверх всего закутан ребенок, и милицейская форма Славика.

С л а в и к *(к пассажирам)*. Не скажете, где тут гражданка Сёмина? Сёмина. Она тут работает.

П а с с а ж и р ы.

— Кого он ищет?

— Какую-то Сёмину.

С л а в и к. В ресторане работает.

П а с с а ж и р ы. Мы, товарищ, пассажиры. Обратитесь к кому-нибудь из служащих.

С л а в и к. Официанткой.

Ребенок, притихший было, кричит снова. Выходит сонный Иван Гаврилович.

Вы, гражданин, здесь работаете?

И в а н Г а в р и л о в и ч *(всматривается)*. Ну.

С л а в и к. Личный состав знаете?

И в а н Г а в р и л о в и ч. Ну-ну.

С л а в и к. Не скажете, где находится гражданка Сёмина?

И в а н Г а в р и л о в и ч. Люся, зовут!

С л а в и к. Она не ушла домой?

И в а н Г а в р и л о в и ч. Не должна бы уйти. Наверх беги, в ресторан. По этой лестнице. Ну-ну! Гора не пришла к Магомету, так Магомет притопал к горе. Молодец!

Стуча сапогами, Славик идет к лестнице. Ему навстречу в смятении чувств сбегает Люся.

Л ю с я. Я сейчас упаду в обморок!

С л а в и к. Получай. Доставил.

Люся (*берет ребенка*). Маленький мой, маленький, жизнь моя, сейчас, моя звездочка, сейчас, мой цветочек, сейчас, сейчас... (*Ребенок кричит и ажно вскрикивает в глубине свертка.*) Пошли, Славик, пошли, я тебя в тепле посажу... Только бы он, не дай бог, не простудился, только бы не простудился...

Славик (*идя за нею наверх*). Не простудится. Я на него все наматал, что было.

Люся (*входит в ресторан*). Знакомься, Славик. Шинель вон там на вешалку повесь. Это мой муж Славик. Садись, Славик. Дайте ему выпить с холоду. А мы сейчас с Виталиком. Только бы не простудился!

Славик. Ты скорей. Он голодный.

Люся. Сейчас, сейчас... (*Уносит ребенка.*)

Нюша и Тамара смотрят ей вслед. Ребенок замолчал.

Нюша. Выпейте.

Славик. Спасибо.

Нюша. Замерзли?

Славик. Мы привычные. И мороз не так чтоб большой.

Нюша. Я думала, только матери способны на безумства ради детей.

Славик. Какое ж безумство. Иной раз еще и не в такую погоду стоишь на посту.

Нюша. Ну все-таки. Пятнадцать километров.

Славик. Так мы же не все пешком. Значительную часть расстояния в машине проделали. В скорой помощи. Там ребята в гараже знакомые. Говорю — так и так. Ладно, говорят, выручим. По городу машины проходят кой-как. Мы километров шесть пешком перли, не больше. (*Он держит бокал в большой красной руке и отхлебывает маленькими глотками.*) Орет и орет, что будешь делать. Мы с соседом и так и сяк. И пели ему, и качали, — знать ничего не хочет, требует мать. Закон природы. На улице замолчал сперва, потом опять в крик. Теперь уснет.

Молчание. В молчании мелодия колыбельной.

...Успокаивается метель.

...Ночь идет к концу, спят все: кто откинувшись на спинки кресел, кто подперев голову руками. Алена и Колосёнок — друг против друга в амбразуре окна. Продолжается только разговор Бакченина с Шеметовой.

Бакченин. И нельзя забыть?

Шеметова. Почему. Можно. Нужно.

Бакченин. Простить?

Шеметова. Нет.

Бакченин. А если бы...

Шеметова. Нет.

Бакченин. Поверь, Оля. До конца дней...

Громкий голос радио будит всех.

Радио. Внимание! Объявляется посадка в самолет ИЛ-18, следующий рейсом шестьдесят два до Ташкента. Пассажиры приглашаются к выходу на перрон.

Радостное оживление в зале. Одни устремляются к выходу, другие к окнам.

Женщина. Наконец-то!

Старушка в очках. Слава тебе, господи!

Алена проснулась и улыбается Колосёнку.

Алена. С добрым утром.
 Колосёнок. С добрым утром.
 Алена. Какие-то светлые перемены?
 Колосёнок. Похоже — полетим.
 Алена. Что-то я во сне видела симпатичное...

Бакченин и Шеметова.

Бакченин. Можно иногда писать тебе? Оля! Писать — можно?

Идет Нюша.

Шеметова. Вот что я бы хотела сделать на прощанье — познакомиться вас с моими дочками. Нюша!.. *(Представляет.)* Это старшая моя, Анна Дмитриевна Шеметова. Сергей Георгиевич Бакченин.

Бакченин. Та самая Нюша? Которая была маленькая?

Шеметова. Та самая, которая была маленькая. *(Нюше.)* Пошли сюда Алену на минутку.

Радио. Внимание! Объявляется посадка в самолет ИЛ-18, следующий рейсом восемьдесят четыре до Одессы. Пассажиры приглашаются к выходу на перрон.

Алена идет к Шеметовой.

Шеметова. А это Елена Дмитриевна Шеметова. Аленка, это мой фронтовой товарищ. Вот, посмотрите на нее. Если бы не стремление вечно играть какую-то дурацкую роль, совсем была бы ничего девушка.

Алена здоровается с Бакчениным за руку.

Пожелайте ей набраться ума, Сергей Георгиевич. Пожелайте, пожелайте ей добра, счастья, всего... Пожелайте. Может быть, другого случая не представится.

Бакченин. Можно поцеловать тебя, Леночка?

Алена *(слегка удивлена)*. Пожалуйста...

Бакченин ее-целует.

Ма?

Шеметова. Иди.

Алена *(вернулась к Колосёнку)*. Эти прелестные старики. Не знаешь, как реагировать на их выходки. Ну чего ради ему меня целовать? Какой-то мамин знакомый, первый раз друг друга видим...

Колосёнок *(ревнует)*. По человечеству его можно понять.

Алена. Девятнадцатый век. Леночкой меня назвал... Наши дед да баба гораздо современной, несмотря на почтенный возраст...

Радио. Внимание! Объявляется посадка в самолет ТУ-104, следующий рейсом четыреста семьдесят пятым по маршруту Москва — Новосибирск. Пассажиры приглашаются к выходу на перрон.

Шеметова. Наш.

Бакченин. Постой, Оля!

Шеметова. Прощайте, Сергей Георгиевич.

Бакченин. Вот сейчас... Сейчас объявят мой самолет... И полетим с тобой...

Шеметова. Не с чем нам лететь с вами.

Бакченин. А она?

Шеметова. Она — Елена Дмитриевна Шеметова. Прощайте. Всего вам хорошего. *(Уходит.)*

Алена *(Колосёнку)*. Ну вот. И обратно за облака. В голубое солнце.

Нюша *(подходит)*. Алена — всё. Живо.

Колосёнок. Я провожу!

Алена. Толечка, вы слышали — она сказала: всё. Сейчас она возьмет под руку бабушку, а я возьму дедушку, и мы двинемся чинной семьей. А вы мне отсюда в окошечко помашете. Итак... *(Протягивает руку.)*

Колосёнок. А адрес! Куда писать!

Алена. Да, адрес! Записывайте: Москва... Знаете что? Не надо.

Колосёнок. Как не надо?

Алена. Ну что мы можем друг другу написать? Лучше когда-нибудь где-нибудь встретимся нечаянно — лет через десять, двадцать, — обрадуемся, скажем — «сколько лет, сколько зим», — гораздо ведь интересней.

Нюша *(Колосёнку, дружелюбно)*. Не говорите, что вас не предупредили, чем этот роман кончится.

Алена. Зато как мы будем наш роман вспоминать! Как мы друг другу читали стихи... и басни, и как нам из метели улыбалось что-то... Ах, это с вашей стороны неталантливо — сердиться! Вы заставляете меня улетать с тяжелым чувством. Улыбнитесь, очень вас прошу, чтоб я улетела с легким чувством.

Колосёнок улыбается.

И дайте вашу руку.

Колосёнок дает руку.

До свиданья!

Нюша. Алена, опоздаем.

Бабушка. Девочки, вы скоро?

Алена. Бабушка — уже!

Колосёнок *(Нюше)*. До свиданья.

Нюша. Счастливого пути. *(Уходит, пропустив Алену вперед.)*

Алена *(возвращается, таинственно)*. Смотри же, в дешнем караван-сараяе своей любви случайной не забудь! *(Уходит.)*

Мы видим, как все члены семьи Шеметовых один за другим спускаются по лестнице и исчезают за дверью, ведущей на перрон.

Колосёнок машет в окно. К другому окну подходит Бакченин, смотрит. Сквозь пепельное утро на востоке проклевывается заря. Силуэт ТУ-104 взмывает в воздух. Грохот его моторов заглушает все звуки... Бакченин закуривает, набрасывает пальто, берет портфель и медленно уходит из зала.



С. МАРШАК

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЗИМОЙ В МОСКВЕ

Когда столицу выбелит зима,
Среди ее высоких, новых зданий
Под шапками снегов стоят дома —
Хранители прадедовских преданий.

Удивлены домишки-старики,
Что ночь полна гудков звонкоголосых,
Что не мерцают в окнах огоньки,
Что и зимою ездят на колесах.

Что до рассвета блещет ярче звезд,
Два берега соединив дугою,
Стальной узор — многопролетный мост
Над столь знакомой древнею рекою.

* * *

Не маленький ребенок умер, плача,
Не зная, чем наполнен этот свет.
А тот, кто за столом решал задачи
И шелестел страницами газет.

Не слишком ли торжественна могила,
С предельным холодом и тишиной,
Для этой жизни молодой и милой,
Читавшей книгу за моей стеной?

НАДПИСЬ НА КНИГЕ СОНЕТОВ

Ему и ей посвящены сонеты.
Но, не щадя восторженных похвал,
Ни друга, ни красавицы воспетой
Поэт в стихах ни разу не назвал.

Он им воздвиг высокий пьедестал,
Чтобы избавить от холодной Леты,
Но имени и явственной приметы
На мраморной плите не начертал.

А если бы сонетами своими
Он обессмертил дорогое имя,—
То, может быть, в грядущие века
Друзьям поэта отвела бы главку,
Стараясь посадить их на булавку,
Шекспироведа тощая рука.

К ПОРТРЕТУ

Этот взор глядит в пространство,
Улыбаясь блеску дня.
А с каким он постоянством
Столько лет встречал меня.

Но и в ту былую пору
Кротких встреч твоих со мной
Твоему живому взору
Открывался мир иной.

Был уютен дом твой скромный,
Скатерть с лампою на ней...
Но уж ты была бездомной
В тихой комнате своей.

Пред тобою путь был дальний
И не наш, не этот свет.
И ему такой печальный
Посылала ты привет.

* * *

Как лишний груз мешает кораблю,
Так лишние слова вредят герою.
Слова «я вас люблю» звучат порою
Сильнее слов «я очень вас люблю».

* * *

Я не смыкал часами ночью глаз
И мог бы рассказать про каждый час.
Двенадцать. Это звонкий час похмелий.
Кто слишком юн и слишком стар — в постели.

Час. Это час подруг, а не супруг.
Другим мешает спать томительный недуг,
Поездка дальняя, или ночная смена,
Или домашняя супружеская сцена.

Два. Это час для поздних расставаний,
А для проснувшихся — такой пустой и ранний.
Три. Это час, когда обычно спят.
Не спит, кто занят, болен, виноват.

Четыре, в дни, когда за дверью лето,—
Счастливей час прекрасного рассвета.
А если за окном стоит зима,—
Такая скучная бледнеющая тьма...

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

По-русски говорим мы с детства,
Но только Пушкина строка
Передает нам, как наследство,
Живую прелесть языка.

В начале жизни — на пороге
Мы любим сказок плеск морской.
И освежает нас в дороге
Прохладный ключ в степи мирской.

Загубленных десятилетий,
Что отнял вражеский заряд
У лучшего певца на свете,—
Тысячелетья не простят!

* * *

Меня волнует оклик этот вещий.
Доверено часам — бездушной вещи
Участвовать во всех делах людей
И, возвещая время с площадей,
Служить работе, музыке, науке,
Считать минуты встречи и разлуки.
И все, что нам не удалось успеть,
На полуслове прерывает медь.

* * *

Под деревом — какая благодать!
Под деревом со всей его листвою,
Готовой каждый миг затрепетать,
Подобно стае птиц над головою.

Под деревом сижу на склоне дня
И вспоминаю дальние кочевья.
И шумом этих листьев для меня
Шумят давно забытые деревья.

Под деревом хотел бы я найти
Заслуженный покой в конце пути.



Б. МОЖАЕВ

★

ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА

Повесть

1

Федору Фомичу Кузькину, прозванному на селе Живым, пришлось уйти из колхоза на Фролов день. Уж так повелось у них в семье — все несчастья выпадали как раз на Фролов день. Или кто из предков сильно согрешил в этот праздничный день, или двор стоял на худом месте, кто его знает. Но не везло Живому больше всего именно в этот престольный праздник. «Вам село сменить надо, милоч,— посоветовал как-то Живому дед Филат.— Вы люди пришлые... не того престолу, стало быть. Бог-то и забывает вас на этот день. А сатана тут как тут, крутит, значит, свою карусель-от...»

Но Живой и не думал менять село. В Прудках он родился и вырос. Пришлым-то был его дед. Он лапти хорошо плел, а под Прудками лутошки — пропасть. Дед лапти плел, бабка онучи ткала, продавали... Так и скопили деньжат, срубили себе избу — семиаршинку, в которой и поныне жил Фомич. И расставаться с этой избой Живому было никак невозможно по причине «отсутствия всякого подъема», как он сам говаривал. Зажитка не имел. Отец его и дядья, может, и поднялись бы на ноги, кабы не этот проклятый Фролов день.

Было их три брата: Фома, Николай и Емеля. С весны отходили они в город, были холодными сапожниками. Хорошо зарабатывали. Однажды на Фролов день сели гулять: подвесили к потолку четверть водки и лили из нее в глиняные кружки. За выпивкой стали горячиться: Николаха запросил у Фомы бабушкин надел земли, доставшийся ей от какого-то бездетного дяди. У Николахи семья была большая, а у Фомы всего один ребенок. Но так как бабушка жила у Фомы, она ему и надел этот отказала. «Зачем тебе чужая земля? Ты и свою не обрабатываешь... Отдай!» Ну, слово за слово — и сцепились. А Николаха был такой силы, что упаси господь. Бывало, они с Емелей ездили на реку за колодником. Навалят воз под дугу. Сани завязнут — Николаха распряжет и скажет: «Пусть лошадь померзнет, тады она лучше повезет». Свяжет оглобли чересседельником и сам впряжется. «Ты, Емеля, пошатай сани, а то я с места не возьму». Емеля шатает, а Николаха как упрется лаптями, аж оглобли трещат. Уж коли стронет с места, то и везет до самых Прудков, а лошадь сзади идет.

Так вот они и сцепились, значит, с Фомой. Николаха тиснул его разок и положил на скамью. Тот и притих. Потом с неделю полежал и помер. Так и остался Федор Фомич сиротой. Поначалу, правда, им с матерью Емеля помогал. Да недолго.

Николаха выдавал старшую дочь. Свадьба была как раз на Фролов день. И здесь братья опять погорячились: заспорили, кто больше водки выпьет? Николаха выпил шестнадцать тонких стаканов, а Емеля — пятнадцать. На шестнадцатом стакане свалился под стол и помер.

Это все большие несчастья. Но случались на Фролов день беды и поменьше. В двадцать четвертом году Живой, тогда еще подросток, убил свою лошадь. Прежде на Фролов день в Прудках кропили лошадей и объявлялись по такому случаю скачки. Призы ставились: то ведро водки, то баран, то стан колес — мужики миром покупали. Обгонялись на прогоне — широкой неезжалой дороге, по ней обычно скот гоняли на пастбища к лесу. А в тот год как раз на прогоне столбы телеграфные поставили. И были они еще не в привычку.

Фомич стал обгоняться на паре — соседскую лошадь кропить пристегнул. «Одна отставать станет, другая подтянет», — подумал еще.

Разогнал он свою пару шибко, в азарт вошел — порода уже сказывалась в нем. А с хитрецей гнал: из порядка вывел своих лошадей, да на обочину. Здесь, мол, никто не помешает. И надал. И как уж перед ним столб вырос, совсем объяснить не мог. Только помнит — летит он прямононько на столб. И свернуть уж никак невозможно, потому что свой Буланец влево забирает, а соседский Пегач вправо тянет... Перетянул все-таки Пегач. Буланец ударился лбом об столб, а Фомич — кувырком через голову. Когда очнулся, Буланец лежал возле столба уже бездыханный...

Все это вспоминал теперь Фомич, сидя у окошка. В избе было непривычно безлюдно. Ребята ушли в школу, младшие вместе с соседскими табунились на улице — босоногие, а иные и без штанов. Хотя ветерок поосеннему был свеж, им ничто... Хозяйка перед домом провевала на ватоле гречиху.

Гречиху привезли сегодня с колхозного тока — шестьдесят два килограмма. И это все! Весь заработок. На семь ртов. Чем же их кормить целый год?

Вчера вечером председатель сказал: «Пшеницу не ждите — еще и с государством не хватит рассчитаться...» А рожь давно уж свезли, да на семена оставили. Картошки тоже не жди — вымокла. Оно, конечно, кто в поле работал, тот и себя не забывал. Опять же на лугах мужики сеном подразжились, да и бабам кое-что перепало. А Живой работал вроде бы экспедитором колхозным — все в разъездах: то мешки добывал, кадки, то сбрую, то телеги... Мало ли нужд в хозяйстве? Писали ему по два, а то и по три трудовня. По трудовням-то вроде бы и ничего — вместе с женой выколотил восемьсот сорок палочек. А заработал шестьдесят два килограмма гречихи... Как жить? «Чудно теперь платят, — думал Фомич. — Раньше хоть поровну всем давали на трудовень... А теперь — бригадиру оклад больше тысячи, — опять деньги дают, а которые в поле ходят или вот, как я, на посылках, — этим шиш. Кто чего сам достанет...»

Он и раньше догадывался, что трудовень пустым будет, все хотел махнуть из экспедиторов куда-нибудь к хлебу поближе. Но — прохлопал ушами, прособирался... А теперь уж поздно — все пусто. И аж до нового урожая ничем особенно не разживешься.

Да ведь оно, если с другой стороны посмотреть, не больно и взяли бы его на прибыльную работу: там сила нужна, ловкость. А у него на правой руке два пальца от войны осталось. Не ладонь, а клешня. Конечно, приспособиться-то можно было бы... Хотя на подвозке зерна. А там в обед принесешь в рубахе да вечером в карманах. Все-таки поддержка. А теперь чем жить? Своей скотины — одна коза. Что делать? Выходит, один-разъединственный выход — уходить из колхоза.

Трудная для Живого пора пришла с новым председателем Гузёнковым. В прошлом году объединили их колхоз с соседним, правление перевели в Свистуново, а председателя прислали нового, из района. Был он человеком важным, внушительных размеров и знаменитым на весь район. Кажется, все районные конторы по очереди возглавлял Гузёнков — и председателем райпотребсоюза был, и заведующим заготскота, и даже директором комбината бытового обслуживания. Величали его Михаилом Михайловичем... И все позабыли, что когда-то его звали в Тиханове попросту Мишкой Монтером. Откуда он взялся — никто не знал.

В тридцать втором году старую паровую мельницу, чадившую посреди Тиханова, переделали в электростанцию. Ничто не изменилось во внешнем облике грязного кирпичного здания, похожего на большую кладовую, только железная труба над крышей стала потолще и повыше. И вместо частого попукивания да тяжкого сопения мукомольного паровика теперь из этой кладовой раздавались отрывистые, резкие звуки: хх-тяп! хх-тяп! Словно кто-то там дрова колот да с хрипотцой «хакал». И в такт этому редкому «хх-тяп!» вспыхивали и гускнули на селе электролампочки. А на улицах Тиханова появился в замасленной тяжелой кепке Мишка Монтер. Вскоре его выдвинули в райком комсомола как редкостного в Тиханове представителя рабочего класса. И постепенно Мишка Монтер испарился... Через два года на месте электростанции снова заработал старый мукомольный паровик. А Михаил Михайлович Гузёнков прочно утвердился на руководящей линии.

Случай свел их с Фомичом в первые же дни председательства Гузёнкова. Конечно, виноват был во всем Живой, а точнее — язык его.

Гузёнков первым делом решил ввести в колхозе твердые оклады всем руководящим работникам, учетчикам, животноводам. И — чтоб сразу почувяли дисциплину — вызывал всех по одному в кабинет и «выдержку давал»: садиться не приглашал, но сам сидел и подолгу расспрашивал.

А прудковские как пришли в Свистуново гурьбой, так скопом и ввалились в кабинет к Гузёнкову, расселись кто на стульях, кто прямо на корточках вдоль стен. Привыкли при Фильке Самоченкове... Гузёнков долго разглядывал их с любопытством, потом как ахнет ладонью по столу:

— Вы что, в свинарник пришли или в кабинет к председателю? Марш отсюда! И заходить строго по одному... По вызову.

Выходили от него хмурые и бросали недовольно собравшимся возле крыльца правления:

— Сам сидит, а тебя столбом держит... Начальник!

— А все почему? Потому как под порогом академию кончал, — съязвил Живой. — По коридорам прошел, а в класс не пустили. Под порогом в мусоре копался да ума-разума набирался. Оттого и сердитый.

Кто-то донес Гузёнкову. Он и взъелся — не дал Живому оклада, на трудоднях оставил. Да еще приказал бухгалтерии: за каждую поездку отчет особый на экспедитора составлять и подавать ему, председателю. «Смотри, чертов сын! Зенки вылупишь, а не поймаешь», — думал в сердцах Фомич. Он и раньше не крал — учен. Законы вон какие! Кому сидеть в тюрьме хочется? Деньги не рожь: концы, как ни прячь, а видны. Корнеич у них дошлый счетовод — любую бумажку насквозь видит.

Хотел бы Живой на ферму учетчиком уйти. Опять не пустил Гузёнков: там повольготнее и прибыльнее — оклад! Словом, обложил председатель Живого, как борзятник русака. Сколько ни беги, а конец один — выдохнешься и упадешь...

И опять — уйти из колхоза, а чего делать? Ехать на сторону, на заработки ежели — не подымешься. Да и не пустят. Здесь просить под-

ходящую работу, за деньги чтоб? Но у кого просить? И кто даст? Коли уж уйдешь из колхоза, то и просить не у кого. А коли останешься, все равно до точки дойдешь. Вот и выходит: куда ни кинь — все клин. И опять выпало на Фролов день. «Значит, судьба меня пытает», — думал Живой.

И он окончательно решил уйти из колхоза. Неправда, где-нибудь, да устроится! А когда решился, стало ему и немного легче, и как бы веселее. «Судьба мне опять поставила точку на Фролов день, а я ей — запятую, запятую...» Он даже встал и потянулся было к балалайке, хотел сыграть «Хас-Булат удалой». Но вовремя вспомнил: сосед из района приехал. Как бы не ушел в луга. Пойти надо... Может, угостит по случаю праздника

2

Угощение вышло в самый аккурат. Хозяин, Андрей Спиридонович Кириллов, по-уличному просто Андрюша, только заправился перед лугами и теперь прилаживал возле порога деревяшку к своей культе. А на столе стоял граненый графинчик мутновато-синей самогонки, да рядом в тарелке был нарезан пирог с калиной.

По тому, какую привязывал Андрюша деревяшку к своей культе, Живой сразу определил: косить собирается. У Андрюши было две деревянные — одну он называл «ложей», вторую — «ступницей». Ложа — деревяшка отполированная, с длинным плоским поручнем, похожим на гладильную доску, — под самое бедро подходила эта доска. Андрюша пристегивал ее двумя ремнями к бедру, а на конец ее важно опирался рукой. Эту ложу Андрюша надевал на работу в райфо или когда просто прогуляться хотел. Теперь ложа стояла возле порога, а пристегивал Андрюша ступицу — деревяшку коротенькую, с медным кольцом на конце. На этой ступице Андрюша мог и косить, и пахать, и даже приплясывать.

Андрюша жил и работал в районе, а к матери приезжал помочь по хозяйству. Ей выделили из колхоза гектар с четвертью лугов за сданного телка. Выдавали, правда, за телят чего останется от покоса. Но и то благо. Иначе — своди коров со двора.

— Сено косить собирается, Андрей Спиридонович? — спросил участливо Фомич, поздоровавшись.

— Угадал, — ответил тот. — А ты чего не на работе?

— А я уж отработался чистую... То есть на общественную обязанность рукой махнул.

— Проходи к столу, сосед, — пригласила его тетка Матрена, сутулая, но еще крепкая старуха — мать Андрюши. — Выпей с праздником-то.

— За ваше доброе здоровье, как говорится. — Живой прошел к столу, налил себе сам полный стакан, выпил, отломил кусок пирога, понюхал и стал закусывать.

Пирог был горьковат, поторопилась с калиной-то тетка Матрена. А от самогонки шибало жженой резиной. Но Фомич выпил с удовольствием и уплетал за обе щеки, продолжая рассказывать, как он решил махнуть рукой на общественную обязанность.

Андрюша наконец приладил свою деревяшку, притопнул ею, словно сапогом, да еще шуточку завернул:

— Хорошо тому живется, у кого одна нога: и портка его не рвется, и не просит сапога.

Андрюша был тяжел телом, и когда шел, то половицы жалобно поскрипывали. «А что, ему и в самом деле хорошо живется», — думал Живой, глядя на Андрюшину красную шею, на всю его мощную фигуру, перетянутую поперек живота широким командирским ремнем.

— А ты твердого задания не боишься? — спросил Андрюша, присаживаясь к столу.

— Чего у меня брать-то? Шоболов охапку?! — Фомич шмыгнул на табурете и хмыкнул.—Да и не слышать теперь, чтоб твердое задание давали.

— А ну как и вышлют?

— А там есть советская власть?

— Там комендатура.

— Ну так я помощником коменданта буду...

— Чего ж ты хочешь?

— Мне бы работенку такую, как у тебя. Телом я сохну, подобрать хочется. Вроде тебя.

Андрюша засмеялся, и грудь его даже затряслась:

— Куда уж тебе! Ты погляди-ка на себя...

Живой перед Андрюшей был, что старый мерин перед битюгом. Андрюша был весь белый, с широкой блестящей лысиной, с розовым крупным лицом. А Фомич — аспидно-желтый до черноты, со впалыми щеками, костлявый, черноусый, черноволосый и оттого казавшийся еще более худым. Он и в самом деле смахивал на заморенную в работе лошадь. И мослы у него выпирали в плечах и на спине как-то буграми, по-лошадиному. Одни только карие глаза были бойкие, молодые и впрямь живые.

— Я инвалид гражданской войны, а ты Отечественной. Разница! — говорил, усмехаясь, Андрюша.— Я до войны устраивался. Тогда на инвалидов дефицит был. Наш брат в цене ходил.

Андрюша разлил остаток самогона по стаканам. Выпили.

— Что ж ты будешь делать? — спросил он Фомича.

— Да вот сел я ноне и задумался. Куда ни кинь — все клин. Хлеба нет. Одежка-обувка у ребятни поизносилась. Купить — денег нет... Как жить? Вроде бы один выход: живым в могилку лечь, как поется в песне. Нет, стой! — думаю. Есть выход! Подойдет базар — пойду я, куплю себе корову, а денег под расписку возьму. Молоко ноне почему? По три рубля за литр. Ежели продавать в день по шесть литров, дак и то за пять месяцев я корову-то оправдаю. Возвращу, значит, деньги сполна. А коров я определять очень даже умею. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть вьется. Ежели развилок начинается на холке, значит, меж молок ходит до четырех недель. А ежели развилок на спине, более семи недель до отела гуляет. Дрянь корова, лодырь! Потом колодец прощупать надо — ямка такая есть меж утробы и груди, в конце жилы, значит. Ежели палец большой по сгиб погрузнет — пуд молока в день даст. Ну еще на хвост погляжу — на кончике самом размахни шерсть: ежели серка есть, масляная корова! Сутки постоит молоко — клади медный пятак, не потонет. Вот какую корову я себе выберу!

— Так за чем же дело стало? — улыбался Андрюша.

— Да дело-то за сущим пустяком. Теперь денег надо мне взаймы попросить, тыщи три. Решил я начать с соседей, с тебя то есть. Дай мне тыщу с возвратом на полгода? А я тебе — расписку... По правилу составлю.

Андрюша оглушительно захохотал:

— Да тебя и впрямь не тужа мать родила. Ну ж ты, Живой, дьявол! Ох, уморил совсем! А я было уши развесил...

— Нет у вас ко мне никакого понимания, — со вздохом и прискорбием сказал Живой.

— Слушай, пошли со мной сено косить! Я тебе положу по рублю за сотку... Вот тебе и заработок. Да еще дам пуд пшена. Как, согласна, мать? — обернулся Андрюша к старухе.

— А что ж, и больно хорошо! — отозвалась от печки тетка Матрена. — Я, чай, и то подумала: нанять бы кого. А сам-то поезжай в район. Своих дел у тебя по горло.

И Живому и Андрюше сделка пришлось по душе. Они хлопнули по рукам и отправились в луга. Кроме кос и брусков, Андрюша прихватил пол-литра водки, а Фомич ружье.

— Вечерком с устатку выпьем на покосе, — сказал Андрюша.

Луга были далеко. Покос за телят выделял колхоз за Лукой — длинным, затейливо изогнутым озером-старицей. Когда-то там были наилучшие луга, и не раз из-за них прудковские мужики дрались с заречными — бреховскими мужиками. А теперь эти луга заросли кустарником — лутошкой да калиной на буграх и ольхами в низинах. А там, где и осталась трава, стояли вразброс одинокие дубки. Трактор туда не пустишь — ножи у косилок порвет. Косами выкашивать колхоз не успевал. Вот и отдавали их колхозникам за сданных телят.

Дорога туда вела вдоль реки Прокоши, петлявшей затейливо туда-сюда, будто из озорства. Пологие песчаные берега, заросшие на гривах красноталом, шиповником и черной смородиной, перемежались голыми, иссиня-сизыми глинистыми крутоярами, похожими издали на неровно срезанный толстенный конопляный жмых.

У Кузякова яра Андрюша и Живой сели отдохнуть. Припекало. Прохладный с утра ветерок окончательно стих, и густое, еще по-летнему вязкое марево колыхалось над приречными талами, над свежей сочной зеленью отавы, над буровато-желтыми приземистыми стогами. Отсюда, с высокого берега, дальние заречные стога выглядели неестественно маленькими, похожими на кочки. А широкие речные плесы, светлые, словно открытые напоказ, казалось, еще шире разлились. Просторная, в яркой, нарядной зелени равнина будто еще далее раздвинулась до самой синей каемки леса, чистый зеленовато-холодного оттенка небосвод еще выше поднялся, во всем была какая-то щедрость и мощь. Но бурые, прибитые дождями стога вызывали грустное чувство. А может быть, невесело было еще и оттого, что во всем просторном небе висел один-единственный коршун и свистел протяжно, с переливами: «Фью-юти-и-и и рлю-рлю-рлю!» Казалось, что коршун дразнил кого-то и подсмеивался.

— Эх, природа-мать! — вздохнул Живой. — Ты вот что скажи: отчето земля добра, а человек так жаден?

— Ты про что это? — Андрюша сидел у самого обрыва, свесив свою ступицу, и бросал в воду глиняные комья.

— Да хоть про Кузяков яр. Ты знаешь, какие тут сомы живут? Страсть! А взять — не возьмешь. Был единственный человек, кто умел их брать, — Кузяк. Да и тот помер. И вот уж какой жадности был человек — помирал, а секрета своего не открыл. Так и унес в могилу, чтоб ему ни дна ни покрывки.

— А ты пробовал, выпытывал у него?

— Не однова! Не открылся... Да что мне? Сыну своему родному секрета не выдал! Я ему и шахи чинил, и самогонку ставил... Нет! А чего пожалел, спрашивается? Хоть бы из уважения к моему многодетству открылся. Знал бы я его секрет... Э-ге! Мне бы теперь ни один колхоз не страшен был. Поймал бы сома пуда на четыре — и живи не тужи.

— А я ловил с ним сомов один раз, — сказал Андрюша.

— Да ну! Это с какой же стати он пошел с тобой?

— Я ему по налоговой части услугу одну оказал, — уклончиво ответил Андрюша и, хитро прищурившись, спросил: — Ты знаешь, как насадку делать на квок?

— Еще бы! Я и в книжке читал... Все по частям уяснил.

— На чем ракушечье мясо жарить?

- На постном масле.
- А какой ниткой перевязываешь приманку?
- Обыкновенной... — Фомич подумал и добавил: — Шерстяной.
- Запомни!.. Нитка должна быть чисто льняная.
- Эх, черт! Это он тебе сказал?
- Да.
- Ну, а дальше? — Живой так и впился глазами в Андрюшу. — Сомов-то вызывали?
- Вызывали... С самого дна поднялись. Кругами пошли возле лодки. Один прямо на весло лег.
- И здоров был?
- Голова с конное ведро...
- Эх, дьявол! Как же он его брал? Ты мне скажи, как он приманку подавал? Вот об чем ни в одной книжке не сказано.
- Руку опустил в воду по локоть. Подержал немного, а потом говорит: мол, сытый сом... Не сосет, а выплевывает.
- Ах ты мать честная! — Живой хлопнул досадливо себя по коленкам. — Это он тебе глаза отвел. Нет! Разве Кузяк расскажет? Это ж не человек — колода!

Утки вышли из-за кривуна внезапно; держались они, хоронясь от коршуна, близко к воде, так что Живой бил по ним как бы сверху. Две утки кувыркком полетели прямо в воду, а третья потянула от косяка в сторону к тому берегу. Вдруг она пронзительно закричала, и тотчас же в нее ударил коршун, будто треснула сухая палка, — так сильно шелкнул ее, даже перья полетели... И понес низко, скрылся за тальниковыми зарослями, как за угол дома завернул.

— Вот дак подлец, — сказал Живой вслед коршуну. — Вот так вот и живут. Видал, как взял? Будто все так и надо... Для него я только и старался, подстрелил утку. — Фомич долго смотрел туда, вытягивал шею. — Эх, маненько переплыть-то не на чем! А то бы я ему показал, как на чужое зариться.

Достав уток, Живой засуетился:

— Может быть, не станем откладывать до вечера? А ну-ка утки пропадут?! Давай-ка уж сварим их и того... выпьем! Все-таки нынче Фролов день. А уж выкосить — я тебе выкошу один.

Андрюша поколебался только для приличия, самого-то уж размариwала давешняя самогонка.

— Ну что ж, накину тебе еще тридцатку, — согласился он.

— Уток-то у нас две, а бутылочка одна. Чуешь, что получится? Закуски много, а водки не хватит. Давай-ка эту тридцатку мне сейчас. И я как бы от себя поставлю, угощу тебя... Магарыч, х-хе!

— Как хочешь. — Андрюша вынул из кармана бумажник и протянул Живому красненькую.

— А ты разводи костер. Я в момент обернусь. Тут не более трех километров, до Прудков-то. Не более. А насчет лугов не беспокойся. Так выкошу, что гривенник за десять шагов увидишь. Вот okazия! Кажись, впервой подфартило мне на Фролов день.

И Живой радостно засеменял в Прудки.

Весть о появившемся в Прудках вольном косце мгновенно разнеслась по селу. Доярки, занятые по горло на ферме, бывало, нанимали пришлых косцов — то демобилизованных солдат, то шабашников. А тут свой объявился. И к Фомичу повалили с заказами, больше все доярки — горькие вдовы. У кого не было пшена, обещали дать картошку или рожь — Фомич

все принимал. Сперва брал задаток и, чтоб другой работу его не перехватил, окашивал деляну заказчика, выстригал рядок на окраине, как шерсть на овце,— метку ставил и шел дальше. «Теперь кто и наймется, со мной будет дело иметь. Так-то оно спокойней»,— рассуждал Фомич.

А соперники у него нашлись. Первым притопал дед Филат. Ранним утром, когда еще роса дымилась возле кустарников, не успев как следует осесть на траву, Фомич встретил его на делянке Маришки Бритой. Дед сидел на охалке сена возле выкошенной Фомичом метки. Из-за голенища его кирзового сапога торчала деревянная ручка смолянки. Над головой на дубовом суку висела коса.

— Ты чего, дядь Филат, ночевал тут, что ли? — спросил Фомич.

— А хоть бы и ночевал... Я, Федька, сна лишен начисто. Мне что ночь, что день — все едино.

— И лежал бы себе на печи. Зачем сюда пришел?

— Делянка-то моей племянницы, Маришки.

— Ну и что?

— Как что! Косить пришел.

— Ты что, только очнулся? Она ж мне ее сдала. Где ж ты был раньше?

— Где я был — не твоево ума дело. И не пытай меня, Федька. Молод ишо. А косить будем вместе. И деньги поделим. Не то у меня и портка латать нечем. Да куфайку справить надо к холодам-от.

— Ты, чай, дядь Филат, на четвереньках косить-то станешь,— усмехнулся Живой.

— Шшанок! — побагровел дед Филат. — Передом пойдешь — пятки подрежу.

Дед Филат был сух, погибист, с жиденькой сквозной бороденкой, с мелкими конопушками на простынно-белом морщинистом лице. Когда он сердился или смеялся, у него было одно и то же выражение странно растянутых в каком-то застывшем оскале губ. Кто видел этот оскал впервые, тому казалось, что дед Филат беззвучно плачет. Жил он один, два сына погибли в войну, старуху похоронил уже после... Пенсии не получал, потому как был колхозником и сыновья были когда-то колхозниками. Перебивался дед Филат кое-как: зимой салазки мастерил, а летом корзины плел да сети, больше все однокрылые шахи, или «кулики», как называли их в Прудках. Сети он сам дубил соком плакун-травы.

— Против моих сетей ваш капрон что камыш перед лозняком,—говаривал дед Филат. — Палка скорее изопреет, а сети мои будут стоять.

И хотя дед Филат еще и не видывал этот самый капрон, а только слышал про него, сети его могли бы и в самом деле посостязаться с капроновыми — служили они долго, и брали их хорошо.

Но нынешним летом велась борьба с браконьерами и лодырями. Каждое село выявляло своих лодырей. Нагрянули и к деду Филату. Приехала подвода из района с двумя представителями. Привел их свой — Пашка Воронин, прудковский бригадир. Нагрузили целую телегу этих шахов. И нитки забрали подчистую...

— В колхозе надо работать, дед, а не тунеядствовать,—назидательно говорил деду Филату незнакомый представитель в фуражке с дубовыми листьями.

Дед Филат услужливо крутился возле телеги, помогал увязывать сети.

— Мотри, Пашка, кабы на ухабе не трянуло; под колесо попадет кулик — кольца поломает, — наказывал он бригадиру.

— Чудак! — усмехнулся начальник в фуражке с дубовыми листьями. — Что мы, покупаем у тебя сети, что ли? Или на хранение везем? Мы ж конфискуем... Понимаешь?

— Отчего ж не понимать! Везите, везите, — деревянно бормотал дед и долго смотрел вслед телеге из-под ладони, оскалившись — то ли плакал, то ли смеялся...

Фомич понимал, в каком положении оказался дед Филат, и теперь находился в трудном раздумье. Оно бы надо поделиться с дедом, коли по-людски поступать. Да ведь и себя жалко. Там своих ртов полна изба: каждое утро разевают — дай! А кто ему, Фомичу, даст? Он сел возле деда, закурил.

— У тебя, дядя Филат, смолянка-то, поди, с единоличной поры осталась? — Живой вытянул намоленную дощечку из-за голенища деда Филата. — Их уж никак лет двадцать не продают?

Смолянка была черная, целенькая, как новая.

— Перед войной старшой привез мне две штуки со стороны, — сказал дед Филат. — Одну-то я исшоркал.

— Ну-к, я попробую! — Живой упер в носок такого же расшлепанного, как у деда Филата, кирзового сапога кончик косы и стал точить неровное жало.

Вжить, вжить, вжить... — звонко отдалось на другом берегу озера. Потом Фомич поставил косу на окосье и, задирая кадык, наточил конец.

— Хорошо! Бруском точить, что ни говори, не сручно. Коса у меня зараза: два раза махнешь — и садится. У тебя, поди, еще венская? — Фомич с завистью посмотрел на источенную, узенькую, как змейка, косу деда Филата.

— На ней два кляйма! — важно сказал дед Филат.

С минуту молчали, глядели за озеро на почерневшие от дождя стога...

— Ну и лето было! Сено в стогах гниет, — сказал Фомич.

— Какие это стога! Это ометы, а не стога. Три хороших навильника — вот и весь стог. Их дождем прошибает. А сверху преют, и поддоннику много остается. Сажают их ноне там, завтра тут... тьфу! — Дед плюнул, бросил окурок и затоптал его сапогом. — Все луга испятнали. Раньше, бывало, стог поставим — на десяти подводах не увезешь. Вот это стога стояли... Выше дубьев! И всегда на одном месте.

— Это верно, — подтвердил Фомич. — Поначалу меня в колхозе, в нашей бригаде то есть, все вершить стога ставили.

— Какой из тебя вершитель! Ты еще сморчком был. Лучше попа Василия у нас в Прудках никто не вершил. И адоньи он клал сам. Все снопы клал гузом вниз. Скирду к скирде, бывало, выведет — стоят, как зализанные. Год простоят — и ничего с ними не сделается. Мастер был.

— Да-а... Мы его с Воронком брали. Он — председатель комбеда, я секретарь сельсовета... «Власть, говорит, пришла, матушка. Собирайся!» — «Нет, говорим, только тебя, отец Василий. одного до сельсовета». — «А там уж ждут нас обоих», — говорит поп. И точно. Там уж полномоченные ждали его, из района приехали. Все знал. Пронзительного ума был человек.

— Промзель, это точно, — согласился дед Филат. — Ну, посидели, Федька, и будет...

Дед Филат встал, скинул с себя драную фуфайку, снял с дерева косу.

— Значит, передом пойду, как договорились.

— Это где ж мы с тобой договаривались? — Живой разинул рот от удивления.

Но дед будто и не слышал... Коротко ударил с угла раза два косой, закосил рядок и пошел вдоль деляны.

Косил он неожиданно легко, с подсадом и аккуратно выкладывал траву.

«Вот те и напарник незванный пришел. Ну что ж с ним делать? За рубаху его не оттащишь,— думал Фомич.— Ему ведь тоже кормиться надо».

Живой было резво пошел за дедом, но по его захвату, как нарочно, рос густой рябинник и торчало много высоких порыжелых кочетков. Трава перестоялась, а рябинник так и вовсе у корней был что твоя проволока, аж коса звенела. Того и гляди пятку порвешь. Разов десять махнешь, а там уж коса не берет, мусатит траву — и шабаш. Фомич поминутно останавливался, вынимал брусок и точил косу. А дед Филат без остановок все смолит и смолит, аж рубаха пузырится — вон куда ушел!

«И что за коса у него? — думал Фомич.— Прямо змея. И дед еще при силе... жилистый! Это он на вид такой: дунешь — упадет. А гляди ты, как уписывает. Оно, пожалуй, кстати, что помощник сыскался. Не то вон намедни выкосил Андриюшину деляну — время согреть да в стога метать, а с кем? Дуню не посадишь на стог — не свершит. Самому придется и навивать, и вершить, и утапывать. Налазаешься со стога да на стог так, что язык высунешь. А деда посажу — и за милую душу. У него и вилы хорошие есть — четырехрогие, стоговые. Теперь таких не купишь».

Когда Фомич закончил свой рядок, дед Филат уже отдышался.

— Ну что, Федька, ешь тебя лапоть! Али я не говорил тебе, что пятки порежу?

Дед Филат сидел с открытым ртом, как гусенок в жаркий полдень; на груди и на спине его синяя облезлая рубаха потемнела от пота.

— Коса у тебя — золото! — сказал Фомич, вытирая рукавом пот. — На всем рядке ни одной заточки. Ей-богу, не поверил бы, кабы кто сказал.

— Я в прежние годы с этой косой, Федька, пол-России выкашивал. И на Дон ходил, и на Кубань, аж до самых Кавказских гор. Наши рязанские косцы высоко ценились. Бывало, приду к хохлам на базар, где они косцов нанимали, напишу на лапте: пятьдесят копеек — и спать ложусь. Кому нужно — бери. Меньше ни в какую. Не согласен — и точка!

Косили с передышкой долго, пока солнце под уклон не пошло. И только тогда, перед уходом домой, дед Филат признался:

— Я ведь на перехват к тебе пришел, Федька.

— А кто ж еще хотел? — насторожился Фомич.

— Спиряк Воронок...

— Чего ему не хватает? — нахмурился Фомич. — Все хапом норовит.

— Вчерась я ходил на скотный двор. Он вертится, как бес хромоногий. Подмигивает мне: «Пойдем, говорит, калым с Фомичом делить на покосе».

— Я ему поделю! Окосьем по зубам, — кипятился Фомич.

— А если, говорю, он несогласный? Тогда что? Тогда, говорит он, председателю донесу. Ни мне, мол, ни ему.

— Испугал председателем!

— Мотри, ноне вечером он к тебе нагрянет.

— И на порог не пушу блинохвата, — сказал Фомич.

Но вечером, уже при свете, Спиряк без стука прошмыгнул в избу к Живому. Было ему уже далеко за шестьдесят, а он все еще ходил в Спиряках. Ну, Воронком еще звали. А ведь в былые времена должности хорошие занимал! Да и теперь хоть и работал скотником на ферме, но, поскольку приходился старшим братом прудковскому бригадиру,

силу Спиряк имел большую. В его облике было что-то барсучье: вытянутое вперед тупоносое лицо с черными усами и белой бородкой, скошенный низкий лобик и плотно лежащая, словно зализанная седая щетина коротких волос. И в повадке Спиряка было тоже нечто барсучье — в избу войдет, как в нору юркнет. Не услышишь... Встанет у порога и крутит головой, словно принюхивается. И кланяется так, будто голову протягивает, того и гляди — укусит.

— Добрый вечер, хозяева! Хлеб-соль вам.

Фомич с Авдотьей ели пшеничную кашу; дети нахлебались в первую смену, уже отвалили от стола и копошились тут же, на полу.

— Проходите в избу, раз уж вошли, — сказала хозяйка. — Чего стоять у порога? За постой деньги не платят.

Фомич промолчал.

Спиряк сел в передний угол и бесцеремонно заглядывал в чашку.

— Никак пшеничная каша? А я пашано на блины пускаю.

— У нас не то что на блины, на кашу нет его, пашано-то, — сказала Авдотья.

Фомич отложил ложку, глянул круто на Спиряка.

— Ты чего в ревизоры лезешь? Довольно и того, что твой брат обирает колхоз.

— Ну, брат мой по пуду пашано со двора не собирает. Это у нас раньше только поп Василий огребал по столыку, — едко ухмыльнулся в бороду Спиряк Воронок.

— Да вы с Пашкой и мертвых обираете!

— Это что еще за мертвых?

— Памятники с могил потаскали... Тот на фундамент, а ты на подвал.

— То церковные памятники... с крестами. Камень, и больше ничего. А то — пашано. Да еще по пуду.

— Вы возами везете! — крикнул Фомич.

— Эка хватил! Непойманный не вор. Мы по закону живем, — продолжал усмехаться Спиряк. — А коли прав человек — он спокоен. Не шуми. Ну, чего волнуешься? Какой я тебе ревизор?.. Авдотья! — сказал Спиряк иным тоном. — Ну-ка, выйди на двор да детишек заberi. Нам потолковать надо.

Авдотья, десять лет проработавшая на ферме в ту пору, когда Спиряк Воронок был еще заведующим, привыкла выполнять его приказы автоматически, как старая кавалерийская лошадь выполняет давно заученную команду. И Спиряк уж не начальник, а сам водовоз, и Авдотья не доярка, а давно уж домоседка с вечно опухшими, искривленными какой-то непонятной болезнью пальцами, но все ж приказ сработал: она встала из-за стола и торопливо повязала платок.

— Ты куда? — Фомич хмуро кивнул на скамью. — Садись! Какие у меня могут быть с ним секреты?

Но детей он все-таки выпроводил.

— Гуляйте! — подталкивал Фомич ребятишек в спины, тихо шлепал по затылкам — кроме четырех своих, в избе играли еще двое соседских.

Когда ребятишки, гулко протопав сеньями, выскочили на крыльцо, Фомич сказал:

— Нечего и начинать. Бесплезный разговор.

— Кто ж тебя упредил? Филат, должно быть?

— Кулик на болоте.

— Я ведь вот к чему разговор веду, Авдотья. — Спиряк нарочно обращался теперь к хозяйке. — В каждом деле разумный оборот должен быть. А он не понимает.

— Вижу, какой тебе оборот нужен... Где что плохо лежит — у тебя брюхо болит, — зло сказал Фомич. — Но здесь не отколется.

— Вчера братана встретил, — глядя на Авдотью, сказал Спиряк. — Он говорит: мол, Фомичу самовольный покос запретим. А за то, что на работу не ходит, оштрафуем.

— Господи, что ж это будет, Федя?

— Тебя не спрашивают... Молчи! — цыкнул на жену Фомич.

— А я Пашке говорю, — мягко продолжал Спиряк Воронок, — Фомич многодетный, ему тоже кормиться надо. А на покос выделим ему напарника и оформим это вроде как общественную нагрузку. И все будет по закону.

— Эх ты, обдираала, мать твою... — Фомич длинно и заковыристо выругался.

— Ну вот, я ему выход подсказываю, а он меня к эдакой матери шлет. — Спиряк Воронок смотрел на Авдотью, словно Фомича тут и не было.

— Ладно, передай Пашке — я деда Филата беру в напарники, — сказал Фомич.

Воронок дернулся, словно его током ударило, и пошел в открытую:

— Косить будешь со мной и делить все пополам... Понял? Или...

— Иди ты... Я с тобой еще раньше наработался.

— А что раньше? Мой комбед на хорошей заметке был.

— Ты скольких туда отправил? Ваську Салыгу, к примеру, за что?

— Он лошаадьми торговал.

— Не торговал, а больше менял, как цыган. Доменялся до того, что с одной кобылой заморенной остался... Я зн-а-аю, за что... — Фомич остервенело погрозил пальцем. — Ты боялся, кабы он тебя не выдал.

— В чем?

— Бреховских лошадей в двадцать седьмом году не вы с Лысым угнали? А Страшной их в Касимове сбыл.

— Это вы по своему примеру судите, — невозмутимо и вежливо сказал Спиряк Воронок. — Петру Лизунину кто отпускную дал? Ты! Уж, поди, не задаром?

— Зато ты, как Лизунин сбежал, все сундуки его подчистил. Небось еще до сих пор не износил лизунинские холстины? А я не жалею, что отпустил его. Он вон где! В Горьком пристанью заведует. И дети у него в инженерах да врачах. А у тебя один сын, да и тот в тюрьме сидит за воровство.

Спиряк Воронок покрылся багровыми пятнами, встал, зло нахлобучил по самые брови кепку:

— Ты и раньше был подкулачником... Обманом в секретари сельсовета проник. А теперь ты — туняец. Мы еще подведем тебя под закон. Подведем!..

Он вышел, не прощаясь, сильно хлопнув дверью.

— Что ж теперь будет, Федя? — жалобно спросила Авдотья.

— Ничего... Бог не выдаст — свинья не съест.

Фомич понимал, что его короткому благополучию скоро придет конец. «Но как бы там ни было — отступать не буду. Некуда отступать», — думал он.

На другой день к обеду, когда Фомич с дедом Филатом докашивали делянку Маришки Бритой, на высоком противоположном берегу озера появились дрожки председателя колхоза. Сам приехал — Михаил Михайлыч Гузёнков. Он привязал серого в яблоках рысака возле прибрежной липы и с минуту молча разглядывал косарей, словно впервые

в жизни видел их. Фомич и дед Филат тоже стояли на берегу и разглядывали председателя; над камышовыми зарослями торчали их головы на тощих журавлиных шеях, широко расставив толстые в желтых хромовых сапогах ноги, сложив руки крест-накрест на выпирающем животе, обтянутом расшитой белой рубахой, в белом парусиновом картузе. Ниже в воде такой же мощный председатель стоял ногами кверху на картузе, и казалось, он-то, этот нижний, отраженный в воде, и есть настоящий — стоит на голове и держит на себе липовую гору.

— Ну, чего уставились? Давайте сюда! — поманили пальцем оба председателя.

— Нам и тут хорошо, — сказал дед Филат.

— Чего там делать? — отозвался и Фомич.

— Идите, идите... Я вам растолкую, чего делать, — мирно уговаривал их Михаил Михайлыч.

— Ты на лошади, ты и езжай сюда, — сказал Фомич.

— Буду я еще из-за вас, бездельников, жеребца гонять.

— Ну и валяй своей дорогой, раз мы бездельники... А нам некогда языки чесать. — Живой вскинул косу на плечо и пошел прочь.

За ним подался и дед Филат.

— Куда! — рявкнул Гузёнков так, что рысак вскинул голову и мелко засеменял передними ногами. — Стой, говорю!

— Ну, чего орешь? — Фомич остановился.

Дед Филат нырнул в кусты.

— Ты кто, колхозник или анархист? — распаялся Гузёнков.

— Я некто.

— Как это некто? — опешил председатель.

— Из колхоза пятый день как ушел. В разбойники еще не приняли...

Кто ж я такой?

— Ты чего это кренделя выписываешь? Почему на работу не ходишь?

— Ты сколько получаешь? Две с половиной тысячи? Дай мне третью часть, тогда и я пойду в колхоз работать.

— Брось придуриваться! Добром говорю.

— Ежели хочешь по-сурьезному говорить со мной, езжай сюда. Сядем под кустом и потолкуем. А кричать на меня с горы не надо. Я на горе-то всяких начальников видел. Еще поболе тебя.

— Ишь ты какой храбрый! Значит, от работы отказываешься?

— А чего я здесь делаю? Смолю, что ли, или дрыхну?

— Комедию ломаешь. Вот вызовем тебя на правление, посмотрим, каким ты голосом там запоешь.

— Ни на какое правление я не пойду! Я же сказал тебе — из колхоза я ушел. Насовсем ушел!

— Не-ет, голубчик! Так просто из колхоза не уходят. Мы тебя вычистим, дадим твердое задание и выбросим из села вместе с потрохами. Чтоб другим неповадно было... Понял?

— Понял, чем мужик бабу донял, — усмехнулся Фомич. — А избу-то мою, чай, под контору пустишь? Все ж таки я буду вроде раскулаченного.

— Посмеешься у меня! — Председатель рывком отвязал рысак, сел на дрожки и, откидываясь на вожжах, покотился вдоль озера.

По тому, как, скаля зубы, закидывал голову терзаемый удилами рысак, по каменной неподвижности налитого кровью стриженного затылка председателя можно было заключить, что уехал он в великом гневе.

— Ну, Федька, таперь держись, — сказал дед Филат, из-под ладони проводяя строгого председателя.

Изба Фомича стала подаваться как-то враз. Вроде бы еще в прошлом году стояла исправной, а нонешней весной, когда Фомич откидывал высокий, почти до окон, завалинок, он вдруг заметил, что нижние венцы выпучило, словно изнутри их кто-то выпирал.

— Обрухателя изба-то. Впору хоть ремнем ее подпоясывай,— невесело доложил он хозяйке.

А к осени сильно просела почерневшая от времени и копоты матица, и по ночам в ветерную погоду, когда тоскливо подвывало в трубе, матица сухо поскрипывала, словно кряхтела натужно.

— Федя, подопри ты матицу,— жаловалась в такую пору Авдотья.— Прихлобучит нас вместе с ребятами. Не выползешь.

Спала она с детьми на печи, а Фомич — на деревянной кровати, если ее можно было назвать кроватью. Длинной она была не более полутора метров, хотя и занимала весь простенок, до самой двери. Дальше нельзя — некуда! Изба-то семиаршинка... На такой кровати не вытянешься.

По ночам рядом с кроватью он ставил табуретку и протягивал на нее ноги.

— Жить захочешь — научишься изворачиваться,— любил приговаривать Фомич.

После встречи с председателем у озера Фомича вызывали в правление колхоза на центральную усадьбу в соседнее село Свистуново. Но Фомич не пошел. Там решили заглазно — исключить его из колхоза и утвердить это решение на общем собрании. Утвердили. А колхозникам запретили сдавать Кузькину свои телячьи деляны лугов для выкашивания. Так была нарушена неожиданная статья дохода Живого. Но Фомич посмеивался:

— Ничего, Дуня! Вот теперь я начну избу ухетовать. Спасибо им, хоть от работы меня освободили.

Жизнь не больно баловала Фомича. Детство трудное — сиротское. В юности не успел как следует погулять, как его и женили. Повезли венчать. Как ехали — в тулупах,— так и вошли в церковь. На Фомиче старый отцовский тулуп тащился полами по ступеням паперти, а воротник и вовсе упрятал его голову так, что одна шапка выглядывала. «Пудоросток, как есть пудоросток,— сокрушенно вздыхала мать, идя за ним вслед,— невестка и то, кажись, поболе его будет».

А священник, встретив эту робкую, прижавшуюся в углу свадебную процессию, спросил весело:

— А где жених-то, чады мои?

Кроме Фомича, из мужиков был еще только отец Дуняши — мужчина рослый, с окладистой седой бородой. Пришедшие поглазеть сдавленно прыскали и прикрывались ладонями, будто крестились. Мать толкнула тихонько Фомича в спину:

— Ён, батюшка, только на вид пудоросток, а так парень живой.

Поп громко засмеялся:

— И наречен был Живым?

— Живым, батюшка, Живым,— ляпнула с перепугу старуха под общий уже несдержанный хохот.

— Если живой, значит подрастет,— бодро сказал поп.

С тех пор и прозвали Фомича Живым...

А после свадьбы он и в самом деле подрос, на работе вытянулся. Год вместе с молодой женой батрачили они у свистуновского маслобойщика, а потом купили корову с лошадей и зажили своим хозяйством.

Эти первые годы после женитьбы были затяжной и веселой погоней за достатком.

— Мы тройкой везли, — говаривал Фомич, вспоминая об этом времени. — Лыска коренником шла, а мы с Дуней — пристяжными.

Эх, Дуня, Дуня! Это теперь ты стала на вздохе скорой да на слезы слабой... А раньше, как зяблик, от зари и до зари колокольчиком заливалась, веселей тебя не сыскать...

Удивляли они прудковцев тем, что на втором и на третьем году замужества все еще ходили по весенним вечерам на припевки. Собиралась молодежь на Красной горке возле церковной ограды. Фомич приходил с хромкой на плече, Дуня в желтых румынках, в цветном платочке да в безрукавной продувной кофточке. Живой, бывало, пригладится к гармонисту, своему ли, чужому ли, все равно. Снимет гармонь — ухо к мехам... Да как ахнет! И голос в голос угадывал — как вольется. И две гармонии играют, как одна. А Дуня только того и ждет, ее не надо упрашивать. Как бы нехотя снимет платок, лениво поведет плечами и пойдет по кругу с притопом, только дробь от каблуков горохом сыплется:

Гармонист, гармонист, тоненькая шейка!
Я спляшу тебе страданье — играй хорошенько.

А с лавочки глуховатым мягким баритоном отзывался Живой:

Ты, залетка-залетуха,
Полети ко мне, как муха...

— Вот живые, черти! — ворчали на завалинках бабы. — Детей уж пора нянчить, а они все еще ухажорятся.

— До женитьбы не успели, теперь отгуляем. Мы свое возьмем, — отвечал Фомич.

И на работе в колхозе, и в первые годы на воскресниках Дуня отличалась. Бывало, пойдет бороздой за сохой картошку сажать — от сохи не отстанет. Идет, как на привязи — мелким шажком, корзина на груди, а руки так и порхают от корзины да в борозду. Только корзины поспевай нагружать. Ребятишки на погляд сбегались, когда она сажала картошку. Ни одна ни девка, ни баба по всему колхозу не смогла бы угнаться за ней в борозде. Недаром и ее прозвали Живой. Была она смолоду, как и Фомич, смугла лицом, с быстрыми, серыми, глубоко посаженными глазами. За то ее мать Фомича, острая на язык старуха, прозвала «Долбленые глаза». Потом пошли дети с такими же серыми «долблеными» глазами. И так уж получилось — вся тяжесть по домашнему хозяйству, «по поению-кормлению», как говорил Фомич, легла на Авдотью. Сам он скоро отошел от колхозных дел, поскольку получил продвижение «на руководящую линию», потому как был из батраков, бедняцкого происхождения.

Это батрацкое прошлое не только не принесло удачи Фомичу, но даже совсем наоборот — можно сказать, сыграло с ним злую шутку. В первые годы безбедной жизни в колхозе, когда выдавали еще по двенадцать пудов на едока, Фомича направили в сельсовет секретарствовать. Платили самую малость — сапог яловых не справишь. А кирзовых еще не продавали, делать пока не научились. Потом и вовсе худо стало: в Прудках сельсовет закрыли, и Фомич стал работать в свистуновском сельсовете. Каждое утро и вечер пять верст по лугам туда-сюда бегал. «Я теперь, как дергач, — говорил Фомич, — тот своим ходом на зимовку бегаёт, а я — на работу. Только вот еще крякать не научился». — «Зима

подойдет — небось закрикаешь, — отзывалась старуха. — Одеть-то нечего. Пеньжак вон ветхий, хорошенько дунь в него — разлетится, как сорочье гнездо». — «Счастье, мать, не в пеньжаке». — «А в чем?» — «Кто его знает».

Фомич и в самом деле не знал, в чем счастье. Когда был маленьким, думал: счастье — это большой дом с хорошим садом, как у попа, откуда пахнет летом сиренью да яблоками, а зимой блинами. Стал подрастать, думал: счастье — это жениться на Дуняшке. Но не успел еще как следует помечтать, а его уж оженшили. Потом он мечтал заработать много денег, закупить лошадей, коров, построить большой двор, совсем как у Лизунина. Но, работая секретарем сельсовета, Фомич знал, что год от году в колхозе берут поставок все больше и больше, и колхоз слабел. Мало того, поначалу всем колхозникам хлеба давали столько, что жить можно было. На едоков, значит. А приработок шел тому больше, кто работал лучше. А теперь? Теперь бригадирам да всяким учетчикам платят много, а таким, как Фомич? Как же может быть в таком колхозе всем хорошо?..

В тридцать пятом году Фомича послали как выдвиженца на двухгодичные курсы младших юристов. Однако не прошло и года, как всех недоучившихся курсантов стали направлять председателями в колхозы. Фомича направили в лесной колхоз мещерской полосы. Всю жизнь Фомич хозяйствовал на черноземе да на лугах. И что у него за хозяйство было? Земли — свинья на рыле больше унесет. А тут колхоз, да еще лесной... К этому времени Фомич стал кое-что понимать — тот председатель хорош, который и начальство подкрепит сверхплановой поставкой, и колхозников сумеет накормить. А для этого великая изворотливость нужна. И главное — крепкая основа хозяйства: либо земля сильная, либо промысел какой доходный. Тогда еще можно продержаться. Но поехал Фомич в тот мещерский колхоз, поглядел: земля — подзол да болота. Зима подойдет — мужики обушок за пояс и пошли в отход. Своя земля и раньше не кормила. Чего же Фомич там сотворит? На чем развернется? А ведь осень подойдет — сдай хлеб государству и мужикам выдай. Это какая же изворотливость, какая голова нужна? Нет, здесь он не потянет. И Фомич наотрез отказался идти в председатели. Тогда его отчислили с курсов, и приехал он в Прудки с подмоченной репутацией, как «скрытый элемент и саботажник».

А вскоре и беда пришла. В тридцать седьмом году по случаю первых выборов в Верховный Совет был большой митинг в районе. Приезжал сам депутат — финансовый нарком. Мужики, съехавшиеся со всех сел по случаю базарного дня, густо запрудили площадь, в центре которой на дощатой трибуне стоял депутат, и зорко подмечали, что росту нарком был с Ваню Бородина, самого высокого мужика из Свистунова, что шапка была на наркоме бобровая, а папиросы он курил «эдакие вот, по сковороднику».

После митинга обещали выкинуть на лотки белые булки. Но булок этих оказалось мало, и когда подошла очередь Фомича, продажа кончилась. Фомич прочел вслух вывеску над ларьком: «Потребсоюз», и сказал: «Нет, это потрёпсоюз». Вокруг поднялся смех. Тогда к Фомичу подошел представитель РИКа и сказал: «Прошу пройти за мной». На лбу у него не было написано, что он эдакий представитель, и Фомич послал его подальше. Представитель взял Фомича за воротник полущубка... Живой в драке был мужик отчаянный. Он захватил руку этого представителя, нырнул ему под мышку и кинул его так через себя, что у того аж калоши с хромовых сапог послетали. Раздались свистки, и Фомича забрали.

Судила его тройка за «антисоветскую пропаганду», да еще в «период подготовки к выборам». Припомнили ему все: и «скрытый элемент», и саботаж, то есть отказ от председательства. И отправили на пять лет в тюрьму по «линии врага народа».

Но Живой и в тюрьме не застрял. В тридцать девятом году в финскую войну многие из заключенных подавали заявления в добровольцы. Фомич тоже написал. Дело его пересматривали и освободили. Но пока заседали комиссии, пока ходили туда-сюда запросы: «Был или не был в лишенцах?», «Выступал ли против коллективизации?» и прочее — пока освобождали его, и финская война окончилась.

Однако повоевать успел Фомич вдоволь в большую войну. Принес он с войны орден Славы и две медали. А оставил три пальца с правой руки...

Перебирая дни и годы своей жизни, он сортировал их, как тальниковые прутья для корзины: те, что побольше, поважнее, — на стояки шли, помельче — в плетенку. Отброса вроде бы и не было — все деньки истрачены на дело.

Вот и теперь по ночам Фомич на себе приволок из-за Луки несколько дубовых бревешек, подправил нижние подопревшие венцы и, главное, сделал подпорку под матицу — пусть хоть хозяйка спит спокойно.

Вместе с холодами постучала в избу Живого и тревога — пришла повестка: явиться в райисполком на «предмет исключения».

6

День выдался слякотный: с утра пошел мокрый снег вперемешку с дождем. Промерзшая накануне земля осклизла и налипала на подошвы. Фомич осмотрел свои ветхие кирзовые сапоги и решил привязать резиновые подошвы сыромятными ремнями: дорога до Тиханова дальняя — десять километров. В такую пору не мудрено и подошвы на дороге оставить. Фуфайку он подпоясал солдатским ремнем — все теплее будет. А поверх, от дождя, накинул на себя широкий травяной мешок. Вот и плащ! Да еще с капюшоном, и шлык на макушке. Как буденовка.

— Ну, я пошел! — Он появился на пороге.

Как увидела его Авдотья в таком походном облачении, так и заголосила:

— И на кого же ты нас спокидаешь, малых да старых? Кормилец ты наш ненаглядный! Ох же ты злая долюшка наша... По миру итить сиротинушкам!..

— Ты что вопишь, дуреха? Я тебе кто — покойник?

— Ой, Федя, милый, заберут тебя и посадят... Головушка моя горькая! Что я буду делать с ними, малолетними? — Авдотья сидела за столом облокотясь и, торопливо причитая, пронзительно взвизгивала.

Меньшой, Шурка, зарылся в материнские колени и тоже заревел.

— Глупой ты стала, Дуня... — как можно мягче сказал Фомич. — Ныне не тридцатые годы, а пятьдесят третий. Разница! Теперь не больно-то побалуешься... Вон самого Берию посадили. А ты плачешь!.. Смеяться надо.

И махнув рукой на квелость своей хозяйки, Живой ушел из дому. «Ну, что теперь преподнесет мне Семен Мотяков?» — думал он по дороге.

Председатель райисполкома Мотяков был годком Фомичу. В одно время они когда-то выдвигались — Мотяков работал председателем

сельсовета в Самодуровке. Потом вместе на юридических курсах учились. В одно время их направили и работать председателями колхозов. Только Фомич тогда отказался от своего поста, а Мотяков пошел в гору...

Живой понимал, что с Мотяковым шутки плохи: тот еще раньше лихо закручивал, а после войны, окончив в области какие-то курсы, и вовсе грозой района стал. Его любимое выражение: «Рога ломать будем! Враз и навсегда...» — знал каждый колхозный бригадир.

«Ну и что? А у меня и рогов-то нету. Все уже обломано... Поскольку я комольй, мне и бояться нечего», — бодрился Фомич.

На исполкоме он решил держаться с вызовом. «Для меня теперь чем хуже, тем лучше. Ну, вышлют. Эка невидаль! На казенный счет прокачусь. А там и кормить хоть баландой, да будут».

Вымокшим, продрогшим до костей пришел Живой в Тиханово. РИК размещался в двухэтажном кирпичном доме посреди райцентра.

Живой как был в мешке, так и вошел в приемную.

— Кто меня тут вызывал?

— Вы что, на скотный двор пришли? — набросилась на него молоденькая секретарша. — Снимите сейчас же мешок! Да не сюда. За дверь его вынесите! С него прямо ручьями течет... Вынесите!

Живой снял мешок, но с места не двинулся.

— А ну-ка его кто унесет оттуда? У меня это, может, последний мешок...

— Да кому он здесь нужен? Ступайте! Чего встали у порога?

Живой было двинулся к двери председателя.

— Ага! Вы еще туда с мешком пройдите... Вот они обрадуются. — Секретарша встала из-за стола и энергично выпроводила Живого за дверь. — Бестолковый народ! Целую лужу оставил. Я вам что, уборщица?

Через минуту Живой вошел без мешка, но текло с него не меньше.

— Вы что, в пруду купались, что ли?

— Ага, рыбу ловил бреднем. А потом думаю: дай-ка обогреюсь в РИКе. У вас вон и мебель мягкая.

На этот раз секретарша и встать не успела, как Живой бесцеремонно прошел к столу и плюхнулся на диван.

— Во! В самый раз...

— Вы... Вы к кому?

— К Мотякову на исполком.

— Вы из Прудков? Кузькин?

— Ён самый...

— Да где же вы шатаетесь?! — словно очнулась она и набросилась на Живого с новой силой: — Встань! Его ждут целый час руководители, а он где-то дурака валяет.

Не слушая объяснений Фомича, она быстро скрылась за дверями и тотчас вышла обратно.

— Живо ступай! Ишь расселся.

Живой вошел в кабинет. На председательском месте сидел сам Мотяков, возле стола стоял секретарь райкома Демин в темно-синем бостоновом костюме. Члены исполкома, среди которых Живой узнал только Гузёнкува да главврача районной больницы Умняшкина, сидели вдоль стен и курили. Видать, что исполком уже кончился, — за длинным столом лежали исписанные листки бумаги, валялись карандаши.

— Вот он, явился наконец, ненаглядный! Извольте радоваться. — Мотяков сверкал стальными зубами, поглядывая на Фомича исподлобья.

Демин кивнул Живому на стул, но не успел Фомич и присесть, как Мотяков остановил его окриком:

— Куда! Ничего, постоишь... Не на чай пригласили небось.— Мотяков встал из-за стола; на нем был защитный френч и синие командирские галифе. Засунув руки в карманы, он петухом обошел вокруг Фомича и съязвил: — Курица мокрая... Еще бунтовать вздумал.

— А у вас здесь что, насест? Если вы кур собираете,— сказал Живой.

— Поговори у меня! — крикнул опять Мотяков и, подойдя к Демину, что-то зашептал ему на ухо.

Демин был высок и тощ, поэтому Мотяков тянулся на цыпочках и его короткий широкий нос смешно задирался кверху.

«Как обнюхивает»,— подумал, глядя на Мотякова, Фомич и усмехнулся.

Демин кивнул Мотякову маленькой сухой головой, Мотяков подошел к столу и застучал костяшками пальцев:

— Начнем! Тимошкин, на место!

Кругленький проворный секретарь райисполкома Тимошкин с желтым, как репа, лицом присел к столу по правую руку от Мотякова и с готовностью уставился на него своими выпуклыми рачьими глазами. Демин отошел к стенке и присел рядом с другими членами исполкома.

— Гузёнков, давай, докладывай,— сказал Мотяков.

Михаил Михайлыч встал, расставил ноги в сапожищах, словно опробовал половицы,— выдержат ли? — вынул листок из блокнота и начал, поглядывая на Мотякова:

— Значит, после сентябрьского Пленума вся страна, можно сказать, напрягает усилия в деле подъема сельского хозяйства. Каждый колхозник должен самоотверженным трудом своим откликнуться на исторические решения Пленума. Но есть еще у нас иные-прочие элементы, которые в рабочее время ходят по лугам с ружьем и уток стреляют. Мало того, они подбивают на всякие противозаконные сделки неустойчивых женщин на ферме, которые по причине занятости не могут сами выкашивать телячьи делянки. И косят вместо них, а взамен берут пшеном и деньгами. Куда такое дело годится? Это ж возврат к единоличному строю... Мы не потерпим, чтобы нетрудовой элемент Кузькин разлагал наш колхоз. Либо пусть работает в колхозе, либо пусть уходит с нашей территории. Просим исполком утвердить решение нашего колхозного собрания об исключении Кузькина Федора Фомича.

Гузёнков сел, а Мотяков злорадно посмотрел на Фомича.

— Ну, что теперь скажешь? Небось оправдываться начнешь?

— А чего мне оправдываться? Я не краду и не на казенных харчах живу,— сказал Фомич.

— Поговори у меня! — крикнул Мотяков.

— Дак вы меня зачем вызвали? Чтоб я молчал? Тогда нечего меня и спрашивать. Решайте как знаете.

— Да уж не спросим у тебя совета. Обломаем рога-то враз и навсегда.— Мотяков засмеялся, обнажив свои стальные зубы.

— Товарищ Кузькин, почему вы отказываетесь работать в колхозе? — вежливо спросил Демин тихим хрипловатым голосом.

Длинные белые пальцы он сцепил на колене и смотрел на Живого, слегка откинувшись назад.

— Я, товарищ Демин, от работы не отказываюсь. Цельный год проработал и получил из колхоза по двадцать одному грамму гречихи в день на рыло. А в колхозном инкубаторе по сорок граммов дают чистого пшена цыпленку.

— Скажи ты, какой мудрый! Развел тут высшую математику...— сказал Мотяков.— А я тебе лучше политику напомним: работать надо было лучше. Понял?

Фомич будто и не слышал Мотякова:

— Я, товарищ Демин, работать не отказываюсь. Я только бесплатно не хочу работать. У меня пять человек детей, и сам я инвалид Отечественной войны.

— Видали! Он себе зарплату требует... Вот комиссар из «Красного лаптя»,— засмеялся опять Мотяков.— Ты сначала урожай хороший вырасти, а потом деньги проси. Дармоед!

— А ты что за урожай вырастил? — спросил, озлобясь, Живой.— Или ты не жнешь, не сеешь, а только карман подставляешь?!

— Поговори у меня! — стукнул кулаком по столу Мотяков.

— Но ведь, товарищ Кузькин, не вы же один в колхозе состоите, и тем не менее вы один отказались работать! — сказал Демин.

— Странный вопрос! — ответил Фомич.— А если я, к примеру, помирать не хочу? Или вы тоже скажете: не ты первый, не ты и последний?..

— Чего с ним говорить! — махнул рукой Гузёнков.— Известный элемент... отпетый...

— В тридцатом году я колхоз создавал, а вы, товарищ Гузёнков, на готовенькое приехали. Еще неизвестно, чем вы-то занимались в тридцатом году.

— Мы тебя вызвали не отчитываться перед тобой! — оборвал Живого Мотяков.— А мозги тебе вправить враз и навсегда. Понял? Будешь в колхозе работать?!

— Бесплатно работать не стану.

— А что вы, собственно, хотите? — спросил Демин.

— Выдайте мне паспорт. Я устроюсь на работу.

— Мы тебе не паспорт, а волчий билет выпишем,— сказал Мотяков.— Выйди в приемную! Когда надо — позовем.

Живой вышел.

— Ну, что с ним делать? — Демин спрашивал, обращаясь к членам исполкома, молчаливо наблюдавшим эту перепалку с Фомичом.

— Дать ему твердое задание... в виде двойного налога,— сказал Мотяков.— А там видно будет.

— Но ведь налоги отменены,— сказал Демин.

— Это с колхозников. А поскольку его из колхоза исключили,— значит, он вроде единоличника теперь...

— И мясо с него, и шерсть, и яйца... все поставки двойные! — подхватил Тимошкин.

— Ну, как? — обернулся Мотяков к членам исполкома.

— Тогда уж и две шкуры с него взять,— предложил фининспектор Евсюхов не то в насмешку, не то всерьез.

— А что! — воскликнул Мотяков.— По обязательным поставкам положено было сдавать шкуру. Пусть сдает две. Тимошкин, пиши!

— И заготовки дров ему... тоже двойную норму,— обрадовался Тимошкин.

— Пиши, пиши! Пусть знают, как бегать из колхоза. Враз и навсегда...

— Но ведь он же инвалид второй группы,— сказал врач Умняшкин.

— Подумаешь, трех пальцев не хватает. Ты не смотри, что он такой, на заморенного кобеля смахивает. Он нас еще с тобой переживет,— ответил врачу Мотяков и позвонил секретарше: — Позвать Кузькина!

Живой на этот раз вошел с мешком в руках. Мотяков подозрительно поглядел на мешок:

— Поди, поросят тащил в мешке?

— Ага... Поторопился. Не то вы все равно отберете.

— Поговори еще! Я отобью у тебя охоту... Враз и навсегда. Дай сюда протокол! — Мотяков взял листок у Тимошкина и зачитал: — «В связи с исключением из колхоза Кузькина Федора Фомича, проживающего в селе Прудки, Тихановского района, числить на положении единоличного сектора, а потому обложить двойным налогом, то есть считая налог с приусадебного хозяйства размером 0,25 га, отмененный последним постановлением правительства, умноженным на два. А именно, подлежит сдать в месячный срок Кузькину Федору Фомичу тысячу семьсот рублей, восемьдесят восемь кг мяса, сто пятьдесят яиц, шесть кг шерсти или две шкуры».

— Семен Иванович, дайте-ка я ему еще впишу сорок четыре кубометра дров. Пускай заготавливает, — потянулся к председателю Тимошкин.

— Ты сам их и заготовишь, — сказал Фомич. — У тебя хохоталка-то вон какая. С похмелья не упишешь.

Тимошкин криво передернул ртом:

— Может, обойдемся без оскорблений? Не то ведь и за личность придется отвечать.

— Ага... Я и в тридцатых за тебя отвечал. А твой отец в лавке колбасой торговал.

— Вопросы имеются? — спросил Фомича Мотяков.

— Интересуюсь, мне по частям сдавать или все враз? — Фомич невинно глядел на Мотякова.

Тот важно, официальным тоном сказал:

— Хоть сейчас вези...

— Все?

— Все, все!

— Деньги я внесу... Все до копеечки. Из застрехи выну. И мясо сдам — телушку на базаре куплю. Яйца тоже сдам... Но вот насчет шкуры сделайте снисхождение. Одну шкуру я нашел.

— Где нашел одну, там и другую найдешь, — сказал Мотяков.

— Ну, себя-то я обдеру, а жену не позволят. У нас равноправие.

Кто-то из заседателей прыснул, Умняшкин закрылся ладонью — только глаза одни видны, и те от смеха слезились, даже Демин заклевал носом и как-то утробно закурлыкал. А Мотяков рывкнул, побагровев, и грохнул кулаком об стол, так что Тимошкин подпрыгнул от испуга:

— Вон отсюда! Враз и навсегда...

На улице все так же моросил дождь с мокрым снегом пополам. Фомич накинул на голову мешок и побрел по грязной улице. На душе у него было тошно, весь запас бодрости и сарказма он израсходовал в кабинете Мотякова. И теперь впору хоть ложись посреди дороги в грязь и реви. Выпить бы, да в кармане ни гроша...

На краю Тиханова, напротив бывшей церкви, а теперь зерносклада, стоял на отшибе обшитый тесом, когда-то утопавший в саду попов дом. В жаркий день, выходя из Тиханова, здесь у колодца обычно приостанавливались прохожие, напивались впрок. Фомич вдруг почувствовал усталость и дрожь в коленках. «Черт, как будто мешки таскал... Вот так исполком». Он прислонился к творилам колодца, поглядел на попов дом. «Вот и исповедальня. Надо зайти», — решил Фомич.

В поповом доме теперь помещалось райфо. В крайнем боковом кабинете сидел Андруша, прямо из-под стола высунув свою деревянную лужу, считал на счетах.

— Здорово, сосед! — весело приветствовал он Фомича. — Ты что такой мокрый да бледный? Как будто черти на тебе ездили?

— Черти и есть. — Фомич присел на обитый черной клеенкой диван и перевел, словно после длительной пробежки, дух. — Вот исповедоваться к тебе пришел. Ты же в поповом доме сидишь.

И Фомич рассказал все, что было на исполкоме. Андрюша долго озабоченно молчал, перебирая костяшки на счетах.

— Вот что сделай — возьми бумагу от них с этим твердым заданием. Ружье спрячь, козу продай... А велосипед оставь. Он у тебя все равно старый. Пускай что-нибудь да конфискуют... Потом подашь жалобу. И обязательно достань справку в колхозе — сколько ты там выработал за год трудодней.

— Да кто мне ее даст?

— Схитрить надо... Изловчиться.

— А не вышлют меня?

— Могут и выслать... по статье тридцать пятой — без определенной работы, как бродягу.

— А инвалидов не высылают?

— Инвалидов нет. Но у тебя же вторая группа. Должен еще работать.

— А я что, от работы отказываюсь? Пусть выдают паспорт — устройсь.

Андрюша только руками развел:

— Сие от нас не зависит. Ты вот что запомни — придут к тебе имущество описывать, веди себя тише воды, ниже травы. Понял? Задирайтесь начнут — не вздумай грубить. Сразу загремишь. Пусть берут что хотят. Только помалкивай. Это заруби себе на носу...

7

Комиссия нагрянула после праздников, по снегу. Фомич успел и козу продать, и ружье припрятать. Ружье он обернул промасленными тряпками и засунул в застреху на дворе. Старый пензенский велосипед, еще довоенный, облупленный, как запаршивевшая лошадь, стоял в сенях, прямо перед дверью: «Вот он я! Хотите — берите, хотите — нет».

Комиссия была из пяти человек — во главе инспектор райфинотдела по свистуновскому кусту Настя Протасова, большеногая, стареющая лева по прозвищу Рябуха, за нею бригадир Пашка Воронин да еще трое депутатов Совета — здоровенные трактористы из Свистунова. «Эти на случай, если я брыкаться начну», — подумал Фомич. Он юркнул в чулан и притворился спящим.

— Можно к вам? — послышался в дверях Настин голос.

— Проходите, — сказала Авдотья.

— Здравствуйте, — разноголосо донеслось от порога. — А где хозяин?

— Вон, в чулане на лавке.

Настя приоткрыла занавеску.

— Ты что, ай заболел?

— Мне болеть не положено. Ведь я Живой! — Фомич встал с лавки.

За столом расселись трактористы и Пашка Воронин.

— Извиняйте, гости дорогие! Угощать-потчевать вас нечем, — сказал Фомич. — До вашего прихода были и блины и канки, а теперь остались одни лихоманки... Что ж вы не предупредили, что придете?

Трактористы дружно засмеялись. А Настя набросилась на Фомича:

— Что ты комедию ломаешь? Ты лучше скажи, когда налог думашь вносить?

— А мне, Настя, думать никак невозможно. За нас думает начальство. А нам — только вперед! Назад ходу нет... За меня вон Пашка Воронин думает.

Трактористы снова засмеялись, а Пашка нахмурил желтые косматые брови и угрожающе сказал:

— Мы пришли не побасенки твои слушать... Понял?

— И тебе, Федор Фомич, не стыдно? — пошла в наступление Настя. — Такой лоб и не работаешь! Вон бабы и то целыми днями с фермы не уходят. А ты на лавке дрыхнешь.

— Это ж просто симулянт! — подстегнул ее Пашка.

— Да он хуже! Тунеядец и протчий элемент, которые раньше в паразитах ходили...

Настя и Пашка точно старались друг перед другом раззадорить Фомича. Он мигом смекнул, в чем дело; сел на табуретку, скрестил руки на груди и эдаким смиренным голосом сказал:

— Эх, Настя... И ты, Паша! Понапрасну вы свое красноречие расходуете... Я стал человеком религиозным. Это я раньше не верил ни в бога, ни в черта, ни в кочергу... Ты мне слово — я тебе десять в ответ; ты меня — царап, я тебя — по уху... А теперь я прочел в евангелии: ударь меня в правую щеку — я подставлю левую. Так что кляните меня, как хотите, и берите, что хотите.

— Кто тебя предупредил? — простодушно спросила Настя.

— А черный ворон в лесу. Ходил я ноне с утра за дровами. Смотрю, сидит на дубу. «Ка-рр! Придут к тебе Настя с Пашкой в гости, смотри не обижай их».

— Чего болтовню его слушать! Давайте опись составлять, — сказал раздраженно Пашка.

Настя вынула из портфеля протокольную книжечку.

— Где твоё ружье? — спросил Пашка.

— Продал.

— Не ври. Спрятал, наверное?

— Ищите.

Пашка Воронин разогнулся во весь свой длиннющий рост, посмотрел на печь, пошарил за трубой, потом вышел в сени.

— Возьми лестницу, на чердак слазь! — сказала ему Настя.

— Чего там лестницу! У него не чердак, а шесток. Рукой достанешь.

Воронин и в самом деле приподнялся на цыпочках, вытягивая шею, как журавль.

— Ты смотри, избу не развали, жираф! — сказал Фомич. — Не то придется тебе новый сруб ставить.

— Я б те срубил клетку, как для обезьяны. Да в зверинец бы тебя, лодыря, отправил.

Фомич вдруг вспомнил, как Пашкин брат Воронок так же вот шнырял по лизунинской избе после бегства хозяина. Накануне Воронок приказал Фомичу вписать Нестеру Лизунину в твердое задание один центнер семян моркови: «И чтоб в двадцать четыре часа рассчитался!» Воронок был председателем сельсовета. Его указ — закон для секретаря. Фомич и вписал. А к вечеру зашел Нестер: «Федор, ты знаешь, на сколько хватит этих семян моркови?» — «На сколько?» — «На весь район!.. Где ж я столько возьму?» Тогда-то Фомич и выдал отпускную Нестеру Лизунину, а ночью тот смылся со всей семьей.

Фомич смотрел теперь на Пашку, а в глазах у него стоял старший Воронок тех дней. «И что за порода нахальная такая! Хлебом их не корми. Дай только покомандовать... Или что отобрать. И ведь с лица совсем не схожие — один ржый, долговязый, с длинной лошадиной мордой,

второй коренаст, черен был в молодости, как жук навозный. А хватка у обоих мертвая. Видать, в отца пошли... Того все по этапам гоняли — первый вор был в округе...»

Пашка прыгнул со стены, отряхнул рукава от пыли.

— Ну, что там? — спросила Настя.

— Глина да пыль. У него там и мякины-то нет. Сожрал, что ли?

— Домовому скормил. Он у меня целый год на одной мякине сидит.

Трактористы опять дружно, как по команде, засмеялись.

— Где добро-то храните? — спросила Настя Авдотью.

— Да рази ты не видишь? У меня его, добра-то, навалом. Что на печи, что на кровати... — ответил опять Фомич.

— Ты не валяй дурака... Где сундук?

— Под кроватью.

Пашка вытащил из-под кровати зеленый, окованный полосовым железом сундук — Авдотьино приданое.

— Смотри! — сказал он Насте, а сам деликатно отошел к столу и подсел к трактористам.

Настя откинула крышку, и вдруг Фомич заметил среди старого тряпья Дуиня кошелек с шишечками. «Мать ты моя родная! Там же козья выручка — три сотни рублей! Все богатство». — У Фомича дух захватило, когда он увидел, как Настя цопнула кошелек и открыла шишечки. Первая мысль была — выхватить у нее кошелек. А потом? Эти же волкодавы задушат его. Он вспомнил наставление Андрюши: «Не груби!.. Пусть что хотят, то и берут...» Фомич аж зубами скрипнул от досады и отошел подальше от греха.

— Дуня! — позвала Настя. — Иди-ка сюда.

Подошла от печи хозяйка.

— Смотри-ка! — потянула ее к сундучку Настя. — Это облигации... В тряпье хранить их не след. — И она сунула в руку оторопевшей Авдотье кошелек с деньгами.

— Ах ты батюшки мои! Как это ребята не добрались до них, — запричитала Авдотья. — Федя, ты, что ль, их бросил сюда? — Между тем она торопливо упрятала кошелек за пазуху.

— Ты все валишь на меня, растереха! — нарочито строго проворчал Фомич, а на душе у него отлегло: «Ай да Настенка, ай да Рябуха! Совесть какая! Гляди-ка ты. А еще в старых девках числится...»

— Да тут и описывать нечего — одни шоболы, — сказала Настя от сундука. — Коза-то цела?

— Давно уж и поминки справили, — ответил Фомич.

— Чего ж тогда брать?

— Возьмем велосипед, — сказал Пашка.

Настя вписала в квиток велосипед и ткнула Фомичу.

— На, подпиши!

Фомич поставил подпись. Потом в сенях вручил Насте велосипед и продекларировал:

— Эх! Что ты ржешь, мой конь ретивый? Послужил ты мне правдой верною. Теперь отдохни и мне отдых дашь...

Настя передала Пашке облупленный Фомичов велосипед, и комиссия в полном составе отбыла.

— Федя, продадут теперь твой велосипед, — вздохнула Авдотья, взглядом провожая из окна эту процессию.

— Не бойся, мать. Хорошие люди не купят. А плохие и взяли бы, да денег пожалуют. Они задарма привыкли все брать. А велосипед мне приведут... Кто брал его, тот и приведет...

На другой день Фомич сходил в Свистуново в правление колхоза и сказал счетоводу:

— Корнеич, что-то на меня наваливается беда за бедой. Прямо дух не успеваю переводить.

— А что такое?

— Да глядя на вас, и райсобес озорует. Говорят, что, мол, у тебя минимума трудодней не выработано. А потому — половину пенсии с тебя удержим.

— Ну, это они против закона.

— Поди попробуй втолкуй им... Ты мне напиши справку — сколько я трудодней за год выработал.

— Это можно.

Корнеич выписал Фомичу справку «в том, что он со всею своей семьею выработал за год 840 трудодней...». И печать приложил.

Фомич тщательно прочел ее, сложил вчетверо и удовлетворенно сказал:

— Ну, теперь вы, голубчики, попались у меня... Я эту справку не в собес отправлю, а в ЦК пошлю.

— Ну-ка дай сюда! — грозно поднялся Корнеич, но Фомич выкинул ему под самый нос кукиш:

— А этого не хотел! Так и передай Гузёнкову.

— Я скажу, что ты выманил ее обманом...

— Привет! — махнул Фомич малахаем. — Приятного разговора с Михаилом Михалычем.

Придя домой, Фомич вырвал из тетради двойной лист и на весь разворот начертил химическими чернилами круг. По этому ободу он вывел большими буквами: «Заколдованный круг Тихановского райисполкома». А в центре круга написал: «Я, Федор Фомич Кузькин, исключен из колхоза за то, что выработал 840 трудодней и получил на всю свою ораву из семи человек 62 килограмма гречихи вместе с воробьиным пометом. Спрашивается: как жить?» К этому чертежу Фомич приложил справку о выработке трудодней и жалобу, в которой изложил, как его исключали как выдали «твердое задание» и потом отбирали велосипед. Жалобу начал он «издала»: «Подходят выборы.. Советский народ радуется: будет выбирать родное правительство. А моя семья и голосовать не пойдет...» Все эти сочинения Фомич запечатал в конверт, написал адрес обкома, на имя самого первого секретаря Лаврухина, и пешком сходил на станцию Пугасово за сорок километров. Там опустил конверт в почтовый ящик на вокзале — «здесь не догадаются проверить». И довольный собственной хитростью, выпил за успех — взял кружку пива, сто пятьдесят граммов водки, смешал все, и получился преотличный ерш.

8

О том, что жалоба сработала. Фомич догадался по тому, как неожиданно-негаданно зашел однажды под вечер Пашка Воронин и, не разгибаясь в дверях, через порог сказал:

— Забери свой велосипед. Он в сельсовете стоит, в Свистунове.

— Я не имею права, — скромно ответил Фомич. — Кто его брал, тот пусть и приведет.

— Как же, приведут. На моркошкино заговенье... — Пашка хлопнул дверью и ушел.

— Ну, мать, теперь жди гостей повыше, — изрек глубокомысленно Фомич.

Через день пополудни они нагрянули... Один совсем молоденький, востроносый, простовато одетый — полушубок черной дубки, на ногах

черные чесанки с калошами. На втором было темно-синее пальто с серым каракулевым воротником и такая же высокая — гоголем — шапка. И телом второй был из себя посolidнее, с белым мягким лицом и смотрел уважительно. Вошли, вежливо поздоровались, сняли шапки, обмели у порога ноги и только потом прошли к столу.

— Вы писали жалобу? — спросил Фомича тот, что посolidнее.

— Не знаю.— Фомич выжидающе поглядывал на них.

Авдотья замерла возле печки с ухватом в руках — чугунок с картошкой выдвигала, чтоб немного остыл к обеду.

— Мы представители обкома,— сказал младший.

— Не знаю.— Фомич и ухом не повел.

— А-а, понятно! — улыбнулся востроносый.— Федор Иванович, покажите ему бумаги.

Тот, что посolidнее, вынул из бокового кармана конверт с бумагами и протянул его Фомичу. Живой взял конверт, проверил бумаги — все писано им, но ответил опять уклончиво:

— Не знаю... Кто такие будете?

— Да вы, товарищ Кузькин, воробей стреляный! — засмеялся опять востроносый.— Вот наши документы.— Он протянул Фомичу свое обкомовское удостоверение, за ним последовал и солидный.

Фомич, не торопясь, прочел удостоверения и только потом предложил сесть к столу.

Вошли ребята — сразу втроем — с сумками в руках и, не глядя, кто и что за столом, заголосили от порога:

— Мам, обедать!

— Да погодите вы, оглашенные. Не успели еще порог переступить... Как грачи. Не видите — люди за столом...

— Нет, нет, кормите! — быстро встал из-за стола молодой.— Мы посидим, подождем.

Фомич вынес из чулана лавку и усадил обкомовцев.

Авдотья налила чашку жидкого гречневого супа и поставила в алюминиевой тарелке очищенную, мелкую, как горох, картошку. Ребята бесцеремонно осматривали гостей и только потом проходили к столу. Ели они молча, дружно и быстро, как вперегонки играли. Вместо хлеба ели картошку, макали ее в соль и отправляли в рот. Опустошив алюминиевую тарелку, выхлебав чашку супа, они полезли на печь.

— А что ж вы им вторсе не подали? — спросил Авдотью солидный.

— Все тут было,— ответил Фомич.— В чашке, значит, первое, а в люменевой тарелке второе.

Солидный впросительно поглядел на молодого, а тот, еле заметно подмигнув Фомичу, улыбаясь, сказал:

— А вы покажите-ка нам свои запасы.— И солидному: — Начнем с подпола, Федор Иванович.

— Да, конечно... Посмотреть надо.— Солидный встал и начал расстегиваться.

Фомич принял его тяжелое пальто и положил на кровать.

— Вы бы лучше повесили,— сказал солидный, с опаской поглядывая на кровать, на ветхое лоскутное одеяло.

— Да у нас на вешалке шоболья-то больше...— сказал Фомич.— Как хотите! Я повешу.

Но солидный, увидев на вешалке драную Фомичову фуфайку да обтрепанные ребячьи пиджаки, поспешно остановил его:

— Нет-нет... Пусть там лежит. Я ведь ни о чем таком не подумал.

Востроносый, растягивая во все лицо свои подвижные смешливые губы, похлопывал дружески хозяйку по плечу:

— Ничего, ничего... Все уладится.— Свой полушубок он кинул ря-

дом с пальто на койку.— Айда в подпол!— Он сам открыл половицы и первым же спрыгнул.— Посветить чего не найдется?

Фомич подал ему зажженную лампу.

— Ну как, Федор Иванович, спуститесь? — спрашивал он из подпола.

— Да, да...— На Федоре Ивановиче был хороший черный костюм и ботинки. Он осторожно оперся о половицы.— Да тут глубоко!

— Сейчас табуретку поставлю.— Фомич подал им табуретку.

Федор Иванович спустился в подпол, и они с минуту оглядывали небольшую кучу мелкой картошки.

— Это что у вас, расходная картошка?— спросил Федор Иванович.

— Вся тут,— ответил Фомич.

Они молча вылезли.

— Кладовая у вас есть?

— Нет.

— Амбар?

— Нет.

— Ну, подвал... Как он там называется.

— Ничего нет.

— Это что ж, весь запас продуктов? — Федор Иванович ткнул рукой вниз.

— Всю еще кадка с капустой в сених стоит.

Они вышли в сени.

— Дайте чердачную лестницу.

Фомич принес со двора лестницу. Федор Иванович сам залез на чердак. Спустился перепачканный пылью.

— Как же вы живете?— спросил он растерянно.

— Вот так и живем,— ответил Фомич.

— Я же говорил вам — типичный перегиб,— сказал востроносый.— Мотяковщина!

Федор Иванович как-то посерел, и лицо его вроде бы вытянулось. Не сказав ни слова, он возвратился в избу, быстро оделся и попрощался с хозяйкой, глядя себе под ноги.

— А вы пройдемте с нами,— сказал он Фомичу.

Возле бригадировой избы стоял «газик».

— Садитесь!— Федор Иванович пропустил Фомича на заднее сиденье вместе с востроносым и приказал шоферу: — Посигналь!

На звук сигнала выбежал из дому Пашка Воронин. Федор Иванович кивнул ему:

— Садитесь...

Пашка влез тоже на заднее сиденье, притиснулся к Фомичу, и поехали. Свернули в Свистуново. Остановились возле правления.

— Пошли!— Федор Иванович вошел первым.

В правлении Гузёнкава не оказалось. Лысый Корнеич высунулся из дверей бухгалтерии и сказал услужливо:

— Посидите! Я сбегаю за Гузёнковым... Мигом обернусь.

— Не надо!— остановил его Федор Иванович.— Вы кто здесь?

— Счетовод.

— И отлично! Вам Кузькин знаком?

— Так точно! — по-военному ответил Корнеич.

— Завтра Кузькину лошадь выделите. Он в райком поедет.

Корнеич передернул усами и с недоумением глядел то на приезжего начальника, то на стоявшего за ним Пашку Воронина. Наконец осторожно возразил:

— Я, конечно дело, передам Михаил Михайлычу. Только это, то-

вариш начальник, лодырь.— И поспешил добавить:— Правление, значит, определило его таким способом.

— А это что?— Федор Иванович показал справку.— Кто ее выдавал? Правление?

Корнейч только глянул и рявкнул:

— Так точно! Я, то есть. Но, позвольте сказать, товарищ начальник, эту справку он взял обманом.

— Как обманом?

— Он у меня выпросил ее для райсобеса...

— Это неважно, для кого. Верно, что он выработал столько трудней?

— Это уж точно!— Корнейч по-прежнему стоял навытяжку, и его тяжелые, в крупных синих жилах кулаки доставали почти до колен.

— Так вот, завтра же дать Кузькину лошадь. А вы приезжайте в райком к девяти часам,— обернулся он к Фомичу.

— Товарищ начальник, я лучше пешком пойду,— сказал Фомич.

— Почему?

— Боюсь, замерзну в дороге-то. Мороз вон какой... А моя одежда что твои кружева — спереди дунет, сзади вылетит...

— Хорошо... Дайте ему с подводой и тулуп,— сказал Федор Иванович.

— Сделаем!— рявкнул Корнейч.

— А вы,— обернулся Федор Иванович к Пашке Воронину,— сегодня же возвратите Кузькину велосипед. Он у вас где хранится?

— В сельсовете.

— Вот так.— Федор Иванович, не прощаясь, вышел из правления.

Фомич выбежал за ним.

— Садитесь!— сказал Фомичу Федор Иванович — Подвезем вас до дому. Да смотрите, завтра вовремя приезжайте. И непременно на лошади.

А поздно вечером Пашка Воронин привел велосипед: он оставил его на крыльце и постучал в окно. Когда Фомич вышел, его и след простыл.

9

Фомич лошадь все-таки не взял — хлопотно больно: надо идти в Сви-стуново, глаза мозолить в правлении, потом отгонять ее туда же и топать обратно пешком почти пять верст. Что за корысть? Кабы она на дворе стояла, лошадь-то, или хотя бы в Прудках. А то сбегай в Свиштуново туда и обратно — ровно столько же в один конец и до Тиханова будет. И без тулупа нельзя ехать — замерзнешь. А с тулупом еще больше хлопот: не занесешь его в райком, и в санях оставить боязно. А ну-ка кто украдет? Тогда и вовсе не расплатишься.

Утречком по морозцу он легкой рысцей трусил почти без передышки до Тиханова — мороз подгонял лучше любого кнута.

«Чудная у нас жизнь пошла,— думал Фомич по дороге.— На все Прудки оставили трех лошадей — одну Пашке Воронину, двух для фермы воду возить. А мужики и бабы добирайся как знаешь. Ни тебе автобусов, ни машин. В больницу захотел — иди сперва в Свиштуново в правление, выпроси лошадь, если дадут — поезжай. А куда-нибудь на станцию, или на базар, или в район — и не проси. У Гузёноква своя машина, у Пашки лошадь и мотоциклет, а у колхозника — шагалки. Бывало, свой автомобиль на дворе стоял — запрягай и езжай, куда захочешь. Хоть по делу, хоть в гости. А то и так просто по селу покататься выпимши, к примеру, больно хорошо. И ребятам повозиться с лошадью — одно удовольствие. Там в ночное сгонять, в лес съездить. Красота! А теперь они,

как бродяги, цельными днями без дела по лугам слоняются. А ведь раньше в зимнюю пору последний человек пеш ходил в Тиханово. Вон Зюзя-конокрад. Да и то, когда подфартит, и на чужом, бывало, проедет...»

В тихановском райкоме Живого встретила заведующая райсобесом Варвара Цыплакова:

— Зайдем ко мне, Федор Фомич,— пригласила она любезно и поплыла впереди, загораживая собой почти весь коридор.

Время было раннее, в райкоме — пусто.

Фомич удивлен был и ее вежливым обхождением, и таким неожиданным приглашением. Обычно, когда пенсионеры собирались в райсобесе и чересчур шумно толклись возле окошечка кассы, она громовым голосом кричала из соседней комнаты на кассира:

— Егор, уйми своих иждивенцев! Не то всех вас выгоню на мороз...

А теперь она сама открывает перед Фомичом дверь — райсобес был рядом с райкомом — и пропускает его впереди себя.

— Проходите, проходите, Федор Фомич.

Было всего лишь половина девятого, Фомич не торопился. Он сел поудобнее на клеенчатый диван. «Уж коли ты вежливость несусветную проявляешь,— подумал он,— то и я тебя отпотчую». Он достал кисет, свернул козью ножку толщиной в большой палец и зачадил кольцами в сторону начальства крепчайшим табачным дымом.

— Я давно еще хотела с тобой, товарищ Кузькин, все поговорить... Кх-а, кх-а! Да ведь ты не заходишь. На дороге тебя не словишь... Кх-а, кх-а! Да что у тебя за табак? Аж слезу вышибает.

— А ты нюхни, Варвара Петровна, своего,— сказал Фомич, подмигивая.— И все пройдет. Клин клином вышибают. У тебя, чай, покрепче моего будет.

Варвара Петровна нюхала табак. Но эту свою слабость она скрывала от посетителей.

— Да я ведь просто так... балуюсь иногда. Да уж ладно! За компанию, пожалуй, нюхну.— Варвара Петровна, смущенно улыбаясь, достала из стола большую круглую пудреницу с черным лебедем на крышке, насыпала оттуда на большой палец щепоть нюхательного табаку и сунула сначала в одну ноздрю, потом в другую. Потом она как-то тихо и тоненько запищала, закрыла глаза ладонью, все больше выпячивая нижнюю губу, судорожно глотая воздух, и вдруг как рявкнет! Фомич даже вздрогнул, поперхнулся дымом и тоже закашлялся.

— А-а-апчхи! Чхи! Хи-и-и! Ой, батюшки мои!— говорила, улыбаясь и вытирая слезы, вся красная, словно утреннее солнышко, Варвара Петровна.

— Кха! Кх-а! Кх-и-и! Черт те подери!— выругался Фомич, сморкаясь и вытирая слезы за компанию с Варварой Петровной.

— Ах, грех мне с вами, Федор Фомич!— Варвара Петровна спрятала наконец пудреницу с лебедем и сразу приступила к делу:— Ведешь ты себя прямо гордецом, товарищ Кузькин. Ведь нуждаешься?

— Да как сказать,— уклончиво ответил Фомич,— с какой стороны то есть...

— В том-то и дело. Нет чтобы зайти ко мне, поговорить, заявление написать... А то приходится все за вас делать. Ведь я одна, а вас, пенсионеров, не перечесть.

— Мы на тебя не в обиде,— на всякий случай ввернул Фомич.

— То-то и оно-то. Сказано — стучащему да откроется. А вас надо мордой тыкать в дверь, как кутят. Сами-то небось не подойдете. Да уж ладно... Чем там манежить!— Варвара Петровна открыла серую папку, взяла сверху деньги и протянула Живому.— Здесь пятьсот рублей. Бери! Единовременное пособие. И вот тут в ведомости распишись.

Фомич взял деньги и стал медленно пересчитывать их. Пока он считал деньги, мысли его лихорадочно работали: «Кабы мне тут не продешевить? Ежели она вписала эти пятьсот рублей в ведомость, то они никуда от меня не уйдут. Но брать ли их сейчас — вот вопрос. Я ее не просил об этом. Значит, начальство нажало... И что ж получится? Не успели еще мое дело разобрать, а я уже пятьсот рублей взял. Значит, все подумают, что я эту кашу заварил из-за денег. Э-э, нет! Так не пойдет...»

Фомич аккуратно сложил деньги, пристукнул пачкой по ладони:

— Да, верно... Тут пятьсот рублей.— И положил их обратно на стол.

— Это тебе... Пособие, говорю. Бери и расписывайся.— Варвара Петровна, улыбаясь, протягивала ведомость.

— Как же я их возьму? Я не писал, не хлопотал... И вот тебе раз! Бери деньги! Какие деньги? Откуда?

— Я ж тебе говорю — помощь... пособие!

— Пособие обсудить надо. Вот если на бюро райкома решат, тогда другое дело.— Фомич направился к двери и у порога сказал, обернувшись:— А за вашу заботу, Варвара Петровна, спасибо!

Оторопевшая Варвара Петровна только глазами хлопала.

В райкоме в комнате дежурного уже толпился народ. Вчерашнего Фомичова гостя — востроносого в черном полушубке — окружили несколько председателей колхоза, среди которых был и Гузёнков.

— Товарищ Крылышкин, а в наш район будут направлять тридцатитысячников?— спрашивали востроносого.

— Бюро еще не собиралось. Но, по-моему, будут.

— В какие колхозы?

— Кого, товарищ Крылышкин?

— Этого я не могу сказать.

— А вы сами не думаете в колхоз?

— Не думать надо, а решаться,— ответил востроносый.

— Во-во! Думает знаешь кто? Гы, гы...

— Товарищ Крылышкин, давайте ко мне! Нам зоотехник нужен позарез.

— Голова! Он вместо тебя сядет... Столкнет!

— А я подвинусь... На одном стуле усидим.

— С тобой усидишь! У тебя сиделка-то шире кресла. Ха, ха!

— Федор Иванович идет!— крикнул от стола дежурный, и шумный кружок председателей мигом рассыпался и затих.

По лестнице тяжело поднимался Федор Иванович. Шапку он держал в руках, и только теперь Живой заметил — сквозь редкие зализанные волосы у Федора Ивановича просвечивалась большая розовая лысина. Рядом с ним шел Демин, а сзади в своем военном френче и в сапогах твердо печатал шаги Мотяков. Выражение лица у него было такое, с каким начальник караула обходит посты: кто бы ни взглянул на него сейчас, сразу понял бы — все эти шумные председатели приумолкли при появлении его, Мотякова, а не какого-нибудь Федора Ивановича.

— Здравствуйте, Федор Иванович!— между тем раздавалось со всех сторон.

И Федор Иванович любезно отвечал всем:

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! — И улыбался при этом.

Глядя на него, все вокруг тоже улыбалось, и Фомич, сам не зная почему, тоже улыбался.

— Здравствуйте, товарищ Кузькин!— Федор Иванович протянул руку Живому, и Фомич безо всякой робости пожал эту мягкую, теплую руку.

— На лошади приехал?— спросил Федор Иванович.

— Никак нет!— ответил Живой, как вчерашний Корнейч, вытягиваясь по стойке «смирно».

— Почему? Не дали?— Федор Иванович строго посмотрел на Гузёнку.

— Холодно, Федор Иванович,— ответил Фомич, впервые называя по имени-отчеству вчерашнего гостя.

— А тулуп?

— Так ведь тулуп в райком не внесешь. А в санях оставишь — сопрут. Тогда Гузёнку с меня и третью шкуру спустит. Две-то Мотяков спустил.

Федор Иванович рассмеялся, его дружно поддержали остальные.

— Мотяков, вот так показали тебе кузькину мать,—сквозь смех говорил Федор Иванович.— Ты сапоги-то свои сшил случаем не из шкуры Кузькина?

— Его шкура на кирзовые сапоги и то не годится,— мрачно сострил Мотяков, а сам так поглядел на Живого, будто хотел сказать: «Ужо погоди, я тебе покажу такую кузькину мать, что слезами красными обольешься».

Федор Иванович деловым тоном приказал Демину, кивнув на Живого:

— Сперва решим с ним.

— Проходите, товарищ Кузькин!

Демин пропустил Фомича в свой кабинет.

Народу ввалилось много, все расселись вдоль стен. «Как в шеренгу вытянулись», — подумал Живой. Ему приказали остаться у торца длинного стола, накрытого зеленым сукном. На противоположном конце на секретарское кресло сел Федор Иванович, рядом с ним — Демин. Мотяков теперь пристроился на отшибе, и Фомич глядел на него как бы с вызовом даже.

— Ну, докладывайте, Гузёнку, что у вас с Кузькиным? — сказал Федор Иванович.

Михаил Михайлович шумно откашлялся и, не сходя с места, стоя, сказал:

— Исключили мы его как протчего элемента... Потому что не работал.

— Как не работал? А восемьсот сорок трудодней за что ему начислили? — спросил Федор Иванович.

— Так это он на сшибачках был,— ответил Гузёнку.

— Вы что там, в колхозе, в городки играете? Какие еще такие сшибачки? — повысил голос Федор Иванович.

— Ну, вроде за экспедитора он был... Где мешкотару достать какую, лес отгрузить... Или там сбрую, запчасти купить,— сбивчиво отвечал Гузёнку.— Вот за это и писали. Много написали... Недоглядел.

— Он что же, плохо работал? Не умел достать? — спросил Федор Иванович.

— Насчет этого, чтоб достать чего, он оборотистый.

— Та-ак! А что вы требовали, Кузькин? — посмотрел на Живого Федор Иванович.

— Поскольку не обеспечили мою семью питанием в колхозе, просил я паспорт. Чтоб, значит, на стороне устроиться. За деньги работать то есть.

— Понятно! А вы что? — спросил Федор Иванович Гузёнку.

— Отказали... поскольку нельзя. А за невыход на работу исключили из колхоза.

— Он вам нужен в колхозе или нет?

— Если не работает, зачем нам такой тунеядец?

— Эх вы, председатель! Такого человека выбрасывать... Сами говорите, все добывал он для колхоза. И честный, видать. Иной половину вашего оборота прикарманил бы. И жил бы — кум королю, сват министру. Ведь при деньгах был! А у этого изба, как у той бабы-яги, что на болоте живет. — свинья рылом разворотит. Дети разуты-разлеты. Самому есть нечего. А колхоз чем ему помог? Ты сам-то хоть бывал у него дома?

Гузёнков сделался кумачовым и выдавил наконец:

— Не был.

— Видали, какой фон-барон! Некогда, поди? Или авторитет свой председателский уронить боишься? Я вот из области нашел время — заходил к нему. А ты нет... Как это можно понять?

Гузёнков, пламенея всем своим объемистым лицом, тягостно молчал.

— Ты сколько получаешь пенсии по инвалидности? — спросил Фомича Федор Иванович.

— Сто двадцать рублей.

— Да, не разживешься.

— Райсобес давал ему в помощь пятьсот рублей... так отказался! — заявил, усмехаясь, Мотяков. — Видать, мало?

— Как отказался? Почему? — спросил Федор Иванович.

— Такая помощь нужна тем инвалидам, которые на карачках ползают. А у меня руки, ноги имеются. Я прошу работу, чтобы с зарплатой... И потом, чудно вы пособие выдаете. — Фомич обернулся к Мотякову. — За двадцать минут до бюро заманили меня в райсобес и суют деньги. На, мол, успокойся! Я что, нищий, что ли?

— Вон оно что! — протянул с усмешкой Федор Иванович. — А вы народ, Мотяков, оперативный. Вот что! — стукнул он карандашом по столу. — Хитрить нечего... Не смогли удержать Кузькина в колхозе... Отпустить! А вам, Гузёнков, и вам, Мотяков, впишем по выговору. Дабы впредь разбазаривать колхозные кадры неповадно было. Ну, а с Кузькиным сами решайте, куда его устраивать.

— Дадим ему паспорт, пусть едет в город, — сказал Демин.

— Ехать не могу, — ответил Фомич.

— Почему?

— По причине отсутствия всякого подъема.

— Это что еще за прудковская политэкономия? — спросил Федор Иванович.

— Это не политэкономия, а тоска зеленая. У меня пять человек детей, да один еще в армии. А богатства мои сами видели. Спрашивается, смогу я подняться с такой оравой?

— Настрогал этих детей косою десяток, — пробурчал Мотяков.

— Дак ведь бог создал человека, а рогов на строгалку не посадил. Вот я и строгаю, — живо возразил Фомич.

Федор Иванович опять громко захохотал, за ним и все остальные.

— А ты, Кузькин, перец! Тебя бы в денщики к старому генералу... Анекдоты рассказывать.

— Так у нас в Прудках живет один полковник в отставке... Да он вроде бы занят. Там Гузёнков и днюет и ночует, — сказал Живой.

И все снова захохотали.

— Ну ладно, хватит! — сказал Федор Иванович, вынимая платок и утираясь. — Решайте, решайте! Быстрее.

— Может быть, на пресспункте устроим его охранником? — спросил Мотяков Демина.

— Но там же есть Елкин, — сказал кто-то. — Бреховский...

— Его убирать надо,— мрачно сказал Мотяков.— Родственники за границей объявились.

— Какие еще родственники?— спросил Демин.

— Сын... В Америке оказался. А он уж и поминки по нему справил.

— С этим торопиться не следует,— сказал Демин.

— Я возьму его к себе,— поднялся худой и нескладный Звонарев по прозванию Петя Долгий, председатель соседнего с Прудками заречного колхоза.— Мне как раз нужен на зиму лесник, заготовленный лес охранять. Плата деньгами и хлебом.

— Пойдете?— спросил Живого Федор Иванович.

— Пойду... Только пусть Гузёнков даст мне отпускную, справку выписет. А я паспорт получу.

— Подожди там. После совещания сделаем,— сказал Гузёнков.

Совещание затянулось до самого вечера. И когда Фомич пришел наконец с долгожданной отпускной справкой, его встретила в сенях сияющая Авдотья:

— Иди-ка, Федя, иди в избу!

Посреди избы при ослепительно ярком, как показалось Фомичу, электрическом свете лежали вповалку три мешка муки и три мешка картошки, а поверху на этих мешках еще два узла. Фомич потрогал мешки и определил на ощупь, что мука была сухая, а картошка крупная. Потом он развязал узлы и по-хозяйски осмотрел вещи: всего было три детские фуфайки, три серые школьные гимнастерки, три пары ботинок на резиновой подошве и три новенькие серые школьные фуражки.

— А это уж ни к чему! — взял он фуражки.— По весне-то можно и без них обойтись. Лучше бы шапки положили.

10

До самого половодья Фомич жил без заботы; муки хватило почти на всю зиму, картошки он подкупил, так что и на семена осталось. Авдотья даже поросенка завела. Фомич справил детишкам и себе валенки, полушубок купил, малахай собачий. В лес ходил с ружьем, как часовой на пост.

Как-то в марте его окликнул с завалинки дед Филат — на солнышке грелся:

— Федька, никак ты? Подь сюда!

Фомич подошел, поздоровались.

— А я гляжу, что за бурлак идет? Иль кто со стороны приехал?— Дед Филат прищуркой смотрел на Фомича.— Ишь ты как разоделся.

— Я теперь вольный казак... вроде лесничего,— похвастался Живой.

— Слыхал, слыхал...— Дед Филат поймал его за полу рыжего полушубка, помял пальцами овчину.— Мягкий... Казенный, поди?

— Сам справил. А ты как живешь, дядь Филат?

— Да ничего... Пензию вот хлопочу. Намедни в Свистуново ходил, в сельсовет. Председатель говорит: «Уходи из колхоза. Тады мы тебя как беспризорного оформим. По восемьдесят пять рублей в месяц». Хочу уйтить из колхоза. Как думаешь, пустят?

— Отпустят... Хлопочи! Меня вот отпустили.— Он вскинул ружье и пошел.

Но недолго Фомич щеголял с ружьем за плечами. С наступлением полой воды кончилась и его лесная карьера... Остатки заготовленного леса увезли по апрельскому хрусткому снегу.

— Что ж мне теперь делать?— спросил он Петю Долгого.— Не итить же назад к Гузёнкову!

— Переходи ко мне в колхоз. Все-таки у нас за единички не работают. Голодным сидеть не будешь.

— А жить где? Ты же мне не поставишь избу?

— Это уж на общих основаниях.

— Ну, конечно,— согласился Фомич.— Был бы я какой-нибудь ценный специалист, тогда другое дело. А то что? Из ружья палить либо хвосты коровам крутить каждый умеет. Колхозники не позволят строить дом такому специалисту.

— Пока будешь в Прудки ходить ночевать.

— До Прудков восемь верст! Да через реку... Ночью еще утонешь. Нет уж, спасибо и за приглашение.— Живой совсем нос повесил.— Гузёнков теперь слопаёт меня.

— погоди!— задержал его Петя Долгий.— Раскидухинская ГЭС по полой воде лес к нам забросит. Колхозам на столбы... На весь район. Пойдешь охранять этот лес?

— Пойду!

— Подожди минутку!— Петя Долгий стал накручивать телефон.— Брехово? Раскидуху дай! А? Раскидуха? Начальника попрошу! Товарищ Кошкин? Здорово! Звонарев... да, да. Слушай, ты нашел охранника на лес? Нет? Так я тебе подыскал. Вольнонаемного, говоришь? А он и есть такой. Нет, нет, не колхозник. Ну и гоже. Что? Из Прудков. Как раз там и базу намечаем делать. Дороги к Прудкам? Нормальные... Как везде. А? Ну и гоже.

Петя Долгий положил трубку.

— С тебя пол-литра,— пошутил он.— Ступай на Раскидуху, оформляйся в охранники. Лес пригонят по реке под самые Прудки. Работа к тебе на дом прет. Давай!— Петя Долгий сунул на прощание свою лапу и пожелал Фомичу удачи.— Да смотри не проворснь. Поторапливайся!

На лугах снег почти весь растаял, огромные лужи талой воды медленно стекали в бочаги и озера, вспучивая старый, ноздреватый, изъеденный солнцем лед. «На озерах еще не опускался лед,— думал Фомич,— значит, и река, наверно, держит. Пройду!»

В Прудки возвращался он с легким сердцем — опять ему подфартило. «До самого жнитва теперь очень даже проживем. А там новый хлеб поспеет. Воробей и тот кричит в тую пору — семь жен прокормлю! Главное — весну перебиться».

Весной пришла ему на помощь река. Милая сердцу Прокоша! Уж сколько раз она выручала его из беды в самую голодную пору. В сорок шестом году зимовать пошли без корки хлеба. Картошка и та не уродилась. Скот порезали... Казалось бы, тут и конец придет Живому. Ан, нет! Наплели они с дедом Филатом сетей, прорубили лунки во льду и всю Прокошу перегородили; и колотушками деревянными били по льду и ботали — пугали рыбу. Шла плохо. Но тут впервой спустили в Оку какую-то химическую отраву. Рыба вся подалась в Прокошу. В каждой ячее по штуке торчало. Хоть и припахивала рыба керосином, но ели всем селом за милую душу.

И вот опять Прокоша ему работенку подкинула. «Рублей четыреста положат — и проживем»,— думал Фомич. Оно еще то хорошо, что с весны в прудковский магазин стали привозить из района печеный хлеб. Привозили его, правда, один раз в неделю и давали по две буханки на двор. Но и то подспорье. К этим буханкам да еще картофельных пышек напекут — и довольна ребятня. «Теперь жить можно,— твердил про себя Фомич.— Гневаться на судьбу тоже нельзя».

К Прокоше он подошел у Богоявленского перевоза. Лед поднялся на реке и стал теперь вровень с берегами. На берегу лежал черный, неуклю-

жий, как огромный утюг, дощатый паром. Под его широченное брюхо приплескивала вода. Рядом, в затишке под паромом, сидел у костра паромщик, сухой носатый старик в брезентовом плаще поверх фуфайки. В округе он известен был под именем Иван Веселый. На костре в котелке булькала вода, варилась картошка.

— Унесет водой твой ковчег-то!— сказал, присаживаясь к огню, Фомич.

— Унесет,— согласился Иван Веселый.— Они, целуй их в доннышко, на тракторе хотели утащить паром с осени. Пригнали волокушу, вытащили его на берег... А погрузить не смогли. Так и бросили его тут на берегу.

— А ты что здесь, живешь, что ли?— Фомич привстал, заглянул в паром — там весь трюм, до верхней палубы, был забит сеном.

— Паром стерегу. Не то по большой воде унесет его ажно в Оку. Им-то что! Сварганят новую колоду — привезут, бросят в реку... и валяй, Иван! А мне на нем работать. Может, новый-то не сручный будет? Пупок надорвешь. А им что?

— А уж этот у тебя сручный...— усмехнулся Живой.— Прямо амбар.

— Ну не скажи! Он легкий на ходу. Я его один до Брехова догоняю.

— Еще бы! Паром в село пригонишь, а сено к себе на двор свезешь... У тебя губа не дура.

— Это я сам нагреб сено-то. Места от стогов остались. Подстилка...

— Подстилка!— Фомич вытащил из трюма клочок мелкого ароматного сена.— Эту подстилку хоть в чай заваривай. Тут воза два будет.

— А ты не суй свой нос куда не надоть!— окрысился Иван Веселый.— Ты лес сохраняешь? Ну и охраняй. А луга идут по другой статье.

— Это я к примеру,— сказал Фомич и невесело добавил:— я уж и в лесу боле не охранник.

— Ай кончился контракт?

— Кончился, Иван, кончился...

Живой подошел к реке.

— Как думаешь, Иван, на этой неделе тронется лед?

— Тронется! Ноне ночью суршало у берегов. Отодрало лед-от. Теперь не ноне-завтра пойдут, целуй его в доннышко.

— Дай-ка мне вон ту жердину!— Фомич взял с парома легкую еловую жердь, кинул наземь.

— Зачем тебе? — Иван Веселый, задрав кадык, с недоумением смотрел на Живого.

— На ту сторону перейтить.

— Да ты что, в уме? Целуй тебя в доннышко! Такие забереги разлились, что озера. Потонешь...

— Вынырну... Я, брат, давно уж одеревенелый. Такие не тонут. Дай вон еще ту доску!— Он взял с палубы еще широкую доску, пошел к реке.

— Стой, живая пятница!— крикнул Иван Веселый.

— Ну?

— Ступай по берегу! Возле Прудков полынья большая. Покличь, може, оттуда лодку принесут. Переедешь тогда.

— А если не принесут? Кто меня там услышит? Теперь на реке и собаки не встретишь.

— Ну подожди денек-другой... Лед тронется — я тебя перевезу на ту сторону на пароме.

— Мне ждоть некогда.

Фомич кинул через разлившийся заберег доску; одним концом она оперлась о берег, вторым чуть накрыла край ноздреватого льда.

— Ну, господи бласлави!— Он потихоньку пошел по доске, опираясь на шест.

Доска захлюпала по воде и стала медленно погружаться. Фомич мелким частым поскачком, разбрызгивая воду, бросился на лед. Но вдруг край льдины, на которой опиралась доска, обломился. Фомич одной ногой провалился по колено в воду и с маху, оттолкнувшись шестом, бросился животом на льдину.

— Ах ты живая пятница, целуй тебя в доннышко! — ругался с берега Иван Веселый.

Фомич снял сапог, вылил воду, перемотал портянку и пошел дальше с шестом и с доской в руках. Лед на середине реки был крепкий. Фомич обходил только лужи — боялся провалиться в прорубь. А на другом берегу лед подходил к самому приплеску. Фомич даже доской не пользовался: разбежался, повис на шесте — и там.

На другой день утром рано он был уже на Раскидухинской ГЭС, стоявшей на слиянии Прокоши с Петлявкой. Почти сорок верст отмахал за сутки Живой. Пришел как нельзя кстати — утром на Раскидухе тронулся лед, а пополудни начали вязать плоты — готовить лес к перегону в Прудки.

А еще через три дня, лишь Фомич оформился охранником Раскидухинской ГЭС, пузатый, черный, как жук, катеришко поволол три больших звена бревенчатого плота по Прокоше. Впрочем, Прокоши уже не было, — вокруг, куда ни хватал глаз, стояло море разливанное. Ни тебе излучин, ни берегов. Хочешь — плыви по реке, а захочешь — валяй напрямки по лугам, по кустарникам. Речные берега заметны были только по торчащим из воды верхушкам прибрежных тальников да по редким створным знакам, белым и красным, как оброненные платочки в этом океане. И ни пароходов навстречу, ни лодок... Только ветер да волны. И посреди этого раздолья сидит Фомич и варит кулеш. Хорошо! И Фомич даже жалеет, что так пустынна сейчас речная дорога, что скрылись берега под водой, — нет на них ни одиноких подвод, ни рыбацких палаток, ни шалашей косцов; а то бы на него глазели из-под ладоней да покрикивали: «Эй, Фомич! Скинь бревешко!» Кричите... Как же, скину! Фомич и в ус не дует — сидит у всех на виду и ест кулеш.

Катеришко утробно храпит, фыркает, как лошадь, и тянет на длинном тросе плоты. Фомич, поужинав, зарывается в сено и спит в палатке, как бог. Палатку ему дали в конторе, а сено уж он сам раздобыл.

Спит Фомич и видит счастливый сон: будто плывет он по Волге на большом белом пароходе и стоит на самом верху, в стеклянной будке, где штурвальное колесо. И смотрит не как-нибудь, а в бинокль. «Кто там на берегу? Что за народ собрался?» — спрашивает он вахтенного. А тот кричит ему в матюгальник: «Прудки подошли, товариш капитан». — «Что еще за Прудки такие?» — строго спрашивает Фомич, будто и не слышал в жизни такого слова. «На пароход просят!» — кричит вахтенный с нижней палубы. — Причаливать ай нет?» — «Скажи им, которые норму трудней не выполнили, не посадим! — кричит Фомич вахтенному. — Я сам проверять буду. Причаливай!» Чуф-чуф-чуф! — зафыркал пароход и дал гудок. Только вместо гудка заревела сирена: мм-мо-о-о! «Вроде бы корова мычит, — подумал Фомич. — Гудок, наверно, заржавел. Надо приказать, чтобы почистили». И вот Фомич ходит по трапу в белом кителе, в белой фуражке, и бинокль висит на шее. А гудок все ревет и ревет — мм-мо-о-о! «Да заткните вы ему глотку!» — приказывает Фомич вахтенному. Ему очень хочется услышать, что скажут прудковские мужики, увидев его в капитанской форме. А вахтенный вдруг как закричит в матюгальник: «Фоми-и-и-и!» И такое ругательское загнул, что Живой очнулся. Слышит — ревет сирена на катере, а на корме стоит старшина и вопит в матюгальник:

— Фоми-и-и-и! Ты что, подох там, что ли?

Фомич вылез из палатки.

— В чем дело?

— У тебя что, зенки повылазили? Видишь, к Прудкам подходим!

Только тут Фомич очухался ото сна, — прямо перед катером на берегу виднелись родные Прудки; тополиная гора, где раньше стояла церковь, а теперь крытая жостью старая изба Лизунина, перевезенная туда под клуб; дальше — ветлы над соломенными крышами поредевших прудковских изб, а чуть на отшибе — белокаменные корпуса колхозного коровника под красивой шиферной кровлей, набранной в разноцветную шашку. Перед серыми прудковскими избами, соломенными дворами да плетеными заборами белостенные коровники высились дворцами.

Катер уже вошел в старицу, на берегу которой стояли Прудки. Еще на базе Фомичу приказали причалить плоты в старице возле клуба. «Потом пришьем трактор и выкатаем бревна на берег, — сказал начальник. — Только причаливай крепче. Смотри, чтоб не унесло в реку!»

На тополиную горку народу вышло куда меньше, чем видел Фомич во сне, — больше все старухи да ребяташки. Правда, появился было Пашка Воронин, но, разглядев, кто плывет, ушел в клуб. Там у него была будка с телефоном. «Ну, теперь, поди, названивает самому Гузёнкову, — думал не без удовольствия Фомич. — Мол. так и так — Кузькин плоты гонит. Что прикажете с ним делать?» — «Он теперь не подвластный», — скажет Гузёнков и матом заругается. «Ругайся себе на здоровье. А мне наплевать», — думал Фомич и смотрел на горку.

Там среди ребятни он увидел и своих; все они бегали вокруг топей и кричали:

— Пароход! Пароход!..

Когда плоты подтянули к берегу, Фомич привязал крайнюю секцию веревкой к тополю и важно, как петух, поднялся на гору. Но всю эту торжественную минуту испортила бабка Марфа Назаркина.

— Ты, Федька, ровно корову привязал на лугу, — прошамкала она. — Мотри, кабы ребяташки не угнали твои плоты.

— Кто сунется — башку оторву! — сердито и громко сказал Фомич, но командиру катера как бы между прочим заметил: — Оно, если по правилам, конечно, мертвяки надо бы зарыть да цинковым тросом плоты причалить.

— А вода спадет — они у тебя, что ж, на горе повиснут? — Катерник был сердит за утреннюю побудку и презрительно фыркал в свои рыжие прокуренные усы.

— Может, палатку оставишь мне? Для служебной надобности? — сказал Фомич.

— Дрыхнуть, что ли? И в избе отоспишься..

Катерник запустил свою сирену — она опять протяжно и долго мычала, потом захрапел дизель, забулькала вода под кормой, и катер, опирав большую дугу, уплыл, растворился в мутных волнах Прокоши.

А Живой шел домой через все село, как с победой — ружье за спиной, котелок в руках; перед ним вприпрыжку неслись табунком его чада и, завидев свою избу, еще издали кричали:

— Ма-ам, папка кулеш привез!

В ночь накануне Первого мая разыгрался сильный ветер. Фомич был на плотях. Волны стали захлестывать бортовые бревна, вода пошла поверху, бревна осклизли. Потом возле берега начало будто покручивать, и секции полезли друг на дружку. Живой пытался было привязывать их к тополям, но веревки то провисали качелями, то натягивались и лопались

со свистом, как струны. Фомич понял, что здесь, под горой, плоты ему не удержать в эту бурную ночь. Надо было срочно перегонять их в тихое место. Но перегонять в такую пору было страшновато, да и не управиться одному. Проще всего — вытянуть бы плоты немного на берег, а вода успокоится — снова спустить. Но для этого трактор нужен. Фомич вспомнил, что целый день урчал трактор на ферме, навоз выволакивал. Надо попросить.

Он прибежал к Пашке Воронину, торопливо постучал в окно. Тот вышел на крыльцо, позевывая, увидев Фомича, в избу не пригласил.

— Тебе чего?

— Слушай, дай ты мне трактор на часок — плоты посадить на мель. Не то угонит их в реку. Вишь, какой ветер разгулялся!

— Это как же так? Дать трактор за здорово живешь! Кому? На что?

— То есть как на что? Плоты спасти! Столбы-то не мне на избу, колхозам на освещение...

— Ну так что? Трактор-то не мой, голова, а метэсовский! У него тракторист есть. А там еще и председатель. Как Михаил Михайлович решит. Иди к нему.

— Да куда я пойду в такую пору от плотов! — взмолился Фомич. — Позвони ему!

— Тебе надо, ты и звони, — лениво отозвался Пашка, поворачивая Фомичу свою длинную спину.

— Да по чем я звонить буду? На столб телефонный лезть мне, что ли?

— А мое какое дело.

— Ну, паразит! — озверел Фомич. — Свидетелей соберу сейчас... Пусть все узнают, что ты отказался государственное имущество спасти. Судить будут тебя, стервеца.

— Ты не стерви, а то я те ахну по кумполу, сразу по-другому зазвонишь, — ответил Пашка спокойным тоном. — Я тебе сказал, что тракторами не распоряжаюсь. Хочешь — бери мою лошадь.

— Да на что она мне! Звони Гузёнкову! Слышишь, не тяни...

Пашка ничего не ответил и скрылся в черном дверном проеме. Через минуту он вышел одетым.

В клубной телефонной будке Пашка долго накручивал ручку, пока ему не ответили.

— Вы что там, сдохли все, что ли? — выругался он. — Квартиру Гузёнкова мне... Михаил Михайлович? Я — Воронин... Тут плоты ветром угоняет. Да... Кузькин просит трактор, чтоб на мель их вытянуть. Как быть? У нас тут на ферме остался один на ночь. Что? Да... А? Да... Понятно!

Пашка Воронин положил трубку и, весело усмехаясь, с минуту глядел на Фомича.

— Ну, что? — не выдержал Фомич.

— Он спросил меня: кто за плоты отвечает, Кузькин? Да, говорю. Так вот, пусть эти плоты хоть сейчас сгорят все до единого, он и пальцем не шевельнет. Понял?

— Понял, — медленно выговорил Фомич и вдруг почувствовал, как у него руки от злости задрожали, и ему захотелось ударить в нахальное, смеющееся Пашкино лицо... Или нет! Взять бы сейчас промеж пальцев длинный Пашкин нос, сжать бы его, как клешнями, и набок повернуть...

— Я вам это припомню, — сказал Фомич и выбежал из клуба.

На улице темь — глаз коли. Мелкий острый дождь больно сек лицо, хлестко, как дробью, бил в гулкий задубеневший полушубок. «Надо позвать мужиков, — думал Фомич, — попытаться вывести плоты в затон, к Святому озеру. Там затишок... Но кто пойдет в такую пору?»

Он остановился возле дома Васьки Котенка, сельского пастуха, еще не женатого парня. «Ежели того уговорить, он хоть в огонь пойдет», — думал Фомич и знал, что слово на Ваську действует так же, как и на колхозного быка.

Васька хоть и получил прозвище Котенок, но ленив был, как настоящий старый кот... По лени своей он и в деревне остался. Пришел из армии, мать говорит ему: «Васька, поезжай в Горький. Там половина Прудков на парходах ходит». — «Кого я там не видал»... Предлагали ему идти на курсы механизаторов. «Да кого я там не видал», — отвечал свое Васька. Устроился он стадо гонять, три года прошло, а Васька все никак кнута не может сплести. «Да когда его плести! Летом пасти коров надо... А зимой чего стараться? Может, и не придется больше коров гонять?» Так и ходил он впереди стада с палкой.

Была у Васьки еще одна слабость — любил выпить. Фомич на этой слабости и решил сыграть.

На грохот в дверь долго никто не отвечал. Потом в окне появилась круглая Васькина физиономия:

— Кого надо?

— Васька, это я... Выйди на минуту!

— Никак ты, дядь Федя! Чего тебе?

— Собирайся скорей! Работенка есть. — Фомич боялся, как бы Васька окна не закрыл. Тогда его не дозовешься.

— Какая еще работа в такую пору? — Васька и окна не закрывал, и не проявлял особого интереса.

— Начальник ГЭС звонил мне. Приказал плоты перегнать к Святому озеру. Полсотни на рыло обещает, — соврал Фомич.

— Ну, так завтра и перегоним. Где начальник-то?

— Да начальник там...

— Где там?

— На станции. А мне наказал расчет произвести.

— У тебя что за деньги? В твоём кармане — вошь на аркане...

Васька взялся за оконную створку, намереваясь прихлопнуть ее перед носом Фомича.

— Да ты обожди, обожди! — поймал его за руку Фомич. — Он мне наказал после работы литру водки поставить.

Васька чуть подался вперед:

— А не врешь?

— Ну, ты что? Начальник велел... Приказ начальника — закон для подчиненного. Сам знаешь — служил в армии.

— Обожди маленько, — коротко сказал Васька и захлопнул окно.

— Ну, слава те господи! Одного уговорил, — облегченно вздохнул Фомич. — Еще кого? Хотя бы по человеку на секцию...

Через минуту Васька вышел, застегиваясь на ходу.

— Дядь Федь, а еще кого не надо?

— Одного бы человечка не мешало.

— Обожди маленько. — Васька перебежал через дорогу и постучался к Губановым: — Гринь, выйди-ка!

Вышел тот самый тракторист, которого пытался заполучить Фомич у председателя. Перекинувшись двумя словами, Васька с Гринькой пошли к Фомичу.

— Дядь Федь, а трактором нельзя оттащить плоты по берегу? — спросил Васька.

— Можно попробовать, — безразличным тоном сказал Фомич. — Мне все равно.

— Мы сейчас сбегает заведем трактор и в мсмент пригоним, — сказал Гринька.

— Только через село не гоните, — остановил их Фомич. — Нечего народ булгачить. Давайте по берегу.

— А нам все равно. Пошли! — И Гринька с Васькой исчезли в темноте.

«Видать, бог-то есть, — думал, ухмыляясь, Фомич. — Вон он как все рассудил. Не хотели мне трактора дать, чтоб подтянуть плоты... Так теперь я их за версту отведу, к Святому озеру. И не то что на мель — на сухо вытяну».

К утру все три плота лежали на пологой отмели Святого озера возле самых коровников. Фомич ликовал: только теперь он понял, что там, в конторе, дали промашку — распорядились причалить плоты возле клубного крутояра. Спала бы вода, их еще пришлось бы вытаскивать трактором из озера. Месяц работы... Да трактор надо гнать за тридцать километров. А здесь они — вода спадет — на сухом месте. И подъезды к ним хорошие. Подгоняй любую машину, нагрузжай и вези куда хочешь. «Выходит, я не одну тысячу сэкономил. Может, еще и премию отхвачу. И все за литру водки! Вот тебе и полая вода...»

Половодье в Прудках — пора веселого отдыха и кратковременной дармовой добычи. Ребятишки день-деньской кричат, как грачи, на тополиной горке — кто в городки играет, кто в лапту, и нашармака, и в ёздушки: проиграешь — вези соперника на своей спине от коня и до коня. Старухи спозаранок выползают на завалинки и долго греются на солнце, из-под ладони смотрят, как переливается в солнечном блеске желтоватомутная неоглядная вода. «И куда она вся деётся?» — «Вода-то?» — «Ну!» — «Сказывают, в море». — «А у моря что ж, ай дна нет?» — «В пропасть уходит...» — «Ах, ба-атюшки мои!»...

Старики в такую пору не судачат; вместе с мужиками, которые на технике не заняты, шныряют они в лодках по лугам — подбирают плывущие бревна, спиливают сухостой, грузят в лодки, а тяжеленные коряжины буксируют на веревках. В хозяйстве все пригодится... Мало ли какое добро выносит полая вода; иной в лодке везет бревна, а в руках ружье держит — того и гляди утка вылетит из-за леса или заяц подвернется на каком-либо незатопленном островке... Приберут. Прудковские жалости не имут.

В такую пору по мутной вольной воде начинает биться лещ, сазан, щука... Возле кустарников, у берегов скрывшихся под водой бочажин ставят великое множество двукрылых шахов и однокрылых куликов, горловины затонов и стариц перекрывают сетями. А у кого нет лодок, те бродят вдоль берегов с закидухой — квадратной сетью на конце длинной остроганной жерди. Всякому своя работа... И редкий прудковский мужик откажет заезжему любителю свежей рыбки из какого-нибудь суходольного Тиханова. «Бери, сколько хочешь. По десятке за кило». — «А дешевле нельзя?» — «Пашано ночью почему? То-то и оно. Дешевле нам нельзя. За счет природы только и выезжаем».

Полая вода была в этом году высокая, под самую ферму подошла, и неподалеку от коровников стоящие хранилища с семенным картофелем потекли. Пришлось срочно перебирать весь картофель. Гузёнков приказал согнать на хранилища все Прудки и сам прикатил на «газике». По домам ходил Пашка Воронин, созывал людей.

Фомич после утренней рыбалки сидел на крыльце и читал газету, когда остановился перед ним Воронин.

— Председатель приказал всем идти на овощехранилища. И тебе тоже идти с семьей... картошку перебирать. Понял?

Фомич, не отрываясь от газеты, спросил:

— А кто отвечает за эту семенную картошку? Гузёнков?

— Да, сам председатель. И приказ его.

— Тогда передай ему — пусть вся эта картошка потонет... Я и пальцем не шевельну.

— Я передам... Но смотри, кабы не пришлось пожалеть. Мы тебя еще снимем.

— Руки коротки!

— Посмотрим.

Когда Пашка передал Гузёнкову эти слова, председатель так гаркнул возле хранилища, что Фомич на крыльце услышал:

— Выгоню!

Авдотья перепугалась и огородам, потихоньку от Фомича, ушла на овощехранилища. Но Фомич был не из пугливых, к тому же он ждал от своего начальника какой ни на есть похвалы. И она пришла.

Только спала полая вода, как с Раскидухи позвонили в Прудки. За Фомичом сбегал избач Минька Сладенький, малорослый паренек с тяжелой головой, болтающейся на тонкой шее, как колд́ая на цёпе. «Давай к телефону, срочно!» — только и выдохнул он на Фомичовом складе. Фомич взял у Сладенького ключ от избы-читальни, как эстафетную палочку, и побежал через выгон.

— Как там у вас, сухо? — спросил в трубку начальник ГЭС.

— Очень даже, — выпалил, переводя дух, Фомич. — Ребятишки в лапту играют.

— Плоты целы?

— Все цело, до единого бревнышка.

— Завтра пошлем к вам трактор, бревна таскать на берег.

— Не надо трактора. Бревна на берегу.

— Как так на берегу? Кто их вытащил?

— Я.

— По шучьему велению, что ли?

— Приезжайте, посмотрите... А только бревна лежат на сухом берегу, — скромно ответил Фомич.

— А подъезд к ним есть?

— Очень даже. У самой фермы лежат.

— А ты нас не разыгрываешь? Смотри! После обеда приедем.

Белый катер начальника летел по реке, как рыбничек. — крылья водяные вразлет, нос поверху. Того и гляди оторвется от воды и взлетит над берегом. Фомич поджидал его на высоком Кузяковом яру. Он снял кепку и размахивал ею над головой, как пчел отпугивал. Его заметили с реки, катер свернул к берегу и с ходу вылез брюхом на песчаную отмель. Фомич сбежал вниз.

В катере было трое: начальник, щеголевато одетый молодой человек в темных очках, моторист в кожаной куртке и в настоящей морской фуражке с крабом и толстый, с портфелем завскладом, который сдавал Фомичу лес по накладной.

— Ну, где твои плоты? — спросил начальник, здороваясь.

Фомич провел их до Святого озера, где на зеленой травке лежали все три плота. Дорога и в самом деле проходила мимо бревен всего в каких-нибудь двадцати шагах.

— Смотри-ка, да лучше этого места и желать нельзя! — воскликнул начальник. — Что ж это мы не смекнули? А?

— Это озеро соединяется с рекой только при очень высокой воде, — сказал завскладом. — Откуда знать, что вода будет такой большой?

— А ты как сообразил? — спросил начальник Фомича. — Почему перегнал плоты сюда?

— Буря была... Их там и затормошило.

— Ишь ты! Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но все рав-

но ты молодец. Ты нам больше трех тысяч сэкономил. Мы тебя тоже наградим месячным окладом. Пупынин! Ну-ка, дай портфель!

Толстяк подал начальнику портфель, тот раскрыл его, вынул деньги и отсчитал Фомичу четыреста восемьдесят пять рублей.

— Держи!

Потом любезно взял Фомича под руку.

— А много ты посулил заплатить за перегон плотов?

— Сотню рублей... И от себя литру водки поставил.

— Ах ты купец Иголкин! — засмеялся начальник. — Спаиваешь рабочий люд? Ладно уж, оплатим тебе и эту литровку... Только впредь у меня смотри, эти купеческие замашки брось. — Прокопыч! — обернулся он опять к толстяку с портфелем. — Давай сюда разнарядку!

Тот вынул из портфеля ведомость с гербовой печатью. Начальник вручил ее Фомичу:

— Вот по этой разнарядке будешь выдавать колхозам лес. Кубатуру считать умеешь?

— А чего ж мудреного!

— Ах ты мудрено-ядрено! Да ты в самом деле молодец. Кто говорил, что он не справится?

Фомич с вызовом поглядел на толстяка с портфелем.

— Я только в том смысле, что нам кладовщика девать некуда, — пробурчал толстяк.

— А он чем не кладовщик? Значит, будешь у нас теперь за кладовщика, временно. А там посмотрим... По этой накладной и выдавай лес. Под роспись, разумеется. Тут сказано, кому сколько столбов. Кому каких распорок, пасынков... Действуй! — Начальник пожал Фомичу руку и шутиливо ткнул в бок: — Успеха тебе, купец Иголкин.

12

Фомич долго изучал ведомость — кому сколько отпустить бревен; на каждый колхоз отвел по тетрадной странице, а потом раз десять замерял каждое бревно — выводил кубатуру. Еще на юридических курсах Фомич познакомился с хитрой наукой «гонометрией», как он ее называл. Всю «гонометрию» осилить он не успел, но высчитывать кубатуру бревен, определять сено в стогах или солому в скирдах — это он научился. Число бревен в плотях было такое же, как и в ведомости указано, а вот кубатура чуток завышена. Объягорил его толстобрюхий зав ровно на пять кубометров. Но так как колхозам отпускать положено не просто кубометры, а столбы, то есть поштучно, то Фомич не тужил: в таком деле растекутся эти пять кубометров и не заметишь как.

Вот-вот должны подъехать машины из колхозов, и Фомич тогда будет нарасхват, в самый почет войдет. «Федор Фомич, отпусти, пожалуйста!» — «Федор Фомич, попрямее каких нельзя?» — «А кривые куда?» — строго скажет Фомич. — Андрюше на костыли, что ли?» Нет, одним почтением Фомича не разжалобишь, в деле он человек серьезный и спуску от него не жди.

В разгар самых деловых мечтаний Фомича неожиданно-негаданно прикатил на «газике» Тимошкин — в белой расшитой рубашке, в белых парусиновых туфлях, в соломенной шляпе — как гусь, важно выхаживал он возле бревен, потом потребовал от Фомича разнарядку. Фомич знал, что Тимошкина повысили, — теперь он стал заместителем Мотякова. Начальство! Фомич вынул из кармана гимнастерки разнарядку и подал. Тимошкин пробежал по ней своими круглыми желтыми глазами и сказал:

— Чудненько! Значит, весь этот лес передай по акту согласно данного документа... Сегодня же.

— Сдать за день! — удивился Фомич. — Здесь боле трехсот кубов. За месяц не увезешь...

— Это вас не касается. Вы сдавайте по акту все сразу... Другому человеку. Мы сами найдем охранника за трудовни. Понял? Лес наш...

— Дай сюда! — Фомич выхватил из рук Тимошкина разрядку, спрятал в карман и зашпилил его булавкой. — Вот когда получите лес от меня под расписку, тогда он будет ваш. А пока лес мой!

— Твой лес? Ишь ты, частный элемент нашелся. Посмотрите на него! — Тимошкин указывал на Фомича коротким толстым пальцем и спрашивал своего шофера: — Видал, чирый какой?

— Кто будет деньги за этот лес платить? Мы! — Тимошкин подошел ближе к Фомичу. — А тебе платить не желаем. Понял? Уходи! Сдавай лес общим актом.

— Не сдам!

— То есть как не слашь? А мы отберем! Колхозы будут приезжать и брать лес по нашему указанию.

— Попробуйте только! У меня вон два ствола... — Фомич кивнул на прислоненное к бревнам ружье. — Кто сунется — уложу на месте.

— А за разбой знаешь что бывает?

— Я охраняю государственное имущество. Кто меня поставил, тот и снимет.

— Так мы же договорились с начальником ГЭС, голова два уха.

— Этого не может быть! — опешил Фомич.

— Пошли к телефону!

Тимошкин покатился вперед, за ним — ружье наперевес — понуро шел Фомич.

— Ты чего мне в спину целишь? — обернулся Тимошкин. — Я тебе кто? Арестованный? Иди рядом! И пушку закинь за спину.

В клубе возле телефонной будки сидели верхом на скамье Пашка Воронин и свистуновский киномеханик и резались в шашки.

— Сидите-сидите! — царственным жестом успокоил их Тимошкин.

Впрочем, они и не думали вставать, только посмотрели на него исподлобья.

— Мне позвонить надо, — сказал Тимошкин.

— Звоните, — кивнул на телефон Пашка и снова склонился над доской.

— Почта? Дайте мне Тиханово! Это Тиханово? А? Тимошкин говорит. Соедини-ка меня с гидростанцией. Начальника, да! Прямым проводом, да. Товарищ Кошкин? А! Тимошкин говорит. Мы тут забираем лес. В Прудках, в Прудках... А Кузькин в колхоз пойдет. Ну, как договаривались. Хорошо, передам ему... До свидания! — Тимошкин положил трубку. — Ну, вот... начальник не возражает. — сказал он Фомичу и чуть не замурлыкал от удовольствия. — Сдавай по акту лес и топай в колхоз на работу.

При этих словах Пашка и киномеханик вскинули, как по команде, головы и уставились на Тимошкина.

Фомичу показался этот телефонный разговор подозрительным: и то, как больно скоро соединили Тимошкина с Раскидухой, и этот прямой провод... И главное — так просто и нахально выгоняли его, Фомича. А тот приезд начальника что же тогда значил? Смеются они, что ли, над ним? Да неужели его начальник такой двуличный человек?

— Ну-ка, отойди в сторону! — Фомич оттер Тимошкина и снял трубку: — Свистуново? Нюра, это Кузькин говорит. Мне бы вызвать Раскидуху... Начальника.

— Долго ждать придется, дядя Федя, — ответила телефонистка.

— Вот те раз! Только же давали Раскидуху!

— Это не через меня... Может, через Тиханово.

— Давай, как знаешь... Все равно буду ждать.

Фомич припал к трубке и долго слушал монотонный, вялый голос телефонистки: «Аллё-у-у! Самодуровка, Самодуровка! Аллё-у-у! Брехово!.. Аллё-у-у! Аллё-у-у!» И Фомичу чудилось, будто это лепечет на лесной опушке птичка-сплюшка: «Сплю-у-у, сплю-у-у. Брехово!.. Сплю-у-у, сплю-у-у...»

Наконец Брехово ответило, и телефонистка оживилась:

— Брехово! Дайте Раскидуху! А? Начальника соедините?..

И вот в трубке послышался знакомый голос начальника ГЭС:

— Слушаю!

— Это Кузькин говорит, из Прудков!

— В чем дело? Колхозы приезжают за лесом?

— Еще нет... Мне передали из райисполкома, будто вы вместе с ними решили меня с работы того...— У Фомича пересохло в горле, он глотнул слюну и наконец произнес: — Снять.

— Со мной говорил вчера Мотяков,— ответил, помолчав, начальник.— Видите ли, товарищ Кузькин... Вы, оказывается, колхозник. А нам не разрешается принимать колхозников на работу, да еще без согласия колхоза. Вот Мотяков и жаловался, что я колхозников у него перема-ниваю.

— Да я же отпущен из колхоза. У меня есть и справка и паспорт! — крикнул Фомич.

Пашка с киномехаником давно уж отложили свою игру и теперь с напряжением слушали этот разговор.

— Меня же отпустили, понимаете, отпустили! — Фомич изо всех сил дул в трубку.

— Да вы не волнуйтесь, товарищ Кузькин,— ответил наконец далекий начальник.— Я ведь не сказал, что мы вас снимаем. При всех условиях работайте до конца. А там видно будет.

— А сейчас вы тут ни с кем не говорили? — поглядывая на Тимошкина, осторожно как бы спросил Фомич.

— Где это тут? У тебя или у меня?

— По телефону из Тихановского района сейчас никто с вами не говорил?

— Нет. А что?

— Да тут передо мной стоит один тип.— Фомич теперь жег глазами Тимошкина.— Прохвост в соломенной шляпе. А еще руксостав!..

Пашка и киномеханик, начиная понимать, в чем суть дела, выжидательно улыбались и нахально смотрели на Тимошкина. Тот снял шляпу и отер взмокший лоб.

— А что такое? — спрашивал начальник Фомича.

— Говорит, будто вы приказали меня выгнать. А лес по общему акту сдать ему.

— Что за чепуха! Не слушайте вы никого. Работайте, товарищ Кузькин.

— Вы бы с ним поговорили... Он тут вот передо мной стоит. Я ему сейчас трубку передам.— Фомич сунул Тимошкину трубку, но тот шархнул от нее, как от горячей головешки, и в дверь.

А вслед ему оглушительно хохотали Пашка с киномехаником.

На другой день с утра понаехали из колхозов и на лошадях, и на машинах, выстроились у фермы табором. Каждый к себе тянет — поскорее бы нагрузиться. Все — Фомич да Фомич! А что Фомич? На четырех ногах, что ли? И так совсем закрутился...

Сначала решил отпустить подводы из дальних колхозов. Уже нагрузились было хохловские, осталось подсчитать кубатуру да подписи

поставить, как прибежала плачущая Авдотья. У Фомича сердце так и екнуло:

- Что случилось? Ай с ребятами что?
- Федя, хлеб нам не дают в магазине...
- Как так не дают?

Был вторник — хлебный день, и Фомич не понимал, почему не дают.
— Продавец говорит, район запретил. Сам Мотяков звонил: не давать Кузькину хлеба...— Авдотья утирала слезы концом пестрого платка, повязанного углом.— Чем же мы теперь кормить свою ораву станем? Ой, господи!

- Да не реви ты! Разберемся — уладим...

Фомич сказал хохловским колхозникам, уже нагружившим подводы:
— Подождите уезжать! Я сейчас обернусь!— И побежал через выгон к магазину.

Возле древней кирпичной кладовой с отъехавшей задней стенкой, из расщелин которой тянулись тонкие кривые березки, толпилось человек пятнадцать — все больше баб да старух, — хлебная очередь. А в полуразваленной кладовой — наследстве попа Василия — размещался прудковский магазин.

— Что это еще за новости на старом месте? — спросил Фомич, входя в темное помещение.

— Я не виноватая, — сказала продавщица Шурка Кадыкова. — Гузёнков приезжал... Говорит, райисполком запретил выдавать тебе хлеб... Мотяков! Уж и не знаю почему.

— А чего ж тут не знать? — Бабка Марфа зло сверкнула глазками из-под рябенького, в горошинку, платка. — Он наш, хлеб-от, колхозный.

- И то правда... Много до него охотников развелось...

- Они ноне не жнут, не сеют... — загалдели в толпе.

— Ваш хлеб в поле остался, — обернулся Фомич к очереди. — А этот вам господь-бог посылает, вроде манну небесную.

- Так мы ж отработываем за этот хлеб-от...

— А я что, груши околачиваю? — Фомич махнул рукой. «Да что это я с бабами сцепился?» — подумал.

- Он побежал в клуб, попросил соединить его с Мотяковым.

- Чего надо! — недовольно спросил тот, услышав голос Фомича.

- Почему мне хлеб запретили продавать?

— Этот хлеб для колхозников привозят. А вы не только в колхозе не работаете, но даже помочь отказались.

- Так я же работаю в Раскидухинской ГЭС?!

— Ну и поезжайте на Раскидуху за хлебом. — Мотяков положил трубку.

— Ах ты сукин сын! Ну погоди... Еще посмотрим, кто в убытке останется.

Фомич дозвонился до начальника ГЭС и доложил ему о хлебном запрете:

— Я не могу лес отпускать, товарищ начальник. Поеду за хлебом в Пугасово.

— Правильно! Не давай им лесу, если они такие мерзавцы. Заворачивай все подводы и машины... И вот что... В Пугасове есть корреспондент областной газеты. Заезжай к нему. Он сидит в редакции «Колхозной жизни». А я позвоню ему, предупрежу. А если что не выйдет, давай ко мне.

- На свой лесной склад Фомич возвратился злым и решительным.

— Разгружай подводы! — крикнул он еще издали хохловским колхозникам.

— Да ты что, в себе? Мы еще по-темному выехали из дому, а к ночи еле доберемся назад... И с пустыми руками?!

— А если бы вы встали с пустым брюхом, день проторчали тут и пошли бы спать с пустым брюхом? Это каково?

— А мы тут при чем? — окружили Фомича шоферы и возчики. — Чего ты нам-то войну объявляешь?

— А со мной без объявлений начали войну, — сказал Фомич. — Не я начинал, не я и отвечать буду. Езжайте к Мотякову! Раз они так — и мы эдак...

— Ты уж нас-то пожалей. Нагрузились ведь... — упрасивали Фомича хохловские колхозники.

— А меня кто жалеет? У вас дети есть? Вот ужин подойдет, они придут к матери: «Дай хлеба!» А она скажет им: «Ложитесь не емши. Отец хлеба не принес, ему некогда. Он целый день хохловских мужиков жалел». Так, что ли?

Хохловские мужики, ругая и Фомича и Мотякова, а пуще всего некое мифическое начальство, пошли к своим подводам.

— Ладно уж!.. — остановил их Фомич. — Давайте накладную, подпишу.

Высокий, сутулый, обросший седой щетиной, как сухостой лишайником, хохловский бригадир протянул Фомичу накладную. Фомич подложил под нее тетрадь и подписал на коленке.

— Спасибо! — Хохловский бригадир спрятал накладную и сказал: — У нас тут есть хлеб... с собой брали. Возьми ребятишкам.

— Да вы что! Вам самим топать до ночи. — Фомич замотал руками и головой. — Я, чай, найду хлеба-то. А вы, ребята, не сердитесь, — сказал он шоферам. — Я, может, обернусь к вечеру. Хотите, ждите.

— Ничего, мы ведь тоже не свое горячее жгем.

Фомич отдал Авдотье ружье.

— Останешься за меня тут...

— А ты куда, Федя? — спросила Авдотья, принимая ружье.

— За кудькины горы! Правду пойду искать. — Фомич, видя, как вытянулось Авдотьино лицо, все-таки пояснил: — В Пугасово пойду за хлебом.

— Да туда не дойдешь и дотемна! — ахнула Авдотья.

— Авось люди добрые подвезут, — сказал Фомич, поглядывая на столпившихся шоферов.

Наконец один скуластый плотный паренек в военной гимнастерке подошел к Фомичу и взял его за плечо.

— Ладно, отец... Поехали с нами. Под самое Пугасово подбросим. Не сидеть же ребятишкам голодными.

Авдотья вдруг сгребла платок с головы, уткнулась в него и глухо зарыдала; ее острые, худые плечи под выцветшей и застиранной — не то голубой, не то серой — кофтой то поднимались кверху, то опускались.

— Хватит, мать, хватит... При людях-то постыдись! — говорил Фомич, оглаживая ее плечи.

— Я си-ичас, си-ичас, — торопливо, виновато произносила она и снова всхлипывала. — Мне и того еще досаднее, что свои же бабы из очереди выгнали...

Через час Фомич был уже в Пугасове... Первым делом он зашел в хлебный магазин, наложил полмешка хлеба и только после этого разыскал корреспондента.

Его встретил очень моложавый, но уже седой, с высокими зальсинами, приветливый, начинающий полнеть мужчина.

— Я уже в курсе, в курсе, — остановил он Фомича, когда тот начал

рассказывать.— Я сейчас позвоню Мотякову. Но у меня к вам просьба — помогайте колхозу.

— Я же на работе нахожусь.

— А вы после работы, по вечерам.

— По вечерам я отдыхаю, потому что ночью опять работа — лес охраняю.

— Понятно, понятно... Но все-таки обещайте, что вы будете помогать колхозу.— Корреспондент говорил, все улыбаясь, и получалось так, что он и сам будто не верил в эту помощь, а говорил просто для порядка.

«Это у них вроде игры,— подумал Фомич.— Как у солдат: назовешь пароль — проходи, куда хочешь, а не назовешь — не пустят».

— А почему мне никто не приходит помогать? — спросил Фомич.

У корреспондента поползли брови кверху, и он как-то обиженно надул губы:

— Странный вопрос! Ведь вы же не колхоз?

— А почему все должны помогать колхозу? Раньше ведь никто мужикам не помогал. А они сеяли, пахали, убирали — все вовремя.

— Вы говорите не на тему, товарищ, как вас, простите? Федькин?

— Нет, Кузькин.

— Ну, так вот, товарищ Кузькин, вы обещаетесь помогать колхозу или нет? — Корреспондент глядел теперь строго, и на лице его не было и тени давешней улыбки.

«Да от него, как от попа, не отвяжешься,— подумал Фомич.— Кабы чего хуже не было».

— Пока я на работе, никак не могу... Вот опосля — тогда другое дело... Посмотрим то есть. Отчего ж не помочь? — дипломатически ответил Фомич.

— Вот и хорошо! — обрадовался корреспондент.— А теперь выйдите на минуту, я по телефону поговорю.

Фомич вышел из кабинета, а дверь чуток не прикрыл, прислонился к косяку и стал прислушиваться.

— Товарищ Мотяков, запрет снимите... Советую! Да, да. Не то он до самого Лаврухина дойдет. У него дети... да, да! Сигнал поступил с места. Рабочий класс! Ну, тем не менее...— доносилось из кабинета.

А потом вышел сам корреспондент, пожал Фомичу руку и пожелал счастливого возвращения.

— Поезжайте... Хлеб вам будут давать.

Фомич еще до вечера успел приехать в Тиханово и сразу прошел в кабинет к Мотякову. На этот раз даже сердитая секретарша не задержала его. А Мотяков как стоял у окна, так и не обернулся, будто не Фомич вошел в кабинет, а муха влетела.

— Что ж вы теперь прикажете? Продавать мне хлеб или как? — спросил Фомич от порога.

— Будут вам продавать...

— Выпишите мне бумагу. На слово ноне нельзя верить.

— Тимошкин пришлет... Можете ехать домой.

— А с чем я поеду? Там дети голодные ждут меня.

— Ступайте вниз, в нашем ларьке возьмете буханку.

— Да мне чего с этой буханкой делать? По ломтику разделить?!

В ленинградскую блокаду и то больше хлеба давали на нос.

— Ну, возьмите, сколько хотите,— процедил Мотяков, но все-таки не обернулся, только руки его назад в кулаки сжалось.

— Это коленик другой.— Фомич даже улыбнулся на прощание.— Спокойной вам ночи...

В райкомовском ларьке стояли три женщины; одна из них — в красной, котелком, шляпе, в зеленой, вязанной из шерсти заграничной коф-

те — была жена Мотякова. Фомич сразу узнал ее, но не подал вида и, так же как Мотяков на него, так и он, не глядя на жену, сказал Настёнке Рошиной, продавщице:

— Ну и начальник у вас, Настёнка! Просто гад..

— Какой начальник, дядя Федя?— Она была свистуновской и знала Фомича.

— Да Мотяков! Дай бог ему сто лет жить, а двести на карачках ползать.

— Что такое? — испуганно спросила Настёнка, а посетительницы притихли, и только жена Мотякова — Фомич видел краем глаза — сделалась пунцовой, красней своей шляпы.

— Какой гад такие приказы давал, чтобы детей не кормить? А этот паразит приказал моим детям хлеба не давать.

Жена Мотякова вышла, хлопнув дверью, а Настёнка замахала на Фомича руками:

— Да ведь это жена Мотякова была, дядя Федя!

— Вот пускай она и доложит своему, какого об нем мнения народ.

— Ты уж молчи, молчи,— сказала Настёнка,— не то свяжут с тобой вместе...

— А ты не бойся! Сказано, нам терять нечего...

13

Накануне цветения яблонь, в самую пору посадки картошки на склад к Фомичу зашел Пашка Воронин, на нем были новые хромовые сапожки и белая рубашка с откладным воротником. Пашка грыз семечки; по растрепанному рыжему чубу, по красному носу и осоловевшим глазам Фомич сразу догадался, что Пашка выпимши. Дело было вечернее, на бревнышках сидели грелись дед Филат, Васька Котенок, только что пригнавший стадо, да четверо михеевских колхозников, с ночевой приехавших за столбами с дальней заречной стороны. Сидели, трепались, больше все Фомич старался.

Пашка сел на конец бревна и усмехнулся:

— Пришел Фомичу помогать, а то у него от работы, поди, задница заболела.

— И-ех! Вот это дал! — заржал Васька, закидывая голову, как жеребенок.

— А ты, Паша, горло-то вовремя прополоскал,— ответил Фомич.— Мне в помощь собака очень даже нужна. Лес охранять...

Теперь смеялись и михеевские мужики, и даже дед Филат заливался мелким клекочущим смешком.

«Уж коли ты на испыткок пошел,— подумал Фомич,— так давай потягаемся! Посмотрим, кто кого».

— Собака тебе будет мешать,— сказал, кисло улыбаясь, Пашка.— Одному-то дрыхнуть сподручнее.

— Э-э, нет! Я не один... Я здесь в трех лицах: бог-отец, бог-сын и бог — дух святой.

— Это что-то мудрено.— сказал Пашка.

— Почему это?! Бог-отец — это я сам, бог-сын — мой старшой помощник... Весь в меня! А бог — дух святой. это моя смекалка, которая всегда верх берет над нечистой силой.

— Над какой это еще нечистой силой? — спросил Пашка.

— А над тобой да над Гузёнковым.

— И-и-е-х! Вот это дает! — запрокидывал свое красное, обветренное лицо Васька.

— Ай да Фомич, крой тебя лаптем! — хватались за животы михеевские колхозники.

— И за что только такому брехуну деньги платят,— зло сказал Пашка.

— И в самом деле! — подхватил Фомич. — Зачем мне деньги? Воды у меня сколько хочешь, рыбы — тоже, вон, целое озеро! И воздух бесплатный... Да еще бригадир бесплатно развлекать приходит. Отчего и не поразвлечься с начальством? Мне вот вспомнилось, как у нас в колхозе повышали зарплату... — Фомич достал кисет, стал скручивать козью ножку, вкось поглядывая на Пашку.

Котенок, ожидая новую смешную историю, подался вперед, дед Филат сидел, сгорбившись, обхватив колено, и не то беззвучно смеялся, не то так просто разинул рот, а михеевские колхозники с любопытством поглядывали на Пашку. «Ну и как? Терпишь еще?» — словно написано было на их лицах.

— Так вот, значит, собрался на правление весь актив. Встает агроном и говорит: «Товарищи, мы должны повысить зарплату нашему председателю. Все ж таки мы план по хлебосдаче перевыполнили. Кто больше всех старался? Он! Мы без председателя, как слепые, и заблудиться могли бы. Он — вожак!» — «Правильно!» — сказал бухгалтер. — Я за то, чтобы надбавить председателю еще одну тыщу рублей. Объявляю голосование: кто против?» Все «за». Ладно. Тогда встает председатель и говорит: «Но, товарищи, я же не один старался. В первую очередь и агронома надо отметить. Он за полями присматривал. Кабы не агроном, поля травой позарастали бы. Предлагаю повысить ему оклад на пятьсот рублей. Согласны? Голосуем. Кто против? Никто... Хорошо!» — «Но, товарищи, — поднялся бухгалтер. — Мы ведь выполнили план и по сдаче молока. Надо повысить оклад и зоотехнику. Кабы не он, коровы недоемыми ходили бы». Хорошо! Повысили и зоотехнику. «А бухгалтеру? — встает зоотехник. — Он весь расчет у нас ведет... Дебёт—скребёт. А кто нам зарплату выдает? Опять же он. Кабы не он, мы и денег не имели бы. Надо и бухгалтеру повысить». Ладно, и бухгалтеру повысили. «А бригадиру? — сказал агроном. — Кто на работы колхозников организует? Бригадир. Если не он, и работать никто не станет. Повысить надо и бригадиру...» Хорошо, повысили. «Товарищи, нельзя обижать и моего шофера, — сказал председатель. — Если он будет плохо меня возить, мы плана не выполним. Надо повысить и ему». Повысили. «А мне? — сказал животновод. — Я на случном пункте стою. Если б не моя работа, и телят не было бы. А откуда молоко тогда взялось бы?» — «И правильно, — сказали все. — Как же мы животновода позабыли? И ему надо повысить оклад». — «А мне?» — спросила Матрена. «А тебе за что?» — «Как за что? Я работаю, навоз вывожу». — «Ну и работай. Вывози не три воза, а двадцать возов за день. Вот и получишь пуд хлеба да десять рублей. Больше всех... Какой же тебе еще оклад нужен?» Ладно, пошла Матрена навоз вывозить. Отвезла воз, другой... На третьем возу лошадь стала. «Но!» Стоит. «Но!» Ни с места. Она взяла шелугу да хлясть ей по боку! Лошадь на другой бок упала. Вот и навозилась. Пошла на конный двор: «Запрягите мне вон ту, крепкую лошадь». — «Эту нельзя, — отвечает ей конюх. — На ней Пашка-бригадир ездит». Подходит весна, а навоз не вывезен. «Опять всю зиму дурака валяли! — ругается председатель. — Ну ж, я вас проучу!» Вызывает он бульдозер из метеес... Тот выволок весь навоз с фермы и деньги Матренины все забрал. «Вон куда ваша зарплата ушла, — сказал председатель Матрене. — Работать надо было лучше». Напилась Матрена с горя самогонки... Утром на работу итить — она с печки не слезает... Но тут приходит за ней бригадир...

— Довольно! — крикнул Пашка и встал. — Не твои поганые речи антиколхозные слушать, я пришел сказать... передать приказ председателя — завтра на твоём огороде колхоз посеет просо!

— Как это так? — встал и Фомич. — Я на своем огороде пока еще хозяин.

— Был! А в прошлом году тебя исключили на собрании и усадьбы лишили. Вот об этом я тебя и предупреждаю. Это решение правления колхоза, понял? Огород больше не твой... Вот так! — Пашка под конец рассмеялся в лицо Фомичу: — Ну, что ж ты не веселишься? Развлекай теперь своих приятелей...

И пошел прочь.

— Вот так сказка с присказкой! — сказал Фомич, почесывая затылок. — Что ж мне теперь делать? Как думаешь, дядь Филат, отберут они огород?

— Они все могут. Вон у Митьки Губанова отобрали...

Губанов работал бакенщиком, огород у него отрезали под самое крыльцо, так он потихоньку на Луневском острове вспахал. Но Луневский остров принадлежал пароходству... Кто туда пустит Фомича?

— Ведь я ж теперь рабочий класс. Мне пятнадцать сотых положено. А уж закон я найду. До суда дойду...

— Э-э, Федька! Пока суд да дело, а они возьмут на твоём огороде и просо посеют, — сказал дед Филат. — Вот кабы ты раньше их картошку посадил, тады другой оборот.

— А на ком пахать? На бабе, что ли? К ним теперь за лошадьё и не подступись.

Молчавшие до сих пор михеевские переглянулись, и ветхий, почти как дед Филат, старичок в черном молескиновом пиджачке, из-под которого на ладонь выползал подол серой застиранной рубахи, сказал Фомичу:

— На ком пахать! О, голубь! Вон четыре лошади. За ночь вспашем и посадим... только соху тащи.

— А что, Федька! — подхватил дед Филат. — Бери у меня соху и валяй. Подфасонишь им в самый раз.

— У нее, поди, и сошники отопрели, — сказал Фомич.

— Шшанок! А я на чем сажаю? — вскинул бороденку дед Филат.

Соху и в самом деле оказалась крепкой. «И что за дед такой припасливый? — удивлялся Фомич, оглядывая Филатово хозяйство. — Еле ноги, кажись, волочит, а двор покрыт, изба проконопачена... И даже курушка в сенях квохчет».

Вместе с михеевским стариком Фомич притащил к себе в огород соху, впрягли в нее лошадь... И пошла работа. Пахали впересменку — одна лошадь устанет, вторую перепрягали. А потом выползла вся Фомичова ребятня с хозяйкой во главе, и к одиннадцати часам ночи — уже по-темному — посадили всю картошку.

— Вот это по-стахановски! — сказал Фомич, вытирая подолом рубахи пот с лица. — Что значит работа на общественных началах. Пошли отдыхать.

Авдотья сходила к соседке, матери Андрюши, принесла две бутылки самогонки; поставили чугуны картошки на стол, михеевские свиного сала нарезали... И сразу веселело в душе. Фомич сначала плеснул чуток самогонки на блюдце и поджег — высокое синеватое пламя заметалось над блюдцем.

— Горит, как карасин! — торжественно произнес Фомич. — Тут на совесть сработано...

Михеевский старик понюхал из горлышка.

— Да она вроде бы и пахнет карасином.

— Ты что! Самогонка сахарная. Андрюша из района привозит сахар.

Свесив с печки голову, поглядывая на мигающее синеватое пламя на блюде, самый младший — Санька — вдруг запел частушку:

Нынче сахару не стало — самогоночку варим;
Из кила кило выходит, вся до капельки горит...

Михеевские засмеялись. Старичок отрезал ломтик пресной пышки, положил на нее кусочек сала и подал на печь:

— Ешь, внучек, ешь...

— Ма-ам, дай и нам! — С печи сразу свесилось еще три головы.

— Вот я вас сейчас мутовкой по лбу! — крикнула Авдотья от стола.

Но ласковый старичок разрезал всю свою пышку и подал ребятам:
— Ешьте, ешьте... Мы едим, а они что? Ай нелюди? В писании сказано: дети — цветы нашей жизни.

— Нет уж, по такой жизни и дети не в радость, — вздохнула Авдотья, протирая стаканы. — Хоть бы и не было их вовсе.

— Ну не скажите, — возразил старичок. — Какая бы ни была жизнь, а пройдет — и плохая и хорошая. Главное — что человек по себе оставит... Ибо сказано в писании: негоже человеку быть единому. Не то помрешь — и помянуть некому будет.

— Ноне и поминать-то негде. Церкву развалили, и бог, знать, улегел от нас, — сказала Авдотья.

— Ну не говорите! Бог в нас самих, — поднял палец старичок. — Ибо сказано: бог — наше терпение.

— Оно ведь, терпение-то, больно разное, — сказал Фомич, наливая самогонку в стаканы. — И кошка на печи терпит, и собака под забором тоже терпит. Ежели бог — терпение, так почему он такой неодинаковый?

— Это уж кому что предназначено, — важно заметил старичок. — У каждой божьей твари свои радости есть. Так и человек; писано — не завидууй! Ищи в себе остов радости и блаженства.

— А мы уж и так дожили — что на нас, то и при нас... Ищи не ищи... Кто нам в чем поможет? — сказала свое Авдотья.

— Ты, мать, не туда поехала. Это он про меня сказал: ежели человек веру в себя потерял, ему и бог не поможет. Так я вас понимаю? — спросил Фомич старичка.

— Истинная правда! Потому как в писании сказано: самый большой грех — уныние.

— Будет уж проповедовать... отец Сергей, — сказал с легкой заминкой один из михеевцев — Иван Павлович, как звали его.

Он был примерно годком Фомичу, такой же чернявый, сухой, с морщинистой шеей.

— Есть хочется! Да и выпить не грех. — Иван Павлович кивнул на самогонку. — Небось выдохнется.

Остальные михеевцы были совсем еще молоденькими пареньками, видать, и в армии еще не служили.

— Ну, поехали! — Фомич поднял стакан.

Чокнулись. Пили медленно, тянули сквозь губы, будто не самогонку пили, а закваску, кривились так, что глаза в морщинах скрывались; наконец, выпив, шумно выдыхали воздух и нюхали хлеб.

— Кряпка!

— Да, кряпка-а...

— Господь помилуй!

— Ты что ж, попом работаешь, что ли? — спросил Фомич старичка.

— Священником, — кивнул сухонькой головой отец Сергей.

— А что ж у тебя волоса-то не длинные?

Волосы у отца Сергея были не то седые, не то белесые — реденькие и короткие.

— Так он еще у нас молодой поп-то,— сказал Иван Павлович.— Недавний.

— Поп, и за бревнами приехал... Этого я чегой-то не понимаю,— сказал Фомич.

— Он вроде бы еще неутвержденный,— сказал Иван Павлович.— Настоящий поп озоровать стал. Будто в алтаре напился допьяна. Старухи взбунтовались и прогнали его. А наш отец Сергей плотником работал. Да псаломщиком был. Вот его и попросили, призвали, значит, миром. Служит... А председатель его от работы в колхозе не освобождает. Ты, мол, еще не настоящий поп...

— Это ему нагрузка,— сказал осмелевший после выпивки один из парней и приснул.— Вроде художественной самодеятельности.

— Васька! — цыкнул на него Иван Павлович.

А отец Сергей смиренно заметил:

— Трудимся поелико возможно...

После второго стакана Фомич снял балалайку. Гармошки-то давно уж не было, Авдотья продала ее, когда Фомич еще в тюрьме сидел,— две посылки ему справила на гармонь-то.

Фомич ударил по струнам и подмигнул Авдотье:

— Ну-ка, Дуня, где наши семнадцать лет?

Раскрасневшаяся, помолодевшая Авдотья подбоченилась, повела плечами и голосисто запела:

Сыграй, Федя, сыграй, милый,
Странянице с переливом!

И Фомич тотчас же ответил ей припевкой:

Вспомни, милка, вспомни, стерва,
Как гуляли с тобой сперва!

Михеевские дружно засмеялись, и Иван Павлович выкрикнул:

— Ну-ка, давай камаринскую!

Фомич быстро переладил струны на новый строй, заскользил пальцами по грифу, и одна струна стала тоненько и жалобно выводить прерывистую, словно спотыкающуюся мелодию.

— Хорошо начал! Издаля...— сказал Иван Павлович.

Он вышел на середину избы, поднял кверху палец, стал отщелкивать пальцем такт и притопывать ногой.

— А теперь чуть живее! — И запел жидким, но приятным баритончиком: — А-а-ах ты су-у-у-кин сын кама-а-ринский мужик... Живее! — онять крикнул Иван Павлович, быстро согнулся, прихлопывая себя по коленкам и стуча ногами.

—И-эх-ма! — Фомич ударил по струнам еще звонче, смешно задержался, затряс головой, торопливо приговаривая:

У-он по улице, по нашенской, бежит,
Ды-он бежит-бежит — навертывает,
Его судорогой подергивает...

Фомич еще более зачастил и перешел на «барыню».

— Упы-уп, улы-уп! — покрикивал Иван Павлович, подпрыгивая и шлепая ладонями по голяшкам сапог, потом присел и легко, поскоком, пошел по избе, пронзительно подсвистывая.

— Ах, тюх тях-тю, ды самовар в дятю,— припевая, ерзал на скамье Фомич, сам готовый сорваться в пляс.

— У-у-ф ты! — выпрямившись, сказал Иван Павлович, судорожно глотая воздух, и тяжело плюхнулся на скамью.

— От так! Знай наших!..

— Ай да Павлыч, ай да верток! — говорила Авдотья. — Вы с моим-то два сапога пара.

А потом хором тихонько с подголоском пели:

За высокой тюремной стеною
Молодой арестант помирал...
Он, склонившись на грудь головою,
Потихоньку молитву читал...

Отец Сергей выводил тоненьким дрожащим тенорком, запрокинув голову, и в его светлых, как бусинки, глазках стояли слезы...

14

На другой день Пашка Воронин доложил председателю:

— Кузькин самовольно посадил картошку на огороде.

— А кто пахал ему?

— Чужих нанимал. Говорят, обманом подпоил.

— Ну, теперь он у меня будет землю кушать. Я научу его, как советские законы уважать, — сказал Гузёнков.

Он тут же позвонил Мотякову, расписал, как Федор Кузькин захватил самовольно землю под огород и посадил картошку. «И гулянку по такому случаю устроил...» Мотяков приказал составить акт, вызвать агента из управления сельского хозяйства и заготовок, подписать и направить акт в прокуратуру.

— Судить будем! Показательным судом... Отобьем охоту бегать из колхоза. Враз и навсегда!

А еще через день из прокуратуры пришла повестка — рассылный из сельсовета принес и выдал Живому под расписку. В ней тот приглашался в вежливой форме прибыть в тихановскую прокуратуру, а в случае неявки, сообщалось, «вышепоименованный гражданин будет доставлен органами милиции».

«Вышепоименованный гражданин», разумеется, явился сам. Сначала он зашел в РИК, к председателю. Но Мотяков отказался принять его, послал к Тимошкину.

— А-а, товарищ Кузькин! Привет, привет... Чем могу помочь? — Тимошкин сидел за столом добродушный, приветливый, и его круглые желтые глаза сияли, как надраенные медные пуговицы.

— Не за помощью к вам пришел, — хмуро сказал Фомич. — Очень интересно знать: законы соблюдаются в нашей стране ай нет?

— В нашей стране, товарищ Кузькин, законы написаны для трудового народа, а не для тунеядцев. А тех, кто нарушает законы, призывает к порядку советская прокуратура.

— Это мне очень даже понятно. Только поясните мне — по какому такому закону у рабочего отбирают огород?

— У какого это рабочего?

— У меня, к примеру.

— Вот это ловко повернул! Видали, какой элемент нашелся? — Тимошкин как бы обращался к кому-то третьему за поддержкой, хотя в кабинете, кроме них двоих, никого не было. — Вам огород как рабочему никто, товарищ Кузькин, не давал. Поэтому отбирать его у вас никак невозможно. Все обстоит по-другому: это вы самовольно захватили колхозную землю под огород. За что и привлекаетесь к уголовной ответственности.

— Да мне ж положено как рабочему иметь пятнадцать соток. А в моем огороде всего четырнадцать. Чего ж вам еще?

— А то, товарищ Кузькин, что в Прудках у нас государственной зем-

ли нет. Там вся земля колхозная. И дать вам земли под огород в Прудках мы никак не можем.

— Это как вас можно понимать? — Фомич обалдело смотрел на Тимошкина.

— У нас такая земля есть только под Гордеевом. Там можем дать вам огород. Хотите — берите.

— Вы что, издеваетесь? — Фомич даже встал от негодования. — Гордеево от Прудков за двадцать пять километров! Я что ж, летать на огород должен?

— Не хотите, не берите. — Тимошкин был невозмутим. — А в Прудках огород сдайте.

— Огород мой! И никому я его не отдам. — Фомич пошел к дверям.

— Отберем судом... А тебя посадим, — сказал вслед ему, не повышая голоса, Тимошкин.

В прокуратуре встретил Фомича младший юрист Фатеев — в белом кителе, в погонах со звездочкой, черные волосы приглажены, расчесаны на пробор да еще блестят — одеколоном обрызганы.. Он пробежал глазами повестку и сказал весело:

— Вас-то я и жду! Проходите в кабинет!

Младший юрист провел Фомича в кабинет с надписью на белой двери «Следователь», усадил на диван, сам сел напротив за стол и все глядел на него, улыбаясь, будто желаннее гостя, чем Фомич, для этого следователя теперь и не было никого на всем белом свете.

«Прямо как на блины пригласил, — думал Фомич, глядя на свежее, смеющееся лицо следователя. — Чем он только угостит меня? Вот вопрос...»

Младший юрист считал себя человеком воспитанным; он долго служил в политотделе МТС, а теперь учился в областном пединституте на заочном отделении... Несмотря на свои сорок лет, он все еще был худощав, подтянут, играл на аккордеоне и пел частушки собственного сочинения на смотрах художественной самодеятельности. Один раз даже в области сыграл. Он полагал, что главное для юриста — это соблюдать вежливость.

— Смелый вы человек, товарищ Кузькин, — говорил, все ярче улыбаясь, младший юрист. — Я просто восхищаюсь вами...

— А чего мной восхищаться? Одет я вроде бы нормально, а не какой-нибудь ряженный. — Фомич посмотрел на свой рябенький, сильно мятый пиджачок, на черную косоворотку. — Чего тут смешного?

— Да нет, вы меня не так поняли! — воскликнул Фатеев. — Я не смеюсь над вами... Просто я хотел сказать, как же это вы набрались смелости захватить колхозную землю? Против коллектива пошли... Один против всего села! Вот что.

— Да что я, на кулачки против села пошел, что ли? И ничего я не захватывал. Огород мой.

— Огород колхозный... но вы его захватили и теперь считаете своим, — радостно подсказывал младший юрист.

— Как так захватил? Еще дед мой пахал его. Мать с отцом сад рассадили. Я уж порубил яблони. Распахал его сразу после войны... под картошку.

— Интересное у вас мнение! Значит, вы считаете, что земля у нас по наследству передается? А революция была в нашей стране?

— Была.

— Вот именно, товарищ Кузькин. Революция уничтожила в нашей стране право собственности на землю. И вы это отлично понимаете, только уклоняетесь от ответственности некоей игрой. Не выйдет, товарищ Кузькин! Я сам люблю играть, только в свободное от работы время.

— Так в чем же вы меня обвиняете?

— Вы обвиняетесь в самовольном захвате колхозной земли. Колхозное собрание лишило вас права пользоваться огородом... Когда исключали из колхоза. Это вам известно?

— Нет. Я не был на колхозном собрании.

— А чем вы можете подтвердить это показание?

— Да что ж, на собрании колхозном зарубки, что ли, каждый оставляет на стене? Кабы зарубки оставляли, я сказал бы — моей там нет.

— Но есть свидетельские показания, что вы там были. Вам известны такие граждане?— Фатеев вынул из папки бумажку и прочел:— Назаркин Матвей Корнеевич, счетовод колхоза, заместитель председателя Степушкин, бригадир Воронин — все они показывают, что вы присутствовали на собрании.

— Ну, ежели они показывают, пускай они и отвечают.

— Интересно рассуждаете, товарищ Кузькин! Значит, не вы виноваты в самовольном захвате колхозной земли, а колхозное руководство?

— А если они врут, тогда как?

— А бригадир Воронин предупреждал вас? — быстро спросил Фатеев.

— У бригадира нет такого права, чтоб огород у меня отбирать, — ответил, помедлив, Фомич.

— То-то и оно. Кто врёт — выяснит народный суд. У нас все по науке. Вы еще вот на какой вопрос ответьте: откуда вы взяли лошадь для посадки картошки?

— Приехали за столбами люди добрые да помогли мне — вспахали огород.

— А вы их предупреждали, что огород самовольно вами захвачен? Из какого они колхоза?

Фомичу вдруг стало тоскливо до тошноты, он молчал и устало смотрел мимо следователя в окно; полотняные шторы слегка шевелил врывающийся в открытую форточку ветерок, за шторкой на подоконнике стояли в горшочках, обернутых белой бумагой, ярко-красные цветы-сережки. «Интересно, кто их поливает? Поди, сам этот чистоплюй?» — некстати подумал Фомич.

— Вы понимаете, что сделали этих людей соучастниками вашего преступления?— доносился откуда-то сбоку голос следователя.— Или вы попросту обманули их? Из какого они колхоза?

«Интересно, кто меня судить будет? Старый судья или молодой?»— думал свое Фомич.

— Товарищ Кузькин, вы меня слышите?

— Я сам не знаю, из какого они колхоза. Не спрашивал,— встряхнулся наконец Фомич.

— В таком случае вина ваша усугубляется. Посидите!

Следователь вынул из зеленого пластмассового футляра очки и долго писал, мучительно сводя на переносице черные брови. Потом он неожиданно спросил:

— Как ваша фамилия?

— Да вы же знаете.

— Пожалуйста, отвечайте на вопросы!

И Фомич отвечал: как его фамилия, имя, отчество, и какого года рождения, и в каком селе проживает... Наконец следователь бросил свое: «Посидите!» — закрыл ящик стола и вышел с двумя исписанными листками.

Затем через дощатую перегородку отчетливо донесся его голос: «Обвинительное заключение». Фомич вздрогнул и стал прислушиваться. Следователь читал монотонно, повторяя особо важные обороты. За ним, за-

хлебываясь от поспешности, стучала машинка: «...по делу обвинения Кузькина Федора Фомича по ст. 90 УК РСФСР...»

Далее следователь диктовал, кто такой он, Кузькин, и где живет, и кем был. Фомич эту часть плохо слушал и все думал: «Кто меня будет судить, молодой судья или старый?»

«...Игнорируя установленный порядок получения в пользование земли, считая приусадебный участок своей вотчиной, — читал следователь, — Кузькин вышеозначенную площадь земли захватил самовольно.

Кроме того, без разрешения руководства колхоза Кузькин обманом достал лошадей из колхоза для вспашки огорода, не выдавая имен своих сообщников...»

«Ежели старый судья Карпушкин возьмет меня в оборот, тогда беда, — думал Фомич. — Ему что конь, что кобыла: команда была — значит, садись. А ежели молодой судить станет, может, и оклемаюсь. Этот совсем недавно из школы. У него, поди, закон еще из головы не выветрился...»

«...Привлеченный следствием в качестве обвиняемого по настоящему делу Кузькин виновным в предъявленном ему обвинении себя не признал и ничего существенного в свое оправдание не показал.

Его утверждение о том, что ему не было известно о решении общего собрания колхозников, не нашло своего подтверждения по материалам дела...»

Фатеев вернулся все таким же приветливым, улыбающимся, как будто бы они сейчас, после подписания этих бумажек, пойдут вместе с Фомичом в чайную выпить.

Фомич внимательно читал и протокол допроса, и обвинительное заключение.

«...На основании ст. 21 Закона о судостроительстве СССР данное дело подлежит рассмотрению в нарсуде Тихановского района».

Затем шла подпись: «И. О. прокурора младший юрист А. Фатеев».

— Судить вас будут прямо в Прудках. Выездной сессией, — любезно сообщил Фатеев.

— Вот хорошо! — усмехнулся Фомич. — Все лишний раз ходить не надо. Спасибо хоть в этом уважили.

— Да я еще не знаю, как мне с вами быть. Отпускать ли до суда или взять под стражу? — Младший юрист озабоченно смотрел на Фомича.

— Куда ни сажайте, а все равно с вашим делом выйдет пятнадцатикопеечная панихида.

— Это что еще за панихида?

— Присказка есть такая. Перепил поп. Наутро головы не поднять, а тут старуха пришла: «Батюшка, отслужи панихиду!» — «Панихида бывает разная, — отвечает ей с печки поп. — И за пять рублей, и за рупь, и за пятнадцать копеек. Да хрен ли в ней толку!»

— Туманно...

— На суде прояснится... Ну, так мне итить или вы меня проводите?

— Ладно уж, выберем простую меру пресечения. Вот, подпишите подписку о невыезде. — Фатеев подал бумажку.

Фомич прочитал, что девятого июня состоится суд над ним и до этого момента он никуда не выедет с места жительства. Потом расписался.

— А кто судить меня станет? Карпушкин?

— Не знаю. — Фатеев взял подписку. — Можете быть свободны в означенных пределах.

Суд над Живым состоялся вечером, чтобы колхозников с работы не отрывать. На маленькой клубной сцене поставили столы, накрытые красным полотном, а чуть сбоку, возле сцены, — скамью для подсудимого. Фо-

мич посадил на нее всю свою ребятню, а по краям сел сам с Авдотьей. Бойкие, смышленные ребяташки с серыми, глубоко посаженными глазами весело болтали ногами и с интересом разглядывали судей за красным столом.

— А вы зачем детей привели?—спросил Живого судья, молодой белообрый паренек в клетчатом пиджаке и узеньком галстуке.— Мы не детей твоих судить собрались, а тебя.

— Дети больше моего по колхозной земле бегают,— сказал Фомич,— значит, они больше и виноватые. Пусть смолоду привыкают к законам.

Фомич надел старую, замызганную гимнастерку и нацепил на нее орден Славы и две медали. Медали он натер золой, и они теперь горели, как золотые.

Авдотья сидела прямо, как аршин проглотила, тяжело опустив на колени свои толстые, узловатые, искривленные пальцы.

— А что у вас с руками...— Судья запнулся, не смог произнести привычное слово «подсудимая» и после паузы сказал:— Хозяйка?

— Коров доила... Знать, застудила или так что,— ответила, краснея, Авдотья.

— Она что, дояркой у вас работала?— спросил судья, обращаясь к председателю, сидевшему в первом ряду.

— Не знаю,— ответил Гузёнков.

— Три года назад,— пояснил Фомич.

— Ясно!

Судья встал и огласил состав суда. Со сцены откуда-то вынырнул милиционер и встал за скамьей Фомича.

— Отвода к составу суда не имеется у вас, подсудимый?— спросил судья.

— Нет,— ответил Живой.

Из народных заседателей были старый учитель-химик из свистуновской семилетки по прозвищу Ашдваэс да заведующая районной чайной Степанида Силкина, пожилая, но все еще мощная чернокобая красавица, постоянный член президиума всех районных заседаний.

Обвинительное заключение читал и. о. прокурора младший юрист Фатеев. На нем был белоснежный китель, погоны и темно-синие с зеленым кантом брюки. Читал он, как и полагалось, с трибуны, установленной напротив скамьи подсудимого. Трибуну по такому случаю привезли из свистуновского клуба и обшили ее тоже красной материей.

Читал Фатеев с выражением или, как говорят в Прудках, с нажимом, и когда упоминал статьи Уголовного кодекса, то приостанавливался и смотрел в многолюдный зал. В это время становилось особенно тихо. По его словам получалось так, что Кузькин хоть и числился раньше колхозником, но склонность к туеядству не давала ему «возможности полноценно трудиться на благо нашей родины». И что теперь он попросту стал антиобщественным элементом, поскольку объявил себя рабочим, а постоянно нигде не работает. И в связи с этим дошел до самовольного захвата колхозной земли и обмана руководства.

— Я требую,— сказал Фатеев в заключение,— изолировать Кузькина от общества как разлагающийся элемент и за совершенное преступление, выразившееся в самовольном захвате колхозной земли, вынести Кузькину строгое наказание — год исправительно-трудовых работ с отбыванием в местах заключения.

В первом ряду захлопали, но особенной поддержки в зале не было, и эти жидкие хлопки вскоре затихли, потонули в дружном кашле, шарканье, шушуканье. Гром грянул, и теперь зал оживленно загудел.

Судья сказал:

— В связи с тем, что подсудимый отказался от защитника и решил вести защиту сам, предоставляется ему слово.

Фомич встал, посмотрел было на трибуну, но ему никто не предложил пройти и встать за нее; он потоптался нерешительно на месте, не зная, на кого же ему смотреть — в зал или на судью, к кому обращаться с речью-то. Так и не решив этого сложного вопроса, он встал вполоборота, так что справа от него был судья, а слева — зал.

— Товарищи граждане! В нашей Советской конституции записано: владеть землей имеем право, но паразиты никогда. И в песне, в «Интернационале», об этом поется. Спрашивается: кто я такой? Здесь выступал прокурор и назвал меня тунеядцем, вроде паразита, значит. Я землю пахал, советскую власть строил, воевал на фронте.— Фомич как бы нечаянно провел култей по медалям, и они глухо звякнули.— Инвалидом остался... Всю жизнь на своих галчат спину гну, кормлю их. Как бы там ни шло, а побираться они не ходят по дворам. Так? — спрашивал он, повернувшись к залу.

— Так. А то что же?

— Ноне не больно подадут.

— Это не прежние времена... — неожиданно загалдели в зале.

— Выходит, я не паразит-тунеядец? — спросил опять Фомич.

— Нищих ноне нет! — выкрикнул женский голос.— Чего зря молоть?

В зале засмеялись, зашикали. Судья позвонил колокольчиком.

— Гражданин Кузькин! Подсудимому не разрешается обращаться с вопросами в зал.

— А мне больше и спрашивать нечего. Люди сказали, кто я такой. Теперь судите.— Фомич сел.

— Подсудимый Кузькин, вам известно было решение общего колхозного собрания, на котором вас лишили права пользоваться огородом? — спросил судья.

— Нет, товарищ судья.

— Отвечайте: гражданин судья.

— Пусть гражданин... Какая разница, — согласился Фомич.

— Вы были на том общем собрании?

— Не был.

— Садитесь!.. Свидетель Назаркин Матвей Корнеевич!

— Я, гражданин судья! — вскочил с первого ряда Корнейч и вытянул по швам свои огромные кулачища.

— Надо говорить: товарищ судья.

— Слушаюсь!

— Вы показали, что Кузькин присутствовал на этом собрании?

— Так точно! — живо подтвердил Корнейч.

— Слушай, Корнейч! Ты чего это на себя наговариваешь? — набросился на него Фомич.— Ты знаешь, что бывает за ложное показание? Гражданин судья, предупредите его, что за ложное показание два года тюрьмы дают по статье. Я тебя посажу на эту самую скамью! — Фомич указал на свое место.

— Да, за ложное показание дается два года заключения, — строго сказал судья.— Свидетель Назаркин, я предупреждаю вас.

Корнейч часто заморгал глазами и переступил с ноги на ногу, как притомившаяся лошадь.

— Повторяю вопрос... Свидетель Назаркин, был обвиняемый Кузькин на общем колхозном собрании двадцатого сентября прошлого года?

— Да, вроде был.— Корнейч виновато поглядел в сторону председателя, но тут же вскинул голову к судье.

— А точнее?

Корнеич покрутил головой, точно хотел вылезти из широкого ворота темной толстовки...

— Да я уж не помню, — наконец произнес он, глядя себе под ноги.

Гузёнков выдавил какой-то рычащий звук и сердито посмотрел на Корнеича.

— Садитесь! — сказал судья. — Свидетель Степушкин!

Поднялся с первой скамьи заместитель Гузёнкова, седовласый, с бурой, изрытой глубокими морщинами шеей, свистуновский колхозник, вечный заместитель председателя.

— Вы подтверждаете, что Кузькин был на общем колхозном собрании двадцатого сентября?

Степушкин глядел куда-то в потолок, на лбу его появились такие же бурые, как на шее, борозды.

— Кажется, был, — произнес наконец Степушкин.

— Был или нет?

— Да вроде бы...

— Вы что, в прятки с судом играть решили? — Судья повысил голос.

— Не помню. — Степушкин сел.

— Кто извещал Кузькина о решении собрания? — спросил судья, глядя на председателя.

Гузёнков ответил, не вставая:

— Бригадир передавал мой приказ.

Встал Пашка Воронин.

— Да, я предупредил Кузькина. Он сидел на лесном складе, как раз под вечер... Я подошел к нему, посидел еще рядом. Потом сказал, чтобы он не сажал картошку на огороде, потому что огород не его, а колхозный.

— Подсудимый Кузькин, было такое предупреждение?

— В точности было! — встал Фомич.

— Чего ж еще надо? — крикнул Гузёнков.

— Но, гражданин судья, дозвоьте слово сказать? — обратился к судье Фомич.

— Пожалуйста.

— Воронин почти каждый день меня страшал: то говорил, что меня вышлют... Потом грозился посадить в тюрьму. А потом огород отобрать... Мало ли чего он говорил. Я уж и верить перестал. А ведь решение общего собрания — это же закон. Так я понимаю, гражданин судья?

— Правильно!

— Значит, законное постановление и передавать надо под расписку, документом. Выписать это решение на бумаге, прислать мне. Я бы прочел, расписался... Закон!

— Правильно! Под расписку не вручалось решение собрания Кузькину? — спросил судья Гузёнкова.

— Нет, — ответил, краснея, Гузёнков.

Теперь все смотрели на него. А Фомич еще и добавил:

— А страшать словами-то у нас мастера...

Когда суд удалился на совещание, Гузёнков встал и, тяжело грохая сапогами, ушел из клуба. За ним подался и Пашка Воронин. А Корнеич и Степушкин понуро сидели на опустевшей скамье, боясь оглянуться в зал. Там шумно гомонили, отпуская крепкие шуточки в адрес незадачливых свидетелей. Всем было ясно, что Фомич выиграл дело. И когда судья зачитал оправдательный приговор, кто-то крикнул на весь зал:

— Он из воды сухим выйдет! Живой он и есть живой...

В конце июня, только лишь успели колхозы развезти лес от Фоми-ча, как позвонил начальник электростанции:

— Кузькин, не спишь там?

— Гуси не дают... Развели их ноне, как саранчу. Мясопоставки отменили. Вот они и орут от радости на все Прудки.

— Ну, я тебе тихую работу нашел... подальше от гусей. Пойдешь на пристань?

— Это на какую такую пристань?

— На Прокоше поставят, недалеко от Прудков.

— А что мне там делать?

— Все! И командовать и подметать... И шкипер и подчищала. В одном лице будешь... Совместишь?

— Можно попробовать.

— Тогда завтра же давай на речной участок. Он тут, возле нас.

Пугасовский участок пароходства малых рек стоял возле Раскидухи, сразу за шлюзом, где перегороженная Прокоша разливалась на полкилометра, что Ока. Весь участок состоял из двух бревенчатых амбаров, отведенных под склады, пятистенной избы, в которой размещались магазин и буфет, и двух дебаркадеров. К одному дебаркадеру приставали речные катера-трамвайчики, а во втором располагалась контора участка.

Начальник участка, черноволосый приземистый чуваш с необычным для здешних мест именем — Садок Парфентьевич, встретил Фоми-ча поделовому:

— Работа хорошая, но денег мало, учты! Всего четыреста восемьдесят пять рублей.

— А мне больше и не надо, — сказал Фомич.

— Платим только до декабря. Зимой денег не даем. Учты!

— А я корзины буду плести.

— Делай, что хочешь. Зимой ты меня не касайся.

— Перезимую! — весело сказал Фомич.

— Устройство дебаркадера знаешь?

— А как же! Значит, внизу трюм, а поверху палуба. На ней устроены...

— Хватит! — остановил его Садок Парфентьевич. — Если тонуть станет дебаркадер, что будешь делать?

— Первым делом в трюм посмотреть. Ежели там вода, значит, откачать надо.

— На мель надо сажать. Учты!

— Это уж само собой, — быстро согласился Фомич. — Мы раньше в Прудках сами баржи делали. Значит, ребра ставили, по ним обшивка. Вот тебе и трюм...

— Хорошо! Завтра поезжай в Тютюнино, получай дебаркадер. Но учты! Он течет.

— Приведем! — бодро сказал Фомич.

До Тютюнина было километров сорок. Ехал туда Живой на речном трамвайчике и бесплатно — впервые в жизни. И оттого ему все очень нравилось на этом пароходике — сидишь под открытым небом на белой скамеечке, как в саду где-нибудь в городе Горьком. В Пугасове нет таких удобных скамеечек, это уж точно... Надоест тебе на солнышке греться — пожалуйста вниз. Тут скамейки длиннее. Положишь мешок под голову, растянешься — и валяй храпака до самого Тютюнина. «Теперь и вовсе жить можно, — думал Фомич. — Не привезут, к примеру, хлеб в Прудки, а я на трамвайчик — и в Раскидуху. Туда-сюда обернулся, глядишь — и день прошел. И вроде бы на службе».

Дебаркадер для Прудков оказался самой обыкновенной баржей, какие строили раньше прудковские мужики, только на палубе вместо будки стояла шкиперская конторка в два окна да навес для пассажиров с четырьмя скамейками и столиком. Скамейки были такие же аккуратные и белые, как на речном трамвайчике, а в шкиперской стояла круглая чугунная буржуйка, шкафчик белый, как в аптеке, столик и топчан. «Да тут прямо курорт!» — подумал Фомич. Только вот беда: в трюме воды по самые копани, отчего дебаркадер притулился к бережку и брюхом лежал на песчаном дне.

— Как же я его доведу? — спросил Фомич, растерянно глядя на капитана трамвайчика.

— Жди меня обратным рейсом. Я камерон привезу.

— Это что еще за камерон?

— Эх ты, шкипер! А не знаешь, что такое камерон. Насос!

Камерон привезли только вечером. Фомич всю ночь не сомкнул глаз — воду откачивал, и когда в пять часов утра подошел к нему с буксирным тросом трамвайчик, дебаркадер легко покачивался на волнах. «Весь наружу вылез из воды... Того и гляди улетит», — радостно думал Фомич.

На участок возвратились к восьми часам, как раз и начальство пришло на работу.

— Ну, пойдём теперь в контору... Оформляться! — сказал Живому капитан трамвайчика, бойкий симпатичный паренек, одетый по всей строгости: китель синий, пуговицы надраены, блестят, как золотые.

Он провел Фомича в диспетчерскую и весело сказал строгой женщине в мужской фуражке с крабом:

— Мария, вот тебе новый шкипер тютюнинского кунгаса.

Женщина резко вскинула голову, и ее рыжие длинные кудри, выбивавшиеся из-под фуражки, заколыхались, как причальные концы канатов.

— Не потопишь пристань? — спросила она Живого.

— Ну, как можно! Ведь государственное имущество...

— Ишь ты какой идейный! — усмехнулась женщина в фуражке. — Ну тогда посиди — я выпишу тебе путевку.

«А почему же не посидеть? — думал радостно Фомич. — Когда по делу, и посидеть не грех. Тут тепло и мухи не кусают». И диспетчерша ему понравилась. «Хоть и держится строго, а так на вид ничего из себя дамочка, представительная».

Потом Фомича «оформлял» председатель месткома, он же и начальник отдела кадров. И здесь Живому все понравилось. Кабинетик был хоть и маленький, но чистенький — все белилами выкрашено, везде шторы да скатерочки без помарки, видать, только из стирки. Прямо не кабинет, а лазаретик игрушечный.

Начальник отдела кадров был сутулый старичок, но все еще подвижный, в белом, хорошо отутюженном кителе и с такой же белой, словно свежестыранной бородкой.

«Вот бы и мне такой кителек получить, — думал Фомич, — да фуражку с крабом. Хотел бы я тогда с Мотяковым повстречаться».

Старичок завел на Фомича «дело» из картонной папки, анкету заполнил. А потом выдал Живому настоящую трудовую книжку и руку пожал.

— Желаю успешно трудиться.

Фомич совсем осмелел и спросил:

— А как насчет кителя с фуражкой? Они за казенный счет идут?

Или по первому году не положено?

— У нас матросам и шкиперам обмундирование не дают.

— Ну да... И так хорошо, — согласился Фомич.

Потом чуть не вприпрыжку на склад бегал — получал цепи, причальные канаты, постель с двумя простынями, кастрюлю, чайник, котелок, миски... Целое хозяйство.

И когда наконец промычала долгожданная сирена, катер отвалил от берега и потащил на буксире дебаркадер, Живой даже перекрестился — кажется, впервые в жизни.

Пристань поставили недалеко от Кузякова яра, среди лугового раздолья. И потекла она, неторопливая, как Прокоша, спокойная шкиперская жизнь. «До зимы-то хоть душой отойду. А там видно будет», — думал Фомич.

Он не запомнил еще такого доброго, мягкого лета. Дожди шли как по заказу, затяжные и обильные с весны, но редкие грозовые в горячую сенокосную пору и в страду. Словно там, на небесах, появился наконец строгий разумный хозяин, который поглядывал на землю и грозно ворчал: «Кто там вольтит с уборкой? А ну-ка я его подстегну!» Залежалось сено в валках, глядишь — и туча сюда заворачивает, погромыхивает так, что земля вздрагивает. Едет турус на колесах! Но сечет дождем недолго, а только так, для остротки, чтоб лишку не спали.

Бреховские на том берегу Прокоши хорошо работали, дружно. Про них так говорили: «Эти четвертинку на пятерых выпьют и на другой день еще оставят». Народ там жил мастеровой, потомки знаменитых плотников. Артельный народ. И на трудодни хорошо получали, и зимой еще в отходе подрабатывали.

В луга выезжали они всем селом, шалаши ставили на речном берегу возле самых коровьих станков, к молоку поближе. И жили две-три недели широко, весело; на прибрежных дубках да липах висели румяные свиные окорока, в огромных черных котлах варилось сразу по полбарана, а на речном дне вдоль берега стояли, омываемые холодными родниковыми струями, цистерны с молоком. Потяни за веревку — и пей, сколько хочешь, пока спина не захладевает.

А прудковские ходили в луга пёхом; пока соберутся, дойдут — солнце уже на жару гонит. Сядут полднать — из реки кружками воду черпают да прихлебывают с хлебцем. А с другого берега бреховские кричат им, дразнят: «Э, родима, хлябай, хлябай — вон ишо виднеется!» Рассказывали, что две прудковские бабы взяли в луга на двоих одно яйцо сырое. Сели полднать — яйцо разбили да вылили с краю в озеро (посуды не было). Ветерок подул — яичные блестяшки по озеру и поплыли. Вот одна другую и подстегивает: «Родима, хлябай, хлябай — вон ишо виднеется».

— Скаредники! — кричат через реку и прудковские, отбиваются. — Расскажите, как четвертинку на пятерых распили?

Но разве бреховских переругаешь?

Под вечер запахи свежего бараньего супа и преющей на углях пшенной каши, плывущие с того берега, особенно тревожили Живого. И пристань его, как на грех, стояла напротив бреховского лугового стана. Случалось, правда, что и Фомича приглашали.

Как-то раз вылез напротив пристани из «газика» Петя Долгий и с минуту смотрел на пристань, прикрываясь ладонью от солнца.

— Это ты, что ли, капитанишь, Кузькин?

— Ён самый! — крикнул Фомич.

— Плыви сюда! — махнул рукой Петя Долгий. — Отметим твое продвижение.

У Живого в садке плескались три подлещика, да язь, да стерлядка. Так что и он приехал не с пустыми руками.

И не раз еще победный дух от стерляжьей ухи, исходивший от пристани, забирал в плен привередливые к запахам носы бреховских кашеваров.

— Эй, рыбак! Хочешь баранины за рыбу? А? Кило на кило...— кричали они.

— Шиш на шиш менять — только время терять! — отвечал Живой.

— А чего ж тебе еще?

— Котел каши вези в придачу...

В такие вечера Фомичу казалось, что жизнь изменяется вроде бы к лучшему. И народ оживел, отмяк в это лето. Шутка ли сказать, поставки всякие, налоги отменили. Первое лето не носили молоко по вечерам на сливные пункты, не разбавляли его водой, не химичили. Завел корову — молока пей, не хочу! И мясо не надо сдавать, и шерсть...

Живой опять козу купил. А поросенок вырос в большую прожорливую свинью. Авдотья всю крапиву на задах сжала и все парила для этой ненасытной скотины, а Фомич в полдни, когда пристань его закрылась, ездил на ту сторону реки, на бреховский берег, собирал в кустах дикие яблоки.

Рано утром и к вечеру на пристани собирался народ из ближних и дальних сел — встречали гостей из города. Приезжали отпускники с Волги, из Горького, а больше все дзержинские. Еще в тридцатые годы, в пору коллективизации, половина Прудков переселилась туда, в бывший Растяпин, — заводы строили. Уходили в лаптях, с мешками за спиной... А теперь приезжали с фибровыми чемоданами, с рюкзаками, полными булок, с длинными связками белых сухешек, в два-три ряда, как ожерелья, свисавшими с плеч.

— Севодни хорошо у нас с хлебом стало, — говорили приезжие. — Хочешь булок, хочешь кренделей бери. И очередей нет. Жить можно.

— А у нас травы ноне хорошие, — говорили прудковские. — Раз косой махнешь — копна. Людей не хватает. Бают, будто из города обратно переселять начнут в деревню.

— Но-но! Дураков теперь нет, — отвечали приезжие.

— А ежели по указу. Небось приедешь.

— Это где ж такие законы писаны, чтоб рабочего человека ущемлять? — встревал в разговор и Фомич.

В спорах он занимал теперь сторону городских. И когда спрашивал его кто-нибудь из приезжих: «Как живешь?» — Фомич отвечал обстоятельно:

— Я теперь начисто пролетариат стал... Так что жизнь рабочего класса известная.

А плохо ли, хорошо ли он теперь жил, Фомич, по совести сказать, и сам не знал. Главное — спокойно.

Но по ночам ему часто снился один и тот же неприятный сон: будто возле пристани на берегу собиралось много мешочников — сидели молча, свесив с берега ноги в лаптях, тощие мешки за спинами. «Вы чего ж там сидите? — спрашивал их Фомич. — Идите сюда, на пристань!» — «Оттуда, пожалуй, взащей прогонят, — отвечали. — А ты чего там? Давай лучше к нам!» — «Никто вас не тронет. Я здесь и есть главный начальник». — «Кто тебя знает, — отвечали мешочники. — Вроде бы ты не похож на начальника... Заманишь, поди. Нет, мы уж лучше здесь посидим. А там боязно...»

— Это тебя, Фелька, нужда к себе зовет, — растолковал дед Филат Фомичов сон. — Вот зима подойдет, намытаришься ишо.

Как ни далекой казалась зима, как ни хотелось забыть о ней, а пришла. Сначала порыжели и стали облетать липовые рощи, потом как-то внезапно свернулись и опали почерневшие листья тальников; и зеленый мягкий противоположный берег сразу покраснел, ошетинился голыми прутьями краснотала.

На песчаных косах Прокоши больше не цвикали, не бегали вперегонки тонконогие вертлявые трясогузки, не плескались на перекатах жереха, не будили на заре Живого своими пронзительными криками «перевези! перевези!» кулики-перевозчики. И пассажиры приходили все реже и реже. Скучно стало на Прокоше.

А накануне Октябрьских праздников, когда вдоль по берегам уже позванивала на Прокоше хрупкая игольчатая шуга, пришел буксирный катер и увел дебаркадер. Фомич возвращался с участка уже по первой пороше. Вот она и зима.

Весь ноябрь Живой плел корзины, но брали их плохо и за полцены. Сезон прошел — картошка убрана в подполы да в хранилища, за грибами не пойдешь по снегу... Кому зимой нужны корзины?

Как-то на базаре в Тиханове Живого с корзинами встретил Петя Долгий:

— Чего ты эти кругляши вяжешь? Хочешь заработать, плети кошевки для розвальней. Хоть полсотни давай — все возьму.

Для санных кошевок прут нужен длинный, первосортный. Особенно на стояки. Поблизости хороший прут весь вырезали. У Живого была примечена одна тальниковая заросль на берегу укромного бочага, возле Богоявленского перевоза. Но он ждал, когда проложат через Прокошу санный путь; идти без дороги туда по мягкому снегу да еще без лыж трудно и небезопасно — провалиться в какое-нибудь болото можно.

Но тут пришло письмо от старшего сына: «Отслужил. Еду домой!» Вот и расходы новые... Надо встретить сына по-людски, погулять! Отдохнуть дать парню хоть с месяц. Не гнать же на работу на другой день. «Пока он приедет, я кошевки три-четыре сплету да загоню их Пете Долгому. Вот и деньги», — решил Фомич.

На другой день с утра он стал собираться: затянул потуже свой полушубок, обушок за ремень заткнул да резак, веревку в карман положил, прутья в пучки связывать.

— Ну, мать, я пошел.

— Не ходил бы ноне, Федя. Видишь, поземка гуляет и небо со стороны Прокоши вроде бы замывает. Кабы метель не разыгралась.

Живой поглядел в окно — и правда, вроде бы краешек неба за Прокошей синел.

— Это не беда — ветер туда дует, разгонит. Эх, мать, где наша не пропадала! — Фомич хлопнул себя по тощему животу. — Я ноне непродуваемый.

До Кузякова яра Фомич дошел быстро; тут, на открытом месте, хоть и гулял ветер да густо несло поземку, но снег не задерживался: по луговым увалам, рыжим от незанесенной отавы, он летел и летел к Прокоше, забивая в низинах частую щетину тальника и вытягиваясь на крутоярах в острые козырьки сугробов.

За Лукой, меж зарослей кустарников, было потише, но идти зато труднее — снег по колена. Фомич петлял больше все по увалам, боясь в низине провалиться в какое-нибудь плохо замерзшее болото. К Богоявленскому перевозу пришел он только к обеду. На берегах Прокоши было пусто — на этот раз черный неуклюжий паром Ивана Веселого увели по осенней воде.

Прокоша у берегов замерзла, и только посредине дымилась широкая черная полоса полыньи. Фомич вынул из-за пояса топор, подошел к берегу и грохнул обухом по льду.

Гоу-ук!— округло и протяжно отдалось на другом берегу.

По льду лучами разошлись длинные трещины; а там, где ударил топор, белое пятно медленно темнело от проступавшей снизу воды.

— Слабый лед,— сказал Фомич.— Придется итить берегом.

Он вышел на открытый косогор и удивился неожиданно сильному ветру. Пока Живой петлял вдоль кустарников по затишкам, направление ветра изменилось — теперь он дул с того берега Прокоши. А там, над темной стеной бреховского леса, козырьком, наплывая, нахлобучивала сизое стылое небо иссиня-черная туча.

— Откуда ее вынесло?— опять вслух сказал Фомич.

Ему стало зябко; легкий холодок передернул его и застыл, затаился где-то промеж лопаток. «А не повернуть ли?» — невольно подумал Живой.

Но идти до прутьев было уже недалеко; тот небольшой бочаг с тальниковой зарослью примыкал почти к берегу реки. Собственно, это был в недалеком прошлом затончик, отделенный теперь от реки песчаной отмелью.

Бочаг хорошо замерз, и Живой резал тальниковые прутья прямо со льда. Путья были все одинаковой толщины, длинные, как на подбор, гибкие, но прочные...

— Хоть узлы вяжи из них, хоть кружева плети,— радовался Фомич.— Как шелковые... Тут, ей-богу, на четыре кошевки хватит.

Он рубил без роздыха до тех пор, пока не запарился. Потом сбросил с себя полушубок и, несмотря на пронзительный ветер, работал в одной рубахе, не чувствуя холода. Когда он уже связывал прутья в пучки, повалил хлопьями снег, замело, закрутило, и не поймешь, откуда больше летит, сверху или снизу. В двух шагах ничего не видно.

Живой взвалил наперевес на плечо два огромных пучка ивовых прутьев и чуть не присел от неожиданной тяжести. Потом обтерпелся — вроде ничего... Идти можно.

Свернул к реке. «Теперь вдоль реки придется топтать до самого Кузякова яра, а может, до прудковского затона,— подумал Фомич.— Иначе заплутаешься». Идти вдоль Прокоши — значит сделать большой крюк, особенно за Богдавленским перевозом, где Прокоша выписывает петлю за петлей. Но что делать? Иного выхода нет.

Он спустился с высокого берега реки. Здесь было вроде потише, хоть ветер не свистел с такой заполошной силой. Однако спуск к воде был крутой, ноги скользили. И топтать по косогору да еще с пучками прутьев никак невозможно. Фомич опять достал топор и три раза стукнул по прибрежному льду. Но каждый раз появлялись трещины и просачивалась вода. Ступить на такой лед, идти по нему Фомич опять не решился. Пришлось вылезать на берег.

На высоких крутоярах ветер завывал в прутьях, хлопал лапами полушубка и так внезапно и сильно толкал в бок, что Фомич оступался и, как пьяный, шарахался в сторону. Он держался на значительном расстоянии от берега, боясь свалиться.

В низинах, под прикрытием кустарников, было потише, но сильно крутило; снег набивался в нос, в глаза и даже забивался за воротник, таял, и редкие холодные струйки ползли по спине. Сугробы Фомич перешагивал вброд, погружаясь в снег, как в воду, по пояс. Вскоре штаны его выше валенок намокли, потом задубенели от ветра и мороза и густо покрылись налипшим и примерзшим снегом. «Что твои бинты». — подумал Фомич невесело. Бедрa были мокрые, поначалу мерзли и саднили,

потом притерпелось. «Эх, теперь бы стеганные штаны, да потолок!.. — мечтал Фомич. — Я бы и на снегу переночевал. А в этих топай и паром грейся».

Он шел, пригнувшись, избочась, отворачивая от ветра лицо, тяжело и низко, почти до снега опустив руки. Пучки прутьев он привязал теперь за спину, перехватив спереди плечи и грудь веревками. Они глубоко врезались в полушубок, сдавливали грудь, резали плечи, отчего руки его немели и по пальцам бегали мурашки. Иногда он останавливался возле большого сугроба, опрокидывался в снег на спину и лежал, закрыв глаза, раскинув руки, до тех пор, пока снова не мог пошевелить затекшими и застывшими пальцами. Он вставал и шел до нового изнеможения, опять валился на спину, чтобы отдышаться и снова идти дальше.

Уже в сумерках подошел он к Кузякову яру. Здесь он решил распрощаться с Прокошей, повернуть на Прудки и держаться прямо по ветру. Над яром дымилась острая козырьки сугробов... Фомич слишком поздно смекнул, что берег под этими сугробами может быть обманчив. Он брел теперь, как утомленная лошадь, опустив голову и не глядя по сторонам. Поэтому поначалу удивился даже, когда качнулась перед глазами обнажившаяся черная кромка берега и огромный сугроб с гулом полетел в пропасть, увлекая за собой Фомича. Он стукнулся о что-то твердое ногой, перевернулся несколько раз и упал на спину. Минут пять он пролежал без движения, и ему даже приятно было оттого, как отходили ноющие натертые плечи и затекшие пальцы, только правая нога почему-то горела сильно, будто бы кто приложил к ней раскаленный кирпич. Наконец Фомич медленно опрокинулся на бок, потом попытался встать. Яркая, как молния, вспышка словно ослепила Фомича, и острая, пронзительная боль повалила его снова на спину. Он слегка застонал и потянулся рукой к правой ноге. Что с ней? Сломал или вывихнул? Но сквозь валенок трудно было что-либо прощупать, а пошевелить ступней он не мог, нога ниже колена не слушалась.

Фомич решил добираться ползком. Сначала он хотел было отвязать и бросить пучки прутьев, но как только подумал о том, что из них выйдет четыре превосходных санных кошевки, которые он загонит Пете Долгому по восемьдесят рублей каждую, то это намерение — бросить прутья — показалось ему невероятным.

«Путья первосортные брошу... Триста двадцать рублей из кармана выкинуть? Это ж рехнуться надо, — думал Фомич. — Вон дядя Николаха колодник отсюда на себе возил возами. А я прутьев не донесу! Да что я, иль не Кузькиной породы? Ну ж нет, батеньки мои, не дождетесь от меня такой подачки...»

Фомич, сцепив от боли зубы, выполз на берег и так, на четвереньках, с пучками прутьев за спиной двинулся по ветру. Вскоре он потерял свои шитые из старой шинели рукавицы и загребал снег побелевшими голыми пальцами. Холода он теперь не чувствовал вовсе, и боли в ноге тоже не было. Он плохо соображал, куда ползет, в каком направлении. Но зато хорошо знал, что на спину теперь переворачиваться нельзя, боялся, что силы не хватит, чтобы снова встать на четвереньки. И на бок боялся лечь, чтобы не уснуть. Теперь он и отдыхал все в том же положении — на четвереньках, уткнувшись носом в снег. Кругом была ночь, бушевал снег, выл ветер, а он все полз и полз. каким-то необъяснимым волчьим чутьем выбирая именно то единственно верное направление, где в снежной коловерти потонули Прудки.

Нашли его ночью возле фермы. Головой он уткнулся в ворота, ползти дальше некуда. Думали, замерз...

Очнулся Фомич в больнице. Рядом с койкой сидела Авдотья с крас-

ными от слез глазами. Он посмотрел на забинтованные руки, ноги и сразу все вспомнил.

— Прутья-то целы? — спросил он.

— Целы, целы, — печально ответила Авдотья.

— Володька не приехал еще?

— Нынче телеграмма от него пришла. Завтра сам будет.

— Хорошо... — Фомич немного подумал и сказал: — Передай ему, пусть сам сплетет кошевки. Да смотрите не продешевите!.. Меньше восьмидесяти рублей за кошевку не брать... Кошевки будут первый сорт.

17

Больше месяца провалялся Живой в больнице — пока лодыжка под лубком не срослась. Появился в Прудках веселым, все шутил:

— Говорят, что бядро полгода срастается. Эх, не повезло мне! Кабы не лодыжку, а бядро поломал — вот лафа... До весны пролежал бы на дармовых харчах.

— Ты, Федька, и впрямь телом вроде б подобрел, — встретил его дед Филат. — Только с лица красен, как рак ошпаренный.

— Это я шкуру к весне меняю. Надоело в старой ходить. Ты бы, дядь Филат, поползал по снегу. Глядишь, и помолодел бы вроде меня.

— Говорят, у тебя и ногтей на пальцах нету. Сошли на нет?

— А мне что их, лаком красить да на поглядку выставлять, ногти-то? Доктор говорит, от них зараза одна. Главное — пальцы целы.

Он показывал всем свою чудом уцелевшую клешню и шевелил пальцами.

— Владеют. Есть ишо чем ухватиться. Жить можно.

С первесны подался на сторону старший сын Владимир. Уехал в Сормово на стройку. Пришлось снаряжать его в дорогу. С пустыми руками не отпустишь. И одежонку какую ни то надо — не в одном же обмундировании ходить ему. Покряхтел Фомич, но делать нечего. Зарезал свинью — отвез на базар. Отвез и мечту свою о корове.

— Поезжай, сын, устраивай себе жизнь. А об нас не беспокойся.

На остаток денег Живой накупил картошки.

— Вот и нам радость, мать. Теперь до лета хватит. Значит, не помрем.

До лета Фомич не дотянул. В мае, в голодную пору межвременья, он вспомнил про Варвару Цыплакову и решил сходить в райсобес, пособия попросить.

И вдруг пришла в Прудки невероятная весть — Тихановский район закрыли. Закрыли — и все. Был район как район: конторы больше размещались в двухэтажных домах — и новых, и бывших кулацких, улицы булыжником мощены, а от чайной до клуба дощатый тротуар проложен... Чем хуже иных прочих? Но поди ты... Проснулись утром тихановцы — нет района. Ни одной вывески на домах: ни райтопа, ни раймага, ни райисполкома... Как жить?

Фомич, услышав об этом, даже взгрустнул:

— В Пугасово не больно сбегаешь... И Варвары Цыплаковой там уж нет.

А более всего тихановцев возмутило то, что в их белокаменный двухэтажный райком привезли инвалидов и престарелых. «Дожили! Районом были — стали богадельней». Рынок на тихановском выгоне опустел, дома в цене пали... Даже забитые окна появились.

И началось в Тиханове великое брожение: начальство, которое со специальностью было, разъезжалось по своим ведомствам — банковские да почтовые в Пугасово переехали, а милиция, юристы — те даже в об-

ласть подались. Демина отозвали в обком, Тимошкин в сельпо продавцом устроился, а для Мотякова места не находилось. Пугасовский председатель РИКа наотрез отказался брать его в заместители; сказал, что мне, мол, и своих выдвиженцев девать некуда. Специальности у Мотякова никакой не было, хлеб давно уж и позабыл, как пашут. Да ведь и не пошлешь его из председателей прямо в борозду. А хозяйственной должности или по кадровой части пока ничего не находилось. И Мотяков без дела ходил по лугам — рыбу ловил. Однажды Фомич встретился с ним.

Как-то под вечер раскинул Фомич свои донки под Кузяковым яром — стерлядей половить. Наживу добывал тут же: сняв штаны, зашел в воду и острым жестяным черпаком выковыривал из-под воды илистый синевато-серый грунт, в котором прятались куколки мотыля.

На самом яру остановилась черная заграничная машина. Фомич сразу узнал ее. «Зять полковника Агашина! Знать, из Москвы приехали», — подумал он.

Но из машины вылез сам Агашин, грузный бритоголовый старик с красным мясистым носом и маленькими под нахохленными рыжими бровями серыми глазками.

— Здорово, Федор! — сказал полковник с крутояра. — Живой?

— Живой! А чего нам не жить? Воды, сколько хочешь, в ней рыба — выбирай на вкус. Птица поверху летает всякая, — весело отвечал Фомич. — А вы когда приехали?

Полковник был старше Фомича лет на десять, среди односельчан это заметная возрастная разница, поэтому Фомич обращался к Агашину почтительно, с детства привык еще. Тот приезжал, бывало, в деревню козырем... Красный командир! И даже старики величали его по имени-отчеству — Михал Николав.

— Вчера приехал, — гудел сверху полковник. — Я тут не один... Давай и ты к нам!

Фомич привстал из воды, прикрыв срам обеими руками, и сказал так просто, для приличия:

— Вас самих, поди, много?

— Давай-давай! У нас тут сетишки есть. Бредешок закинем в Луке. Ты знаешь здесь хорошие местечки...

— С бредешком, конечно, можно было бы пройтись. И сети хорошо бы закинуть. Да уж и не знаю... запрещено! — в нерешительности стоял Фомич.

— Давай-давай! С нами тут власть, правда бывшая! — засмеялся полковник.

— Да вам что смотреть на власть? Вы сели да поехали, а мне тут жить... — Но Фомич уже без лишних проволочек, не то еще передумают насчет приглашения, вылез из воды, надел штаны и в момент взобрался на берег.

— Ого, ты как козел еще прыгаешь, — сказал полковник и подвел Фомича к машине. — Полежай!

Фомич влез в машину и очутился на одном сиденье рядом с Мотяковым.

— Здравствуйте! — сказал Фомич, обращаясь как бы ко всем сразу.

— Привет! — сказал зять полковника.

А Мотяков промолчал.

Зять полковника сидел за рулем; это был еще молодой человек, но уже полный, круглолицый и очень приветливый. Фомич знаком был с ним и знал, что работает Роберт Иванович во Внешторге, побывал не раз в самой Америке и привез оттуда эту самую машину под названием «форд». Изнутри в машине сиденья были обшиты настоящей ко-

жей, хорошо выделанной и простеженной на манер фуфайки; а поверху, над головой, и не поймешь, чем было обтянуто,— не то шелк твердый (Фомич потрогал пальцами, он впервые сидел в такой машине), не то клеенка какая-то красная, вся в мелких пупырышках. А возле заднего окошечка валялись журналы в ярких картинках: все девки в темных очках, а на теле — голо: два маленьких лоскута, так с Фомичову ладонь, чтобы срам прикрыть. «А темные очки надели от стыда, должно быть». — подумал Фомич.

— Нравится? — спросил Роберт Иванович.

— Да как сказать... Красиво, но как-то неуютно. Замарать боишься, — ответил Фомич.

— Хо, хо, хо! — оглушительно засмеялся полковник.

Подъехали к озеру. Из багажника вынули две сети капроновые. Фомич слышал про такие сети, но не видел еще и теперь с интересом разглядывал — нитки были желтоватые, крученые и очень тонкие.

— Больно тонки нитки... Не порвется?

— А ты возьми, порви! — сказал полковник. — Бери! Ну? — Полковник всунул в руки Фомичу сеть. — Тяни! Тяни, тяни!..

Фомич сильно натянул ячею, так что нитки в пальцы врезались.

— Кряпка! — восхищенно произнес он.

Бредень тоже был хорош, хоть и не капроновый, но новенький, ячея мелкая и мотня большая — сом попадет, не вырвется. Бредень вытащили из машины, на спинках лежал.

— Неужто и бредень из Москвы везли? — спросил Фомич.

— Бредень его, — кивнул полковник на Мотякова.

Впервые за послевоенные годы Фомич видел Мотякова в обыкновенной белой рубашке с закатанными рукавами и не в галифе, а в простых серых брюках. И оказалось, что он не дюжее его, Фомича, так же худ и мосласт. И даже его широкий и ноздрястый нос, обычно грозно поднятый кверху, теперь казался смешной нашлепкой.

— Это что ж, ваш бредень или бывший риковский? — спросил Фомич Мотякова.

— Мой. А что?

— Да как ведь ты же сам запрещал ловить бреднем? Зачем же его держал?

— Ты болтай поменьше! Вон делай, что заставляют.

Фомич с полковником разматывали сети.

— Что, Семен, не нравится критика снизу? — спросил полковник Мотякова. — Привыкай, брат... Теперь дело к демократии идет.

— Чтобы критиковать — тоже надо образование иметь, не то что наши дураки да лодыри. — Мотяков зло сплюнул и стал раскатывать бредень.

— Насчет образования это ты верно сказал, Семен! — осмелел Фомич. — Помнишь, у нас на курсах был учитель по гонометрии? Он, бывало, говорил нам: запомните — образование положит конец неразумному усердию.

— А вы вместе учились? — спросил, улыбаясь, полковник.

— Вместе академию кончали. Разве не заметно по усердию Мотякова? — сказал Фомич.

— Прохвост! — Мотяков взвалил бредень и потащил его к воде.

Полковник спросил:

— Федор, у тебя, наверное, здесь где-нибудь лодочка припрятана или ботничок? А то у нас надувная лодка, возиться не хочется.

— Есть! Как же без ботника? Я сейчас...

Фомич встал и пошел вдоль берега. Ботничок он хранил в камышовых зарослях. В том же тайнике у него лежали весла, банки с запасом

червей, двукрылые шахи, связанные дедом Филатом, удочки. Фомич взял ботало — железную воронку, надетую на конец тонкого шеста, длинное двухлопастное весло и прыгнул в ботник...

Сети ставил Фомич с ботника — всю Луку перегородил. Потом долго ботал — пугал рыбу то с одной стороны сетей, то с другой. Полковник с высокого берега давал указания:

— Бултыхни-ка вон у того куста! Во-во... А теперь от камышей зайди! Там что-то бухало... Щука, наверно.

Фомич вскидывал шест сверху жестяным раструбом и с маху бил, погружая его в воду.

У-у-ург! У-у-ург! — утробно разносилось по озеру.

— Хорошо! Вот так их! — отзывался с берега полковник. — А теперь вон из той заводи... Лупи их по мокрому месту!

Мотяков с Робертом Ивановичем растянули бредень, но после одного заброда махнули рукой. Берега были приглубые, и в трех метрах с головкой было, а там, где мелко, травы много: сусак да водяная зараза... Ноги не протацишь, не то что бредня. Бросив свой бредень, они, голые по пояс, сидели теперь на берегу и смотрели, как Фомич поднимал в ботничок сети.

Попались две небольшие, по локоть, щуки, судачок на кило и крупный, как хлебная лопата, лещ.

— А этот лежебока как сюда втюрился? — говорил Фомич, выпутывая из сетей леща. — Спросонья, должно быть, метнулся. Испугался! Так-то по трусости и в котел угодил, дурья башка.

Уха получилась отменная — духовитая, мутновато-белая, как раз «рыбачьего колеру», как сказал Фомич. Он кинул в нее три крупных луковицы да дикого укропу покрошил.

Рыбу вынул, положил на дощечку и посолил щедро крупной, как стеклянные бусы, солью. Полковник протянул было ему пачку мелкой белой соли. Но Фомич отставил ее:

— Этой солью только кисель солить или кашу манную.

Свою крупную соль достал он из-за гашника — в мешочке хранилась, а потом еще в круглой старинной баночке из-под ландрина.

— Соль для рыбы — что перец для мяса, — сказал Фомич наставительно. — А без них что мясо, что рыба — трава травой.

— И откуда вам такую соль привозят? Как стекло давленное, — сказал Роберт Иванович.

— А мы сами ее давим. Из коровьего лизунца.

— Из чего?

— Лизуец коровий... Соль такая, камнями. Ее возле фермы бросают коровам для лизания. И в магазине такую же, камнями, продают.

— И вы едите такую соль? — Роберт Иванович покачал головой.

Полковник задел деревянной ложкой дымящуюся уху и, причмокивая, медленно спил.

— Ну, Федор, «Националь» перед тобой, что осел перед донским скакуном...

— Само собой, — охотно подтвердил Фомич, хотя и не понял, что такое «Националь».

— Этой ухой и маршала не грех потчевать, — восторгался полковник. — Роберт, ну-ка вынь две баночки!

«А зачем тут баночки? — подумал Фомич. — Что в них может быть хорошего? Теперь бы водочки с литровку — коленкор другой».

Роберт Иванович полез в рюкзак (Фомич искоса поглядывал за ним), достал две бутылки коньяку.

«Пять звездочек! — радостно отметил Фомич. — Чудной народ! И бутылки баночками зовут...»

Фомичу хотелось еще чем-нибудь порадовать такого щедрого полковника, он сказал:

— Чайку захочется после рыбки. Я вам сейчас такой колер заварю, что писать можно.

Он срезал в кустах несколько стеблей у самого корня шиповника, нарвал цвета ежевики да наломал веток черной смородины с зелеными ягодами и все это положил в ведро, зачерпнул воды из озера и повесил чай варить.

— А не отравишь своим зельем-то? — спросил полковник.

— Помрешь — ни один профессор не определит отчего. Вот заварю — за ухо не оттащишь... Пока мы с рыбой покончим, и чай подойдет.

Расстелили плащ-палатку под развесистым, как шатер, дубом; в центре поставили дымящийся котел ухи, рыбу на доске и коньяк...

Пили из розовых колпачков. Полковник закатывал глаза от удовольствия, когда опрокидывал колпачок в широкую, как лохань, глотку; и вскоре все лицо его сделалось кирпично-красным. Мотяков пил, сильно морщась, передергиваясь и мотая головой, как будто касторку глотал. А Фомич как чай отхлебывал и все приговаривал:

— Лекарственная штука.... Теперь бы по вечерам его принимать от простуды. И тогда лет до ста прожить можно.

— Любишь коньяк-то? — спросил полковник.

— Откуда б я его полюбил? Кабы не вы, так и не попробовал бы.

Роберт Иванович сидел, прислонясь спиной к дубу, все смотрел с крутояра на тот берег и восклицал:

— Ну что за прелесть! Что за виды! Весь мир, кажется, объездил, а такой вот милой, скромной красоты не видывал.

Смотреть отсюда, с высокого берега, и впрямь было приятно: далеко, у горизонта, куда хватал глаз, синели в этот вечерний час мягкие округлые липовые рощицы, а сразу за озером одинокие темные дубки забрели по колени в пестрое от цветов разнотравье и застыли в раздумье, будто дорогу потеряли и теперь не знают, как выйти к лесу. Застыли, смирились со своим одиночеством. Целый день куда-то рвавшиеся за ветром, буйствовавшие травы тоже затихли. И камыши, уставшие склоняться день-деньской, над водой шуметь, тоже выпрямились, стали выше, отраженные в спокойной прозрачной воде. Все в этот час в природе было согласным, покорным и, зная, оттого трогательно-грустным. Ни ветерка, ни дуновения. И даже птицы, казалось, понимали, что громко кричать неприлично; где-то на том берегу торопливо лопотал свое «спать пора!» перепел, да из ближних кустов тоненько позванивала овсяночка: «Вези сено да не тряси-и-и! Вези сено да не тряси-и-и...»

Фомичу то ли от выпитого коньяка, то ли от этой тихой красоты стало хорошо и грустно, и он сказал со вздохом:

— И зачем живет человек на свете, спрашивается? Красотой любоваться... Добро в себе найти и другим добро сделать... На радость чтобы. А мы рычим друг на друга, как звери. Тьфу! — Он достал свой кисет. Но поглядывал на коробку «казбека», лежавшую возле полковника.

— Не красотой любоваться, а работать надо. Враз и навсегда! — сказал Мотяков.

— А ты чего же не работаешь? — Фомич свернул было сигарку, но потом сунул ее в кисет и потянулся за папиросами.

— Пожалуйста, пожалуйста! — подал коробку полковник.

— Это не твоего ума дело. — ответил Мотяков.

— То-то оно и есть... Вам, Михал Николав, не приходилось видеть, как курушка над утятами командывает? — обернулся Фомич к полковнику.

— Вроде бы у нас в Прудках раньше сами утки сидели на яйцах,— ответил полковник.

— То раньше! А теперь и утки пошли привередливыми. Яйца нанесет, а садиться не хочет. Вот вместо ее курушку и сажают. Та поглупее!— Живой затянулся, пустил дым кольцами, что твой пароход.— Так вот, выведет эта курушка цыплят на выгон и квохчет перед ними, хорохорится, хвост распускает. Все приказывает на своем курином языке — делай то, а не это. Но вот дойдут вместе до озера, утята—в воду и поплыли. А курушка на берегу квохчет. Оказывается, плавать-то она и не умеет. А все командовала — делай то, а не это. Так вот и у нас начальники иные. Сидит на посту, распоряжается — делай так-то и эдак. Командует! А снимут — куда посылать? Он, оказывается, работать-то не умеет.

— Ты на кого это намекаешь? — спросил, багровея, Мотяков.

— Да будет тебе, Семен! Шутки надо понимать,— сказал полковник. Фомич и ухом не повел.

— Кому надо, тот поймет. А для того, кто не понял, я еще один анекдот расскажу. Это по вашей части, Роберт Иванович.

Тот курил, заслоняя ладонью, и беззвучно смеялся.

— Ты мне ответишь за свои антисоветские анекдоты враз и навсегда! — перебил его Мотяков.

— Это не антисоветские, а против разжалованных вроде тебя,— сказал Фомич.

— Ты что, в озере купаться захотел? — привстал Мотяков.

— Я те не утенок... Смотри, сам не окажись там вроде той курушки, которой охолонуть надо! — Фомич тоже привстал на колено.

— Ну ладно, ладно! — Полковник взял их за плечи.— Здесь пьют, шутят... А кто хочет счеты сводить, мы наградим того штрафной. Роберт, еще банку коньяка!

Роберт Иванович вынул еще бутылку коньяка, выхлестнул ладонкой о доньшко пробку и стал наливать в розовые колпачки.

— А не боишься? — спросил Фомича полковник.— Вдруг Мотяков опять вашим начальником станет?

— Его песенка спета,— сказал Фомич и, помолчав, добавил: — А мне терять нечего, кроме своих мозолистых рук.

— Как нечего? А пристань? Должности!

— Я от этой должности нонешней зимой на одной картошке выехал. Кабы не картошка, ноги протянул бы. При этой должности, Михал Николаев, хороший корень в земле надо иметь. А у меня все, что на мне, то и при мне. Яко наг, яко благ, яко нет ничего.

— Тогда иди в колхоз... Пускай корни в землю.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Это что еще за грехи?

— Смолоду нагрешил. Одного на сторону свалил, а пятеро при мне.

— Ну, это ты брось... Главное нос не вешать.— Полковник поднял розовый колпачок коньяка:— За непотопляемый прудковский броненосец и его славного шкипера Федора Фомича Кузькина!..

Однажды хмурым июньским днем к прудковской пристани причалил катер. Забрав пассажиров, капитан сказал Фомичу:

— Вот тебе буксирный трос. Зачаливай свою пристань и руби концы... Приказано доставить твой сундук на участок.

— Это как понимать? — растерянно спросил Фомич.

— Как хочешь, так и понимай.— Капитан был стар и неразговорчив.

— По причине ремонта или как? — допытывался Фомич. — Может, ликвидация?

— В конторе скажут.

Весь путь до Раскидухи Живой метался по своей пристани, как заяц по островку, отрезанный половодьем. В голову лезли всякие тревожные мысли насчет ликвидации, но он гнал их, цеплялся за ремонт... «Да что я, в самом деле, ремонта испугался? Ну, постою недельки две на участке, проконопачусь... Только и делов. А может, и новый дебаркадер дадут? Теперь техника вон как в гору пошла. У меня ж не дебаркадер — и впрямь сундук старый. Одной воды из него выливаешь ведер сто за день. Я что, насос-камерон?»

Вспомнил Живой, как еще прошлой осенью писал в контору заявление, чтобы починили дебаркадер либо матроса еще назначили, «потому как одному отбоя от воды нет, а семью свою держать на откачке задаром не имеем полного права...». Садок Парфентьевич ответил коротко: «Просмолым». Но не прошло и месяца с весны, как дебаркадер снова потек.

«Поди, совесть сказалась у них. Комиссия осмотрит, а там, глядишь, Дуню проведу к себе матросом. И заживем...»

Напоследок Фомич написал карандашом на тетрадном листе новое заявление насчет ремонта. Может, пригодится?

В контору вошел он вроде бы успокоенный.

— Меня что, в ремонт определили? — спросил он рыжую диспетчершу.

— Заместитель по кадрам все вам объяснит, — ответила она уклончиво.

— Это кто ж такой? Владимир Валерианович?

— Нового прислали. Он в кабинете Садока Парфентьевича.

Из диспетчерской дверь вела в кабинет начальника.

— Ну-к я спрошу! — Фомич взялся за дверную ручку.

— Погодите! — строго сказала диспетчерша. — Что, не слышите? Он же занят.

Из кабинета доносились голоса. Дверь была тонкая, фанерная. Живой подался ухом к филенке, прислушался.

— Я вам говорю — план выполнять надо, план! Интересы государства! А вы мне про детей да про варево... — раздраженно произносил вроде бы знакомый голос.

Другой звучал глухо, просительно:

— А семьи наши в чем виноватые?

— Да кто вас просил с собой их брать? Здесь что, производство или детский сад? А! Колхоз?

Знакомый голос, знакомый голос! Живой даже на дверь слегка надавил, но она предательски скрипнула.

— Товарищ Кузькин, ступайте на берег. — Диспетчерша встала и производила Фомича за дверь. — Когда надо — позовем.

Делать нечего. Живой вышел на берег.

Неподалеку от конторского дебаркадера стояли две большие деревянные баржи. Возле барж сидели две бабы в фуфайках да мужик, небритый, седой, в резиновых сапогах и брезентовой куртке. «Видать, матросы с баржи», — сообразил Фомич.

— Вы чего, как цыгане, расположились? — спросил он, подсаживаясь к мужику и вынимая кисет.

— Да уволили... Без предупреждений, — ответил матрос, закуривая Фомичовой махорки.

— Как так?

— Да вот так...— Матрос длинно выругался.— Начальник нозый появился.

— А Садок Парфентьевич?

— В отпуск ушел. Остался за него заместитель по кадрам. Нового прислали... Такая щетина, что ни говорит, ни смотрит.

— Вон оно что!— Фомич теперь понял, почему его в кабинет не пустили.— До порядку, видать, охочий. Меня тоже вот с места сорвал. Пристань моя чем-то не понравилась. Во-он она стоит! — Фомич кивнул на свой дебаркадер, причаленный к берегу.— Из Прудков сняли.

— Ликвидируют?

— Ну, этот номер у них не пройдет. Мы тоже законы знаем.— Фомич сплюнул в воду.— А вы откуда?

— Из-под Елатьмы.

— Дальние!..

— Не говори. Мы дрова на баржах возили. А тут на Петлявке камень где-то не успели вывезти. План, что ли, не выполняют. Он и задержал наши баржи. «Выгружайся!» — «Как так?» — «А вот так. За камнем пойдут ваши баржи». — «А мы?» — «Неделю посидите на берегу. Ничего с вами не случится». Вот и сидим. И домой ехать — за сто верст киселя хлебать. И тут несладко. Ребятишки...

— Да, этот храбрец, видать, из выдвиненцев,— сказал Фомич. Я к нему было сунулся — и на порог не пустил. Через дверь поговорили... В нашем районе был один такой. Сапог сапогом, а войдешь к нему в кабинет — и не глядит. Сам, паразит, сидит, а тебя стоять заставляет. А все почему? Потому как академию под порогом кончал. Вот и этот заместитель по кадрам, видать, такой же академик...

Матрос толкнул Фомича локтем в бок. Фомич обернулся и застыл... Перед ним стоял в синем кителе, в фуражке с крабом Мотяков. По тому, что был он в сопровождении Владимира Валериановича и дюжего парня в резиновых сапогах и в фуфайке, видать, второго матроса с баржи, Живой сразу догадался, что новый заместитель по кадрам и есть не кто иной, как сам Мотяков.

Он не крикнул на Фомича, не обругал его — только повел ноздрями, как бы принюхиваясь, и ушел, так ничего и не сказав.

— Ну, теперь он сядет на тебя верхом,— сказал матрос в брезентовой куртке.

Фомич только плюнул и кинул окурок в Прокошу...

С тяжелым сердцем шел он теперь в контору. Мотяков на этот раз не заставил его ждать за дверями. Он кивнул Фомичу на стул у стены, сам прошелся несколько раз по кабинету, знакомо заложив руки в карманы. Наконец сел за стол и еще долго смотрел на Живого, будто впервые видел его.

— Я хочу, чтобы вы нас правильно поняли, товарищ Кузькин,— сказал он, миролюбиво и очень даже любезно глядя на Фомича.— В Прудки ваш дебаркадер не пойдет.

— А куда же он пойдет?— У Живого в момент взмокла вся спина.

— На Петлявку, в Высокое. Будет стоять там под общежитие грузчиков. Отправляйтесь завтра же.

— А в Прудки кто пойдет?

— В Прудках пристань сокращаем в целях экономии.

— А пассажиры как же?

— Там пассажиров-то два человека в день. Один убыток.

— Вон вы как рассуждаете! А ежели на Север двух человек посылают? Им и самолеты дают, и щиколату с мармелатом на целый год. А наши чем хуже их?

— Ты мне политграмоту не читай, враз и навсегда... У нас план — сократить две пристани. Экономия. Понял?

— На двух шкиперах много не сэкономишь.

— По нашему участку — да. А по всей стране? Сколько таких участков? Может, сто тысяч? Вот и посчитай.

— Насчет остальных я не знаю. Только мне в Высокое никак нельзя итить. Я весь оклад там проем. А чего семье пошлю?

— Не хотите — увольняйтесь.

Живой вдруг вспомнил про заявление насчет ремонта, вынул из бокового кармана, в бумажнике хранилось.

— Поскольку дебаркадер мой худой, вода натекает за ночь по самые копани, в Высокое мне итить одному никак нельзя. Там семьи у меня нет, которая помогала бы отливать воду. Либо матроса мне назначайте, либо жену мою матросом проводите. Прошу не отказать в просьбе.— Живой положил заявление на стол перед Мотяковым.

Тот прочел и пронзительно уставился на Живого:

— Ты с кем это думал, один?

— Один.

— Вот и поезжай один в Высокое. И не дури.

— Не могу... Дебаркадер течет. По самые копани вода. Идите посмотрите.

— Ты ее нарочно напустил.

— Я вас не понимаю. Как так нарочно? Поясните! Вы человек при должности...

— Я знаю. Я все знаю, враз и навсегда! — Мотяков погрозил пальцем.— Выводишь на берег и заливаешь воду.

— Это как же? Через борт ведрами? — Живой иронически глядел на Мотякова.

Тот понял, что хватил через край, но продолжал напирать:

— А по-всякому... Ты мастер отлынивать от работы. Я тебя знаю.

— Ага! — Живой мотнул головой.— Есть такая притча о гулящей теще и честной снохе. Теща подгуливала в молодости и не верила снохе, что та мужу верность соблюдает. И сына учила: ты побей ее, может, откроется. Так и вы.

— Поговори у меня! — Мотяков не так сильно, как бывало в РИКе, но все же ладонью прихлопнул по столу.— Захочешь работать, сам качать будешь.

— Я вам что, камерон? У меня на руке вон только два пальца. Я инвалид войны. Давайте мне матроса!

— Да пойми, голова два уха! Сокращение у нас. Либо иди в Высокое, либо увольняйся, враз и навсегда.

Вышел Фомич от Мотякова, как во хмелю, аж в сторону шибало. Зашел в ларек.

— Валя, дай-ка мне пол-литру перцовочки.

Продавщица подала ему бутылку перцовой.

— Ты чего нос повесил, дядя Федя?

— Небось повесишь...— Фомич только рукой махнул.— Вся жизнь моя к закату пошла...

Возле ларька встретил его небритый матрос в брезентовой куртке.

— Ну, что он тебе сказал?

— В Высокое посылает. А мне жить на два дома никак нельзя. Всего четыреста семьдесят пять рублей. Чего их делить? Ну и беда свалилась...— Фомич сокрушенно качал головой.

— Да брось ты, чудак человек! Руки-ноги имеешь, и голова на плечах! Проживешь! Ноне не прежние времена. Пошли к нам! У нас ужин варится. Как раз и выпьем.

На берегу Прокоши на месте бывших куч тряпья стоял брезентовый балаган. Перед ним вовсю горел костер. Дым, сбиваемый ветром, сваливал под крутой берег и медленно расплзался над рекой. На треноге кипел, бушевал котел с варевом. Бабы расстилали перед балаганом мешки, клали на них хлеб, чашки, ложки. Босоногие ребяташки с визгом носились вокруг костра.

— Тише вы, оглашенные! Смотрите, в огонь не свалитесь... Тогда и жрать не получите! — шумели на них бабы.

Второй матрос, тот, что был у Мотякова, теперь в одной рубаше с закатанными рукавами, босой, красный от огня, помешивал в котле, минутно черпал деревянной ложкой, сильно дул в нее и громко схлебывал горячее варево.

— Бог на помочь! — сказал Живой, подходя.

— Ужинать с нами, — отозвались бабы.

— Кулеш с пылу с жару... Выставляй бутылок пару! — сказал матрос от костра, косясь на отдутый карман Живого.

— Сдваивай! — Живой поставил на мешковину перцовку.

— Дельно! Маня, принеси бутылочку! — сказал матрос от костра.

Давеча, издаля, он показался Фомичу совсем молодым. Теперь кепки на нем не было — во всю его голову раздалась широкая лысина, по которой жиденько кудрявился рыжеватый пушок. Он снял котел с дымящимся кулешом и крикнул:

— Навались, пока видно, чтоб другим было завидно!

Появилась еще бутылка самогона, заткнутая тряпичным кляпом. Потом разлили кулеш — мужикам в одну чашку, бабам и ребяташкам — в другую. Самогонку цедили сквозь губы, морщились, крикали. Самогонка и вправду была хороша.

— Неужто сами производите? — спросил Фомич.

— А чего ж мудреного, — сказал небритый.

— Аппарат нужен.

— Мой аппарат — вон блюдец да тарелка. Только сахару подкладывай, — хитро подмигнул небритый.

— С таким аппаратом вам ветер в спину. И дождь не страшен, — улыбнулся Живой. — Мой табачок по такому же рецепту сработан. Ну-кося!

Он вынул кисет и пустил его по кругу. Закурили.

— Дождь теперь в самый раз под траву, — сказал, помолчав, старик.

— Да, сена ноне будут добрые, — подтвердил лысый.

— Все равно половина лугов пропадает. Выкашивать не успевают, — сказал Фомич.

— Нет, у нас в прошлом годе все выскоблили. Косили и старики и бабы — третью часть накошенного сена колхозникам давали.

— У нас до этого не дошло. Все жмутся... Эх, хозяева! — вздохнул Фомич.

— Нужда заставит — дойдут, — сказал лысый.

— Дак по нужде-то давно уж пора дойти.

— Те, которые с головой, ноне от нужды уходят, — сказал старик. — Наши вон исхитрились лук на горадах растить. Государству сдаст — и то по два рубля семьдесят копеек за кило. Вот и деньги!

— Теперь еще и ссуды под корову дают. А в ином колхозе и телку бери, — подхватил лысый.

— Да, это я слышал... В Брехове у нас дают. Там председатель сильный. Петя Долгий, мой друг-приятель, — соврал Живой. — Он все зовет меня. А вы, случаем, не думаете в колхоз вернуться?

— У нас не горит,— ответил старик.— Обождем малость, посмотрим, что выйдет. Осенью, правда, приезжаем домой на помощь. Картошку копаем в колхозе исполу. На зиму запасаем и себе и свиньям.

— Это хорошо! А сенца раздобыть — и корову завести можно. Ежели ссуду дают под корову, почему б и не взять? — спрашивал, оживляясь, Фомич.— Я ведь мастак по коровам был. Очень даже умею выбрать корову. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть ветвится. Ежели развилок начинается на холке, меж молоко ходит до четырех недель... Добрая корова! Потом колодец прощупать... меж утробы и груди. Большой палец по сгиб погрузнет — пуд молока в день даст... А что? Вот возьму и подамся к Пете Долгому. Чем в Высокое за полста верст, лучше в Брехово. Побегая сначала с работы в Прудки. Это ничего. Мне не впервой. Я на ходу легкий. Зато корову получу...

Фомич жадно затягивается табаком, улыбается. Он думает о том, как ловко проведет Мотякова; как придет в контору и выкинет ему кукиш: «Ты меня в Высокое хотел загнать... На-кось, выкуси!..» Голова его кружится от хмеля. Ему и в самом деле хорошо и весело.

— По нонешним временам везде жить можно,— сказал старик.

— Это верно,— соглашается Фомич.— Теперь жить можно.

* * *

Записал я эту историю в деревне Прудки со слов самого Федора Фомича Кузькина в 1956 году. Записал да отложил в сторону.

Как-то, перебирая свои старые бумаги, наткнулся и на эту тетрадь. История мне показалась занятной. Я съездил в Прудки, дал прочесть ее Федору Фомичу, и поныне здравствующему, чтоб он исправил, если что не так.

— В точности получилось,— сказал Федор Фомич.— Только конец неинтересный. Хочешь, расскажу, что дальше? Дальше полегше пошло...

Попытался было я продолжить рассказ, да не заладилось. А потом догадался: тут уж новые времена начинаются, новая и история. А та — кончилась.

— Точно так,— подтвердил Федор Фомич.— Да ты не горюй. Напишешь еще. Моей жизни на целый роман хватит...



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

★

ОКНО

Порядок у меня,
Порядок:
Столица, улица, окно
И стопка тоненьких тетрадок,
Где всё —
Неведение одно.
Но учебных пособий
Давно в моем порядке нет.
Ищу в себе
Свое подобье,
Которому пятнадцать лет.
Но поздно,
Поздно после стольких
Страстей, издержек и измен —
Измен вот этой самой стопке.
Нет больше школьных перемен —
Веселых детских передышек.
Безостановочно дышу
И не читаю «тайных» книжек,
Сама я тайно их пишу
И душу юного созданья
Все тщусь
Восстановить сполна,
Как восстанавливают зданья,
Когда кончается война.



В. КОРНИЛОВ

★

ИЗ ЛИРИКИ

АПРЕЛЬ СОРОК ПЯТОГО ГОДА

Апрель сорок пятого года.
Еще в затемнение Москва,
А мне нагуляться охота,
Мне осенью топать — «ать-два».

Мечтою набит до отказа,
Валяю во всем дурака,
И власть комендантского часа
Ко мне не особо строга.

Еще я отчаянно молод
И звонок пока без вина,
Военный кончается холод,
И скоро отчалит война.

Так вольно, просторно, чудесно,
Так даль над Москвою светла!..
Надежда, надежда, надежда,
Какая надежда была!

Годов промелькнуло без счета,
И многие были добрей.
А все ж сорок пятого года
Мне дорог до боли апрель.

Припомню — и заново молод,
И звонок опять без вина,
Как будто кончается холод
И завтра отчалит война.

И счастлив, как служка на пасху,
Как будто сияет мне свет,
Как будто душа нараспашку
И вправду семнадцати нет!

И нет никакого запрета,
И слиты великой судьбой
Россия, планета, Победа,
Надежда, апрель и любовь.

ДИКТОР

Походка деловитая,
Достоин и велик,
Шел диктор телевиденья,
Как собственный двойник.

По вечерам из ящика
Смотрелся, что король,
А нынче —
настоящего
Себя играл, как роль.

Почти с обложки содранный,
Переведенный весь,
Шагал мужик, засмотренный
Похлеще стюардесс.

Запомненный, как литера
На вывеске большой...
И я болел за диктора
Безжалостной душой.

Я думал: мало радости,
Когда глядят в упор.
Случайность популярности
Уродует, как горб.

А милость телекамеры
Так ветрена, увы!—
Как башня без фундамента,
Как слава без судьбы.

Но диктор, мальчик случая,
Шагал средь бела дня,
Ни капельки не слушая
Сквалыжного меня.

Походкой шел размеренной,
Портфель за дужку нес,
И шарф его мохеровый
Был соразмерно пестр.

* * *

Достается, должно быть, не просто
С болью горькой, острее, чем зубной,
Это высшее в мире геройство —
Быть собой и остаться собой.

Устоять средь потока и ветра,
Не рыдать, что скисают друзья,
И не славить, где ругань запретна,
Не ругать там, где славить нельзя.

Потому в обыденщине душевной,
Где слиняли и ангел и черт,
Я был счастлив и горд вашей дружбой,
Убеждениями вашими тверд.

И хотелось мне больше покоя,
Больше славы в огромной стране,
Чтобы кто-нибудь тоже такое
Мог потом написать обо мне.

В ЛЕСУ

Я два года провел в лесу.
Клокотал ручей по овражку,
Ветки хлопали по лицу,
С головы сбивали фуражку.

Разморенные облака
Возле солнца текли лениво,
А под елкой,
У сапога,
Молча ползала земляника.

И когда удавалось днем,
То заваливался под елку,
Стаскивал кобуру с ремнем,
И расстегивал гимнастерку,

И глядел через хвою вверх,
Остужаясь прохладой ягод,
Отвлекаясь тотчас от всех
Холостых и служебных тягот.

Полуденная тишина
В обнесенном лесу звучала
И, как хвоя, была нежна,
И ничуть не ожесточала.

И хотелось ее продлить,
Протянуть от земли до тверди,
И на свете всем отделить
Тишины,
Красоты,
Бессмертья...

Затихал реактивный гром,
Оставались лишь лес да лето,
И доверчиво
 под бедром
Проворачивалась планета.



ЕВГ. КОНСТАНТИНОВ

★

В БУДНИ

I

Я так устал —
 не страшно умереть,
Но только бы добраться до постели...
Да мне милее гроб,
 чем эта клеть,
Подвешенная,
 кажется,
 к метели!
Скользить в ней с кирпичами по стене,
Замазывать проем в такую вьюгу —
Я эдакого даже и во сне
Врагу не посулю,
 не только другу!
Отбухал смену —
 и по горло сыт,
Спецовку к черту —
 и на боковую.
А у прораба виноватый вид.
Я засыпаю.
Что он там толкует?
Да, скоро годовщина Октября...
Заделать нынче остальную стену?
Он выпишет повышенный наряд...
И даст еще отгул в любую смену...
Нет, дудки!
Не такой я патриот!
Я не работник нынче —
 твердо знаю!
...Прораб встает
 и мой бушлат берет.
И я встаю —
 бушлат свой отнимаю.
Смотрю, как печка весело гудит,
И открываю дверь в метель и стужу.
Старик прораб серьезно вслед глядит:
— А сдюжишь, парень?..
— Ладно, сдюжу...

II

Я целый день вздымаю кирпичи —
Гружу на специальную машину.
Прожектор цеха резко льет лучи,
Как будто мне прощупывает спину.
Крепка спина.

Да кирпичей — стена,
И выдать норму нелегко,
непросто.

И на меня не смотрит вся страна:
Я не герой.

Не великан я ростом.

И,
наклоняясь к жарким кирпичам —
Новорожденным,
красным, озоленным, —

Я мастерству,
приникшему к печам,

Кладу за смену тысячу поклонов.

И ты прими,
страна,
мой труд простой:

Я сделал все,
Не допустил простоев.

Тебя же попрошу:

Передо мной

Чуть-чуть скромнее
величай героев.

* * *

— Дедушка,
а ты стрелять умеешь?..

И пахать?..

И валенки валять?..

Дедушка,
ты что, других умнее?

Всех коней к тебе ведут ковать?..

Это ты Сережке сделал ножик

С вилкой и с отверткой на боку?..

Дедушка,

а что же ты не можешь?!

— Я, брат, по работе

все могу...



ТРУМЭН КАПОТЕ

★

ЛЕСНАЯ АРФА

*Повесть**

Глава V

Назавтра была среда, первое октября — и этого дня мне не забыть никогда.

Все началось с того, что Райли разбудил меня, наступив мне на пальцы. Я чертыхнулся, и Долли — она уже не спала — тут же потребовала, чтоб я попросил у Райли прощения. Быть вежливым, сказала она, всего важней по утрам — особенно когда живешь в такой тесноте. Часы судьи, золотым яблоком свисавшие с ветки, показывали шесть минут седьмого. Уж не знаю, чья это была мысль, но позавтракали мы апельсинами, крекером и холодными сосисками. Судья ворчал, что, пока не выпьешь горячего кофе, не чувствуешь себя человеком, и все мы сошлись на том, что кофе нам не хватает больше всего. Тогда Райли вызвался съездить за ним в город, а заодно узнать новости. Он предложил и меня захватить:

— Никто его не увидит, пусть только ляжет на сиденье и не встает всю дорогу.

И хоть судья стал было возражать, что это просто ребячество — подвергаться такому риску, — Долли сразу же поняла, до чего мне хочется с ним поехать: ведь я так мечтал прокатиться в машине Райли, и теперь, когда случай представился, ничто — даже мысль, что меня все равно никто не увидит, — не могло охладить моего пыла. И Долли сказала:

— По-моему, беды никакой не будет. Вот только надо бы тебе рубашку сменить — а то у этой на воротах хоть тюльпаны выращивай.

В поле не было слышно ни голосов травы, ни осторожного шуршания взлетающих украдкой фазанов. Листья индейской травы, вытянутые, острые, словно окрашенные кровью, казались стрелами, усеявшими поле битвы; они ломко похрустывали у нас под ногами, пока мы взбирались на горку, к кладбищу. Вид оттуда, сверху, чудесный: бескрайняя подрагивающая гладь Бережного леса, миль на пятьдесят вокруг — возделанные поля с ветряками, далеко-далеко — островерхая башня суда и дымящие трубы города. У отцовской и материнской могил я задержался. Я редко бывал здесь, меня удручал могильный холод камня, такой не похожий на то, что я помнил о них — как они были живыми, и как она плакала, когда он уезжал продавать свои холодильники, и как он выбежал раздетым во двор. Мне захотелось наполнить

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

цветами вазы из терракоты, пустевшие на перепачканном, в грязных потеках, мраморе. Райли помог мне: он наломал веток камелии с распустившимися бутонами и, глядя, как я ставлю их в вазы, сказал:

— Хорошо, что мать у тебя была славная. В общем-то, они суки.

И я подумал — должно быть, это он о своей собственной матери, бедняге Розе Гендерсон, заставлявшей его скакать на одной ножке вокруг двора и твердить вслух таблицу умножения. Впрочем, на мой взгляд, он успел достаточно вознаградить себя за эти тяжелые годы. Что ни говори, а у него была роскошная машина — по слухам, он отвалил за нее три тысячи долларов. И это за подержанную, заметьте. Машина была заграничная — «альфа-ромео» («альфа» пыльного Ромео, как острили в городе), со складным верхом и откидным задним сиденьем; он купил ее в Нью-Орлеане у какого-то политика, которого должны были уечь в каторжную тюрьму.

Пока мы мчали к городу по немощеному проселку, я все надеялся, что нам попадется навстречу хоть одна живая душа: если бы кое-кто увидел, как я качу в машине Райли Гендерсона, это было бы мне все равно что маслом по сердцу. Но час был слишком ранний, и на улицах никто не показывался. Завтрак еще стоял на плите, и над трубами проносившихся мимо домов поднимался дымок. У церкви мы свернули за угол, объехали вокруг городской площади и остановили машину в грязном проулке между конюшной Купера и пекарней «Зеленый кузнечик». Тут Райли вышел, наказав мне носа не высовывать из машины, — обещал, что вернется не позже, чем через час. И вот, растянувшись на сиденье, я слушал заумную болтовню ворюг-воробьев, промышлявших в яслях конюшни, вдыхал доносившийся из пекарни запах свежего хлеба и смородино-терпкий дух пряностей. Хозяевам булочной — Каунти была их фамилия — мистеру и миссис Каунти приходилось вставать в три утра, чтобы успеть все приготовить к открытию, к восьми часам. Булочная у них была чистенькая, торговля шла бойко — миссис Каунти могла покупать себе самые дорогие платья в магазине Вирены. Я лежал, вдыхая вкусные запахи, как вдруг задняя дверь пекарни распахнулась, и появился мистер Каунти с метлой в руке — он выметал прямо в проулок мучную пыль. Должно быть, он удивился, заметив машину Райли, а потом удивился еще раз, обнаружив, что я там разлегся.

— Коллин, ты что это затеваешь?

— Ничего, мистер Каунти, — ответил я, а сам подумал: интересно, знает ли он о наших мытарствах?

— Слава богу, наконец-то октябрь на дворе, — сказал мистер Каунти и потер пальцами воздух, словно пронизывающая его прохлада ощущалась на ощупь, как ткань. — Летом нам ужас до чего тяжело: от печей и вообще от всего такой жар — прямо душа с телом расстается. Слышь, сынок, там тебя пряничный мальчик дожидается — заходи и расправься-ка с ним по-свойски.

Нет, не такой он был человек, чтобы позвать меня, а самому побегать за шерифом.

Его жена так радушно встретила меня в жаркой, пропахшей пряностями пекарне, словно своим появлением я доставил ей величайшее удовольствие. Миссис Каунти понравилась бы хоть кому. Это была плотная женщина с неторопливыми движениями. Ноги — как у слона, руки сильные, мускулистые, на пухлом лице, неизменно пунцовом от печного жара, сахарной глазурью голубеют глаза, волосы белые, словно она обтирала ими кадку из-под муки. И всегда она в длинном, до полу фартуке.

И муж ее тоже. Иной раз я видел, как он, улучив свободную минуту, прямо в этом длинном фартуке перебегает дорогу и сворачивает

за угол, в кафе Филя, чтобы выпить кружечку пива с завсегдатаями, развалившимися у стойки, — ни дать ни взять клоун, размалеванный, припудренный, весь словно на шарнирах и вместе с тем привлекательный в своей неуклюжести.

Усадив меня и расчистив место на разделочном столе, миссис Каунти поставила передо мной чашку кофе и противень теплых булочек с корицей. Долли обожала такие. Но мистер Каунти сказал — мне, наверно, совсем другого хочется.

— Я тут ему кое-что обещал. А ну-ка что? Пряничного человечка, вон что.

Его жена шлепнула о стол большой кусок теста.

— Пряники — это для детишек. А он взрослый мужчина, почти что взрослый. Коллин, сколько тебе сравнялось?

— Шестнадцать.

— Как и нашему Сэмюэлу, — сказала она.

Сэмюэл был ее сын, мы звали его Мюл, или попросту Мул; и правда, умом он недалеко ушел от мула. Я спросил, какие о нем вести. Оставшись на третий год в восьмом классе, Мул еще осенью сбежал в Пенсаколу и поступил во флот.

— Он в Панаме — последний раз оттуда писал, — ответила миссис Каунти, раскатывая тесто для пирогов. — Не больно-то он балует нас письмами. Я ему раз написала — ты, дескать, Сэмюэл, лучше пиши нам, а то вот возьму да отпишу президенту, сколько тебе по правде годов. Ведь он, понимаешь, обманом во флот попал. Ух, до чего я ж тогда разъярилась, мать честная! Прихожу в школу и давай мистера Хэнда жучить: Сэмюэл, говорю, потому и удрал, что не мог он такого стерпеть — без конца его в восьмом классе оставляют, он уже вон какой вымахал, а другие ребяташки махонькие совсем. Ну, а теперь до меня дошло — мистер Хэнд, он прав был: несправедливо было бы перед вами, ребята, если б он Сэмюэла тогда перевел — парень-то не занимался путем. Так что оно, может, и к лучшему вышло. К. К., покажи Коллину карточку.

На фоне пальм и самого что ни на есть настоящего моря стояли, держась за руки и глупо ухмыляясь, четыре матроса. Внизу была надпись: «Благослови господь маму и папу. Сэмюэл». Карточка растравила меня. Мул где-то там смотрит мир, а я... Что ж, может, я ничего и не заслужил, кроме пряничного человечка. Я вернул карточку, и мистер Каунти сказал:

— По мне что ж, это хорошо — пускай мальчик послужит родине. Одно только худо — как раз теперь Сэмюэл нам бы тут очень сгодился. Терпеть не могу нанимать черномазых. Только одно и умеют — врать да обкрадывать. Никогда с ними не знаешь, на каком ты свете.

— У меня просто глаза на лоб лезут, когда К. К. начинает такое нести, — сказала миссис Каунти и сердито поджала губы. — Знает ведь, что меня это бесит. Цветные ничем не хуже белых. А другой раз еще и получше. Уж я не упускаю случая это нашим здешним — вернуть. Взять хоть историю со старой Кэтрин Крик. Как вспомню — тошно становится. Ну пускай она другой раз блажит, ну чудачка она, да ведь женщина-то какая хорошая, таких поискать. Ох, кстати, я же хотела послать ей обед в тюрьму: бьюсь об заклад, у шерифа там стол не больно шикарный.

...Да, все в жизни переменялось, и прошлого не воротить... Стало быть, мир знает о нас... Нет, больше нам никогда не согреться... Воображение мое разыгралось: я уже видел — на иззябшее дерево наступает зима, и я плакал, плакал, я разваливался на куски, как истлевшая от дождей ветوشка. Выплакаться мне хотелось с тех самых пор, как мы ушли из дому. Миссис Каунти сказала:

— Ты уж прости меня, если я что не так говорю.— И принялась утирать мне лицо замызганным фартуком, и оба мы рассмеялись.

Да и как было не смеяться — я весь был перемазан клейстером из слез и муки, — я меня, как говорится, отпустило: с сердца словно камень свалился. Мистер Каунти, подавленный этим потоком слез, ретировался в булочную, и я понял — это он чисто по-мужски, но мне все равно не было стыдно.

Миссис Каунти налила себе кофе, под села к столу.

— По правде сказать, я не очень-то понимаю, что там у вас происходит. Я так слышала, будто мисс Долли не стала вести хозяйство, потому как у них нелады с Виреной?

Мне хотелось ответить, что на самом деле все гораздо сложнее, но когда я попробовал восстановить ход событий, меня вдруг взяло сомнение — полно, а так ли это?

— Ну вот, — задумчиво сказала она, — может, тебе покажется — я против Долли говорю. Ничего подобного. Я только считаю — всем вам, братцы, надо вернуться домой, и пускай Долли помирится с Виреной. Она и всегда-то ей уступала, а уж теперь, в ее возрасте, ничего не переиначишь. И потом — это дурной пример для всего города: две сестры перессорились и одна из них залезла на дерево. Ну, а судья Чарли Кул — знаешь, первый раз в жизни я пожалела этих его сыночков. Нет, видные граждане, они должны себя достойно держать, а не то все в шаткость придет. Между прочим, видел ты старый фургон на площади? Нет? Так сходи посмотри. Ковбойская семья. К. К. говорит — евангелисты они. Ну, а я только одно знаю: тут из-за них такая поднялась буча и Долли к этому делу каким-то концом приплели. — Серdito попыхтев, она надула бумажный пакет. — Ты ей передай, что я так и сказала: надо, мол, возвратиться домой. На, Коллин, тут для Долли булочки с корицей. Я знаю, она их обожает.

Когда я вышел из пекарни, часы на здании суда пробили восемь. Значит, была половина восьмого. Эти часы всегда спешили на тридцать минут. Однажды откуда-то привезли опытного мастера, чтобы их починить. Проковырявшись неделю, часовщик объявил — единственное, что тут может помочь, это шашка динамита. И все равно муниципалитет решил уплатить ему сполна — в городе все гордились, что часы у нас такие неисправимые.

В разных концах площади лавочники готовились открывать свои заведения: взбивали метлами пыль у дверей, выкатывали мусорные контейнеры, грубо разрывая легкую тишину прохладных улиц. В витрине «Ранней пташки» — бакалеи получше Вирениной лавочки «Все на пятак» — двое мальчишек-негров расставляли консервные банки с гавайскими ананасами. На южной стороне площади, за камышовыми скамейками, на которых в любое время года посиживали тихие, доживающие свой век старички, я увидел фургон — про него-то и говорила мне миссис Каунти. Это был просто старый грузовик, только крытый брезентом, — хитроумная уловка, чтобы придать ему сходство с фургонами первых западных колонистов. Он одиноко маячил на пустынной площади, и вид у него был сиротливый и страшно нелепый. Вдоль верха кабины, словно акулий плавник, протянулся большой самодельный щит с надписью: «ДАЙТЕ МАЛЫШУ ГОМЕРУ МЕДОУ ЗААРКАНИТЬ ВАШУ ДУШУ ДЛЯ ГОСПОДА НАШЕГО». На другой стороне щита вспучившейся зеленоватой краской была намалевана ухмыляющаяся физиономия, над ней красовалась широкополая шляпа с высокой тульей. В жизни бы не подумал, что тут изображено человеческое существо, но, судя по надписи, это и был ЧУДО-РЕБЕНОК ГОМЕР МЕ-

ДОУ. Больше смотреть было не на что — около грузовика не было ни души. Я зашагал к тюрьме, кирпичной коробке, находившейся по соседству с конторой Фордовской компании. Однажды я был там внутри — Верзила Эдди Стовер зазвал туда с десяток взрослых дядек и ребят, был с ними и я. В тот раз зашел Верзила в аптеку и говорит нам — пошли все в тюрьму, что я вам покажу! Достопримечательностью оказался смазливый худющий цыганенок, они его сняли с товарного поезда. Верзила дал ему четвертак и велел спустить штаны. Мы глазам своим не поверили, и кто-то из мужчин брякнул: «Эй, парень, чего ж ты сидишь под замком, когда у тебя эдакий лом есть?»

Долго потом, чуть не с месяц, можно было сразу узнать тех девчонков, которые уже слышали эту шутку: как идут мимо тюрьмы, всякий раз начинают хихикать.

Торцовую стену тюрьмы украшает довольно странный рисунок. Я спрашивал про него Долли, и она сказала — помнится ей, в дни ее молодости это была реклама конфет. Если и так, то надпись уже совершенно стерлась, а то, что осталось, напоминает запачканный мелом голбелен: два трубящих, розовых, словно фламинго, ангела парят над огромным рогом изобилия, наполненным фруктами, будто рождественский чулок. Этот рисунок напоминает потускневшую фреску, едва приметную татуировку, и под скользящими лучами солнца заточенные ангелы трепещут, словно души арестантов. Я понимал, что мне опасно разгуливать у всех на виду, но все же прошел мимо тюрьмы, снова вернулся, свистнул и позвал шепотом: «Кэтрин, Кэтрин!» — может, она догадается подойти к окну. Я понял, какое окно ее: на подоконнике за решеткой поблескивала банка с золотыми рыбками. Потом я узнал, что это была единственная вещь, которую она просила передать ей в тюрьму. Рыбки оранжевыми бликами медленно плавали вокруг кораллового замка, и мне вспомнилось утро, когда я помог Долли все это найти — и замок, и разноцветные камешки. То было начало, и меня вдруг бросило в дрожь при мысли о том, какой сейчас будет конец — Кэтрин, холодной тенью глядящая на меня из окошка тюрьмы; я стал молиться, чтоб она не подходила к окну. Да она все равно б никого не увидела — я повернулся и побежал.

Мне пришлось прождать Райли в машине два часа с лишним. Когда он наконец объявился, то был в таком раздражении, что я не посмел показать свое собственное. Выяснилось, что он зашел домой и застал там такую картину: обе его сестры и Мод Риордан — она у них ночевала — еще нежились в постелях; по всей гостиной валялись окурки и бутылки из-под кока-колы. Мод приняла всю вину на себя: сказала, что это она пригласила кое-кого из мальчиков — потанцевать и послушать радио. Но досталось не ей, а сестрам Райли, Энн и Элизабет: он вытащил их из кроватей и здорово отхлестал. То есть как это «отхлестал»? — удивился я. А так, говорит, — положил к себе на колени и отхлестал теннисной туфлей. Я просто не мог себе такого представить: до того это не вязалось с достоинством Элизабет, а я так остро его ощущал.

— Уж очень ты с ними крут, с этими девочками, — сказал его и мстительно добавил: — Мод Риордан — вот она и вправду испорченная.

Он принял мои слова за чистую монету. Да, говорит, он и ее собирался выдрать — хотя бы за то, что она его так обзывала, он этого ни за что никому не спустит; но только он ее не поймал — она отперла заднюю дверь — и была такова.

Волосы Райли, обычно взлохмаченные, сейчас были тщательно прилизаны и блестя от бриллиантина, он благоухал сиреневой водой и пудрой. Ему незачем было объяснять мне, что он заходил к парикмахеру и для чего.

В те времена парикмахерскую у нас держал человек совершенно особенный, такой Амос Легрэнд — теперь уж он ушел на покой. Люди вроде шерифа Кэндла — а между прочим, и Райли Гендерсон, да вообще все — называли его не иначе как старая баба. Но говорилось это беззлобно: многие любили поболтать с Амосом, искренне желали ему добра. Маленький, как обезьянка, чтобы постричь клиента, он становился на ящик — Амос был всегда возбужден и беспрерывно трещал, словно пара кастаньет. Всем своим постоянным клиентам без различия пола он говорил «котик».

— Котик,— говорил он, бывало,— вам самое время подстричься. А то я уже собирался преподнести вам пачку заколок.

Амос обладал одним сверхъестественным даром: с любым человеком, будь то солидный коммерсант или десятилетняя девочка, он умел завести разговор о том, что тому действительно интересно: и за сколько Бен Джонс продал весь урожай земляного ореха, и кто приглашен на рождение к Мэри Симпсон.

К нему-то, понятное дело, и направился Райли, чтобы узнать новости. Мне он, конечно, потом рассказал только суть, но я так и видел Амоса, так и слышал — вот он стрекочет, словно колибри:

— Да, котик, такие, значит, дела; вон оно как получается, когда деньги дома лежат. Должно же такое было стрястись — и с кем, с Виреной Тэлбо. А мы-то думали: она как заполучит никель, так сразу же тащится с ним в банк. Двенадцать тысяч семьсот долларов. И сдается мне, это еще не все. Вирена и этот доктор Ритц как будто бы собирались сообща открыть дело — для того она и купила старый консервный завод. Так вот, представьте, Ритц получил от нее десять тысяч на закупку машин, каких — одному богу известно, а теперь выясняется: ни одного завалающего винтика он не купил. Все прикарманил. А его самого словно ветром сдуло. Теперь лови его в Южной Америке, ищи-свищи. Я не из тех, кто распускал сплетни, будто у них шуры-муры с Виреной. Я говорил всегда — Вирена Тэлбо, она со странностями; и потом, котик, у этого Ритца перхоти — в жизни такого не видел. Но кто же его знает: хоть она женщина ловкая, а может, и вправду влюбилась. И вдобавок эта история с ее сестрой, весь этот тарарам — что же удивительного, если док Картер держит ее на уколах? Но Чарли Кул — вот от кого у меня глаза на лоб лезут. Как это вам понравится — сидит там в лесу, смерти ищет!

Из города мы неслись, почти не касаясь земли. Хлоп, шелк — стукались насекомые о ветровое стекло. Вокруг нас свистела тугая, словно накрахмаленная, голубизна, на небе не было ни облачка. И все же, готов поклясться, кости мои чуяли приближающуюся грозу. Обычно это удел стариков, а у молодых бывает сравнительно редко. Чувство такое, будто в суставах глухо ворчит отсыревший гром. По тому, как ныли кости, я уже знал — надвигается ураган, никак не меньше. Так я и сказал Райли, а он говорит — да брось ты, спятил, что ли, глянь на небо. Мы как раз заключали пари, как вдруг на опасном повороте, откуда, кстати, идет прямая дорога на кладбище, Райли вздрогнул и резко затормозил. Машину заносило так долго, что можно было припомнить всю свою жизнь до мельчайших подробностей.

Но Райли был тут совсем ни при чем. По середине дороги с трудом, будто охромевшая лошадь, тащился фургон Малыша Гомера Медоу. Раздался предсмертный лязг обессилевшего механизма, и фургон остановился как вкопанный. Из кабины вылезла женщина — машину вела она.

Была она уже немолода, но в покачивании ее бедер было столько живости, а грудь под тесной персикового цвета кофточкой подпрыгивала

так выразительно. На ней была замшевая юбка с бахромой, высокие, до колен, ковбойские башмаки, но зря она их носила: сразу бросалось в глаза, что самое в ней красивое — это ноги, если б их только было получше видно. Женщина прислонилась к дверце кабины. Веки ее опустились, словно не выдержав тяжести ресниц, кончиком языка она облизнула ярко-красные губы.

— С добрым утром, приятели,— сказала она, и голос ее был, как запальный шнур с шашкой взрывчатки на конце.— Будьте ласковы, объясните, как мне проехать.

— Да что тут у вас стряслось, черт подери? — спросил Райли, переходя в наступление.— Мы из-за вас чуть не перевернулись.

— Удивляюсь еще, как вы это заметили,— ответила женщина, дружелюбно вскидывая крупную голову. Ее волосы — какого-то диковинного абрикосового цвета — были старательно уложены, и выбившиеся из прически локоны казались примолкшими колокольчиками.— Уж очень вы гоните, дружок,— с добродушным укором сказала она, обращаясь к Райли.— Я так думаю, против этого должен быть закон. Вообще-то законы есть против всего на свете — особенно тут, у вас.

— А нужен бы закон против эдаких колымаг,— огрызнулся Райли.— Куча лома на колесах! И как только разрешают на такой ездить!

— Верно, дружок,— рассмеялась женщина.— Что ж, давайте меняться. Только, боюсь, нам не втиснуться в вашу машину; нам и в фурго-не-то тесновато. Сигареты у вас не найдется? Вот чудно. Спасибо.

Пока она закуривала, я заметил, что руки у нее увядшие, загрубевшие, ногти без лака, а один совсем черный — должно быть, она прищемила его дверцей.

— Мне сказали, так можно проехать к мисс Тэлбо. К мисс Долли Тэлбо. Говорят, она живет на дереве. Будьте ласковы, покажите нам, где...

В это самое время за ее спиной из фургона выгружался целый сиротский приют: рахитичные карапузы, еле-еле ковылявшие на кривых ножках, белобрысые пострелята, пускавшие длинные сопли, девочки, которым уже впору было носить бюстгальтеры, и целая лесенка мальчиков постарше — среди них и совсем большие. Я насчитал уже десять штук — в том числе двух косоглазых близнецов и грудного младенца (его держала на руках девчушка лет так пяти, не больше), — а они все выскакивали и выскакивали, как кролики из цилиндра фокусника, и множились на глазах, и под конец запрудили дорогу.

— Это все ваши? — спросил я.

Мне и впрямь сделалось жутковато: при вторичном подсчете их набралось пятнадцать. Один мальчуган лет двенадцати, в маленьких очках в стальной оправе, шеголял в огромной ковбойской шляпе с высокой тульей — ни дать ни взять ходячий гриб. Почти на каждом были какие-нибудь ковбойские причиндалы — высокие ботинки или хотя бы шейный платок. Но вид у них всех был довольно пришибленный — заморенные какие-то, словно годами сидят на вареной картошке и луке. Сгрудившись вокруг машины, они стояли безмолвно, как привидения, только самые маленькие что было мочи лупили по фарам или подскакивали, взобравшись на крылья машины.

— Уж это, дружок, как есть. Все мои,— ответила женщина и шлепнула крошечную девчушку, карабкающуюся ей на ногу.— Иной раз мне, правда, сдается — мы подцепили парочку чужих.— Она повела плечами, и дети заулыбались: видно было, что они в ней души не чают.— Кой у кого из них отцы померли, у остальных, надо думать, живы — так ли, эдак ли. Но нам и дела нет. По-моему, вас вчера не было на

нашем молитвенном собрании. Так вот, я сестра Айда, мать Малыша Гомера Медоу.

Тут я спросил, который из них Малыш Гомер. Сошурившись, она обежала их взглядом и указала на мальчугана в очках. С трудом удерживая на голове огромную шляпу, он приветствовал нас:

— Хвала Иисусу! Свистульку не купите? — И, раздувая щеки, зашвистел в жестяную свистульку.

— Берите,— сказала сестра Айда и поправила локоны на затылке.— До чего ими здорово сатану отпугивать! И для других дел сгодятся.

— Четвертак,— деловито объявил мальчуган.

Рожца у него была озабоченная, и белая, как крем для лица, шляпа все время сползала ему на брови. Будь у меня деньги, я непременно купил бы—сразу видно было, что они голодные. Райли тоже понял это—во всяком случае он вынул пятьдесят центов и взял две свистульки.

— Благослови вас господь! — отчеканил Малыш Гомер и тут же стал пробовать монету на зуб.

— Сейчас столько фальшивых денег ходит,— извиняющимся тоном пояснила его мать.— Уж, казалось бы, в нашем деле такого бояться нечего, а вот поди ж ты...— Она вздохнула.— Так вы будьте ласковы, покажите, куда нам теперь. А то нам долго не продержаться, бензин на исходе.

Но Райли сказал — она попусту время тратит.

— Там уже никого нет,— бросил он, включая мотор.

За нами стояла другая машина, мы закрывали ей путь, и водитель раздраженно сигналил.

— Как, ее уже нет на дереве? — жалобно прокричала сестра Айда, перекрывая нетерпеливый рев мотора.— А где же тогда ее искать? — Она протянула к машине руки, пытаясь удержать ее.— У нас к ней такое важное дело... У нас...

Райли рывком бросил машину вперед. Я оглянулся — они стояли в поднятых нами густых клубах пыли и смотрели нам вслед. У меня стало скверно на душе, и я сказал — все-таки надо было узнать, что им нужно.

— А может, я и без них это знаю,— ответил Райли.

* * *

И правда, он много чего разузнал — Амос Лейгрэнд очень подробно его информировал насчет сестры Айды. Сама она прежде у нас не бывала, но Амос — он время от времени совершал вылазки в ближние городки — уверял, что видел ее однажды на ярмарке в Боттле, центре нашего округа. Преподобному Бастеру, видимо, тоже было о ней кое-что известно: не успела она приехать, как он помчался к шерифу и стал требовать, чтобы тот именем закона запретил Малышу Гомеру и всей его труппе устраивать у нас в городе молитвенные собрания. Вымогатели, вот они кто, твердил он, а уж так называемая сестра Айда в шести штатах известна как отъявленная потаскуха. Ведь это подумать только — пятнадцать детей, а мужа в помине нет! Амос тоже был совершенно уверен, что она никогда не была замужем, но все же считал, что женщины столь плодотворная заслуживает уважения. А шериф заявил преподобному Бастеру, что с него и своих напастей хватит. И вообще, может, этим дуралям правильная пришла мысль: посиживают себе на дереве и занимаются собственным делом; он и сам готов за пятак все бросить и податься к ним в лес. Тогда старый Бастер ему говорит — раз так, значит, он не годится в шерифы и пускай отдает свой значок.

В общем, сестра Айда, не встретив препятствий со стороны закона, созвала на площади под дубами молитвенное собрание. У нас в городке

обновленцы вообще популярны: у них музыка, можно собраться на вольном воздухе и попеть. А на долю сестры Айды с семейством выпал особенно шумный успех. Даже Амос, обычно настроенный критически, сказал Райли, что тот многое потерял. У этих деток глотки луженые, ничего не скажешь, а уж Малыш Гомер просто гвоздь-парень: он и плясал, и веревку крутил. Словом, все получили полное удовольствие, кроме преподобного Бастера с супругой. Они только за тем и явились, чтобы затеять свару. А когда ребяташки стали натягивать Бельевую веревку господина-бога — толстый жгут с прищепками для белья, — чтобы было куда засовывать пожертвования, его преподобие и миссис Бастер окончательно взбеленились: те самые люди, которые сроду ни одного никеля не опустили в церковную кружку Бастера, сейчас вешали на веревку долларовые бумажки. Этого Бастер, конечно, стерпеть не мог. Он тут же понесся на Тэлбо-лейн, где имел короткую, но очень дипломатическую беседу с Виреной, без чьей поддержки, как он понимал, ему не добиться от шерифа решительных действий. Амос рассказывал: чтоб раззадорить Вирену, его преподобие наплел ей, что вот-де какая-то шлюха из обновленцев обзывает Долли богоотступницей, нехристью, и, если Вирене дорога честь семьи Тэлбо, ее долг — сделать все, чтобы женщину эту немедленно выгнали из города. Вряд ли сестра Айда в то время хотя бы слышала фамилию Тэлбо. Но Вирена, хоть и была больна, рьяно взялась за дело. Позвонила шерифу и сказала ему — вот что, Джуниус, чтобы эти бродяги сейчас же выкатывались из нашего округа. То был приказ, и старый Бастер взял на себя проследить за его выполнением. Он пошел вместе с шерифом на площадь, где сестра Айда и ее выводок прибирали после молитвенного собрания. Дело кончилось форменной потасовкой. И все из-за Бастера: он стал орать, что они провели незаконный денежный сбор, а раз так, значит, все, что им повешали на Бельевую веревку господина-бога, следует отобрать. И он эти деньги заполучил — вместе с парочкой ссадин. На площади многие вступились за сестру Айду, но это не помогло. Шериф объявил ей — чтобы назавтра к полудню духу ихнего в городе не было.

Когда Райли рассказал мне все это, я спросил его, отчего ж он ничем не хотел им помочь, ведь с ними так подло обошлись. Вам в жизни не угадать, что он ответил. Убийственно серьезным тоном он произнес:

— Такая распущенная особа — неподходящее общество для Долли.

* * *

Под деревом потрескивал костер. Райли собирал сухие листья и хворост, судья, шуряя от едкого дыма, хлопотал над обедом. Только мы с Долли бездельничали.

— Боюсь я, — сказала она, сдавая карты, — ей-богу, боюсь, что Вирене этих денег уж не видать. И знаешь, Коллин, по-моему, она больше всего не из-за денег переживает. Уж не знаю почему, но только она ему верила, этому доктору Ритцу. Мне все вспоминается Моды-Лора Мэрфи. Девушка, что работала на почте. Они с Виреной были большие друзья. Боже, какой для нее был удар, когда Моды-Лора сдружилась с этим торговцем виски, а потом вышла за него. Но я ее не осуждаю — что ж, так оно и должно быть, раз она его полюбила. И все-таки я тебе так скажу: Моды-Лора и доктор Ритц, они, может, единственные, кому Вирена за всю свою жизнь доверяла. И оба они... Нет, такое кого хочешь доконает. — Она рассеянно перебирала карты. — Ты перед тем что-то сказал — про Кэтрин.

— Про ее рыбок. Я видел в окне банку с рыбками.

— А саму Кэтрин не видел?

— Нет, только рыбок. Миссис Каунти ужасно славная — сказала, пошлет ей обед в тюрьму.

Долли разломила одну из булочек, присланных миссис Каунти, и принялась выковыривать изюм.

— Коллин, а если мы все по-ихнему сделаем, в общем, пойдем на попятный... Тогда им придется выпустить Кэтрин, ведь правда? — И, вскинув глаза, она стала разглядывать верхние ветви платана, словно отыскивая просвет в густой листве.— Выходит, я должна сдаться?

— Миссис Каунти считает — нам надо вернуться домой.

— А она не сказала почему?

— Потому что... Ну, она много чего говорила. Потому что ты всегда подчинялась. Всегда хотела, чтобы в доме был мир и лад,— так она говорит.

Долли слегка улыбнулась, расправила длинную юбку. Пробившиеся сквозь листву лучи солнечными кольцами легли ей на пальцы.

— Да разве у меня был когда-нибудь выбор? А мне как раз этого и хочется — выбирать самой. Сознать, что у меня могла быть совсем другая жизнь, что я все могла решать за себя сама. Вот тогда в доме и вправду был бы мир, мир на мой лад.

Она стала смотреть на открывавшуюся над ней картину: Райли с треском ломал валежник, судья склонился над дымящимся котелком.

— А судья, Чарли? Ведь пойти теперь на попятный — значит подло предать его. Да,— она переплела свои пальцы с моими,— он очень мне дорог.

Время замедлило ход — казалось, паузе не будет конца. Сердце мое закачалось. Ветви дерева сомкнулись вокруг меня, будто сложенный зонтик.

— Нынче утром, когда вас тут не было, он просил меня выйти за него замуж.

Словно услышав ее, судья выпрямился, от широкой мальчишеской улыбки его крестьянское лицо разом помолодело. Он помахал нам, Долли махнула в ответ, и нельзя было не почувствовать, сколько очарования было в ней в эту минуту. Будто старый портрет отчистили, и, повернувшись к нему, ты неожиданно видишь в знакомом лице блеск живой плоти и чистые краски, которых не замечал до тех пор. Чем-чем, а уж тенью в углу она больше не будет.

— Так кого же еще... Зря ты расстраиваешься, Коллин,— вдруг сказала она. Решила, должно быть, что я возмущаюсь ею, и теперь выговаривает мне за это.

— Ну а ты что...

— А я никогда не имела права сама за себя решать. Но если, бог даст, придется, уж я буду точно знать, что правильно, а что нет. Так кого же еще ты видел в городе? — спросила она, чтобы снова меня завести.

Я хотел было что-нибудь выдумать, наплести что попало в отместку ей — ведь, казалось, она уходит в будущее, а я не могу за нею идти, я остаюсь прежним Коллином. Но когда я ей все рассказал — про сестру Айду, про фургон, про детишек, и почему у них вышла стычка с шерифом, и как они встретились нам по пути и спрашивали про даму на дереве,— мы снова слились воедино, словно поток, на какой-то момент разделенный островом. Конечно, скверно бы вышло, если б Райли услышал, как я его продаю, но все-таки я повторил ей даже его слова, что такая особа, как сестра Айда,— неподходящее общество для Долли. Она от души рассмеялась, но потом сразу стала серьезной.

— Но ведь это же подлость — вырывать у детей кусок изо рта, да еще прикрываться моим именем. Стыд и позор!— Решительным жестом Долли поправила шляпу.— Коллин, живей поднимайся. Мы с тобой сей-

час прогуляемся. Ручаюсь, они до сих пор там, где вы их оставили. Во всяком случае поглядим.

Судья не хотел отпускать нас — все твердил, что, если Долли желает пройтись, он обязан сопроводить ее. Но ответ Долли утишил мою ревнивую злобу: пусть он лучше присмотрит за стряпней, сказала она, а с Коллином ей ничто не грозит — мы просто хотим размять ноги.

Как всегда, Долли шла не спеша, и торопить ее было бесполезно. Такая была у нее привычка: даже в дождь она неторопливо брела по лесной тропинке, будто по саду разгуливая, и глаза ее постоянно выискивали пахучие лекарственные травы — побеги болотной мяты, кануфера, майорана, — разные целебные корешки. Их запахом была пропитана ее одежда. Она все подмечала первая, и если была в ней хоть капля тщеславия, проявлялось оно только в этом желании — чтобы именно ей, а не вам удалось углядеть что-нибудь интересное: птичий след в форме браслета, свисающие с карниза сосульки. То и дело она подзывала нас: идите сюда, посмотрите — вон там облако в форме кошки, вон корабль из звезд, а вон злое лицо Мороза.

Так и сейчас, мы еле плелись через поле. Долли совала в карман то засохшие одуванчики, то фазанье перо. Я уж думал, мы до захода солнца не выберемся на дорогу.

По счастью, нам не пришлось идти так далеко: на кладбище мы увидели сестру Айду со всем семейством — оно расположилось лагерем среди могил. Кладбище превратилось в какую-то мрачную детскую площадку: старшие девочки стригли волосы косоглазым близнецам, Малыш Гомер до блеска надраивал ботинки с помощью листьев и слюны, совсем большой парень, привалясь к могильному камню, меланхолически наигрывал на гитаре. Сестра Айда кормила младенца. Он, свернувшись, лежал у ее груди, словно розовое ухо. Заметив нас, она не двинулась с места, и Долли сказала:

— А ведь вы сидите на моем отце!

И правда, это была могила мистера Тэлбо, и сестра Айда, обратясь к памятнику (УРИЯ ФЕНВИК ТЭЛБО, 1844—1922, ОТВАЖНОМУ ВОИНУ, ЛЮБИМОМУ СУПРУГУ, НЕЖНОМУ ОТЦУ), тихо проговорила:

— Прости меня, воин.

Потом застегнула кофточку, отчего малыш сразу же раскричался, и поднялась.

— Пожалуйста не вставайте. Я только хотела... представиться.

Сестра Айда пожала плечами.

— Он все равно меня донял, — сказала она и потерла грудь. — Да это опять вы! — Она удивленно уставилась на меня. — А где ж ваш приятель?

— Мне сказали, что... — Долли оторопело умолкла при виде оравы ребятишек, сбегавшихся к нам со всех сторон. — Вы и вправду хотели меня видеть? — снова заговорила она, стараясь не замечать крошечного мальчугана, который успел задрать ей юбку и теперь усердно разглядывал ее ноги. — Я Долли Тэлбо.

Переложив ребенка на другую руку, сестра Айда освободившейся рукой обхватила Долли за талию и сказала сердечно, словно они были самыми закадычными подругами:

— Я так и знала, Долли, что на вас можно рассчитывать. Ребятишки! — она подняла младенца вверх, будто жезл. — А ну-ка, скажите Долли, что мы про нее слова худого не говорили!

Все закивали, загомонили, и Долли явно была растрогана.

— Нам никакими силами из города не выбраться, — сказала сестра Айда. — Уж я объясняла им, объясняла.

И она принялась подробно рассказывать Долли про свои заключения. Жаль, что их нельзя было сфотографировать вместе: Долли, чинную, старомодную, как ее допотопная вуаль, и сестру Айду с ее яркими, сочными губами, словно созданную для радости.

— Не на что нам уехать — ведь они нас вчистую обобрали. Нет, надо мне было добиться, чтоб их засадили — этого поганого Бастера и шерифа, как бишь его: тоже еще, вообразил, будто он Кинг-Конг какой!

Сестра Айда с трудом перевела дыхание. Щеки ее пылали, как малинник.

— Сказать по правде, мы на мели. Мы о вас и не слыхали раньше. Да если бы и слышали — мы вообще никогда ни о ком ничего дурного не говорим. Нет, мне-то понятно, это они все нарочно, чтобы придрататься, но я так подумала — вы бы могли это дело уладить и...

— Ох, что вы, где уж мне! — ответила Долли.

— Так что же мне делать? У меня с полгаллона бензина, а может, и того меньше, пятнадцать ртов и на все про все доллар и никель! Пожалуй, в тюрьме нам и то было б лучше!

— Постойте, у меня есть друг, — с гордостью объявила Долли. — Умнейший человек, уж он найдет выход. — В голосе ее прозвучала такая радостная уверенность, что я понял: она в этом ни минуты не сомневается. — Коллин, беги-ка вперед, предупреди судью, что у нас гости к обеду.

Я мчал через поле что было духу, хоть трава больно стегала меня по ногам: уж очень мне не терпелось увидеть, какое будет лицо у судьи при этом известии. И я не обманул в своих ожиданиях.

— Господи боже мой! — воскликнул судья. — Шестнадцать душ! — И, бросив взгляд на жидкое варево, бурлившее на огне, в ужасе шлепнул себя по темени.

Я стал объяснять — специально для Райли, — что Долли наткнулась на сестру Айду совершенно случайно и я тут совсем ни при чем; но он ничего не говорил, только так на меня поглядывал, будто живьем с меня кожу сдирает. Дошло бы до перепалки, если б судья сразу же не заставил нас взяться за дело; сам он быстро раздул огонь, Райли принес еще воды, и мы стали швырять в котелок сардины, сосиски, зеленый лавровый лист — все, что под руку попадет. Всыпали даже коробку соленого печенья — судья уверял, что от этого наша похлебка скорей загустеет. Кое-что, правда, мы бухнули в котелок по ошибке — ну, скажем, кофейную гущу. Нас охватило то радостное возбуждение, какое царит на кухне в дни семейных торжеств. Мы даже имели нахальство поздравить друг друга с удачей. В знак прощения Райли угостил меня дружеским тумаком, и, когда показался первые ребятишки, судья чуть не до смерти напугал их бурными проявлениями гостеприимства.

Они в страхе остановились — никто шагу не хотел сделать, куда не подошла вся орава. Тогда Долли с некоторой опаской — будто женщина, демонстрирующая дома сделанные на аукционе покупки, — подвела их поближе, чтоб познакомить с нами. Словно на переключке посыпались имена — Бет, Лорел, Сэм, Лилли, Айда, Клио, Кэйт, Гомер, Гарри, — но тут вдруг мелодия оборвалась: одна девчушка не захотела назвать свое имя. Сказала — это секрет. Сестра Айда не стала настаивать — секрет так секрет.

— Они все у меня такие капризные, — объяснила она, и на судью явно произвели впечатление ее игольчатые ресницы-травинки и тлеющий, как запальный шнур, голос.

Он дольше, чем нужно, задержал ее руку в своей и что-то уж слишком радужно ей улыбнулся — в общем, на мой взгляд, вел себя весьма странно для человека, каких-нибудь три часа назад сделавшего

предложение. И я подумал — если Долли все это заметила, наверно, она приумолкнет. Но как раз в это время Долли проговорила:

— Еще бы им не капризничать — они, видно, с голоду умирают, — и судья, весело хлопнув в ладоши, хвастливо показал на котелок и объявил — он это в два счета устроит. А пока, сказал он, недурно бы детям сбегать к ручью, пускай вымоют руки. И сестра Айда торжественно обещала: да, они вымоют, и не одни только руки. Замечу кстати, что им это было вовсе не лишнее.

Но та девчушка, что не хотела назвать свое имя, опять заупрямилась: она ни за что не пойдет сама, пускай папа несет ее на спине.

— А ты тоже мой папа, — объявила она, показывая на Райли.

Он не стал ей перечить, усадил ее на плечи и понес — то-то было радости! Всю дорогу она шалила, закрывала ему глаза ладошками, и, когда Райли сослепу налетел на плети дикого винограда, ее ликующий визг, рассекая воздух, взлетел к небесам. Тут Райли сказал — с меня хватит, а ну-ка слезай.

— Ой, ну пожалуйста, — взмолилась она, — а я скажу тебе на ухо, как меня звать.

Я потом догадался спросить его, как ее все-таки звали. Оказалось, Стандарт Ойл, потому что ведь это такие красивые слова..

На берегах неглубокого, по колено, ручья глянцеви́то зеленели полоски мха. Весной белоснежные камнеломки и крошечные фиалки усыпают его, словно цветочная пыльца, ждущая вновь отроившихся пчел, что повисли, жужжа, над водой.

Сестра Айда выбрала на берегу место повыше, чтобы наблюдать за купаньем:

— Смотрите, чтоб у меня без обмана! А ну, дайте жизни!

И мы дали жизни. Взрослые девушки, совсем невесты, ринулись в воду нагишом. Мальчишки, большие и маленькие, крутились тут же в чем мать родила. Слава богу, что Долли осталась с судьей у платана. Да и Райли тоже лучше бы не ходить — он до того смутился, что, на него глядя, смутились и остальные. Впрочем, только теперь, когда я знаю, что за человек из него вышел, мне стало ясно, откуда бралась тогда эта его странная церемонность: ему до того хотелось быть безупречно благовоспитанным, что даже любой чужой промах он ощущал как свой собственный.

Знаменитые эти пейзажи — цветущая юность на берегу лесного ручья... Как часто потом, бродя по холодным залам музеев, я останавливался у такого вот полотна и подолгу простаивал перед ним, пока в памяти моей не всплывала сценка из далекого прошлого, но только не так, как это было на самом деле — ватага озябших, покрывшихся гусиной кожей детей плещется в осеннем ручье, — а так, как нарисовано на картине: мускулистые юноши и неспешно бредущие девы, на чьих телах сверкают алмазами капли воды. И всякий раз я думал о том — думаю и теперь, — что же случилось с этой странной семьей, где затерялась она в нашем мире...

— Бет, сполосни-ка волосы! Перестань брызгать на Лорел — это я тебе, Бак, прекрати сейчас же. А ну, ребята, за ушами хорошенько! Бог знает, когда еще доведется.

Вдруг сестра Айда притихла, оставила ребятишек в покое.

— В такой же день... — сказала она, опускаясь на мох, и глаза ее, обращенные к Райли, засветились во всю свою силу. — Нет, что-то другое все-таки есть: рот такой же и уши торчат. Сигарета найдется, дружок? — продолжала она, совершенно не чувствуя, что внушает ему отвращение. В лице ее появилось что-то очень привлекательное — на мгновение стало видно, какой она была в девушках. — В такой же день,

но только совсем в другом месте, печальней этого — кругом ни деревца, и посреди поля пшеницы — дом, один-одинешенек, как пугало на огороде. Нет, я не жалуясь: со мной были мать, и отец, и сестра Джеральдина, и всего у нас было вдоволь, и сколько хочешь шенят и котят, и пианино, и у всех хорошие голоса. Не сказать, чтоб нам было так уж легко — тяжелой работы невпроворот и только один мужчина в доме. Да он еще хворый был, наш папаша. Наемных рук не найдешь — никто не хотел долго жить в такой глухомани. Был у нас один старичок, мы с ним носились не знаю как, ну, а он однажды напился и хотел было дом поджечь. Джеральдине пошел тогда шестнадцатый год — она была меня на год постарше и красивая из себя, мы обе были красивые, — вот она возьми и вбей себе в голову: выйду, мол, за такого парня, чтоб отцу был подмогой. Но в наших краях особенно выбирать было не из кого. Грамоте нас обучала мама, сколько пришлось, — до самого ближнего города был добрый десяток миль. А назывался тот город Юфрай — по одной тамошней семье. Про него у нас так говорили: «Попадешь в Юфрай — как из пекла в рай», потому что стоял он на горе и богатые люди туда на лето ездили. И вот в то самое лето, про какое я вспоминаю, Джеральдина устроилась подавальщицей в отель «Красивый вид», а я, бывало, в субботу голосну на дороге, доеду до города и остаюсь ночевать. До тех пор ни она, ни я никуда из дому не уезжали. Джеральдину вообще-то к городской жизни не больно тянуло. Ну, а я всякий раз жду не дождусь субботы, будто это мои именины и рождество сразу. Был там такой павильон для танцев, пускали туда задаром — музыка бесплатная и разноцветные лампочки горят. Я, бывало, помогу Джеральдине с работой управиться, чтоб нам поскорее туда поспеть, мы возьмемся с ней за руки — и бегом по улице, а как добежим, я с ходу, не отдышавшись, танцевать начинаю. Кавалеров нам дожидаться не приходилось: на каждую девушку — пятеро парней, а мы были самые хорошенькие. Мальчишками я не особенно увлекалась — для меня главное были танцы. Другой раз все останутся и смотрят на меня, как я в вальсе верчусь, а кавалеров я даже и разглядеть-то не успевала — так они быстро менялись. После танцев парни за нами гурьбой до самого отеля идут, а потом давай кричать у нас под окном: «Выдь на минутку, выдь на минутку!» — и песни поют, вот дурачье какое. Джеральдину из-за этого чуть было с работы не выгнали. А мы с ней лежим, не спим и все, что вечером было, по-деловому обсуждаем. Она в небесах не витала, моя сестра. Она об одном думала: на которого из наших ухажеров можно надежду иметь, что от него дома подмога будет. И выбрала Дэна Рейни. Он был постарше других, ему двадцать пять сравнялось — мужчина. С лица не больно хорош — уши торчком, конопатый и подбородка вроде бы не видать; да-а, но Дэн Рейни, ох он был удалой парень, хоть и степенный такой, а уж силища — бочку гвоздей поднимал. В страду он к нам домой приехал, помог пшеницу убрать. Папаше он сразу же по душе пришелся, а мама хоть и сказала — молода еще Джеральдина замуж идти, — но шума не стала поднимать. На свадьбе я все плакала, думала, из-за того, что нам теперь не ходить с Джеральдиной на танцы, и никогда уж не будем мы с ней рядышком на постели лежать. Зато когда Дэн Рейни дома все в свои руки взял, вроде бы дело на лад пошло. Сумел он к земле подход найти — она ему все свое лучшее отдавала, да и к нам, пожалуй, тоже. Вот только одно: зимою сидим мы, бывало, у очага, и я чувствую вдруг — сейчас сомлею то ли от жары, то ли еще от чего, сама не знаю. Выбегу во двор в одном платьишке, а холода и не чувствую, ровно сама превратилась в ледышку. Потом закрою глаза и кружусь, кружусь по двору, будто вальс танцую. И вот как-то вечером Дэн Рейни меня подхватил — а я и не слы-

шала, как он подкрался, — и давай со мной вместе кружить — так, шутки ради. Но только это не совсем шутка была. Нравилась я ему. По правде сказать, я это с самого начала почувяла. Но он ничего не говорил, а я и не спрашивала; на том бы и кончилось все, если бы Джеральдина не скинула. Дело было весной. Она у нас до смерти змей боялась, Джеральдина, а тут как раз собирала она яйца, и попадись ей змея. Вот через это все и вышло. Да и не змея это вовсе была, а уж, но она до того напугалась, что скинула. На шестом месяце. Не пойму, что за муха ее тогда укусила — до того она стала злющая, вредная. Чуть что — так и взвизгивает сразу. Хуже всего Дэну Рейни пришлось. Уж он старался на глаза ей не попадаться. А ночевать оставался в поле — завернется в одеяло и спит. Я знала — если только останусь... Так что уехала я от греха в Юфрай и устроилась в тот же отель, на место Джеральдины. В павильоне для танцев все было такое же, как в прошлое лето, а вот я еще краше стала. Один парень чуть не прикончил другого — заспорили, кому оранжадом меня угощать. Нет, веселиться-то я веселилась, только вот голова у меня совсем другим была занята. Меня в отеле все спрашивали — где у тебя голова: то я в сахарницу соли насыплю, то вместо ножика ложку подам — мясо резать. И за все лето я дома ни разу не побывала. А как подошло время — такой же был день, как вот сейчас, осенний денек, голубой, словно вечность, — я своих и не знала, что еду, — просто вылезла из повозки и отшагала три мили по жнивью меж ометов, пока не нашла Дэна Рейни. Он мне ни слова не сказал, только бросился наземь и заплакал, как малое дитя. И так мне стало жалко его, и такая была у меня к нему любовь — никакими словами не передашь.

Сigaretета ее потухла. Казалось, она потеряла нить рассказа или, того хуже, решила совсем оборвать его. Меня так и подмывало засвистеть, затопать ногами, как буянит хулиганье, когда в кино обрывается лента. Райли тоже не терпелось услышать, что было дальше, хоть по нем это и не так было видно, как по мне. Он чиркнул спичкой, поднес огонек к ее сигарете; от этого звука она вздрогнула, голос снова вернулся к ней, но пока длилась пауза, она словно успела уйти далеко-далеко вперед.

— И тогда папаша поклялся, что убьет его. Джеральдина сто раз за меня принималась: ты только скажи нам кто, Дэн его из ружья застрелит. А я хохочу, пока не расплачусь, а не то плачу, пока не расхохочусь. Да ну еще, говорю, мне и самой невдомек: было у меня в Юфрае с полдюжины парней, стало быть, один из них, а почему знать который? И тут мать мне как лепит затрещину. Но поверить они поверили; сдается мне, потом даже и Дэн поверил — уж очень ему, горемыке несчастному, верить хотелось. Все эти месяцы я из дому носа не высывала. И как раз в это время папаша помер. Так они меня даже на похороны не пустили — людей было стыдно. В тот день оно и случилось: как ушли они все на похороны, осталась я одна-одинешенька, а ветер песком швыряет, ревет, будто слон, — вот тогда мне господь и явился. Ничем я такого не заслужила, чтобы его избраницей стать. Прежде мама, бывало, сколько меня уговаривает, откуда я стих из библии выучу. А после того случая я без малого за три месяца их больше тысячи запомнила. Ну так вот, подбирала я песенку на пианино, вдруг — окно вдребезги, вся комната ходуном заходила. Потом вроде бы встала опять на место; только чувствую — кто-то тут, рядом со мной. Я сперва думала — это папашин дух. А ветер сразу улегся, тихо так, незаметно, знаете, как весна гибнет, и я поняла — это Он, и я встала, выпрямилась, как Он мне внушил, и раскинула руки, приветствуя Его приход. Двадцать шесть лет назад это было, третьего февраля — мне в ту пору было шест-

надцать, а сейчас сорок два, и ни разу я в своей вере не пошатнулась. А когда время мое пришло, я никого не стала звать — ни Джеральдину, ни Дэна Рейни; лежу и шепчу потихоньку стих за стихом. Так ни одна душа и не знала, что Дэнни родился, куда крика его не слышали. Дэнни — это его Джеральдина так назвала. Соседи думали — это ее ребенок. Со всей округи народ понаехал смотреть новорожденного, подарков ей навезли, а мужчины хлопают Дэна Рейни по спине, говорят — ну и славный сынок у тебя. А я, как только на ноги поднялась, тут же уехала за тридцать миль, в Стоунвил. Он раза в два побольше Юфрая, там большой был горняцкий поселок. Мы вдвоем еще с одной девушкой прачечную открыли, и дела у нас бойко пошли — в горняцком поселке народ-то все больше холостой. Раза два в месяц я домой ездила, Дэнни проведать. Так вот семь лет взад-вперед и моталась. Ведь это единственная моя отрада была, да и та горькая. Всякий раз душа, бывало, переворачивается: до того был красивый мальчишечка, ну просто не описать. А Джеральдина — так та обмирала прямо, стоило мне до него дотронуться. Как увидит, что я его целую, — на стену лезет. И Дэн Рейни тоже не лучше — до смерти боялся, как бы я за него цепляться не стала. И вот приехала я в последний разочек домой и говорю ему — давай с тобой в Юфрае встретимся. А все потому, что втемяшила себе в голову: вот если бы мне еще раз через это пройти, если бы мне опять мальчишку родить, чтобы был на одно лицо с Дэнни... И долго меня это гвоздило. Но только зря я тогда вообразила, будто оба они могут от одного отца быть. Тому ребенку все равно бы не жить — так мертвый бы и родился... Смотрела-смотрела я на Дэна Рейни (холодьюга страшный был, мы с ним в пустом павильоне для танцев сидели, так, помню, он за все время рук из карманов не вынул), да и говорю — ну, ступай. Так я ему и не сказала, зачем звала. А потом сколько лет все такого искала, чтобы был на Дэна похож. Там, в Стоунвиле, свела я знакомство с одним горняком — веснушки такие же и глаза рыжие; славный был парень, он меня Сэмом наградил, старшим моим. Сколько помню, отец Бет был просто вылитый Дэн Рейни; только Бет, она девочка и на Дэнни совсем не похожа. Да, забыла сказать: свой пай в прачечной я продала, перебралась в Техас и работала там в ресторанах — в Далласе, в Амарильо. Но только когда повстречалась я с мистером Медоу, стало мне ясно, почему господь удостоил меня своей милостью и какое мое предназначение. Мистер Медоу, он Верное Слово знал. И как услышала я в первый раз его проповедь, так сразу к нему и пошла. Мы с ним всего минут двадцать проговорили, и он мне сказал — я на тебе женюсь, если ты, говорит, не замужем. А я говорю — нет, не замужем, но есть у меня кой-какая семья: их тогда, по правде сказать, у меня уже пятеро было. Так он даже бровью не повел. И неделю спустя мы с ним поженились — как раз на Валентинов день. Человек он был уже немолодой и на Дэна Рейни нисколько не похож. Без сапог он и до плеча мне не доставал. Но когда господь соединял нас, он знал, что делает. Прижила я с ним Роя, и Пэрл, и Кэйт, и Клио, и Малыша Гомера — почти все они в том самом фургоне родились, что вы на дороге видели. Колесили мы с ним по всей стране, несли слово людям, которые прежде его не слышали, а и слышали, то не так, как мой муж его растолковать умел. А теперь я должна вам рассказать одну очень печальную вещь: дело в том, что ведь я потеряла мистера Медоу. Как-то утром — было это в Луизиане, в таком подозрительном месте, где каджуны¹ живут, — так вот, пошел он по дороге купить кой-чего из еды, и я его больше не видела. Исчез, словно в воду канул. А что полиция

¹ Небольшая этническая группа смешанного европейско-негритяно-индейского происхождения. (Прим. перев.)

говорит, так я на это плюю — не такой он был человек, чтоб удрать от семьи; нет, сэр, тут дело нечистое.

— А может, это потеря памяти? — сказал я.— Вдруг забываешь решительно все, даже как тебя звать.

— Это у человека-то, который всю библию наизуток знал? И вы считаете, он мог до такого дойти, чтоб позабыть, как его звать? Нет, его один из этих каджунов убил — позарился на кольцо с аметистом. После этого у меня, ясное дело, были всякие встречи, да только любви уже не было. Лилли, Айда, Лорел, другие малыши — все они так появились. Так уж оно получалось — непременно нужно мне слышать, как у меня под сердцем новая жизнь толкается. А без этого я вроде бы неживая...

Когда все ребята оделись — кое-кто из них второпях натянул свои одежды наизнанку, — мы вернулись к платану. Старшие девочки стали расчесывать и сушить волосы у костра. Пока мы купались, Долли присматривала за самым маленьким, и теперь ей ужасно не хотелось его отдавать:

— До чего было бы хорошо, если б кто-нибудь из нас — моя сестра или Кэтрин — завел в свое время ребеночка!

И сестра Айда сказала — да, они ведь такие забавные, и потом это большая радость. Наконец мы расселись вокруг костра. Похлебка обжигала — в рот не возьмешь; этим, пожалуй, только и можно объяснить ее шумный успех. Судье пришлось кормить гостей по очереди — в хозяйстве было всего три миски. Он без конца потешал их забавными фокусами, всякой смешной чепухой, и дети веселились вовсю. Стандарт Ойл объявила, что ошиблась: на самом деле ее папа вовсе не Райли, а судья. В награду ей был устроен полет в небеса: судья подхватил ее, поднял над головой и стал раскачивать, приговаривая:

Кто на море,
Кто в леса,
А мы — прямо
В небеса!
Оп-ля! Оп-ля!

Тут сестра Айда сказала — смотрите, да вы сильный какой, и судья прямо расцвел от этих слов — чуть было не попросил, чтоб она потрогала его мускулы. И через каждые полсекунды украдкой поглядывал на Долли: любитесь ли она им. Что ж, так оно и было.

Между длинными пиками последних лучей заката заплескалось гульканье горлицы. Прохладная прозелень и синева растекались в воздухе, словно вокруг нас истаивала радуга. Долли поежилась:

— Приближается гроза. Весь день ее чую.

Я с торжеством взглянул на Райли — ага, что я тебе говорил!

— Да и поздно уже, — сказала сестра Айда.— Бак, Гомер! А ну, ребята, добежите-ка до фургона. Бог его знает, мало ли кто туда мог забраться да все повытаскать. Не то чтоб у нас было чем поживиться — ничего там такого нет, кроме моей швейной машины, — тихо добавила она, глядя вслед сыновьям, уходившим по узкой тропинке в густеющие сумерки.— Так как же, Долли? Надумали вы...

— Мы тут все обсудили, — быстро ответила Долли и повернулась к судье, ища у него поддержки.

— В суде вы бы выиграли дело, это бесспорно, — сказал он, и голос его прозвучал сугубо профессионально.— На сей раз закон, как исключение, оказался бы на правой стороне. Но пока суд да дело...

— Пока суд да дело... — подхватила Долли и сунула сестре Айде в руку сорок семь долларов — всю нашу денежную наличность — и в придачу карманные золотые часы судьи.

Поглядывая на эти дары, сестра Айда качала головой, всем своим видом показывая, что не должна бы их брать.

— Не дело это. Но все равно спасибо вам.

Над лесом прокатился еще не окрепший гром, и в наступившем зловещем затишье на тропинку, как атакующая кавалерия, ворвались Бак и Гомер.

— Идут! Идут! — хором выкрикнули они.

Сдвигая со лба свою огромную шляпу, Малыш Гомер с трудом выдохнул:

— Мы... всю дорогу... бежали.

— Говори толком, сынок: кто идет?

Малыш Гомер глотнул воздух.

— Да эти дядьки. Шериф — это раз, а с ним — ой еще сколько. Через поле топают. С ружьями.

Снова прогрехотал гром. Ветер, озорничая, разметал наш костер.

— Ну вот что, — заговорил судья, беря на себя командование. — Прежде всего — не терять головы.

Он словно готовился к этой минуте всю жизнь, и я вынужден скрепя сердце признать, что, когда она наступила, он ее встретил с честью.

— Женщины и малыши, поднимитесь в древесный дом. Райли, ты проследишь, чтоб остальные спрятались порознь — залезайте-ка на другие деревья и прихватите с собою побольше камней.

Мы выполнили его приказы, и он остался внизу один. Упрямо стиснув зубы, он вглядывался в напряженную тишину сумерек — ни дать ни взять капитан, что до конца не покинет тонущего корабля.

Глава VI

Мы впятером, в том числе Малыш Гомер и его брат Бак, сердитого вида паренек, державший в каждой руке по увесистому камню, — устроились на высоком сикоморе, нависавшем над узкой тропинкой. Напротив нас, оседлав ветку другого сикомора, сидел Райли; на том же дереве расположились старшие девочки. В сгущавшемся синеватом сумраке их бледные лица тускло светились, как пламя свечи в фонаре. По щеке у меня скатилась влажная бусинка. Сперва я подумал — начинается дождь, но это была капля пота. Хотя гром и затих, в воздухе пахло дождем, и от этого еще резче стал запах листвы и дыма над затухавшим костром.

Перегруженный до отказа древесный дом зловеще поскрипывал. Отсюда, сверху, все его обитатели казались мне одним существом — большущим пауком, многоногим и многоглазым, голову которого, словно бархатная корона, увенчивала Доллина шляпа.

На нашем дереве все вытащили жестяные свистульки — точно такие, как Райли купил у Малыша Гомера. «Ими здорово отпугивать сатану», — говорила тогда сестра Айда. Малыш Гомер снял свою огромную шляпу, извлек из ее глубоких недр длинный и толстый жгут — должно быть, ту самую Бельевую веревку господ-бога — и принялся мастерить лассо.

Он проверял, хорошо ли скользит петля, и закреплял узел, а его крошечные очки в стальной оправе посверкивали так грозно, что я стал потихоньку отползать от него, пока между нами не очутилась еще одна ветка.

Судья, ходивший дозором под деревьями, сердито зашипел, чтобы мы перестали возиться. Это был последний его приказ перед началом вражеского вторжения

Сами враги совсем не считали нужным скрываться. Сбивая прикладами мелкую поросль — ни дать ни взять рубщики сахарного тростника, — они нагло топтали по тропинке. Вот их уже девять, двенадцать, двадцать... Впереди шериф Джуниус Кэндл, его значок слабо поблескивает в сумерках, за ним Верзила Эдди Стовер; настороженным взглядом он обшаривает деревья, в ветвях которых мы сидим, притаившись. И мне приходят на память картинки-загадки из газет: «Отыщите пятерых мальчиков и сову, которые прячутся на дереве». Но для этого требуется побольше мозгов, чем у Верзилы Эдди: он смотрел на меня в упор — и не заметил. Из всей их бражки никто умом не блистал, на этот счет беспокоиться не приходилось. Большинству из них в базарный день грош цена — сушие скоты, да еще пьянчуги в придачу. Впрочем, я обнаружил среди них директора нашей школы мистера Хэнда — в общем-то, он был человек вполне порядочный, про такого и не подумаешь, что он может затесаться в эдакую компанию, да еще ради столь позорной затеи. Вот Амоса Лэгрэнда — того пригнало сюда любопытство. Против обыкновения он помалкивал, да оно и понятно: Вирена тяжело, словно на ручку палки, опиралась на его голову, едва доходившую ей до бедра. Его преподобие мистер Бастер с мрачным видом церемонно поддерживал ее с другой стороны. Заметив Вирену, я вновь оцепенел от ужаса — совсем как после маминой смерти, когда Вирена явилась к нам в дом, чтобы забрать меня. Хоть она как будто бы и прихрамывала слегка, но, как всегда, держалась надменно и властно. Вместе со своим эскортом она подошла к нашему сикомору и остановилась.

Судья не отступил ни на шаг: стоит лицом к лицу с шерифом, словно охраняя невидимую границу, и глядит на него с вызовом — а ну, попробуй перешагни.

И в этот решительный момент я взглянул на Малыша Гомера. Он медленно опускал лассо. Веревка ползла, покачиваясь, будто змея; широкая петля зияла, как разверстая пасть, — точный бросок, и она обвилась вокруг шеи преподобного Бастера. Гомер рывком затянул петлю, и отчаянный вопль старого Бастера разом оборвался. Лицо его налилось кровью, он неистово дергал руками, но остальным уже было не до него — успех Малыша Гомера послужил сигналом к развернутому наступлению. Летели камни, пронзительным орлиным клекотом оглушали свистульки, и все эти дядьки, остервенело тузя друг друга, спешили укрыться где попало — в основном под телами упавших товарищей. Амос Лэгрэнд хотел было юркнуть к Вирене под юбку, но получил основательную затрещину.

Можно сказать, что только Вирена держалась, как подобает мужчине. Она свирепо грозила нам кулаком, честила нас на все корки. В разгар этой кутерьмы неожиданно хлопнул выстрел, будто стукнула окованная железом дверь. Звук выстрела, его нескончаемое тревожное эхо разом умерили наш пыл, но в наступившей тишине мы услышали, как со второго сикомора с треском валится что-то тяжелое. Это был Райли — он падал, падал, расслабленно, медленно, как убитая рысь. Вот он ударился о ветку, она расщепилась, девочки вскрикнули и закрыли глаза руками; на мгновение он повис, как отрывающийся лист, потом окровавленной грудой рухнул на землю. Никто не решился к нему подойти.

Наконец судья выдохнул:

— Боже, о боже! — Не помня себя опустился он на колени и стал гладить бессильно раскинутые руки Райли. — Сжался, сжался, сынок, — скажи что-нибудь.

Остальные мужчины, перепуганные и сконфуженные, обступили их. Кто-то начал давать советы судье, но казалось, до него ничего не доходит. Один за другим мы слезали с деревьев, и нараставший шепот детей: «Он умер? Он умер?» — был словно стон, словно слабый гул в прижатой к уху раковине. Мужчины почтительно расступились, давая дорогу Долли, и сдернули шляпы. Она была так потрясена, что не видела их, не заметила даже Вирены, прошла мимо нее.

— Я хочу знать,— заговорила Вирена властным, требующим внимания тоном,— который из вас, идиотов, стрелял?

Подручные шерифа обвели друг друга осторожным взглядом, потом разом уставились на Верзилу Эдди Стовера — у того затряслись щеки, он судорожно облизнул губы:

— Черт, да у меня и в мыслях не было кого-то там подстрелить. Делал, что мне положено, и все тут.

— Нет, не все,— сурово оборвала его Вирена.— Я считаю, в случившемся повинны вы, мистер Стовер.

Тут Долли наконец обернулась. Глаза ее, едва различимые под вуалью, неотрывно смотрели на Вирену и видели только ее, словно кругом никого больше не было.

— Повинен? Никто ни в чем не повинен, кроме нас.

Между тем сестра Айда, отстранив судью, занялась Райли. Она содрала с него рубашку.

— Ну вот что, благодарите судьбу — он ранен в плечо,— сказала она, и все облегченно вздохнули, да так бурно, что от вздоха одного только Эдди Стовера мог бы взлететь в поднебесье бумажный змей.— Но вообще-то ему досталось здорово, надо бы вам, ребята, отнести его к доктору.

Оторвав кусок от своей юбки и наложив Райли жгут на плечо, она быстро остановила кровь. Шериф и трое его подручных переплели руки, получились носилки, на них подняли Райли. Впрочем, нести пришлось не его одного. Преподобный Бастер тоже был в самом плачевном состоянии — руки и ноги болтаются, как у куклы, весь обмяк, даже не сознавал, что у него петля свисает с шеи; так его и волокли на себе люди шерифа, а Малыш Гомер шел по пятам и сердито требовал:

— Эй, отдавайте мою веревку!

Амос Легрэнд дожидался Вирены, чтобы сопровождать ее в город, но Вирена сказала ему — пусть уходит, она без Долли с места не сдвинется. Потом, выжидательно обведя всех нас взглядом, остановила его на сестре Айде:

— Я хотела бы поговорить со своей сестрой с глазу на глаз.

Небрежно отмахнувшись, сестра Айда сказала:

— Не волнуйтесь, леди, нам все равно пора.— Потом крепко обняла Долли.— Видит бог, мы полюбили вас! Правда, ребятки?

— Поедем с нами, Долли,— подхватил Малыш Гомер,— будет так весело! Я тебе подарю мой ковбойский пояс.

А Стандарт Ойл бросилась судье на шею и стала его упрашивать, чтобы он тоже поехал с ними. На меня охотников не нашлось.

— Никогда не забуду, что вы звали меня с собой,— сказала Долли и торопливо обвела взглядом лица детей, словно стараясь всех их запечатлеть в памяти.— Будьте счастливы. Всего вам хорошего. А теперь бегите! — прокричала она, перекрывая новый, совсем уже близкий раскат грома.— Бегите, дождь начался!

Это был приятно щекочущий, легонький дождик, тонкий, словно кисейный занавес, и, когда сестра Айда с семейством исчезла в его складках, Вирена заговорила:

— Насколько я могу судить, ты во всем потворствуешь этой... особе. И это после того, как она сделала наше имя посмешищем!

— Меня как раз нечего обвинять, будто я кому-то потворствую,— ответила Долли безмятежно спокойным тоном.— Уж во всяком случае не этим громилам,— тут выдержка несколько изменила ей,— которые обкрадывают детей и бросают в тюрьму старух. Много мне чести от нашего имени, если им творят такое. Еще бы ему не стать посмешищем.

Вирена выслушала все это, не дрогнув.

— Нет, это не ты,— заявила она тоном врача, ставящего диагноз.

— А ты посмотри получше, это все-таки я.— И Долли выпрямилась во весь рост, словно на смотру. Была она такая же высокая, как Вирена, и так же уверена в себе; в ней не осталось ничего смутного, незавершенного.— Я послушалась твоего совета — держать голову выше. А то ты говорила, тебе на меня смотреть тошно. А еще ты сказала тогда, что стыдишься меня и Кэтрин. Мы тебе отдали столько лет жизни, и горько было нам сознавать, что все это понапрасну. Да ты разве знаешь, каково это чувствовать, что отдаешь себя понапрасну?

Вирена ответила еле слышно: «Да, знаю»,— и глаза ее сошлись к переносице; они словно глядели внутрь и видели там каменистую пустыню. То же самое выражение я подмечал у нее и раньше, подсматривая с чердака поздним вечером, когда она грустно перебирала карточки Модии-Лоры, ее детей и мужа. Вирена пошатнулась и оперлась на мое плечо — а то бы ей не устоять на ногах.

— Я думала, меня это будет до самой смерти грызть. Оказалось, нет. Ведь и я тоже стыжусь тебя, Вирена, но говорю тебе это без всякого злорадства.

Наступила ночь. Лягушки и жужжавшие насекомые бурно радовались медленно падавшему дождю. Лица у всех потускнели, словно сырость загасила в них свет. Вдруг Вирена стала медленно оседать.

— Мне худо,— безжизненным голосом проговорила она.— Я больна, я совсем больна, Долли.

Долли как-то не очень поверила. Подошла к ней, потрогала, словно правду можно проверить на ощупь.

— Коллин и вы, судья,— сказала она.— Пожалуйста, помогите мне посадить ее на дерево.

Поначалу Вирена заартачилась — не к лицу это ей, по деревьям лазить. Но, свыкшись в конце концов с этой мыслью, забралась наверх без труда.

Дом на дереве был словно плот — казалось, он плыл по затянутым пеленою дымящимся водам. Но в самом доме было сухо: мягко шлепавший дождик не проникал сквозь зонт листвы. Нас медленно нес поток молчания, пока не раздался голос Вирены:

— Долли, я хочу тебе что-то сказать. Но мне будет легче сказать тебе это наедине.

Судья скрестил руки на груди.

— Мисс Вирена, боюсь, вам придется терпеть мое присутствие.— Голос его прозвучал внушительно; впрочем, в нем не было воинственного задора.— Я, видите ли, заинтересован в исходе вашего разговора.

— Сомневаюсь. С чего бы это? — возразила Вирена. Понемногу она обретала свою обычную надменность.

Судья зажег огарок, и сразу же наши тени склонились над нами, как четверо соглядатаев.

— Не люблю разговоров втемную,— объяснил он.

В его горделивой, подчеркнуто прямой осанке угадывалось определенное намерение: думаю, он хотел показать Вирене, что она имеет

дело с женщиной. Слишком мало встречалось ей в жизни мужчин, настолько уверенных в том, что они мужчины, чтобы это подчеркивать. И она решила — такого спускать нельзя.

— Вы, конечно, забыли, Чарли Кул, а может, все-таки помните? Лет пятьдесят назад было дело, а может, и больше. Вы с другими мальчишками воровали у нас на участке ежевику. Мой отец поймал вашего двоюродного брата Сета, а я вас. Я вам в тот раз задала хорошую трепку.

Нет, судья не забыл. Он вспыхнул, смущенно заулыбался, сказал: — Вы не по-честному дрались, Вирена.

— Нет, я дралась по-честному, — сухо ответила она. — Но вы правы: раз нам обоим не по душе разговор втемную, поговорим в открытую. Скажу откровенно, Чарли, я не слишком жажду вас видеть. Сестре нипочем бы не пройти через эту дурацкую заваруху, если бы вы не подзадоривали ее. Вот поэтому я бы вас попросила теперь нас оставить. Больше это никак вас касаться не может.

— Нет, может! — вмешалась Долли. — Потому что судья Кул, Чарли... — Она вдруг сникла, словно усомнившись впервые в собственной храбрости.

— Долли хочет сказать, что я просил ее выйти за меня замуж.

— Это... — с трудом выговорила Вирена после некоторой заминки, — в высшей степени... — процедила она, разглядывая свои обтянутые перчатками пальцы, — интересно. В высшей степени. Вот никогда бы не поверила, что у вас обоих столько фантазии. А может, это вовсе у меня фантазия разыгралась? Наверно, мне просто снится, что я сижу на мокром дереве в ненастную ночь. Но только снов у меня не бывает, а может быть, я потом забываю их. Ну так вот: этот сон я предлагаю нам всем позабыть.

— Признаюсь вам, мисс Вирена: мне тоже кажется — это сон, мечта. Но когда человек не может мечтать, он все равно что не может потеть — в нем накапливается яд.

Вирена не слушала его — она была полностью поглощена Долли, а Долли ею: они словно были наедине, двое людей на разных концах унылой комнаты, двое немых, что общаются странным языком жестов, едва уловимым движением глаз; но вот Долли как будто дала ответ, и от ее ответа с лица Вирены сбежала вся краска.

— Понимаю. Значит, ты приняла его предложение, да?

Дождь посыпал так густо — в пору рыбам плавать по воздуху, простучал, понижаясь в тоне, целую гамму, ударил по самой басистой струне, и вот уже забарабанил ливень. Он добрался до нас не сразу, хоть и грозился. Капли просачивались сквозь листву, но в наш домик не попадали, он был как сухое семя в измокшем растении. Судья прикрыл ладонью свечу. Ответа Долли он ждал с таким же волнением, как и Вирена. И мне тоже не меньше, чем им, не терпелось его услышать, но меня словно отстранили от участия в этой сцене — снова я всего-навсего шпион, подсматривающий с чердака. И странно, симпатии мои не были отданы никому. А вернее, им всем: нежность ко всем троим сливалась во мне, как сливаются капли дождя, я не мог отделить их друг от друга, они воплотились для меня в единую человеческую сущность.

Вот и Долли тоже. Она не могла отделить судью от Вирены. Наконец с мукой в голосе выкрикнула:

— Нет, не могу! — словно признаваясь в несостоятельности, которой никак не ожидала от себя. — Вот я говорила — когда придется решать, я буду знать точно, что правильно, а что нет. А выходит, не знаю. Ну, а другие знают? Раньше я думала — был бы у меня выбор, могла бы я прожить свою жизнь по-другому, все решать за себя сама...

— Но ведь мы уже прожили свою жизнь,— возразила Вирена.— И твою зачеркивать не приходится. Разве когда-нибудь ты желала больше того, что имела? Я всегда завидовала тебе. Вернись домой, Долли. Предоставь решения мне: в этом, видишь ли, моя жизнь.

— Это правда, Чарли?— спросила Долли, как мог бы спросить ребенок — а куда падают звезды? — Мы и в самом деле прожили свою жизнь?

— Пока мы еще не умерли,— отозвался судья.

Но это было все равно что сказать ребенку — звезды падают в космос. Бесспорно верный и все-таки неудовлетворительный ответ. И он не сумел убедить Долли.

— А вовсе не обязательно умирать. Вот у нас дома на кухне стоит герань — она все цветет и цветет. А есть и другие растения — они, если цветут, так один только раз, и больше с ними никогда ничего не бывает. Они хоть и живы, но уже прожили свою жизнь.

— Только не вы.— сказал он и приблизил лицо к ее лицу, словно хотел коснуться губами ее губ, но не осмелился, дрогнул.

Дождь прорыл туннели в листве, с силой обрушился на нас; с бархатной шляпы Долли стекали ручейки, вуаль прилипла к щекам, пламя свечи заметалось, погасло.

— И не я...

Молнии огненными жилками бились в небе, в их непрерывных вспышках Вирена казалась мне совсем незнакомым человеком — это была убитая горем, опустошенная женщина. Глаза ее снова сбежались к носу, их взгляду, обращенному внутрь, открывалась иссушенная земля. Когда молнии стали реже и безостановочный гул дождя обнес нас прочной оградой звуков, она снова заговорила, и голос ее звучал так слабо, совсем-совсем издалека; она как будто и не надеялась, что мы услышим ее.

— ...завидовала тебе, Долли, твоей розовой комнате. Ведь сама я только стучалась в двери таких комнат, не слишком часто, но достаточно, чтобы понять одно: теперь впустить меня туда некому, кроме тебя. Потому что малыш Моррис, малыш Моррис — я ведь любила его, вот как бог свят, любила. Не по-женски любила. Мы с ним — что ж, я этого не скрываю,— мы с ним родственные души. Мы глядели друг другу в глаза и видели там одного и того же черта. И нам не было страшно. Нам было... весело. Но он перехитрил меня. Я-то знала: он может перехитрить, только надеялась, что не захочет, но он все-таки захотел, и теперь мне быть одной до конца моих дней — нет, это слишком долго. Брожу я по дому, и ничего там нет моего: твоя розовая комната, твоя кухня; дом этот твой — я хотела сказать, твой и Кэтрин. Только не покидай меня, позволь мне быть с тобой. Я чувствую себя старой, я не могу без моей сестры.

Дождь, вторя Вирене, разделял их, судью и Долли, прозрачной стеной, и сквозь нее судья мог видеть, как Долли истаивает, отдаляется от него, точно так же, как утром она отдалялась от меня. Казалось, и самый дом на дереве тает у нас на глазах. Порывистым ветром унесло размокшую колоду карт и обрывки оберточной бумаги, крекер раскрошился, из переполнившихся банок выхлестывалась вода, словно это были фонтаны, а замечательное лоскутное одеяло Кэтрин было загублено вконец, превратилось в слякоть. Дом погибал, как те обреченные дома, что реки уносят в половодье. И казалось, судья заперт в нем, как в ловушке, и прощально машет оттуда рукою нам, уцелевшим, стоящим на берегу. Потому что Долли сказала:

— Простите меня, я ведь тоже не могу без моей сестры.

И судья был не в силах до нее дотянуться — ни руками, ни сердцем: слишком неоспоримы были предъявленные Виреной права.

К полуночи дождь утих, потом перестал. Гулко ухая, ветер крутился по лесу, выжимая деревья. Поодиночке, как входят в бальный зал запоздавшие гости, стали показываться звезды, протыкая черное небо. Пора было уходить. Мы ничего не взяли с собой: одеяло оставили гнить, ложки — ржаветь, а дом на дереве и лес мы оставили пережидать зиму.

Глава VII

Довольно долго потом Кэтрин так исчисляла время любого события: это случилось до — или после — того, как она побывала за решеткой.

— Еще до того, — начнет, бывало, она, — как эта самая сделала из меня арестантку...

Да и мы, остальные, могли бы подразделять историю на периоды по такому же принципу: до и после того, как мы жили в доме на дереве. Ибо те три осенних дня стали для каждого из нас памятной датой и рубежом.

Судья, например, после этого только раз зашел в дом, где он жил с сыновьями и невестками, — он забрал свои вещи и с тех пор не переступал его порога. Видимо, это вполне их устроило — во всяком случае они не стали возражать, когда он снял комнату в пансионе мисс Белл. Ее заведение помещалось в унылом, побуревшем от времени доме — недавно его переоборудовали в похоронное бюро: гробовщик смекнул, что для создания соответствующей атмосферы переделки потребуются минимальные. Я не любил проходить мимо этого дома: постоялицы мисс Белл, пожилые дамы, колючие, как изъеденные тлей розовые кусты, что гниют на заднем дворе, оккупировали веранду и несли там бесшумную вахту от зари до зари. Одна из них, вдова Мэми Кэнфилд, схоронившая двух мужей, специализировалась на распознавании беременности. (Рассказывали, что какой-то муж будто бы наставлял свою жену: «И чего деньги зря тратить на доктора! Протопай разок мимо дома мисс Белл — уж Мэми Кэнфилд, она сразу весь свет оповестит, готова ты или нет».) Пока в пансионе не водворился судья, единственным мужчиной в доме мисс Белл был Амос Лейгрэнд. Для ее жилищ он был сущей находкой. С трепетом ждали они той минуты, когда Амос, отужинав, выходил на веранду, усаживался на скамейку-качели, не доставая короткими ножками до пола, и начинал трещать, как будильник. Они соперничали друг с дружкой, стараясь ему угодить: вязали ему носки и свитеры, заботились о его питании — подкладывали ему за столом лучшие куски; у мисс Белл не уживались кухарки — дамы вечно толклись на кухне, горя желанием приготовить какое-нибудь лакомство, чтобы ублажить своего любимца. Может, они и для судьи бы старались не меньше, но от него им было мало проку: поздороваается и пройдет мимо, жаловались они.

В последнюю ночь на дереве мы промокли насквозь. Я сильно простудился, Вирена еще сильнее, а наша сиделка Долли чихала вовсю. Кэтрин ей помогать не желала.

— Дело твое, лапушка, выноси за этой самой горшки, покуда с ног не собьешься. А на меня не рассчитывай, я и пальцем не шевельну. С меня хватит, я свою ношу свалила.

Долли вскакивала в любой час ночи, отпаивала нас сиропом, чтобы мы могли прочистить горло, поддерживала огонь в печах, чтобы нам было тепло. Но Вирена уже не принимала все это как должное — не то что в былые дни.

— Весной,— говорила она Долли,— мы поедем с тобой путешествовать. Может, съездим к Большому Каньону, навестим Модии-Лору. А не то во Флориду: ведь ты еще океана не видела.

Но Долли была как раз там, где ей хотелось быть. Она никуда не желала ехать.

— Да я никакого удовольствия не получу. После этих роскошных видов все мое привычное таким невзрачным покажется!

Доктор Картер регулярно нас посещал, и однажды утром Долли спросила, не будет ли он так любезен померить ей температуру — что-то ей жарко и слабость такая в ногах... Он тут же ее уложил в постель, сказал — у нее ползучая пневмония, и это очень ее позабавило.

— Ползучая пневмония,— объяснила она судье, когда тот пришел ее проведать.— Вы подумайте! Это, видимо, что-то новое. Никогда прежде не слышала. Чувство такое, будто на ходулях скачешь. А хорошо! — проговорила она и заснула.

Трое, нет, почти четверо суток она так и не просыпалась по-настоящему. Все это время Кэтрин не отходила от нее — дремала, сидя в плетеном кресле, а стоило мне или Вирене зайти на цыпочках в комнату, принималась шепотом отчитывать нас. И без конца обмахивала Долли картинкой с изображением Иисуса, как будто стояла летняя жара. К назначениям доктора Картера она относилась наплевательски — это был просто позор.

— Да я такого и кабану скормить бы не стала,— твердила она, тыча пальцем в очередное его лекарство.

В конце концов доктор Картер сказал: больную надо отправить в больницу, в противном случае он снимает с себя ответственность.

Ближайшая больница была в Брутоне, за шестьдесят миль. Вирена вызвала оттуда скорую помощь. И только понапрасну потратилась. Кэтрин заперлась в комнате Долли и объявила: пусть только кто-нибудь возьмется за ручку двери — ему самому скорая помощь потребуется. Долли не понимала, куда ее хотят везти, она вообще никуда не хотела ехать и все просила:

— Не будите меня. Не надо мне океана.

К концу недели она уже садилась в кровати, а еще через несколько дней окрепла настолько, что смогла возобновить переписку со своими пациентами. Ее тревожили невыполненные заказы на снадобье от водянки — их накапливалось все больше и больше. Но Кэтрин, считавшая, что Долли пошла на поправку только благодаря ей, уверенно заявляла:

— Чепуха! Да ты оглянуться не успеешь, как мы снова примемся наше зелье варить.

Каждый день ровно в четыре судья появлялся у садовой калитки и свистел мне, чтоб я впустил его. Он нарочно ходил через калитку, а не через парадную дверь — так было легче уклониться от встречи с Виреной. Не то чтоб она была против его посещений, нет — она даже благоразумно припасла на этот случай бутылку коньяку и коробку сигар. Обычно судья что-нибудь приносил Долли в подарок: торт из пекарни «Зеленый кузнечик» или цветы, пухлые бронзовые хризантемы,— Кэтрин тут же их изымала под тем предлогом, что они-де весь воздух съедают.

О том, что судья сделал Долли предложение, она так и не узнала, но нюхом чуяла тут что-то для себя неблагоприятное, и потому все его визиты протекали под ее неусыпным надзором: она потягивала припасенный для него коньяк и одна говорила за всех. Впрочем, мне думается, ни у судьбы, ни у Долли не было особой потребности секретничать: они относились друг к другу спокойно и ровно, как люди, успевшие утвердиться в своей привязанности. И если судье пришлось разочароваться во многом, так только не в Долли: по-моему, она стала для него именно

тем, кого он искал в ней — единственным человеком на свете, которому можно сказать все. Но когда можно сказать все, пожалуй, не о чем говорить, и он сидел у ее постели, довольный тем, что она здесь, рядом, и вовсе не жаждал, чтоб его развлекали. Порой она засыпала, размоленная жаром, и если она хмурилась или всхлипывала во сне, он тут же будил ее, приветствуя ее возвращение ясной, как день, улыбкой.

Раньше Вирена не позволяла нам купить приемник. От этих пошлых мотивчиков, говорила она, только в мозгах каша. Да и расход какой! Но доктору Картеру удалось ее убедить, что Долли приемник необходим: период выздоровления, как он полагал, будет довольно затяжным и радио поможет ей скоротать время. Словом, Вирена купила приемник. И отдала за него хорошие деньги, можете не сомневаться. Но до чего же он был безобразный — отлакированный ящик с безвкусным блеском, смахивающий на капот машины. Я вынес его во двор и выкрасил в розовый цвет. И все равно Долли никак не могла решить, брать его в комнату или нет. Зато потом ее, бывало, никак от него не оттащишь. Приемник всегда до того нагревался — хоть цыплят на нем жарь: они с Кэтрин крутили его без конца. Больше всего им нравились слушать футбол.

— Ну, пожалуйста, не надо, — упрашивала Долли судью, когда тот пытался объяснить ей правила игры. — Мне нравится, что это так непонятно. Все кричат, веселятся. А если б я знала что к чему, может, мне бы уже не казалось, что все это так потрясающе весело.

Поначалу судья досадовал, что Долли никак не хочет болеть за какую-нибудь одну команду. Но она желала победы обеим сторонам:

— Я уверена, все они славные мальчики.

Из-за этого самого приемника у нас с Кэтрин как-то дошло до перепалки. Было это в тот день, когда по радио должна была выступить Мод Риордан — передача шла с музыкального конкурса на премию штата. Мне, конечно, хотелось ее послушать, и Кэтрин это прекрасно знала, но сама она слушала матч Тьюлейнский колледж — Политехникум штата Джорджия и не давала мне подступиться к приемнику.

— Да что с тобой стало, Кэтрин? — взорвался я. — Только о себе думаешь, брюзжишь без конца, и все чтоб по-твоему было — Вирена и то до такого не доходила!

Казалось, что Кэтрин, возмещая себя за урон, нанесенный ее престижу при столкновении с Законом, решила вдвое усилить свою власть в доме Тэлбо; во всяком случае мы с Долли обязаны были признавать, что в ней течет индейская кровь, и подчиняться ее тирании. Вообще-то Долли ничего не имела против, но в вопросе о Мод Риордан приняла мою сторону:

— Пусть Коллин поищет свою станцию. Не по-христиански будет, если мы не послушаем Мод — ведь она нам друг.

Все, кто слушал в этот день Мод, в один голос твердили — она заслужила первую премию. Ей присудили вторую, но родители были довольны: как-никак половина стипендии в университете. И все-таки несправедливо это — играла она замечательно, куда лучше того мальчика, которому дали первую премию. Исполняла она ту самую серенаду, что написал ей отец, и музыка эта опять показалась мне прекрасной, как тогда, в лесу. С того дня я снова стал часами марать бумагу, выводя ее имя, и воображение мое рисовало ее прелестные черты, ее волосы цвета ванильного мороженого.

Судья подрос как раз вовремя, чтобы послушать передачу, и я почувствовал — Долли довольна: мы словно опять сидим все вместе среди листвы и музыка, этот вихрь летящих бабочек, соединяет нас.

Через несколько дней я встретил на улице Элизабет Гендерсон. Она

побывала в салоне красоты — волосы уложены волнами, ногти покрыты лаком, вообще вид совсем взрослый, и я сделал ей комплимент по этому поводу.

— Это я к вечеринке. Как твой костюм — готов, надеюсь?

Только тут я вспомнил: это же вечеринка в день всех святых — они с Мод еще просили меня выступить в роли прорицателя.

— Неужели ты забыл! Ой, ну, Коллин! А мы наработались, как лошади! Миссис Риордан приготовит настоящую жженку. Так что, вполне возможно, пьянка будет и вообще. А главное — это же мы в честь Мод, хотим отпраздновать ее премию, и потом... — Элизабет оглядела пустынную улицу — мрачную вереницу безмолвных зданий и телефонных столбов. — Ведь она уезжает — ну, ты же сам знаешь, в университет.

Чувство одиночества охватило нас, нам не хотелось расхотиться в разные стороны, и я вызвался проводить Элизабет до дому.

По дороге мы зашли в пекарню «Зеленый кузнечик», и Элизабет заказала торт для вечеринки. Миссис Каунти в обсыпанном сахаром фартуке отошла от печи, чтобы справиться о здоровье Долли.

— Этого можно было ждать, — сокрушенно сказала она. — Надо же — ползучая пневмония. Вот у моей сестры, так у ней хоть простая была, лежачая. Уж и на том спасибо, что Долли в своей кровати лежит. Слава тебе господи, вы все, братцы, опять дома, у меня отлегло от сердца. Ха-ха-ха! Подумать только — мы теперь можем над всей этой ерундовиной посмеяться. Слушай, я тут как раз кастрюлю с пончиками сняла с плиты, отнеси-ка их Долли да кланяйся ей от меня.

Мы с Элизабет умяли почти все пончики, пока дошли до ее дома, и она предложила мне зайти, добить их со стаканом молока.

Дом Гендерсонов стоял на том месте, где теперь заправочная станция. Было в нем пятнадцать кое-как сколоченных комнат, в которых гулял ветер, и он, безусловно, превратился бы в пристанище для бездомного зверья, если б не плотницкие таланты Райли. Во дворе у него был сарайчик, служивший ему мастерской и святилищем. Здесь он обычно просиживал до полудня — распиливал бревна, колол дранку. Полки в сарае были забиты останками его былых увлечений. Чего тут только не было — заспиртованные змеи, пчелы и пауки, истребляющая в бутылке летучая мышь, модели кораблей. От мальчишеского увлечения набивкой чучел остался вонючий зверинец самого жалостного вида, вроде безглазого кролика, зеленоватого, как мясной червь, и вислоухого, словно легавая, — всё экспонаты, которые было бы лучше предать земле. За последнее время я навестил Райли несколько раз. Пуля Верзилы Эдди задела ему плечевую кость, и, что самое противное, ему приходилось носить гипсовую повязку. Под ней все чесалось, да и весила она, как он уверял, фунтов сто. Он не мог ни водить машину, ни гвоздя путем вбить, так что ему оставалось только лодырничать да киснуть.

— Если хочешь повидать Райли, он у себя в сарае. И Мод, наверное, там.

— Как, Мод Риордан?

Тут было чему удивляться. Всякий раз, как я приходил к Райли, он говорил — посидим-ка лучше в сарае, здесь девчонки не будут нам докучать, и прибавлял хвастливо — через этот порог ни одна баба не смеет переступить.

— Она ему читает. Стихи, драмы. Мод совершенно изумительна. Ведь она никогда со стороны моего брата элементарного человеческого отношения не видела. Но она зла не помнит. И потом, мне кажется, после того, как человек был на волосок от смерти, вот как Райли, он становится восприимчивей ко всяким возвышенным вещам. Она читает ему часами, и он слушает.

Сарай стоял на заднем дворе, в тени смоковниц. Важные, как матроны, плимутроки вперевалку прохаживались вдоль порога, выклеывая семечки из упавших подсолнухов. Полуистершаяся детская надпись, выведенная когда-то известкой на дверях, еле внятно остерегала: «Береги сь!» Я сразу оробел. Из-за дверей доносился голос Мод — тот особый замирающий и напевный голос, которым она читала стихи и который так обожали передразнивать всякие обалдуи у нас в школе. Кому бы ни рассказать, что Райли Гендерсон до такого дошел, всякий наверняка бы подумал — не иначе как он повредился в уме, свалившись с сикомора. Я подкрался к окошку и заглянул внутрь: Райли с сосредоточенным видом разбирал часовой механизм, и по лицу его никак нельзя было предположить, что он слушает нечто более возвышенное, чем писк комара. Он сердито повертел в ухе пальцем, как бы давая выход накопившемуся раздражению. Как раз в тот момент, когда я собрался было стукнуть в окошко, чтобы их испугать, он отодвинул в сторону свои винтики и колесики, подошел к Мод сзади и, перегнувшись через ее плечо, захлопнул книгу, которую она читала вслух. Потом, улыбаясь во весь рот, сгреб ее волосы на затылке и зажал их в кулак. Она поднялась — совсем как котенок, которого ухватили за шкуру. И тут мне показалось — их окружает сверкающий ободок, какой-то резкий свет обжег мне глаза. Сразу видно было — целовались они не впервые.

Всего с неделю назад я открылся Райли как человеку, опытному в такого рода делах, рассказал ему о своих чувствах к Мод. И вот пожалуйста, полюбуйтесь! Эх, был бы я великаном, сгреб этот чертов сарай и разнес его в щепки! Высадить бы сейчас дверь, изругать их обоих! Впрочем, в чем же, собственно, я мог обвинить Мод? Как бы дурно она ни отзывалась о Райли, я-то все время знал, что она неравнодушна к нему. А у нас с ней было не так уже много общего. В лучшем случае мы были с ней добрыми друзьями, а в последние года два и того не было... Я побрел через двор к дому, и чванные плимутроки с издевкой кудахтали мне вслед.

— Как ты быстро! — удивилась Элизабет. — Что, их там нет разве?

Я ответил — пожалуй, не стоит им мешать, ведь они занимаются такими возвышенными вещами!

Но Элизабет не чувствовала иронии. Хотя по ее сентиментальному виду и могло показаться, что она человек очень тонкий, на самом деле она все понимала страшно буквально.

— Ах, это изумительно, правда?

— Совершенно изумительно.

— Коллин! Господи помилуй, с чего ты вдруг разнюнился?

— Ничего не разнюнился. Просто у меня насморк.

— Ну, надеюсь, до вечеринки у тебя все пройдет. Только смотри приходи в маскарадном костюме. Райли будет дьявол.

— Что ж, в самую точку.

— А ты чтоб был скелет, как мы уговаривались. Я понимаю, конечно, — остался всего один день...

Но я и не собирался идти на эту их вечеринку. Придя домой, я сразу же сел писать Райли письмо. «Дорогой Райли!» Нет. «Уважаемый Гендерсон!» Потом я вычеркнул «уважаемый». Сойдет и просто «Гендерсон». «Гендерсон, твое предательство разоблачено». Я марал страницу за страницей, вспоминая зарождение нашей дружбы, ее славную историю, и постепенно во мне крепла уверенность, что это ошибка: нет, такой замечательный друг не мог меня подвести. И напоследок я стал испуганно его заверять — он мой лучший друг, мой брат. Кончилось тем, что я бросил этот собачий бред в печку и через пять минут был у Долли

в комнате, выясняя, есть ли какой-нибудь шанс завтра к вечеру нарядить меня скелетом.

Портниха из Долли была неважная — она подол не умела подшить. И Кэтрин тоже. Впрочем, Кэтрин считала себя мастерицей на все руки, особенно в тех делах, в которых смыслила меньше всего, — уж такая была у нее натура. Она послала меня в магазин Вирены за семью ярдами самого лучшего черного сатина.

— Уж от семи-то ярдов какие-нибудь обрезочки да останутся, нам с Долли хватит нижние юбки подшить, — заявила она, а потом устроила целый театр: с важным видом принялась снимать с меня мерку. Процедура сама по себе разумная, вот только она понятия не имела, как приложить полученные данные к ножницам и материи.

— Вот из этого кусочка, — говорила она, отчекрживая целый ярд, — славные выйдут штаники. А из этого — чик, чик — нарядный воротничок. Он знаешь как мое старое ситцевое платье украсит!

В общем, на мою долю остался такой лоскуток — карлику срама не прикрыть.

— Кэтрин, голубушка, мы ведь не о своих нуждах думать должны, — напомнила ей Долли.

С обеда до самого вечера они трудились, не разгибая спины. Судью, явившегося с обычным визитом, заставили продевать нитки в иглы — Кэтрин говорила, что она этого терпеть не может:

— Прямо кровь в жилах стынет — все одно что червяка на крючок насаживать.

К ужину она объявила — шабаш, и ушла в свой домишко, спрятавшийся за шпалерами с каролинской фасолью.

Но Долли загорелось кончить все поскорей. На нее вдруг напала возбужденная говорливость. Иголлка ее металась вверх и вниз, и так же, как швы, которые она делала, фразы ее ложились причудливой скачущей линией.

— Ты как думаешь, разрешит мне Вирена устроить вечер? Ведь у нас теперь столько друзей! Райли, Чарли, и потом мы могли бы миссис Каунти позвать, и Мод, и Элизабет, правда? Весной. Устроим вечер в саду. И маленький фейерверк. Мой папа — вот у кого был талант к шитью. Жаль, что я не унаследовала его. В прежние времена многие мужчины умели шить. Беган у папы один приятель, так он не знаю сколько призов получил за стеганые одеяла. Папа говорил, это хороший отдых после тяжелой работы в поле и по двору. Коллин! Обещай мне одну вещь, ладно? Сначала я была против того, чтобы ты у нас жил. Я считала — не дело это, чтобы мальчик рос среди старых женщин — ох уж эти старухи с их предрассудками! Но что сделано, то сделано, и теперь я перестала на этот счет беспокоиться. Ты выйдешь в люди, добьешься в жизни многого. Обещай мне, что не станешь плохо относиться к Кэтрин. Пожалуйста, не отдаляйся от нее. Иной раз я ночь напролет не сплю, все думаю — вот останется она одна-одинешенька. Ну так, — Долли взяла мой костюм в руки, — посмотрим, впору ли он тебе.

В шагу он резал, а сзади свисал, будто вытянувшиеся трикотажные кальсоны на старике. Штанины вышли широченные, как флотский клеш, один рукав не доходил до запястья, другой закрывал пальцы.

— Да, вид не слишком стильный, — признала Долли. — Но погоди, — добавила она, — вот когда нарисуем кости... Серебряной краской. Вирена как-то купила немножко, флашток подновить. Это еще до того, как она на правительстве ополчилась. Где-нибудь на чердаке стоит — маленькая такая баночка. Пошарь-ка под кроватью, может, тебе удастся обнаружить мои шлепанцы.

Вставать ей не разрешалось — такого не допустила бы даже Кэтрин. — Если ты будешь брюзжать, все удовольствие пропадет, — объявила она и сама отыскала свои шлепанцы.

Часы на башне пробили одиннадцать — значит, была половина одиннадцатого — глухая ночь для нашего городка, где в солидных домах двери запираются в девять; но нам казалось, что время еще более позднее, потому что в соседней комнате Вирена захлопнула свои грессбухи и легла спать. Мы вынули из бельевого шкафа керосиновую лампу и в ее неверном свете стали на цыпочках подниматься по чердачной лесенке. Наверху было холодно. Мы поставили лампу на бочонок и старались держаться поближе к ней, словно это не лампа, а теплый очаг. Набитые опилками головы, облегчавшие в свое время сбыт шляп-канотье, наблюдали за нашими поисками. Стоило нам к чему-нибудь прикоснуться, как сразу же слышался топоток легких маленьких ног. Мы опрокинули коробку с нафталином, и его шарики, стуча, раскатились по полу.

— Господи боже мой! — со смехом сказала Долли. — Если Вирена услышит, она тут же шерифа вызовет.

Мы откопали уйму кисточек. А краска, которую мы извлекли из-под груды засохших праздничных гирлянд, оказалась не серебряной, а золотой.

— Но ведь так будет еще красивей, правда? Золото — это просто шикарно. Ой, погляди-ка, что я нашла! — В руках у нее была перевязанная шпагатом коробка из-под обуви. — Мои сокровища, — объяснила она.

Поднесла коробку к лампе, открыла ее. Поддержала на тусклом свете обломок пустого сота, осиное гнездо, утыканный высохшими гвоздиками апельсин, потерявший от времени запах. Потом показала мне голубое яйцо сойки в колыбельке из ваты.

— У меня были очень строгие принципы. Так что яичко это стащила для меня Кэтрин — это ее рождественский подарок. — Она улыбнулась. Лицо ее показалось мне мотыльком, повисшим над стеклом лампы, — была в нем та же отвага и та же хрупкость. — Чарли сказал: любовь — непрерывная цепь привязанностей. Надеюсь, ты слушал и понял его. Потому что, если ты сможешь полюбить хоть что-нибудь одно, — она держала в руке голубое яйцо так же бережно и любовно, как судья держал тогда слетевший с дерева лист, — значит, ты сможешь полюбить и другое, а это уже твоё достояние, с этим уже можно жить. И ты сумеешь простить все на свете. Ах, да, — она вздохнула, — мы же тебя еще не раскрасили. Мне хочется удивить Кэтрин: скажем ей, что, покуда мы спали, гномы dokonчили твой костюм. Да с ней родимчик приключится!

Часы на башне снова подали весть; она медленно расходилась во все стороны, и каждый звук колыхался, как стяг, над зазябшим, уснувшим городом.

— Я знаю, тебе щекотно, — говорила Долли, выводя кисточкой у меня на груди золотые ребра, — но ты стой тихо, а то я бог знает что натворю. — Потом, окуная кисточку в краску, прошла ею вдоль рукавов и штанин; получились золотые полоски — руки и ноги. — Ты непременно запомни все комплименты, какие тебе там сделают. Их будет много, — объявила она, без всякой скромности оглядывая свою работу. — Ой, господи! — Она вдруг согнулась, и смех ее весело заплясал в балках. — Видишь, что получилось...

И правда, я был совсем как тот человек, что взялся красить пол и сам себя загнал в угол. Свежевыкрашенный со всех сторон золотой краской, я был загнан в костюм, как в ловушку — словом, здорово влип, в чем не замедлил обвинить Долли, гневно направив на нее указующий перст.

— А ты покружись,— стала она поддразнивать меня.— Будешь кружиться — быстрее обсохнешь.— И, блаженно раскинув руки, пошла медленно и неловко кружить по теням, исчертившим пол чердака. Ее гладкое кимоно развевалось, старые шлепанцы болтались на тонких ногах. Вдруг она оступилась, словно столкнувшись с невидимым партнером, одной рукой схватилась за голову, другой — за сердце.

Далеко, где-то на горизонте всех шумов, взвыл паровозный гудок, и тогда я заметил, что глаза ее растерянно замигали, лицо исказила судорога. Я обхватил ее, и непросохшая краска отпечатывалась на ней, повторяя золотой узор ребер, и я громко звал:

— Вирена! Кто-нибудь! Помогите!

— Тихо ты, тихо,— прошептала она.

Ночную порой дома возвещают о катастрофе внезапно вспыхивающей скорбной иллюминацией. Кэтрин шлепала из комнаты в комнату и включала не зажигающиеся годами лампы. Дрожа в своем испорченном маскарадном костюме, я сидел в залитой светом передней на одной скамейке с судьей — он прибежал тотчас же, накиннув дождевик на фланелевую ночную рубашку, и теперь при каждом появлении Вирены стыдливо поджимал голые ноги, словно юная девушка. На яркий свет наших окон стали сходиться соседи, они шепотом задавали вопросы, и Вирена, выйдя к ним на веранду, объяснила: с ее сестрой, мисс Долли, случился удар. Доктор Картер никого не пускал к ней в комнату, и мы все подчинились ему, даже Кэтрин: включив последнюю лампу, она встала у Доллиной двери, прислонившись к ней лбом.

В передней стояла вешалка для шляп с многочисленными крючками и зеркалом. Бархатная шляпа Долли висела на ней, и перед самым восходом солнца, когда по дому пробежал легонький ветерок, в зеркале отразилась всколыхнувшаяся вуаль.

И тогда я отчетливо понял — Долли покинула нас. Мгновенье тому назад, незримая, она проскользнула мимо меня, и мысленно я последовал за нею. Она перешла городскую площадь, миновала церковь, и вот она уже на горке и под ней рдеет поле индийской травы — сюда и лежал ее путь.

* * *

Тот же путь мы проделали с судьей следующей осенью, в сентябре. Весь год мы почти не виделись с ним. Как-то раз он встретил меня на площади и сказал — заходи, когда вздумается. Я и вправду к нему собирался, но, проходя мимо дома мисс Белл, всякий раз отводил глаза.

Я где-то читал, что жизнь человека — его прошлое и будущее — это спираль: каждый виток уже включает в себе следующий и определяет его ход. Может, и так. Но моя собственная жизнь представляется мне в виде нескольких замкнутых кругов, и они вовсе не переходят друг в друга с той же свободой, что витки спирали. Переход из одного круга в другой для меня всегда резкий скачок, а не плавное скольжение. И меня расслабляет бездействие перед скачком — ожидание той минуты, когда я буду точно знать, куда прыгнуть... После Доллиной смерти я долго висел между небом и землей.

Мне вдруг захотелось весело пожить.

Часами я пропадал в кафе Фила у автоматического бильярда, где выигрышем была кружка пива за счет заведения. Подавать мне пиво было нарушением закона, но Фил рассчитывал, что со временем я унаследую деньги Вирены и тогда, как знать, может, и помогу ему открыть отель. Я на помаживал волосы бриллиантином и гонял на танцульки в соседние города, а по ночам светил девушкам в окна карманным фонариком или швырял камешки о стекло. Я свел знакомство с одним негром на ферме, у которого можно было раздобыть собственной гонки

джин под названием «желтый дьявол». Я обхаживал каждого, у кого была машина.

А все потому, что не хотел проводить ни одной лишней секунды в доме Тэлбо. Воздух там был застоявшийся, сонный — не продохнешь. В кухне у нас водворился чужой человек — цветная девушка с загнутыми, как у голубя, пальцами на ногах. Весь день она напевала. Это было боязливое пенье ребенка, который старается приободрить себя в чужом, мрачном доме. Она была никудышной кухаркой. Она дала пропасть нашей герани. Надо сказать, я поддержал Вирену, когда та решила ее нанять — думал, это заставит Кэтрин снова взяться за дело. Ничуть не бывало. Кэтрин вовсе не проявила желания обучать новую девушку и окончательно перебралась в свой домишко на заднем дворе. Прихватила с собой приемник и чувствовала себя там очень уютно.

— Я с себя ношу свалила, обратно уже не взвалю. Мне охота теперь побездельничать, — объявила она.

От безделья ее разнесло, ноги распухли — пришлось сделать разрезы на башмаках. Переняв все повадки Долли, она довела их до крайности — например, стала ужасная сладкоежка: ужин ей приносили из аптеки-закусочной — две квартиры сливочного мороженого; в карманах у нее шуршали бумажки от конфет. Покуда Доллины платья не перестали на нее налезать, она упорно в них втискивалась, словно этим могла удержать свою подругу при себе.

Бывать у нее стало для меня мукой. Заходил я к ней неохотно и все злился: с какой это стати я должен составлять ей компанию? Как-то я не показывался у нее день, потом три, а потом и неделю. А когда я после таких перерывов снова являлся к ней, мне казалось, и наше затяжное молчание, и ее небрежное обращение со мной — это все, что обо мне укорить. Совесть грызла меня, и это мешало мне видеть истину: Кэтрин было решительно все равно, хожу я к ней или нет. И однажды она дала мне это почувствовать: просто выплюнула ватные катышки, подпиравшие ее челюсти. Без ваты речь ее показалась мне такой же невнятной, какой прежде казалась другим. Произошло это в тот момент, когда я наконец отыскал предлог, чтоб поскорее, уйти. Она сняла крышку со своей пузатой печурки и выплонула вату в огонь. Щеки ее запали, у нее сразу стал изнуренный вид. Теперь-то я понимаю — это вовсе не было сделано в отместку мне. Она просто дала мне понять, что я свободен от каких бы то ни было обязательств по отношению к ней. Будущее она предпочитала ни с кем не делить...

Райли время от времени подвозил меня на своей машине; впрочем, я не мог твердо рассчитывать ни на него самого, ни на его «альфу»: с тех пор как он заделался бизнесменом, оба они постоянно были в разгоне. Вереница бульдозеров расчищала купленный им на окраине города участок акров в девяносто — он собирался его застраивать. На шишек местного масштаба произвел впечатление и другой план Райли: построить на средства города шелкоткацкую фабрику и чтобы все его жители были в ней пайщиками. Кроме возможной прибыли, считал он, это нам обеспечит и рост населения. В «Курьере» появилась восторженная редакционная статья по поводу этого проекта. В ней говорилось — город должен гордиться тем, что взрастил человека такой предприимчивости, как молодой Гендерсон. После этого Райли отпустил усики, снял контору и обзавелся секретаршей в лице своей сестры Элизабет. Мод Риордан поступила в университет штата, и почти каждую субботу Райли возил к ней своих сестер. Считалось, что это делается ради девочек — ведь они так скучают по Мод! Объявление о помолвке мисс Мод Риордан и мистера Райли Гендерсона «Курьер» поместил в первоапрельском номере.

В середине июня они торжественно обменялись кольцами перед алтарем. Мы с судьей были шаферами. Все подружки невесты, кроме сестер Гендерсон, были девицы из общества, с которыми Мод свела знакомство в университете. «Курьер» назвал их «прелестными дебютантками» — учтивость поистине рыцарская. Невеста была с букетом сирени и жасмина, жених был в гамашах и поглаживал усики. Свадебными подарками был завален целый стол. Я преподнес им шесть кусков душистого мыла и пепельницу.

После свадебной церемонии мы с Виреной возвращались домой под тенью ее черного зонтика. День был мучительно жаркий. Зной разбегался волнами, как праздничный перезвон колоколов баптистской церкви, и перспектива долгого лета развертывалась передо мной, безрадостная и безжизненная, как улица в этот полуденный час. Лето, еще одна осень, снова зима... Нет, не спираль, а замкнутый круг. Круг — вон как тень от зонтика. Если уж делать скачок, то... Сердце мое рванулось, я прыгнул.

— Вирена, я хочу уехать.

Мы стояли у нашей калитки.

— Понимаю. Я и сама хочу, — сказала она и закрыла зонтик. — Я все думала вместе с Долли поехать. Показать ей океан.

Раньше Вирена казалась высокой из-за своей властной осанки. Теперь она слегка сгорбилась, голова у нее тряслась. Мне самому было странно, что я мог ее так бояться когда-то. Она стала женственной и пугливой, все опасалась кражи, понаделала уйму засовов на дверях, понатыкала громоотводов на крыше. У нее было издавна заведено — в первый день каждого месяца обходить свои владения, собственноручно взимая всякого рода платежи. Когда же она нарушила свой обычай, город заволновался — люди привыкли каждый месяц ждать черного дня, и теперь им словно не хватало чего-то. Женщины говорили — это все потому, что у нее нет семьи; после смерти сестры она как потерянная. А мужчины во всем обвиняли доктора Ритца: он ее наизнанку вывернул и в узелок завязал, говорили они. И хоть раньше сами вечно ссорились с нею, теперь дружно осуждали его. Три года тому назад, когда я снова вернулся в этот город, я решил прежде всего навести порядок в имущественных и финансовых документах семейства Тэлбо и, разбирая личные вещи Вилены, обнаружил среди ключей и карточек Моды-Лоры открытку из Парагвая — она была послана на рождество, через два месяца после смерти Долли:

«Как мы говорим здесь, на юге, *Feliz Navidad*¹. Ты скучаешь по мне? Моррис».

И читая эту открытку, я думал о том, что в последние месяцы глаза Вилены все время смотрели неровно, и такая мука была в их взгляде, обращенном внутрь; и мне вспомнилось, как тогда, у калитки, ее слезившиеся от нестерпимого света глаза перестали косить, на мгновение осветившись надеждой.

— Мы могли бы с тобой совершить большую поездку. Я как раз подумывала о том, чтоб продать кое-что... Кое-какое имущество. Прокатились бы на пароходе — ведь ты еще океана не видел...

Я выдернул из цветущей изгороди веточку жимолости и стал обрывать с нее листья, и Вирена следила за мною взглядом, словно я рвал на куски ее мечту, ее надежду на нашу поездку.

— О-о... — Она потеряла родинку, поблескивавшую у нее на щеке, как слеза. — Ладно, — сказала она уже другим, деловым тоном. — Так какие у тебя замыслы?

¹ Счастливого рождества (*исп.*).

Так вот и получилось, что к судье я выбрался только в конце сентября, и зашел я для того, чтоб проститься. Чемоданы были уложены, Амос Лейгрэнд подстриг меня («Котик, ты только смотри, чтоб тебе не вернуться лысым. Я это в том смысле, что они там с тебя постареются скальп содрать, околпачить по-всякому»); я был в новом костюме, новых туфлях, серой фетровой шляпе («Да вы просто утеха для глаз, мистер Коллин Фенвик! — встретила меня миссис Каунти. — Решил адвокатом стать? И уже обрядился по-адвокатски? Нет, сыночек, целовать я тебя не стану. Да меня удар хватит, если я эдакую красотцу какой-нибудь липкой дрянью измараю! Так ты нам пиши, слышишь?»). В тот же вечер поезд должен был увезти меня отсюда и, с помпой промчав через всю страну, доставить в далекий город на севере, где в мою честь уже развеваются флаги.

У мисс Белл мне сказали, что судьи нет дома. Я нашел его на городской площади, и меня словно укололо что-то, когда я его увидел. Сильный, подтянутый, элегантный, с маленькой розой в петлице, он сидел в окружении старичков, которым только и остается что чесать языки, харкать да ждать. Он взял меня за руку и повел от них прочь, и пока он по-дружески наставлял меня, вспоминая разные случаи из своей студенческой жизни, мы миновали церковь и пошли по дороге, что ведет к Бережному лесу. Эта дорога, и этот платан... В тот раз я закрыл глаза, чтоб унести с собою их образ, — разве мог я подумать тогда, что вернусь, разве мог я себе представить, что мысленно буду бродить по этой дороге, буду грезить об этом платане до тех пор, пока они не заставят меня возвратиться!

Ни один из нас словно и не догадывался, куда мы держим путь. С немым удивлением оглядели мы открывающийся с кладбищенской горки вид и рука об руку спустились вниз, в опаленное жарким летом и расцветенное сентябрем поле индейской травы. Водопад красок обрушился на ее высохшие, звенящие листья, и мне захотелось, чтобы судья услышал то, о чем говорила мне Долли: арфой звенит трава, она собирает все наши истории, день и ночь рассказывает она их, эта арфа, звучащая на разные голоса. Мы стояли и слушали.

Перевела с английского С. Митина.



ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

С болгарского

МАЛЬЧИК В ТИРЕ

Блестящие молчали ружья,
а их хозяин
стоял недвижно, точно восковой.

Мальчишка вдруг остановился,
на цыпочки поднялся
и начал всматриваться в пестрый мрак.

Там ничего не двигалось.
Там было все безгласно и мертво.
Там двери были накрепко закрыты,
скрывая Спящую красавицу,
бесстрашно барабанщики стояли
с руками,
застывшими над барабанами,
жар-птицы угасали,
томились пальмы,
лежали негры у своих убогих хижин,
Красных шапочек штук пять стояло,
перед волками замерев,
сирены без морей,
певцы без песен,
мельницы без ветра.

Мальчишка взял одно из ружей
и выстрелил.

И вдруг
раскрылись шумно двери —
и Спящая красавица пошла.
Жар-птицы поднялись над пальмами,
а негры стали прыгать возле своих хижин,
там-там,
там-там,
там-там.
Сирена опустила в сине море,
бежали волки,
у мельниц крылья завертелись,
а Красных шапочек семейство
от радости махало шапками.

И даже восковой хозяин
от счастья растопился
и человеческим голосом воскликнул:
— Bravo!
А певцы запели весело,
шарманки заиграли,
и ударили
торжественно,
бесстрашно,
громко
в барабаны
барабанщики
в честь самого отличного на свете
солдата.

ЖЕЛЕЗО И НЕЖНОСТЬ

Распят я был
между железом
и нежностью.
Стальные люди
шли ко мне, давали мне советы:
— Сделайся стальным.
Вставь в глазницы две свинцовых капли.
Язык свой преврати в кинжал.
Не руки людям протяни —
стальные молоты.
Закройся наглухо, как дверца сейфа.
Воздвигни дом железный,
поставь меж стен его
железных птиц,
железные слова.
Остынь
и очерствей,
дави на все вокруг —
и будешь ты всегда неуязвим.
А я был слаб.
С прозрачными мечтами
и не вечной плотью.
Беспомощными были мои руки
в оковах.
Я был всегда открыт ударам,
ласкам,
грабежам,
сомненьям,
благодарности.
Был так несовершенен,
что проходили сквозь меня
и молнии и солнца,
так открыт,
что никогда железо
не могло достигнуть сердца моего
(конечно, кроме пули).
Был очень слаб.

— Уйдите же, стальные люди,— я шепнул.
Но не ушли они.
Была их мощь огромной.
Спасти они хотели
меня от слабости моей.
Спокойно наступали на меня,
ловили мои руки,
с любовью переламывали их,
прижав меня к груди,
расплющивали нежно,
доброжелательно топтали,
подмять стараясь
под себя.
Я корчился в объятьях беспощадных,
я леденел от этих ласк железных,
я кричал
от боли.
И по лицу катились слезы.
Я не увидел,
как одна слеза
упала вдруг на их сверкающую сталь.
И появилась
ржавчина.

КРАСОТА

Столько я тебя искал,
что стала
вся земля похожа
на тебя.

Столько я тебя желал,
что имя
стал твое давать
я всем вещам.

Есть ли ты?
Иль выдумал тебя я?

Может быть, и лучше, если так.
Может быть,
ты выдумана мною,
долго будешь ты тогда со мной,
разлюблю тогда
тебя последней,
больнее
будет мне тогда,
если я тебя другой
случайно
даже на минуту
замену.

Перевел А. Опульский.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ФЕДОРЕНКО

★

ЯПОНСКИЕ ЗАПИСИ

В этих записях автор рассказывает о некоторых сторонах своеобразного жизненного уклада современной Японии — страны, где традиционная самобытность, истоки которой восходят к далекой старине, особенно контрастно сочетается с весьма ощутимыми проявлениями европейской цивилизации, а в послевоенные годы и с заметно усиливающимся влиянием «американского пути жизни». Это — его собственные наблюдения и впечатления, сложившиеся прежде всего в результате общения с представителями национальной интеллигенции, и, естественно, они не могут рассматриваться как универсальное обобщение жизни современной Японии.

* * *

Уходит последний день двенадцатого, «горького и студеного», месяца. Завтра наступает первая луна. Вместе с нею в японском традиционном календаре начинаются дни радостного первого месяца нового года — О-сегацу.

С древней поры О-сегацу — это не просто обозначение января. Новый год для японцев — один из самых веселых народных праздников. Уже в одиннадцатом столетии О-сегацу отмечалось в течение целой недели — с первого по седьмое января. Традиция эта сохранилась до наших дней. Новый год в Японии — всеобщий национальный праздник.

С наступлением О-сегацу у многих японцев связываются хорошие предзнаменования — новые надежды, удачи в жизни. С последним — сто восьмым по счету — ударом колокола в полночный час должны, по поверью, отступить в небытие все горечи прошлого года. Существует поэтому давний обычай «бонэнкай» — «забывать старый год», провожать уходящее.

Для счастливого наступления О-сегацу традиция требует завершить начатые предприятия, рассчитаться со всеми долгами, иначе весь грядущий год будет омрачен. Но не только любое начинание, вся жизнь в доме сообразуется с этим знаменательным днем. Подготовка к О-сегацу должна проходить заблаговременно, осмотрительно, подобающим образом. Этот день встречают торжественно, в новом платье, в безупречной чистоте. Во всем этом усматривается залог будущих удач и счастья.

Сельские жители начинают готовиться к Новому году задолго до его наступления, обычно тринадцатого декабря. В этот день мужчины отправляются в ближние горы, чтобы набрать сосновых веток и по-новогоднему украсить ими вход в жилище. Женщины же в это время занимаются тщательной уборкой дома, его украшением, приготовлением праздничного угощения.

И в городах в новогодние дни двери всех домов непременно украшены зелеными ветками сосны. Вот и теперь аромат свежей хвои, ясность зимнего воздуха, царящее вокруг необычайное спокойствие наполняют все какой-то торжественностью. Праздничное настроение усиливается и оттого, что затих резкий метал-

лический звон токийских трамваев, непрестанный шум автомобильных моторов, которые будто состязаются с вечной спешкой столичных жителей. Однообразие будней, повседневные заботы хоть ненадолго отступили от людей.

Я сворачиваю в тихий переулок, вхожу в калитку, и выложенная из плоских каменных плит дорожка приводит меня через миниатюрный садик к дому моего японского коллеги — профессора Охара, к которому я приглашен сегодня в гости.

У ограды, на солнечной стороне, — чудом сохранившиеся в эту пору года хризантемы, крупные, шапкообразные, с длинными выючими лепестками.

У входа — две сосны с причудливо изогнутыми ветвями. Над дверью крыльца — большое новогоднее украшение — «вакадзари» — декоративная связка: огромный морской рак, листья папоротника, морская капуста, горький апельсин оплетены жгутом из рисовой соломы и других растений, символизирующих счастье и удачу. Морской рак — долголетие. Морская капуста — счастье и радость. Слово «горький апельсин» («дайдай») созвучно словам «поколение за поколением» и потому ассоциируется с продолжением рода, бессмертием.

Хозяйка дома — жена профессора Охара — маленькая, хрупкая японка с высокой прической, словно вырезанная из кости японская миниатюра. Она встречает нас у входа, опустившись на колени, и приветствует глубоким поклоном. На ней кимоно, перехваченное в талии широким поясом — «оби» — с огромным бантом на спине. Умение повязать и носить «оби» высоко ценится у японок. «Женщина, которая не умеет повязать себе оби, ничего не умеет». — гласит народная поговорка.

Мы входим в «гэнкан» — небольшую прихожую с каменным полом из отшлифованных сероватых булыжников. У стены — невысокий деревянный настил. Здесь мы оставляем верхнюю одежду и, по старинному правилу, снимаем обувь. Но сразу же ставим ее так, чтобы можно было легко, как бы с ходу надеть ее при прощании. На пол в японском доме не полагается ступать в той обуви, в которой вы шли по улице. Надеваю легкие туфли и прохожу в комнату с дощатым, зеркально отполированным полом, но когда предстоит войти в следующую комнату — кабинет хозяина дома, где пол устлан циновками, снимаю и эти легкие туфли. Ступать на циновку принято лишь в носках — матерчатых «таби» с отдельным чехлом для большого пальца, либо в обычных.

* * *

Мягкий свет зимнего солнца щедро вливается в широкую застекленную раму — почти целую раздвижную стену. Струящееся тепло его лучей согревает желтовато-салатную циновку — «татами». От нее исходит едва уловимый травянистый запах, а эластичная мелкочешуйчатая поверхность ярко освещивает почти неподвижными бликами. Стены кабинета обшиты деревянными широкими досками из вековых стволов японской криптомерии. Невысокий, будто приспущенный, тоже деревянный потолок поражает естественной волнистой росписью многослойной древесины. Он покрыт одной цельной массивной пластиной, чудесным образом выпиленной из гигантского ствола неизвестной мне породы дерева. Рельефные извилины сосудов могучего растения, проходящие через весь прогон стропил, напоминают изгибы дорожных трасс.

На циновке, поверх которой лежит плоская подушка, напротив меня, подбрав под себя ноги, сидит хозяин дома — выдающийся японский филолог профессор Охара. Он совсем седой, волосы его гладко зачесаны. У него очень живые, пронизательные глаза, внимательный и несколько задумчивый взгляд.

У японцев своя манера сидеть. В отличие от других народов, которые издревле пользуются скамьями, стульями или креслами, японцы предпочитают сидеть прямо на земле, на полу. Привычка, или, как сами японцы говорят, искусство сидеть на полу, превратилась у них в своеобразный культ. Располагаясь на полу, они испытывают удобства несколько не меньшие, чем европейцы в мягком

кресле. Обычно они сидят, подобрав под себя ноги. Кроме этой чинной позы, есть еще и более свободная — сидеть, скрестив ноги перед собой. Правда, это допустимо, так сказать, лишь в мужском обиходе. Обычно при близком знакомстве хозяин не преминет сказать гостю: «Пожалуйста, сядьте свободнее!» — приглашая его скрестить ноги. Вообще же японцы стремятся сидеть так, как это им удобно. И в железнодорожном вагоне они нередко не отказываются от своей привычки сидеть с поджатыми под себя ступнями, забираясь на кресла с ногами. Свою обувь — «гэта» (в виде деревянной скамеечки) или «дзори» (с перемычкой для большого пальца) они снимают и ставят рядом с креслом тем же определенным образом, как они делают это, входя в дом.

Обычай сидеть на полу распространен у японцев очень широко, и он, несомненно, сохранится еще долгое время. Правда, молодое поколение японцев, особенно городская молодежь, все более склоняется к европейским обычаям и манерам, в том числе и в пользовании европейской мебелью. И это в известной степени также отражает происходящие в современном японском обществе изменения и перестройку.

Обычай японцев сидеть на полу сказался на многочисленных особенностях их быта, домашней обстановке, архитектуре и многом другом. Мебель в японской комнате — письменные и обеденные столики, шкафчики, полки, обогревательные жаровни — столь низка и мала по размерам, что с первого взгляда кажется, будто она предназначена для детей или карликов. Чтобы оценить целесообразность устройства японского дома, мебели и народных обычаев, необходимо самому сесть на циновку и с этой позиции посмотреть на традиционные предметы японского обихода, тогда ощущение странной диспропорции, несомненно, исчезнет.

Хозяин дома — профессор Охара — посвятил свою жизнь изучению японской филологии. В течение десятилетий он каждодневно по многу часов проводит за письменным столом, изучая литературные памятники, иероглифические свитки. В минувшем году, когда ему исполнилось шестьдесят пять лет, по существующему правилу Охара сан оставил кафедру в Токийском университете и вышел в отставку в звании почетного профессора. Он никогда не стремился к высоким постам, словно следуя древней японской мудрости, гласящей: «Высокие деревья ветер скорее ломает». Он предпочел им положение влюбленного в свою науку исследователя, вкушающего скромные житейские радости.

По распространенному в Японии обычаю мы обмениваемся визитными карточками, на которых иероглифическими знаками изображены имена. Обычно, когда в Японии представляются друг другу, весьма существенно уточнить при этом правильное произношение фамилии и имени. Это объясняется трудностью чтения японских фамилий по иероглифам, потому что нередко одним и тем же иероглифом обозначаются различные японские слова или, напротив, одно и то же японское слово пишут в разных случаях разными иероглифами. К тому же, помимо большого числа легко читаемых фамилий, состоящих из одного или нескольких знаков, существует немало число трудно читаемых фамилий. Кроме того, и это главное, можно знать все варианты прочтения определенного написания фамилии, но не знать, как именно называет себя данное лицо. Так, два знака «шэнь-юэ» (в китайском чтении — японцы издревле пользуются китайскими иероглифами) при обозначении ими фамилии могут быть с полным основанием прочтены по-японски как «Икугоси», «Огоси», «Оигоси» и «Икэгути». А «шэн-дао» (китайское чтение) может произноситься: «Ината», «Инада», «Икиинэ», «Икинэ», «Икусинэ». С чтением имен, правда, дело обстоит несколько легче, потому что разнообразие меньше, однако принципиальной разницы нет. Таким образом, прочтение обыкновенной визитной карточки — разгадка своеобразной двойной загадки, поскольку и фамилия и имя очень часто имеют несколько вариантов прочтения.

Обращаясь друг к другу, японцы обычно пользуются словом «сан», означающим: «господин», «уважаемый», «почтенный». «Сан» — наиболее распростра-

ненное обращение. Существует также более вежливое, хотя несколько устаревшее слово «сэнсэй» (буквально «ранее родившийся»), которое употребляется чаще всего в значении «учитель», хотя означает оно и «господин» и «почтенный». Оба эти обращения — «сан» и «сэнсэй» — ставятся не перед фамилией, как у европейцев, а после, например, Охара сэнсэй — господин Охара. Обращение «сэнсэй» применяется иногда самостоятельно, без фамилии. тогда как «сан» всегда требует упоминания фамилии или имени. В Японии принято на первом месте ставить фамилию, на втором — имя. Иногда эта традиция нарушается — имя ставится впереди фамилии. Однако эта европеизированная манера не очень распространена. «Сэнсэй» — обычное обращение студентов к профессору. Но в доме Охара, воспитанного в духе японского кодекса приличий, это почтительное обращение к нему соблюдается всеми — супругой, друзьями, прислугой.

Как-то в разговоре профессор Охара заметил, что он давно усвоил старинный японский завет: «Занятие выбирай по влечению души. Душу вложишь — все сможешь». Душа его отдана изучению национальных литературных памятников прошлого: они для него — родник, питающий его собственное творчество. Но с годами, пожаловался он, все труднее становится создавать что-то новое: процесс творчества идет медленнее, все взвешивается на точнейших весах опыта. Профессор Охара влюблен в художественные творения японской древности, в прошлое своего народа. Он движим старинной восточной мудростью: «Не поняв того, что было, не поймешь того, что есть. Не забывай прошлого: оно учитель будущего».

Один из моих знакомых сказал мне как-то о профессоре Охара, что он принадлежит к особому кругу людей японского общества — к носителям высоких интеллектуальных интересов и остается верен тем взглядам, которые ему по традиции прививались в его семье, где всегда предметом гордости была древность их аристократического рода, знатность предков. Между прочим, он заметил тогда же, что японцы не выносят назойливости иностранцев и не терпят их снисходительного любопытства, когда оно касается национального своеобразия японского быта, традиций. Разумеется, беседуя с Охара сэнсэй, я старательно следил за тем, чтобы излишним проявлением любознательности не ущемить национального чувства моего японского коллеги.

* * *

Наш разговор, начавшийся, вполне естественно, в силу общности наших профессиональных интересов с литературы древности, ее многих неразгаданных тайн, незаметно перешел к темам современности, ибо проблемы японской филологии тесно переплетаются с социальными и философскими проблемами. Мотивы современной национальной эстетики перемежаются с наблюдениями и опытом каждодневной жизни. Но от древности нам все же, видимо, не уйти. Особенно в этом доме и в этот день — последний день старого года.

Охара сэнсэй заговорил о древнем, очень распространенном поныне обычае японцев гадать в канун Нового года.

— Вероятно, сколько существует человечество, людям всегда было свойственно стремление заглянуть воображением своим возможно дальше в свое будущее, узнать, что ждет их впереди. Уже в глубокой древности культ оракулов, астрологов был широко, буквально повсеместно распространен в Японии. Из глубины же веков берет свое начало и наш обычай гадать под Новый год.

Определение характера и предсказание судьбы по связи с древними знаками зодиака из праздного занятия постепенно превратилось в Японии в ремесло избранной касты прорицателей и вещунов. Промысел астрологов, основанный на суеверном звездогадании, на предсказании земных событий и судеб людей по взаимному соотношению небесных тел, породил в Японии колоссальную литературу — сотни трактатов, «опытов», «руководств» и т. п. И в наши дни в Токио и других городах существует целый легион хиромантов, гадалок, прорицателей, «ясновидящих» и «яснослышащих», которые продолжают этот древний и весьма прибыльный «бизнес».

— И все же, — с улыбкой заключает Охара сэнсэй, — «предсказатель своей судьбы не знает...» — говорит народная поговорка.

Слушая профессора Охара, я невольно подумал, как сходны бывают народные наблюдения и поговорки. И в русском народе живы не менее меткие поговорки на сей счет: «Предсказания календаря не порука», «Календарным теплом не угреешься».

Охара сэнсэй встает, подходит к книжной полке и берет небольшую деревянную коробку.

— Взгляните на одну из древнейших гадательных костей, — говорит он, открывая передо мной коробку, и мы сразу же уходим на тысячелетия в глубь истории. — Ею пользовался пращур нынешних прорицателей. Это что-то около XIII века до нашей эры. Ее мне прислали мои коллеги из Китая. Вы видите: конструкция и графика изображенных на ней знаков существенно отличается от современных. А эти линии трещин указывали лишь на два возможных исхода: «счастлирое предзнаменование» или «неблагоприятное предзнаменование». Надписи на гадательных костях обычно были весьма лаконичны. Например: «Совместно обрабатывать поля. Будет собран урожай». «Мы спрашиваем оракула: будет ли какой-либо дождь? Дождь с востока? Дождь с запада? Дождь с севера? Дождь с юга?» «Воспрепятствует ли небесный владыка неврожаю и голоду?»

Чрезвычайно бережно, как бесценную реликвию, ставит профессор Охара коробку с гадательной костью на прежнее место. А рядом с этой вещественной частицей глубокой древности на книжной полке стоит новейшая модель транзистора, сверкающего до рези в глазах полированным металлом. Время от времени гулкий стереофонический звук нарушает покой кабинета — хозяин дома включает приемник, чтоб не пропустить последних известий. И тогда особенно странным и контрастным кажется его сосуществование со всей необычной, такой несовременной для европейца обстановкой комнаты, с древними манускриптами и предметами восточноазиатской античности. Но, обернувшись, я обнаруживаю за своей спиной еще одну разительную примету века электроники — чуть ли не метровый экран телевизора!

Позже, во время нашей беседы, профессор Охара трижды включал его, не поднимаясь с места, с помощью беспроводного дистанционного устройства, кажется, лишь для того, чтоб убедиться в колористической чистоте изображения ярких нарядов в сценическом представлении театра Кабуки и испытать их световое и цветовое ощущение. «Как стремителен бег преобразований в этой стране, — подумал я. — Как разительны здесь технические свершения и прогресс! За не столь уж долгое время «экзотические парадоксальные острова», как еще недавно изображала Японию иностранная литература, стали страной самой современной промышленности».

* * *

Бесшумно раздвинулась дверь из полированных деревянных планок и полупрозрачной матовой бумаги, которую в японских домах обычно применяют вместо стекла, так же бесшумно в комнату вошла средних лет японка в кимоно — служанка семьи профессора Охара. Переступив порог, она опускается на колени и, откинувшись назад, садится на ступни своих подогнутых ног, затем легким движением рук быстро закрывает подвижные створки двери.

Заметив мой взгляд, Охара сэнсэй поясняет:

— Привычка открывать и закрывать дверь не стоя, как это принято у европейцев, а сидя объясняется низким расположением дверей и окон. И вообще, чтобы понять некоторые особенности японских обычаев и привычек, необходимо прежде всего сесть на пол, как это принято у японцев. Тогда сразу же раскрывается секрет того, что японцы столь часто опускаются на колени. Уже обращение со старинным замком на двери японского дома требует такой позиции, поскольку он расположен на высоте около семидесяти сантиметров от пола. И, несмотря на многообразие существующих в наш век замочных систем, в японских

домах по-прежнему, как и в далекую старину, пользуются этой крайне примитивной деревянной задвижкой. Пользоваться скользящими створками двери также удобнее, сидя или стоя на коленях...

Но я думаю, что многое объясняется, конечно, и ростом японцев, которые в массе своей приземисты и в среднем не выше полутора метров. Любопытно, например, что еще около ста лет назад японка выше полутора метров неизбежно становилась предметом всеобщих насмешек. Теперь же средний рост японки, по статистическим сведениям, почти полтора метра, то есть на восемь сантиметров выше, чем пятьдесят лет назад..

Стоя на коленях, служанка поворачивается к нам лицом, кладет ладони на циновку перед коленями и склоняет в глубоком, продолжительном поклоне голову почти до самого пола. Глубина поклона выражает степень уважения и приветствия. Делая поклон, японка произносит фразу традиционной вежливости: «Го-мэн кудасай!» — «Прошу извинения!» Этот приветственный церемониал — давняя японская традиция, соблюдаемая до сих пор, правда, далеко не всеми японцами.

— Видите ли,— произносит Охара сэнсэй,— поклон — это самая обычная, если не единственная форма нашего приветствия. Рукопожатие представляется нам странным и грубым обычаем. Японцы обмениваются рукопожатием крайне редко. А среди японок это вообще не принято. Даже японцы, побывавшие в Европе или Америке и познакомившиеся с иностранными манерами и обычаями, отказываются от рукопожатий, как только возвращаются в свою национальную среду... У иностранцев японская обрядность вызывает удивление и улыбку. Не правда ли?

— Нет, почему же! Во всяком случае далеко не у всех иностранцев. В японской приветственной церемонии есть нечто значимое, даже поучительное,— возразил я.— Ведь в старину и среди россиян существовал обычай кланяться друг другу, при этом поклоны нередко делались до самой земли... Впоследствии этот обычай был утрачен и возникли иные формы приветствий. И так, видимо, не только в России.

Кланяются японцы по-особенному — чинно, с достоинством. Встречаясь, они останавливаются на довольно значительном расстоянии, сгибаются в поясе и некоторое время остаются в такой позе. Головные уборы при этом снимаются. Японки, которые обычно не носят шляп, когда одеты в кимоно, снимают шали и перчатки. Японцы и японки, одетые по-европейски, нередко снимают с себя пальто, если делают глубокий поклон.

— Приветствуя друг друга стоя или сидя, японцы всегда соблюдают определенные правила, форму и степень поклона,— продолжает профессор Охара.— Существуют три разновидности поклона. Самый почтительный поклон — «сай-кэйрэй» делается в знак глубокого уважения или признательности. Такой поклон совершается обычно перед алтарем в синтоистском храме, буддистском монастыре, перед национальным флагом или весьма высокой особой. Второй вид приветствия — ординарный поклон, при котором корпус наклоняется на двадцать—тридцать градусов и сохраняется в таком положении около двух-трех секунд. Наконец простой поклон, который совершается ежедневно. В этом случае делается легкий наклон корпуса и головы, продолжающийся лишь одну секунду. Если японцы встречаются на улице, в общественных зданиях, в европейском помещении или в любом помещении с деревянным полом, они кланяются стоя. Поклоны сидя делаются обычно в национальном японском доме, в комнате с циновочным настилом, где, как правило, все сидят на полу.

Рассказывая, Охара сэнсэй нередко привстает, движением корпуса показывая, каким образом делается тот или иной поклон. И каждый его жест — неторопливый и степенный — отличается необыкновенной пластичностью.

Власть имущие слои японского общества выработали и культивировали в своей среде изысканную внешнюю вежливость в обращении, во взаимоотношениях. Постепенно это привилось и стало нормой поведения для многих и создавало впечатление о социальной упорядоченности отношений японцев, порождало в гла-

зах чужестранцев иллюзию благостности и терпимости к существующему в стране общественному укладу. Но сколько за всем этим кроется лицемерия и ханжества! Порой лицемерие, облеченное в форму учтивости, приобретает чуть ли не силу нормы. Но подлинной вежливости не так уж много: дорогу простолыдину уступают, пожалуй, лишь в одном случае — когда он совершает свой последний путь на погребальных дорогах.

В сегодняшней Японии многое, разумеется, претерпевает изменения и утрачивает свою первоначальную сущность. И низкие поклоны, которыми обмениваются японцы, скорее лишь традиционный учтивый жест. Правда, часто ими выражают благодарность или извинение. Некоторые японцы и японки, особенно старшего поколения, до сих пор делают многократные поклоны при встрече друзей и гостей. Однако молодежь в послевоенное время рассматривает эту традицию скорее как ненужный пережиток и явное предпочтение отдает рукопожатию.

Я вспомнил невольно характерную перепалку на этот счет, которая однажды произошла в моем присутствии в Токийском университете между пожилым профессором и его молодым аспирантом.

— Положительно не могу взять себе в толк, — не скрывая, возмущался профессор, — что привлекательного в европейской манере приветствия: хватают люди друг друга за конечности и начинают их трясти или же с таким варварством сжимают пальцы, что хрящи трещат! К чему этот садизм? Ведь традиция рукопожатия восходит к глубокой древности, когда дикари, истреблявшие друг друга, при встречах и переговорах показывали взаимно руки, чтоб убедиться в отсутствии опасных предметов.

— Отнюдь не идеальна и привычка японцев отбивать земные поклоны и разыгрывать друг перед другом ханжеские сцены, — возражал ему молодой человек. — От нее веет феодальным средневековьем. Рукопожатие же — это приветственный контакт людей, который выражает дружественные чувства, настроение, восторженность и тому подобное.

— От такой восторженности, — продолжал иронизировать профессор, — моя жена едва не лишилась руки. Один заморский гость так выразительно обменялся с нею рукопожатием, что ее правая конечность чуть не выскочила из плечевого сустава. К чему это выкручивать руки, да еще у слабых женщин, которые после не могут даже подать пальто своему супругу... или поднести его багаж...

— Воспитанные европейские мужчины, — не сдавался аспирант, — сами подают женщине пальто, уступают ей место, пропускают даму вперед... Японцам давно пора критически взглянуть на свои архаические традиции. Наша обветшавшая обрядность выглядит анахронизмом и не зря вызывает усмешки у иностранных гостей.

— У каждого народа есть свои национальные традиции и обычаи, свой привычный образ жизни. Ими нельзя пренебрегать. Вспомните, что говорят о наших обычаях мудрецы прошлого: «Учтивость, вежливость распространяются среди народа с помощью добродетели, чтобы он был вечно единомыслен». Так понимали эти вещи и древние китайцы. Непозволительно игнорировать самобытные национальные обычаи и вызывающе демонстрировать свои симпатии ко всему заморскому, американскому! — упорствовал профессор.

Но аспирант не склонен был к дальнейшему обострению диалога со своим профессором и молчал, хотя по всему было видно, что он остался при своем мнении.

Продолжая сидеть на коленях, японка берет за дверью небольшой поднос из черно-красного лака, на котором стоит чайный прибор, и переносит его через порог в комнату. Чашки из крупнозернистой керамики рыже-коричневого цвета рельефно выделяются на ярком свете, контрастируя с зеркальной поверхностью лакированного подноса. «В хорошей посуде и чай вкуснее», — говорят японцы. Среди чашек высится керамический конусообразный, с едва заметным носиком и небольшой ручкой чайник в стиле «тэммоку» — так называется здесь керамика,

облитая черной глазурью, образующей на темно-коричневой основе изделия мелкую чешуйчатую сетку. Техника изготовления «тэммоку» очень древняя.

Приготовление чая и чаепитие в Японии — обычно целый ритуал. В приготовленные чашки и чайник, чтобы прогреть их, служанка раньше всего наливает кипяток из темно-бронзового, круглого, несколько сплюснутого чайника. Остывший кипяток она выливает в фарфоровую чашу в виде ладьи, кладет в керамический чайник несколько ложек тщательно свернутых в трубочки засушенных чайных листьев темно-зеленого цвета, а затем заваривает его слегка остуженным кипятком. Японский зеленый чай крутым кипятком обычно не заваривают. Считается, что высокая температура убивает или снижает вкусовые и целебные качества зеленого чайного листа. Об этом вас любезно предупредят в чайной лавке, особенно если вы поинтересуетесь способом приготовления купленного сорта, да еще расскажут множество подробностей относительно его вкусовых и целебных свойств и т. д. Японский зеленый чай не принято смешивать с молоком или пить его с сахаром, лимоном и т. п. — считается, что это лишает чай его своеобразного вкуса.

Закрыв чайник крышкой, служанка поставила заваренный чай настояться. Иногда японцы кладут сухой чай прямо в чашку и заливают кипятком, а затем накрывают чашку плотной крышкой. Вскоре японка наливает чай в чашки сперва до половины, а затем дополняет, чтобы в каждой чашке напиток был одинаковой крепости и вкуса.

Держа чашку двумя руками, служанка ставит ее на стоящий рядом со мной низенький лаковый столик, осторожно поворачивает чашку передо мной, что символически выражает предназначение этой чашки именно мне. Затем не спеша она переходит к хозяину дома и таким же образом ставит чай на столик Охара сэнсэй, который в знак благодарности делает небольшой поклон в ее сторону.

Бронзовый чайник с кипятком служанка ставит на миниатюрный столик с современным электрическим обогревательным устройством. Сюда же она ставит и чайник с заваренным чаем и ловко настраивает электронное реле на нужную температуру.

Пока настаивался чай, служанка приготовила «о-сибори» — небольшие махровые салфетки, которые она, подержав в горячей воде, выжала ловким движением рук. «О-сибори» обычно подаются в японском доме тотчас как прибывает гость, чтобы он мог освежить лицо и руки после улицы. Ими пользуются в любое время года. Горячие, влажные «о-сибори» особенно приятны в изнуряюще-жаркие дни, когда лицо и руки покрываются липкой испариной. Обтирание горячим полотенцем — лучшее освежающее средство, широко распространенное в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, но более всего в Японии. Теперь «о-сибори» получили иностранное прозвище «хот тауэлз» (горячие салфетки) и включены в сервис пассажиров на межконтинентальных воздушных лайнерах Токио — Копенгаген, Токио — Лондон и других.

Белоснежную «о-сибори» японка кладет в изящную корзиночку, сплетенную из бамбуковых пластинок воскового отлива, и подносит поочередно мне и Охара, протяжно произнося слово «додзо» — «пожалуйста». Хозяин, взяв «о-сибори» и подержав ее немного в руках, словно желая насладиться теплотой и ароматом пара, осторожно разворачивает ее, не спеша прикладывает к лицу, обтирает руки, затем свертывает и кладет в корзиночку.

Немного погодя Охара сэнсэй сперва осторожно прикасается пальцами, а затем мягко охватывает обеими ладонями стоящую на низком столике чашку, не торопясь подносит ко рту и медленно отпивает несколько глотков. Затем также не спеша ставит чашку на небольшую деревянную подставку, похожую на блюдце, но которая используется только для предохранения от порчи гладкого полированного столика, на котором сервируется чай.

Мягким жестом руки Охара сэнсэй приглашает меня отведать чай. У японцев весьма развит язык жестов — ручной язык. Порою он прекрасно выражает мысли, намерение, ситуацию. Жест часто служит литературным намеком. Все

это нашло свое выражение и в японском лексиконе, в пословицах и поговорках. Известно, например, выражение: «Он приказы отдает подбородком» или «Он мух подбородком отгоняет».

— Европейцам, очевидно, непривычен символизм, столь распространенный в Японии. Но мы воспринимаем его, позволю заметить, с самого своего рождения и настолько привыкаем к условностям, что без них не мыслим себе жизнь. Символика, условность органически вошли в нашу литературу и искусство, во все наше художественное творчество. Вы столкнетесь с ними в нашей жизни на каждом шагу. Взять хотя бы язык веера, столь распространенного в Японии, который и сам по себе выполняет весьма полезную функцию. А ведь язык веера очень выразителен. Однако его условные движения понятны лишь посвященным. Язык веера позволяет объясняться без слов.

Закончив фразу, Охара сэнсэй снова приглашает меня тем же характерным жестом выпить чай и протяжно произносит традиционное «додзо».

Учтивость требует не пренебрегать гостеприимством хозяина, не брезговать даже самым скромным угощением — «ничтожной трапезой», как принято у японцев говорить в условно-уничижительной форме.

Я беру стоящую передо мной округлую, без ручки, немного шершавую чашку без всяких росписей и украшений и при этом поразительно изящную и красивую в своей безыскусственности и простоте.

Заметив, видимо, как я сосредоточенно разглядываю ее, Охара сэнсэй произносит тихо:

— Художник должен сочетать правду с красотой. У нас в Японии часто говорят, что подлинное искусство отличается большой скромностью...

Я пригубливаю крепкий зеленый чай. Терпковатый на вкус, он обладает свойством продолжительное время удерживаться в организме и надолго утоляет жажду даже в самую знойную пору. «Он удаляет усталость,— говорится в «Чацзин» — древнем китайском трактате о чае,— пробуждает мысль и не позволяет поселиться лени; облегчает и освежает тело и усиливает восприимчивость». Японцы — большие любители и знатоки зеленого чая. В каждом доме пьют свой излюбленный сорт чая. Чай подается в любое время — перед едой, во время ее, после еды. Как только в дом входит гость, ему непременно подают чай.

Чайный напиток и глиняная посуда — два простейших и незаменимых элемента японского быта, каждодневного существования японца и в глубокой древности, и в наши дни.

— Мы пьем с вами чай, находясь на самом пороге нового года,— говорит Охара сэнсэй.— Вы, конечно, знаете, что по традиционному японскому летосчислению каждый год имеет свое собственное символическое обозначение. Год тысяча девятьсот шестидесятый, например, считался у нас годом «нэ» — мыши. За ним следовали годы: «уси» — вола, «тора» — тигра, «у» — краба. «Уси» — вол как бы олицетворяет гармонию между природой и цивилизацией. Это могучее, кроткое и выносливое, но медлительное животное никогда не торопится проявить свою силу. Если же кроткого с виду вола раздражить, он преобразуется неузнаваемо — становится свирепым и грозным. Именно с этими особенностями природы вола и связываются характерные черты 1961 года. Согласно астрологическим признакам этот год не может быть легким, а неотвратимые трудности и лишения могут быть преодолены лишь терпеливостью и усердием.

С тем, о чем говорил сейчас профессор Охара, я сталкивался в японской действительности не редко.

В тот год со страниц газет японцев все время убеждали в том, что перспектива урожая риса малорадостна: «Фермеров ожидают разочарования, если они рассчитывают на хороший урожай»; что 1961 год астрологически сопряжен с «неблагоприятными предзнаменованиями» и «противоборствующими крайностями». Оракульским прорицаниям, к счастью, не суждено было сбыться. Урожай 1961 года был в Японии одним из рекордных за последние десятилетия.

Пользуясь небольшой паузой, я внимательно разглядывал окружающие меня старинные предметы домашнего обихода — вазы, статуэтки, расставленные на простых деревянных полках рядом с книжными шкафами, которые образуют три стены комнаты, и невольно кажется, что книги — это кирпичи, на которых держится все помещение. Коллекция Охара сэнсэй очень пестрая. Здесь и древняя бронза с зеленовато-черным налетом, и тонкая японская керамика, и просвечивающийся насквозь фарфор различных стран, и многообразные изделия из дымчатой яшмы и слоновой кости. Но за всей этой пестротой ощущается нечто объединяющее — зоркость глаза, ярко выраженный вкус историка и художника.

Многоярусные нагромождения книжных фолиантов, стопы рукописей и художественных свитков создают впечатление, что ты находишься не в небольшой, всего лишь в несколько циновок, комнате, а в библиотечном зале.

— Не стесняет ли вас такое множество книг и манускриптов в кабинете? — спрашиваю я.

— Все относительно, коллега. «Каждый крот по себе нору роет». Японский дом, в сущности, не имеет твердых границ. Достаточно, видите ли, раздвинуть эту стеклянную стену, как мое рабочее пространство приобретает бескрайнюю, поистине космическую масштабность. Вся вселенная как бы становится вместительным рукописей, огромным миром моих раздумий.

— Но ведь стены часто помогают нам. Разве исследователь не испытывает иногда желания плотно прикрыть дверь кабинета, остаться наедине со своими мыслями и рукописями?

— Слов нет. Но японской архитектуре как бы чужда сама идея неподвижной монументальности, статичности. Для нашего дома характерна легкость, воздушность конструкций. Толстые, глухие стены, например, на наш взгляд, слишком изолируют человека от внешнего окружения, обрекают его на заточение, переносимо подавляют его своей мертвой тяжестью... Это противно самой природе людей, их жизнедеятельности, лишает их естественных связей с живой природой... Именно поэтому, по нашему убеждению, архитектура сооружения, в частности жилища, не должна противопоставляться всему тому, что нас окружает и органическая часть чего есть человек. Она должна быть составным элементом естественного пейзажа.

Сквозь струи прозрачной бамбуковой занавески я гляжу на карликовый сад с синей сосной, огороженный легким частоколом из узловатых стволов бамбука. Он и в самом деле соединяет кабинет ученого с окружающим пейзажем, с гигантским городом, со всем миром.

* * *

Мы продолжаем за чаем нашу беседу. Я пользуюсь словоохотливостью своего коллеги и навоящими вопросами стараюсь узнать у него как можно больше о национальном своеобразии жизненного уклада его соотечественников.

— Традиционные взгляды, старинные обычаи и суеверия, — замечает Охара сэнсэй, — еще очень жизнестойки и особенно укоренились в деревне. Там глубоко верят в различные приметы и астрологические предсказания. Тем, кто родился, например, под знаком «тора» — тигра, в 1962 году — в год тигра — исполняется 12, 24, 36, 48, 60, 72 и 84 года. Из всех этих дат шестидесятилетие, — говорит Охара с некоторым ударением на этом слове, — весьма знаменательная дата в жизни японца: цифрой шестьдесят, которая считается у нас в Японии наиболее совершенным числом, завершается полный цикл календарного исчисления и в переносном смысле рассматривается как начало нового, второго шестидесятилетия в жизни человека, или второго детства. Но у нас говорят еще и так: «Человек шестьдесят лет живет, а тридцать из них спит», — гласит японская поговорка. Быть может, поэтому японцы считают, что учиться и в шестьдесят лет не поздно. Шестидесятилетие со дня рождения мы отмечаем особенно торжественно и радостно. Семидесятилетие японцы считают самой «счастливой датой», а «восьмидесятивосьмилетие» означает «рисовое долголетие», или «возраст благодарения».

Поскольку тигр отличается способностью быстро бегать, в Японии не реко-
мендуется жениться на девушках, родившихся в год тигра. Считается, что они
«крайне неуживчивы и быстро убегают». В недавнем прошлом, а нередко и те-
перь в патриархальных семьях невестку, родившуюся в год «тора», просто не до-
пускают в дом родителей мужа. Зато рождение сына в год «тора» в японской
семье расценивают как счастливое событие. Мужчина, по старинному представ-
лению, должен обладать определенной агрессивностью и всегда быть активным.
«Салат хорош с уксусом, мужчины — с характером», «Слово мужчины должно
быть твердым, как металл» и т. п. Вообще сын в представлении японцев — это
прежде всего продолжение фамилии, рода. Сын — это опора и надежда родите-
лей, защитник и воин. Этот взгляд в определенной мере связан с конфуцианским
моральным учением, которое, как известно, проникло в Японию из Китая. По сло-
ву Конфуция, «из трех преступлений отсутствие потомства есть главное». Древ-
ний китайский мудрец, разумеется, имел в виду мужское потомство, с которым
связаны конфуцианские принципы сыновнего долга и культа предков... Отсюда
особое внимание и забота родителей о сыне с первого же часа его появления на
свет. Именно мальчику суждено в японской семье с момента его рождения — а
по японскому исчислению ребенку исполняется год сразу в день его рождения, —
пользоваться всеобщим вниманием и любовью.

В Японии существует особый праздник — День мальчика — «Танго-но сэк-
ку», который отмечается пятого мая. В день «Танго-но сэкку» изготавливают яркие
флажки и фигуры из бумаги или материи, символизирующие силы устрашения,
воинское могущество. Искусно сделанные военные игрушки, выставленные в
доме, предназначаются для воспитания мальчиков в духе бесстрашия и воинст-
венности. Военные игрушки, миниатюрное оружие — мечи, боевые доспехи, луки
и стрелы, — а также армейские знамена должны внушать мужскому потомству во-
инскую отвагу.

Когда наступает весна, над крышами многих японских домов на высоких ше-
стах в воздухе реют пестрые изображения «тай» — карпа, также символизирую-
щие мужское начало. Сколько развевающихся над кровлей бумажных карпов,
столько в доме мальчиков. Карп считается самой умной и сильной из рыб.
В День мальчика принято также вешать под крышей дома, у входа, на воротах
ирисы. Праздничным лакомством в этот день служат «касавамоти» — сладкие
рисовые пышки, обернутые в дубовые листья. Для мальчиков устраивается осо-
бая баня — «себу» с вениками из ирисовых листьев. «Танго-но сэкку» — госу-
дарственный праздник.

Вообще можно сказать, что в Японии существует культ мужчины, во всяком
случае всячески подчеркивается его превосходство. В компании, в гостях, среди
друзей обычно принято восхищаться волевыми добродетелями мужчин, их бес-
страшием, мудростью, гениальностью. Говоря о женщинах, в лучшем случае от-
мечают их красоту, хорошие манеры, умение создавать домашний уют, молодость,
тонкость вкуса, искусство подбирать цветы, совершать чайную церемонию... На
«дочевладельцев» смотрят нередко как на причину разорения: «Мал мешок, а
вмещает много; невелика дочь, а расходы огромны!» Есть, правда, в Японии и
праздник девочек — «Хина мацури», который отмечается третьего марта. Но он
почему-то считается праздником кукол. В этот день японцы изготавливают различ-
ные куклы, наряжают их в старинные красочные одеяния аристократов и дворян,
развлекаются и украшают ими дом, выставляют их на специальных подставках,
а затем избавляются от них: сплавляют по течению реки, выбрасывают за забор.
Делается это для того, как гласит старинное предание, чтобы куклы, олицетворяя
человека и покидая домашний очаг, уносили с собой все невзгоды и злключения
рода, все беды и наваждения темных сил. Примечательно, что темные силы в
японском доме связываются именно с женским началом. Нередко встречаются
японцы, весь лексический запас которых состоит из терминов превознесения муж-
ской доблести и унижения «темного мира» женщин.

Первоэлементы мужского превосходства воспитываются у японских мальчи-

ков с самой ранней поры. Особенно сильны предрассудки такого рода у японцев старшего поколения. Чуть ли не хорошим тоном многие японцы до недавнего времени считали (а нередко это встречается и ныне), что мужчина должен идти впереди жены, которая к тому же бывает навьючена тяжелыми вещами или несет на себе юного наследника. Тащиться с вещами уважающий себя японец консервативных взглядов считает недостойным истинного мужа.

Однажды я слышал, как почтенный с виду японец возмущался тем, что токийские троллейбусы настолько переполнены, что «даже мужчинам не хватает сидячих мест»...

Строгое соблюдение патриархальных канонов, жестокие имущественные барьеры, чрезмерная забота о своих предках и мужском потомстве, кастовый самурайский снобизм, характеризовавшие предвоенное японское общество, в незначительной степени сохранились и поныне, хотя, разумеется, и не повсеместно.

* * *

Приглядываясь к своеобразному убранству кабинета хозяина дома, я постепенно обнаруживаю все новые для себя предметы — атрибуты японской самобытности. Мое внимание привлек свиток, занимающий часть стены в глубине комнаты, напротив книжных стеллажей. Это «какэмоно» — японское традиционное панно: удлиненный лист мягкой плотной бумаги из рисовой соломки, с шершавой поверхностью, искусно наклеенный на легкую ткань или специальную эластичную бумагу; верхняя узкая сторона картины прикреплена к деревянному валику, оба конца которого обычно украшены шлифованной костью или полированным черным либо красным деревом. Валик этот служит для свертывания картины, когда она лежит в футляре, и для подвешивания ее в развернутом виде на стене.

На панно черной тушью нарисован «древний годами японец». Он словно прислушивается к своей уходящей жизни, к своему умиранию. На его тонких губах — надменная усмешка. В очертаниях его тела, в его позе улавливается какое-то трагическое сходство с высохшим, пожелтевшим растением.

С левой стороны вертикальной вязью — исполненная в скорописной манере лаконичная иероглифическая надпись, которую можно расшифровать примерно так: «Мертвые живым глаза открывают». Еще левее — другая иероглифическая строка, сделанная уверенной рукой, сильным и очень выразительным почерком: «Подло поносить мертвого, беззащитного».

Вдруг замечаю, что нагруппили сумерки, холодные и сырые. За стеклянной стеной появляются снежные хлопья. Они плавно опускаются на серые черепичные кровли соседних домов. Но ветвистая сосна у входа в дом почти не изменила своего наряда. Зимой, говорят японцы, сосна выглядит еще более зеленой. На растущие рядом нежные, зябкие растения — тропические пальмы и другие деревья — надеты забавные шапки из снопов рисовой соломы. В Токио, чтобы уберечь от зимних холодов и ненастья, в такой наряд облачены многие теплолюбивые растения с ноября по март.

Я гляжу в окно. Передо мною открывается панорама зимнего Токио. Столь феноменальное преобразование происходит здесь очень редко, лишь накануне Нового года или в первые дни января.

— Поразительна одухотворенность картин японской природы, — с ноткой гордости произносит профессор Охара.

— Для завершения этой естественной живописи нужна лишь подпись, поэтичная, меткая и выразительная, — замечаю я.

— Мы, японцы, глубоко убеждены, что полнота нашей быстротечной жизни во многом зависит от способности человека впитывать земную красоту, все то прекрасное, чем так щедро наделяет нас природа. В ней прежде всего, в ее вечных изменениях черпаем мы истинную радость и наслаждение.

Охара сэнсэй высказывает свои мысли относительно возникновения эстетических представлений, их взаимосвязи с живой природой и трудовой деятель-

ностью человека. о том, как это отображено в иероглифической письменности. Слушая его, я невольно задерживаю взгляд на небольших иероглифических свитках, висящих на стене. На одном из них я читаю: «Цветы с годами остаются цветами, а человек с годами превращается в старика». На другом — изображены поэтические строки Кикаку (XVIII век):

Яркий лунный свет!
На циновку тень свою
Бросила сосна.

— Иероглифические знаки, — говорит в это время Охара сэнсэй, — дают нам зримое, картинное изображение перемен в понимании человеком прекрасного, в становлении общих законов художественного творчества, эстетического отношения людей к существующей реальности. Взять, к примеру, хотя бы этимологию иероглифического знака для слова «би». Графически он состоит сейчас из двух компонентов: иероглифа «ё», значащего «баран» или «овца», и иероглифа «дай», означающего «большой», «редкостный». То есть первоначальное начертание иероглифа «би» означало вполне материальное понятие. После слияния обоих компонентов «би» со временем приобрел смысл «прекрасный», «художественный», «эстетический». Итак, запечатленное в нем первоначальное простое затем было осознано как категория прекрасного, как эстетическая ценность...

Я отрываю взгляд от окна с его чарующей картинной сущностью и перевожу его на потускневшие краски небольшого свитка с изображением человеческих фигур в темных халатах и еще каких-то едва различимых предметов. Условная, символическая манера письма делает и без того малопонятный сюжет картины еще более непостижимым.

— Что же можно узреть в этом почерке художника? — спрашиваю я Охара сэнсэй, указывая на свиток.

— Японское искусство живет контрастами. Некоторые наши художники запечатлевают то, что отчетливо видят в человеке, — ясное, простое. Другим же удается проникнуть в глубины его личности, всего того, что нередко раздваивает человека, делает его сложным, противоречивым.

— Но разве подлинное искусство не должно быть выразительно ясным, определенным в своей идее?

— Ясное изображение — явление положительное, активное. Ясное удается легче, передается проще. Но в том и состоит сложность искусства, что художнику приходится изображать людей и мир их интересов, которые нередко далеко не так ясны и доступны. И здесь, разумеется, одних традиций античных мастеров недостаточно.

— Уж не за абстрактное ли вы искусство, коллега?

Охара сэнсэй заметил не без раздражения, что он не понимает абстрактной живописи, потому что ее смысл надо разгадывать, но пока ему еще не удавалось разгадать его... Японские художники слишком серьезно относятся к художественному творчеству, чтобы рассматривать его как эстетскую игру форм, как самовыражение индивидуальности автора. Искусство — это средство проникновения в сущность вещей и явлений, средство познания и раскрытия окружающей реальности. Для знатоков, разумеется. Желание понять природу вещей, стремление постичь сложные явления и процессы жизни породило и привело их к условности в искусстве.

* * *

Незаметно перейдя к национальной японской архитектуре, Охара сэнсэй затрагивает тему, видно, очень для него не безразличную.

— Если сравнить японскую национальную архитектуру, особенно принципы интерьера, с заморской, в частности с современной американской архитектурой, то здесь, на мой взгляд, пролегает огромная пропасть, — говорит он. — Вообще с американцами японцы живут на противоположных берегах не только в

смысле физическом или географическом. Япония и Америка развивались в совершенно разных исторических плоскостях, в их общечеловеческом движении пролегли различные параметры времени. Различны, конечно, их традиции и в мире интеллектуальном...

— Вы говорите с позиции прошлого, имея в виду пути, которыми прежде шли народы Японии и Америки. Но разве в наши дни положение не изменилось? Разве в сегодняшней жизни японцев не наблюдается явлений нового характера, фактов американизации?

— Разумеется, послевоенный период ознаменовался для Японии весьма существенными переменами в самых различных сферах и особенно в области материального производства, индустриального развития. Американское влияние и даже участие здесь бесспорно. Всем очевидно также новое для нас вторжение американских воззрений в различные сферы социальных интересов японского общества. Однако в отличие от материального производства проникновение американских концепций в духовный мир японцев нельзя признать глубоким или органическим. Оно скорее носит чисто внешний характер. Американская цивилизация, позвольте заметить, в основе своей не идет далее ограниченного прагматизма. Она, насколько мы ее осознаем, лишена глубины, философских корней, высоких духовных идеалов, свойственных иным культурам. У нее, с моей точки зрения, нет крайне важного фактора — исторического и интеллектуального наследия, которым обладают древние нации. Иными словами, речь идет о преобладании своего рода ущербной структуры — американского провинциализма, — для которой в большой мере характерно отсутствие самобытных традиций: исторических, культурных, эстетических. Отсюда, на мой взгляд, проистекает ограниченность в массе американцев интеллектуальных интересов, неразвитость художественного вкуса, преобладание дурных образцов в области этических норм и принципов.

— Но явления отрицательные могут влиять не в меньшей степени, чем факторы положительные. «Когда пересаживают старое дерево, с ним пересаживают и его болезни» — так ведь говорят у вас? И разве японцы не испытывают их воздействия на себе?

— Что говорить, факты пагубного влияния «американского пути жизни» в Японии слишком многочисленны, чтобы их игнорировать или недооценивать опасность их последствий. Страна наводнена весьма низкопробной американской печатной продукцией — всякими «комиксами» и детективами, — насаждающей эротику, порнографию, садизм, гангстерство; с телевизионных экранов не сходят бесконечные серии пошлых, тупых и жестоких голливудских фильмов...

— Факты, — замечая я, — поистине вопиют сами за себя...

В самом деле, каждому видно, что развращающий японцев процесс американской «культурной экспансии» не прекращается. В стране множится число тех, кто возвышает свой голос в защиту японской национальной культуры. Характерна в этом смысле статья в недавнем прошлом руководителя ассоциации новой японской литературы «Син нихон бунгакукай» писателя Накано Сигэхару «Американская культура «оккупирует» Японию». Общеизвестно также, что «оккупация» осуществляется отнюдь не невидимыми путями. В стране повсеместно весьма активно действуют разного рода институты и организации. Многомиллионные ассигнования выделяются фондами Рокфеллера и Форда для осуществления «Программы изучения японо-американских отношений», «изучения дальневосточных проблем» и т. п. Истинные замыслы «цивилизаторской филантропии» американских миллиардеров, разумеется, никого не могут обмануть. Фудзину Наохико в статье «Японо-американское сотрудничество в изучении Азии и долг ученых», опубликованной в журнале «Бунка херон» («Культурное обозрение»), указывает на стремление американцев к созданию под своей эгидой недоброй славы «сферы совместного процветания Великой Восточной Азии». Характерно и выступление Курахары Корэхито, опубликовавшего статью «Национальная независимость и национальная культура». В ней указывается, в частности, что с тех пор, как Япония оказалась оккупирована американским империализмом, в нашу

страну беспрепятственно проникает американский образ жизни и образ мышления, реакционная империалистическая идеология, растленная буржуазная культура... Погибают выдающиеся культурные ценности, веками создававшиеся японским народом... Национальная культура Японии стоит перед лицом серьезнейшего кризиса.

Разумеется, передовая часть японского общества не мирится с этим, и сложная борьба происходит во всех сферах жизни: в парламенте, школе, семье. И все же, если смотреть на вещи глубоко и говорить откровенно, я придерживаюсь оптимистического взгляда, хотя это и звучит несколько парадоксально. Во мне живет уверенность в том, что лучшие моральные традиции японского народа, испытанные временем, жизнестойки, защищены здоровым иммунитетом.

* * *

В комнате снова появляется служанка с подносом. Бесшумно скользя по циновке, она ставит его перед нами. Ее появление меня настораживает. Уже поздний час, я очень засиделся, а «долгий гость надоедает», — говорят японцы. Я ищу нужные слова для выражения благодарности хозяину за оказанное мне внимание, за дружескую, искреннюю атмосферу, в которой происходила наша беседа, столь обогатившая меня знанием японского колорита и самобытности. Но Охара сэнсэй, кажется, менее всего утруждает себя анализом душевных эмоций и словесного творчества своего гостя.

— Встречая Новый год, — говорит он, — японцы предпочитают пить хмельной «тосо», то есть пряное рисовое вино. «Тосо» пьют за здоровье и счастье. Обычно этот сорт сакэ настаивается на различных травах. Считается, что травяной настой придает силу и целебные свойства «тосо».

Охара сэнсэй берет с подноса крохотную фарфоровую рюмку, наливает в нее из небольшого графина, похожего на фарфоровую вазочку для цветов, «тосо» и передает ее мне. Затем наполняет вторую рюмку. Он предлагает мне выпить «тосо». Вкус напитка своеобразный: букет травянистых растений и грибной запах сырой земли.

— Обычай готовить настойки на лечебных травах претерпел в моей стране некоторую трансформацию. Врачи, как известно, лечат лишь того, кто не умирает, или всех, кто остается в живых. Поэтому, не отвергая опыта древнего китайского медика Суня, японцы стали добавлять некоторые травы в новогоднее сакэ для «укрепления здоровья», — улыбаясь, говорит Охара сэнсэй.

Наблюдая за своим собеседником, всматриваясь в его лицо, вслушиваясь в его речь, я пытаюсь усвоить логику его мышления, проникнуть в скрытую внешней маской психологию. Но приподнять маску и увидеть подлинное лицо японца нелегко.

В Охара сэнсэй, мне кажется, редкое сочетание рассудочности, острого и пронизательного ума с какой-то детской непосредственностью, доверчивостью, временами наивной чувствительностью. Окружив себя книгами, древними манускриптами, картинами, керамикой и бронзой, он трудится теперь над главами нового исследования, трудится упорно и самозабвенно.

— Из всех приятных вещей в жизни, — убежденно и с нескрываемым удовольствием говорит он, — только работа не оставляет какого-то осадка. Наука и искусство — существеннейшая сфера человеческой жизни и деятельности; без них человек не способен был бы возвыситься над всем окружающим миром.

Наш разговор постепенно приобретает более развлекательный характер. То ли потому, что подействовало «тосо», то ли оттого, что атмосфера стала более непосредственной и несколько изменилась тема.

— А вы знаете, — с улыбки произнес Охара, — что в нашем языке слово «тора» (тигр) применяется и в значении «пьяный», «подвыпивший», «во хмелю», а выражение «тора-ни нару» («превратиться в тигра») означает «напиться пья-

ным». Притом степень опьянения определяется, так сказать, тремя калибрами тигра: «котора» — «малый тигр», первая степень опьянения; «гютора» — «средний тигр», соответствует второй степени опьянения и, наконец, «отора» — «большой тигр», состояние крайнего опьянения... В народной мудрости это звучит еще и так: «Сперва человек пьет сакэ, потом сакэ пьет сакэ, под конец сакэ пьет человека».

Он снова наполняет наши микрорюмки и, осторожно приподняв свою, символически чокается со мной и медленно потягивает терпкий хмельной напиток.

— А не пора ли заблудившемуся «тигру» убираться в свое логово, пока он окончательно не утратил способность передвигаться при помощи своих конечностей? — заметил я, усомнившись в дозволенности моего дальнейшего присутствия.

— О, нет! Ваши опасения не оправданы. Современная цивилизация позаботилась о средствах передвижения, в том числе и для «тигров», притом любого калибра и «степени блаженства», — смеясь, восклицает Охара сэнсэй.

— Да, но вино молчит до тех пор, пока оно закупорено в бутылке! — парирую я. — Сакэ можно пить, но нельзя, чтобы оно тебя пило!

— Чрево твое — в тебе самом! — не остается в долгу мой хозяин.

— Цветок хорош полуоткрытый, опьянение хорошо легкое...

— Страдаешь или блаженствуешь — больше одной жизни не проживешь... Вино исцеляет от недугов.

Мне пришлось признать себя побежденным в этом состязании фольклорного острословия с гостеприимным хозяином.

Луна давно уже спряталась за шатровой крышей ближнего синтоистского храма. Вытянувшиеся черные тени заслонили гладь залива, видневшегося из окна. Вблизи певучей бронзой прозвенел поздний гонг. Приглушенные расстоянием звуки деревянных колотушек в руках неуспышной стражи пунктуально отсчитывают шаги времени. Приближается новогодний час.

— Если у гостя возникают неблагоприятные ассоциации насчет «тосо», то не согласится ли он в таком случае разделить с нами скромную трапезу? Быть может, нам удастся исправить свою опрометчивость и оставить о нашем доме лучшее впечатление, — с чисто японской любезностью уговаривает меня Охара сэнсэй остаться. — По народному обычаю к новогоднему угощению следует приступить до двенадцати часов ночи тридцать первого декабря, а не в первые минуты первого января, поскольку в старину заход солнца означал конец суток и начало новых. По древней японской традиции «тоси отоко», или «счастливый человек года», которым может оказаться глава семьи, старший сын или вообще старший мужчина в доме, должен готовить в новогодний праздник еду для всей семьи на три дня. Честь быть «тоси отоко» в этом году выпала на мою долю. И я предвижу, что в моей семье всем не избежать трехдневного поста или же ей придется перейти на самообслуживание. Во всяком случае я приготовил мои любимые блюда — бататы и «сасими» (блюдо из сырой рыбы)... Мы, японцы, говорим: «Живешь у горы — ешь то, что дает гора; живешь у моря — ешь то, что дает море!»

— Сочту за честь и особое благо, несмотря на все угрозы, отведать кулинарные творения «тоси отоко»! «Лунная ночь и вареный рис всегда кстати!»

— Ваш дух самопожертвования не может не восхищать. Считайте себя в таком случае вне опасности от магии моей стряпни. Сегодня еще сохраняется господство гастрономии моей супруги!

И как бы для того, чтобы подтвердить народную мудрость, что «лунная ночь и вареный рис всегда кстати», Охара сэнсэй приглашает меня убедиться в щедрости моря. Легким прикосновением руки к электронному устройству он открывает огромную створку белоснежного рефрижератора, и передо мной возникает своеобразный натюрморт — красочные образцы флоры и фауны подводного мира. Человеку, видимо, не противопоказаны артистически приготовленные каракатицы и осьминоги.

В эту минуту в комнате появляется хозяйка дома — «окусан», как принято

ее называть по-японски. Она вновь приветствует нас, опустившись на колени и совершая низкие, до самого пола, поклоны.

У маленькой хрупкой «окусан» тонкое лицо, без традиционного грима. Держит она в высшей степени скромно. На ней лежит вся тяжесть забот о семье. Она непревзойденно готовит рис и содержит дом в безукоризненной чистоте, подбирая на циновках каждую пылинку. И натруженные ее руки — свидетельство неустанных усилий и нескончаемого домашнего труда.

Пока мы вели свою долгую беседу с Охара сэнсэй, хозяйка успела сделать новую прическу, называемую здесь «марумагэ». Это искусное сооружение, которое носят замужние японки. Позднее я убедился, что у японок удивительно развит культ прически. Традиционные прически — «симада», «момоварэ», «итегаэси», «марумагэ» — это сложнейшие конструкции. Особенно изощряются женщины в дни праздников, разного рода обрядов и церемоний. Наибольшей изысканностью и мастерством поражают прически знаменитых гейш в древнестолечном городе Киото, где с давних пор понятия грациозности и вкуса связывают с обликом юных красавиц «майко» (танцовщиц). Не зря в народе говорят, что «в Осака любят покусать, а в Киото — пощеголять».

Хозяйка дома приглашает нас в соседнюю комнату, служащую одновременно и гостиной и столовой. Следуя старинному обычаю, она опускается на колени и, открыв раздвижную дверь, низко склоняется в почтительной позе, приглашая нас пройти вперед. Когда мы входим, «окусан» поднимается и мелкими шажками, полусогнувшись, семенит за нами, похожая в своих белых носках на японскую куколку.

По обычаю гостю не положено торопиться, он должен двигаться по циновкам осторожно, короткими, скользящими шагами. Считается предосудительным переступить через предметы — подушки для сиденья, сервировочные столики, — которые могут оказаться на пути. Полагается осторожно передвинуть или перенести то, что мешает, а затем уже проходить.

Когда супруга профессора подошла к лампе, на ее широком, высоко подвязанном поясе «оби» засверкала большая рубиновая брошь в тонком золотом обрамлении. Она заметила мой взгляд.

— Это подарок мужа, — не без удовольствия заметила «окусан», слегка прикасаясь к украшению рукой. — Рубин символизирует сорокалетие супружества.

— А жемчужина, что рядом с рубиновой брошью?

— Жемчуг преподнесен мне Охара сэнсэй в память о тридцатилетии супружества. У японцев бытует давняя условность отмечать каждую годовщину супружества в течение нескольких лет и десятилетий. В первую годовщину обычно преподносят подарок из бумаги, во вторую — из ситца, в третью — из кожи, в четвертую — из шелка, в пятую — из дерева, в шестую — из железа, в десятую — из олова. Затем свадьба отмечается один раз в пять лет. Для пятнадцатой годовщины супружества символ — хрусталь, для двадцатой — фарфор, для тридцатой — жемчуг, для тридцать пятой — яшма или нефрит, для сороковой — рубин, для сорок пятой — сапфир, для пятидесятой — золото, для пятьдесят пятой — изумруд и, наконец, для шестидесятой — бриллиант.

— И перстень на вашей руке, очевидно, тоже символического значения?

— О, да! Это еще одна наша условность. Изумруд у нас дарится в день рождения, если он приходится на май месяц. Родившимся в январе преподносят гранат, в феврале — аметист, в марте — гелиотроп, в апреле — бриллиант, в июне — жемчуг, в июле — рубин, в августе — сардоникс, в сентябре — сапфир, в октябре — опал, в ноябре — топаз, в декабре — бирюзу.

Мы снова усаживаемся на разложенные на середине комнаты плоские подушки с изображением стилизованных фениксов и драконов. Мне, гостю, предлагают занять почетное место у «токонома» — парадной ниши в стене. В ней на стене обычно висит «какэмоно» — картина, написанная тушью на бумаге, а на подставке стоит ваза с цветами, бронзовая или керамическая.

С одной стороны ниши, рядом с бамбуковым стволом, который служит декоративной колонной, выставлен свиток с изображением единственного иероглифического знака — «долголетие». Он выполнен черной гушью в манере древнекитайских мастеров — единым, уверенным движением большой кисти. Свиток этот не просто графическое изображение знака, а подлинное произведение искусства. Каллиграфическая живопись доставляет японцам не меньшее эстетическое удовольствие, чем художественное полотно, ей даже отдается предпочтение. Произведения каллиграфической живописи украшают дом буквально каждого японца.

Заметив мой интерес к свитку на стене, Охара сэнсэй извлекает из стоящей рядом вазы еще несколько и осторожно раззертывает их передо мной. Это древние и новые свитки с иероглифической вязью разных стилей и почерков, различных по замыслу, но динамичных и выразительных. Индивидуальность каждого мастера сказывается в манере письма, в силе штриха.

— Не правда ли, своеобразна стилевая манера их исполнения? — не без восхищения говорит Охара сэнсэй.

На противоположной стене комнаты я вижу иероглифические свитки на длинном листе шелковистой бумаги, испещренные крупными знаками, начертанными размашистым и уверенным почерком. На одном из них — строки поэта XVII века Рансэцу:

Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах.

А на свитке рядом — строки Масаока Сики, поэта конца прошлого века:

Долгий вешний день!
Лодка с берегом неспешно
Разговор ведет.

Иероглифические свитки и картины, как и живые цветы в керамике, выполняют не просто декоративную роль в японском доме. В каждой гостиной устроена ниша, где висит картина-панно и в вазе стоят цветы. Но эти картины и цветы не столько служат украшению комнаты, сколько придают глубину тени и создают так называемую «гармонию ниши». Вешая картину-панно, прежде всего обращают внимание на то, гармонирует ли она с общим тоном ниши и стен. Поэтому наряду с художественными достоинствами картины или же каллиграфической надписи, составляющих содержание панно, японцы придают такое же значение и их окантовке. Потому что если последняя нарушает «гармонию ниши», то вся ценность панно от этого пропадает.

— Если вы желаете поглубже познакомиться и постигнуть традиции и, если можно так сказать, бытовую эстетику японцев, то отнеситесь к этой книге с достойным ее вниманием и доверием, — говорит профессор Охара, доставая с полки небольшой томик.

Охара сэнсэй передает мне изящно изданную книжку. Это эстетический этюд известного японского романиста Дзюнитиро Танидзаки «Похвала тени».

Принимая подарок своего японского коллеги, я подумал, как книга сближает людей, не только живущих далеко друг от друга, но людей с самыми разными жизненными путями, опытом и познаниями, с совершенно разным воспитанием и философией. Как она помогает им лучше понять друг друга, а нередко пробуждает и взаимную симпатию.

Потом я с большим интересом прочитал «Похвалу тени».

Своеобразие японского интерьера, по мысли Дзюнитиро Танидзаки, в значительной мере определяется особым способом освещения, необыкновенным соотношением света и тени, которые гармонируют с общим стилем японского помещения, его композицией, его оборудованием. Красота, на его взгляд, заключена не в самих вещах, а в комбинации вещей, плетущей узор светотени. Вне действия, производимого тенью, нет красоты: она исчезает, подобно тому, как исче-

зает при дневном свете привлекательность драгоценного камня «ночной луч», сверкающего в темноте.

Мне трудно удержаться, чтобы не привести здесь несколько глубоких и тонких наблюдений Танидзакки.

«Говорят, что красота европейских храмов готического стиля,— пишет он,— кроется в их высоких заостренных кровлях, вонзающихся в небо. Храмы нашей страны являют в этом отношении полную противоположность. Отличие их заключается прежде всего в том, что верх здания покрывается большой черепичной кровлей, корпус же скрывается в глубокой и широкой тени, образуемой навесом кровли. Да и не только храмы, будь то дворец или дом простолюдина,— безразлично: в их внешнем облике прежде всего бросаются в глаза большая кровля, крытая в одних случаях черепицей, в других соломой, и густая тень, таящаяся под нею. Под их карнизом даже среди белого дня бывает темно, словно в пещере: вход, двери, стены, балки — все погружено в густую тень. Вы не найдете в этом отношении разницы между величественными постройками вроде храмов Тионгин и Хонгандзи и крестьянскими избами в глухих деревнях... Строя себе жилище, мы прежде всего раскрываем над ним зонтик — кровлю, покрываем землю тенью и уже в тени устраиваем себе жилище. Европейские дома, конечно, тоже не обходятся без кровли, но у них назначение последней состоит скорее в защите от дождя, чем от солнечных лучей; можно даже усмотреть обратное стремление: не давать места тени, а дать возможно больший доступ свету внутрь здания. Об этом говорит один внешний вид европейских строений. Если японскую кровлю можно сравнить с зонтом, то кровлю европейскую можно уподобить головному убору, притом с очень небольшими полями, вроде кепи. Это позволяет даже отвесным лучам солнца освещать стены здания почти до самого края карниза».

* * *

Пока я листаю книгу, Охара сэнсэй берется помогать своей супруге в приготовлении новогодней трапезы. Они оба деловито снуют по комнате, то входят, то выходят из нее. Вокруг меня появляются новые предметы.

Комната преобразается на глазах. Она как бы наполняется содержанием. Под каллиграфическим свитком появился «бонсай» — карликовое деревцо в синей керамической чаше. Живая сосна в миниатюре — это фамильное сокровище. Вот уже почти целое столетие оно бережно передается в семействе Охара по наследству, переходя из поколения в поколение. Японские садоводы с помощью особого ухода и режима искусственно задерживают рост растения, сохраняют его определенные размеры и форму. Подлинный «бонсай» должен обладать в уменьшенном масштабе всеми качествами естественного растения. И в самом деле, «бонсай» создает полное впечатление настоящей сосны. Для японцев сосна с ее неизменным вечнозеленым убранством — прежде всего олицетворение постоянства, жизнестойкости, долголетия.

«Бонсай» стоит между двумя свитками: на одном изображен знак «долголетие», на другом — «счастье». Оба они выполнены, видимо, одним и тем же мастером в совершенно одинаковой стилиевой манере. Иероглифы «долголетие» и «счастье» считаются в Японии сопутствующими друг другу. Они пользуются наибольшей популярностью в народе как символы самой высокой доброжелательности и ожиданий.

По странной ассоциации, при взгляде на эти два изображения мне почему-то вспомнилось выступление почетного профессора университета Тохонку Масадзи Кундо на конференции по вопросам долголетия, который призывал: «Избегайте употребления риса в больших количествах, больше бобовых и овощей — вот путь к долголетию». Но среди японцев, хоть в массе своей они, кажется, вовсе не так уж злоупотребляют большим количеством пищи, случаи долголетия крайне редки — люди в возрасте старше семидесяти лет составляют всего лишь три процента к населению страны, то есть вдвое меньше, чем в Европе и Америке...

Много времени спустя мне случайно попала на глаза статья профессора Кондо — итог его многолетнего изучения японской деревни. Вот выводы, к которым он пришел.

«Предпочтительное, обильное употребление в пищу риса во всех без исключения случаях препятствует долголетию — наступает преждевременное старение, растет число инсультов даже среди молодежи. В деревнях района Тохону, выделяющих рис, особенно много примеров этого. В префектуре Акита лица выше семидесяти лет составляют всего лишь один процент, из лиц, умерших в возрасте старше двадцати лет, сорок девять процентов погибли от кровоизлияния в мозг. Причину этого следует искать в том, что в разгаре полевых работ здесь потребляют в день до четырех килограммов риса и, сверх того, соленья, что в три раза больше, чем в каком-либо другом районе страны.

В деревнях с высокой средней продолжительностью жизни крестьяне повседневно употребляют в пищу рыбу либо бобовые. Случаев долголетия особенно много в тех деревнях, где крестьяне питаются внутренностями рыбы либо мелкой рыбой, съедаемой целиком (например, в деревне Номаси района Идзу Осима). Даже в тех горных деревнях, где совершенно нет ни рыбы, ни мяса, случаев долголетия много, если крестьяне обычно питаются бобовыми (например, деревня Нарисава, префектура Яманаси).

Все деревни с большим числом случаев долголетия потребляют большое количество овощей. Там, где не хватает овощей, едят чаще и больше риса, что сокращает продолжительность жизни. В таких деревнях больше смертных случаев от сердечных заболеваний. В поселках рыбаков, не имеющих лодок, это особенно заметно, — примеров этого много на Хоккайдо. В деревнях, питающихся водорослями, случаи кровоизлияния крайне редки, долголетие наблюдается особенно часто (Тога, префектура Акита)».

* * *

Но вот все приготовления закончены. Передо мной — низкий лакированный столик с резко изогнутыми внутрь, почти полукруглыми, ножками. В центре стола — квадратная керамическая тарелка с плавно загнутыми кверху углами. На ней знакомые мне традиционные лепешки «кагамимоти» из крутого теста, приготовляемого из особого «клеякого» риса, которое долго вымешивается в особых ступах. Лепешки едят, обмакивая их в густой сироп из красных бобов с сахаром. «Кагамимоти» — одно из старинных угощений. Они — неперемное блюдо во время новогодних праздников. Их обычно ставят на самое почетное место стола, когда в лучшей комнате дома принимают друзей и гостей. «Кагамимоти» символизируют в народной жизни благополучие и удачу. Ничто, кажется, не окружено таким благоговением в новогодние дни, как эти незатейливые лепешки из риса — самого насущного продукта питания японца. Ими и завершают новогодние празднества. Только к этому времени они настолько затвердевают, что их приходится разбивать при помощи молотка, но никогда не с помощью ножа: по традиции резать символ счастья недопустимо. Размельченные частицы лепешек затем варят вместе с рисом и красными бобами и едят на завтрак.

В деревянном жбане приготовленный на пару рассыпчатый рис отливает жемчугом. Рядом селедочная икра — это тоже одно из популярных и любимых новогодних угощений. Множество икринок символизирует приумножение семьи, благополучие, богатство.

Когда на моем столике появились «хамагури» — морские моллюски, — перед моими глазами возникла многократно виденная на японском побережье картина: во время морского отлива тысячи людей кропотливо роются в песке и иле. Низко нагнувшись или ползая по обнажившемуся дну, взрослые и дети терпеливо выискивают ракушки, поджаренное содержимое которых — одно из лакомых блюд национальной кухни. В удачный сезон «хамагури» заполняют рыбные лавки и рестораны, бойко распродаются в буфетах, на перронах железнодорожных станций.

Едва ли хотя бы одно застольное угощение в Японии обходится без супа из овощей или морских продуктов. Нередко суп подается в пиалах из черного лака. И сейчас я вижу на своем столике небольшую лаковую пиалу несколько вытянутой формы, с плотно прикрывающейся крышкой, удерживающей тепло. В ней горячий суп «дзони» из морских водорослей и рыбы, с плавающими на поверхности лепестками «нори» — морского мха.

Случается, что простые вещи надолго сохраняются в памяти. Читая позднее этюд Танидзакэ, я мысленно не раз возвращался к новогодней трапезе в доме Охара сэнсэй.

Мягкость и теплота, исходящие от двух фонарей «андон», сделанных из бамбука и матовой бумаги, создают атмосферу домашнего уюта и интимности. Прежде в них горели свечи, а теперь — электрические лампочки. В полумраке и тишине этой комнаты легко утрачивается ощущение времени.

Рядом со мной стоит «хибати» — керамическая бочкообразная урна темно-синего цвета с тлеющими в золе древесными углями. Такие же грелки стоят рядом с Охара сэнсэй и его супругой. Изредка они ворошат в них угли железными иглами, напоминающими палочки для еды. Время от времени Охара сэнсэй прикасается руками к теплой поверхности глазированной керамики, чтобы погреть руки. В японских домах нет отопительных устройств, какие приняты в европейских помещениях. В наиболее холодные зимние дни японцы издавна пользуются специальными жаровнями с тлеющими древесными углями, или «хибати», хотя в последние годы их вытесняют электрические обогревательные приборы. Но японцы не привычны к перегретому, сухому воздуху, они предпочитают ему прохладный.

Входят дети Охара сэнсэй — сын Тосио и дочь Кадзуко. У самого входа они опускаются на колени и делают глубокий поклон.

— Омэдэто годзаймас! — приносят они новогодние поздравления, не поднимая головы.

— Омэдэто! — отвечаем мы.

Тосио и Кадзуко в праздничных национальных кимоно. У них торжественный вид. Они только что вернулись из города Камакура, где находится знаменитый храм Цуругаока Хатиман, который по древнему обычаю посещают в новогодние дни. Сотни тысяч людей стекаются в это время в Камакура, чтобы полюбоваться праздничной церемонией.

— Теперь Кадзуко и мне не страшны никакие сатанинские наваждения и козни, — с улыбкой говорит Тосио. — Нам удалось вооружиться в Камакура священными стрелами, и они насмерть поразят злобных духов темного мира!

Кадзуко, приняв грациозную позу, почтительно передает нам две стрелы с белыми перьями.

Профессор Охара поясняет, что стрельба из лука была с глубокой древности излюбленной игрой детей в новогодний праздник.

— Происхождение этих стрел — их называют «хамая» — объясняется не только исторически и этнографически, — поясняет Охара сэнсэй. — Это прежде всего — элемент нашей национальной эстетики. И тут Тосио сан, как будущий специалист в этой области, вероятно, обнаружил немало привлекательного...

— Со дэс нэ, — отзывается Тосио, — скромный студент не заслуживает такой чести... В ритуалах японских синтонстских храмов, на мой невежественный взгляд, все же наиболее привлекательным представляется, пожалуй, именно эстетический аспект. Кто может не оценить красоты традиционных песнопений, древних народных плясок, праздничных шествий, в которых принимает участие масса людей, движимых далеко не религиозным чувством...

— Не слишком ли субъективны твои суждения, Тосио сан! — не без иронии замечает Кадзуко.

— У каждого может быть свой взгляд на вещи, и он вправе его выражать.

— Все же не мешает более тщательно подбирать выражения, когда говорят

о религии, которую исповедуют десятки миллионов людей. Вот уж поистине уста — несчастий ворота!

— Но через рот и зло и добро идет. Ведь я нахожу и ценю красоту ритуала и обрядов в синтоистских храмах, а не мистическую таинственность. Да собственно, лучшие храмы в Нара, Киото, Камакура — это прежде всего великолепные образцы нашей национальной архитектуры, хотя они и созданы для отправления шаманского культа...

— О, как бы наш аспирант, щеголяя новыми социологическими идеями, не сбился на вульгарное богохульство...

— Кто не знал заблуждений, тот, увы, не узнает и истины.

— О дереве судят по плодам... А пока что, разрешите заметить, Тосио сан, вы просто попали в сети воинствующего атеизма, — продолжает Кадзуко.

— Восхищаюсь искусством прописи моего вечного оппонента. Но сравнивать родного брата прошу не с деревом, даже если перспектива его плодоношения не совсем безнадежна, а во всяком случае с чем-либо одушевленным. Ну, хотя бы с каким-либо пернатым или по крайней мере с насекомым типа саранчи...

— Поразительное самоуничижение и академическая объективность! Какой-то дотошный японец исследовал это насекомое, обнаружив у саранчи целых пять способностей, но ни одного таланта; саранча, по критической оценке этого ученого, бегает, но не быстро. Летает, но не высоко, ползает, но не долго, роет, но не глубоко!

— Чувствительно тронут, Кадзуко сан, за столь великодушное просвещение, за то, что теперь передо мной милостиво распахнуты двери в царство высшей справедливости, и я клянусь, что обуздаю свое кощунство, буду вести себя там в высшей мере учтиво, особенно в отношении столь любезных вашему сердцу канон синтоизма.

— Справедливо все же народное наблюдение, что человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами. Но похоже, что моему братцу и шести десятков окажется маловато...

— Уж если обращаться к фольклору, то Кадзуко сан не следовало бы пренебрегать старой мудрой поговоркой: «Слушай, смотри и помалкивай!»

— О, я узнаю в своем братце его ученого мэтра — злого и брюзжащего старикашку... Ну что ж, еще немного, и тебя ничем не отличишь от твоего почтенного сэнсэя...

Я с интересом слежу за этим словесным поединком наследников профессора Охара и думаю, как схожи и как различны эти молодые японцы. В них еще так много от старых традиций их семьи, но дух времени уже сказывается в их образе мысли, в мироощущении. Особенно у юноши, который явно проникся скептическим отношением к столь строго соблюдавшимся в семье канонам.

* * *

Уже миновала полночь. Визит к профессору Охара, затянувшийся на несколько часов, превратился для меня в удивительное путешествие в мир японских обычаев и бытовых традиций. Но даже самому чудесному путешествию приходит конец. Поздний час упрямо напоминает о том, что наступил момент прощания. Я встаю, благодарю за гостеприимство, произношу слова почтительной признательности.

Охара сэнсэй в духе старинной традиции гостеприимства пытается удержать, просит не спешить. Я еще раз выражаю свою благодарность.

— Саёнара! — говорю на прощанье, — до скорых встреч.

Охара сэнсэй и «окусан», провожая позднего гостя, долго стоят рядом у крыльца под низко спускающимся навесом.

Неприветливая зимняя ночь, какие не так уж часто выдаются в Токио даже в январе, встречает меня холодным ветром, струями дождя вперемишку с мокрым

снегом. Город мерцает красно-желтым светом неона, в ночном мраке отсвечивает скользкий асфальт. Налетают порывистые ветры, колючие холодные потоки со все большим ожесточением обрушиваются на серые силуэты токийских строений, плотной пеленой повисают в узкой безлюдной улице.

Ударяясь о свинцово-серые шатровые крыши приземистых японских жилищ, потоки дождя стремительно скатываются по их чешуйчатой поверхности, точно по спинам гигантских рыб. А над ними, как неприступные утесы, высятся железобетонные громады чужестранных отелей.

Но жизнь на токийских улицах замерла лишь внешне. Непогода не в силах заставить отступить неистребимую у людей жажду веселья и зрелищ. Впереди замигала гигантская неоновая надпись: «Амбассадор». Это новомодный ночной бар. У входа несколько фигур, точно сошедших с голливудского «уэстерна», в ковбойских туго обтягивающих холщовых брюках и широких шляпах с загнутыми кверху полями. Приглядываюсь — лица японские. «Техасский парень» — это одна из разновидностей современного молодого японца. Он одет по стандартам янки из Алабамы. Он непрерывно двигает челюстями, безуспешно разминая жевательную резинку, пожирает апельсины и бананы, заваливая все вокруг себя кожей. С царственным небрежением взирает он на всех, кто не принадлежит к ему подобным.

Многое из того, что пришло или приходит в Японию с противоположного берега Тихого океана, постепенно видоизменяется, преобразуется в соответствии с национальными особенностями, японизируется. И многое же из заморского образа жизни культивируется в Японии почти со скрупулезной точностью. «Амбассадор» — один из очагов верноподданнического американизма.

Почти у самого входа на бугристой стене седовато-бурого оттенка — абстракционистский этюд. Мощный искрящийся поток красок, переплетение линий — и ничего более. Краски и линии сами по себе. Никаких признаков смысла или сюжета. Красиво, но бездумно.

В большом зале низкий потолок, обшитый нестрогаными брусками из мореного дерева, опирающийся на массивные дубовые балки, нарочито грубые, стилизованные под средневековую старину. Торцы их небрежно покоятся в незаделанных прорезях нештукатуренной кирпичной стены. Крупные, шероховатые темно-красные кирпичины прослоены цементным раствором с примесью острого толченого камня. Стены сплошные с трех сторон, без единого оконного просвета. И все же во всем ощущается контраст между чужестранным модернистским стилем и естественной пластичностью японской архитектуры.

Пережеванный машинный воздух, нагнетаемый из подвального помещения, пропитанный табачным дымом и испарением, густым туманом наполняет помещение. В молочном свете лампионов видны лишь контуры людей. В глубине зала совсем сумрачно. Я приглядываюсь к желто-зеленым лицам тех, кто сидит поближе: это молодые и средних лет японцы, много разных «ами».

Пучок вялого света падает из медного бра в стене на плечи и голову негра, посыпая их легкой позолотой. И это еще более усиливает контрастность между снежной белизной его манишки и матовой чернотой смокинга. Чуть подальше, окутанные сизым дымом, виднеются силуэты расслабленно двигающихся под звуки «бассановы» — бразильской разновидности латиноамериканских ритмов — танцующих пар.

У самого края эстрады, приподнятой над зеркально отливающим паркетом, застыла фигура негритянского певца. Перед ним — отсвечивающий никелем микрофон, похожий на ананас. Время от времени певец пластично и мягко проделывает медленные танцевальные па, как бы вписывая их в крохотный невидимый круг.

Он поет, закинув назад голову, и его огромные подвижные глаза со сверкающими белками словно бы излучают стихию ритма. И песня его удивительна. Слышится не столько мелодия, сама по себе певучая, протяжная, сколько отдельные музыкальные акценты, ритмическая канва. Кажется, голос его воспроизводит

лишь глубокие и протяжные звуки «Оо, о, о... Аай, я, я... Оо, о, о...», чем-то напоминающие ритуальные заклинания африканцев. И плавные, вьющиеся движения, и повторяемые примитивно-однообразные звуки — вся эта незамысловатая ритмичность создает настроение, подчиняет неизъяснимому обаянию африканского музыкального фольклора.

Негритянские артисты, которых мне не раз приходилось наблюдать на сцене, обнаруживают необыкновенную музыкальность, совершенный слух. Они поистине одарены художественным инстинктом. Особенно поражают они при групповом исполнении — в дуэтах, квартетах, хоре.

Позади певца — негритянский квинтет из какой-то латиноамериканской страны. Лица и руки музыкантов сливаются с темнотой. Видны лишь сверкающие белизной, лоснящиеся крахмальные манжеты, широкой каймой выступающие из рукавов смокинга. Эти белые прямоугольники непрестанно мелькают в синеватом сумраке. Один стремительно мечется по вертикали, другой — в поперечном направлении.

Непременная фигура в каждом латиноафриканском ансамбле, которые, кстати, широко проникли в японский быт, — гитарист. Вот и сейчас, расположившись на бочкообразном сиденье, он, кажется, нерасторжимо слился в объятиях со своим электроинструментом. Приглушенные, стонущие звуки электрогитары заполняют зал знойной и грустной тропической мелодией.

Если негритянский квинтет образует своеобразный акустический фокус зала, то центром гурманства служит угол бара с монументальной стойкой. За стойкой — несколько бартэндэров в безукоризненно белых рубашках, с черными галстуками-бабочками, гладко зачесанными, сверкающими от бриолина черными волосами. Почти не глядя, они ловкими движениями уверенно наполняют содержимым стаканы, фужеры, бокалы, рюмки, кладут в них крошенный лед, ломтики лимона, темно-красные черешни, зеленые оливы. В специальных металлических колбах готовят коктейли, изящными движениями, точно оркестранты, встряхивая фляги и снарядоподобные серебряные смесители.

У стойки с зеркально гладкой малиновой поверхностью, которую непрестанно протирают губкообразной салфеткой бартэндэры, на высоких табуретах с железными ножками, напоминающими журавлиные конечности, в небрежных позах восседает пестрый ряд почитателей виски и аперитивов. Это круг людей, сделавших употребление пищи ритуалом, а поглощение алкоголя — каждодневным обрядом.

Наблюдая за японской публикой в ресторане, я думал, что здесь пиршества устраивают чаще, чем нормально обедают. Дома, например, японцы ограничиваются крайне скромной трапезой, но в ресторане они не щадят затрат, закатывая подлинно лукулловы пиры. Правда, глядя на этих щедрых кутил, я вспоминал поведение одного литературного героя, который съедал грошовый обед в дешевой харчевне на окраине, а затем отправлялся к роскошному ресторану на фешенебельной Гиндзе, чтобы всем на зависть, стоя у входа, ковырять зубочисткой в зубах. И хотя японцы искусно носят маску, но на тех, кто кутит в «Амбассадоре» и подобных ему заведениях, заметны плохо скрываемая боязнь уронить свой престиж и явное преклонение перед могуществом доллара.

Здесь в ночных барах за деньги эта публика получает стандартное веселье, здесь их обслуживают и развлекают по установленной таксе наемные партнерши — смазливые и хищные «баргерлз» и «хостес».

Рядом со мной, за стойкой, склонившись над высокими стаканами с виски со льдом, ведут недвусмысленный флирт совсем юная японка с густой синевой под глазами и довольно дряхлый, седой японец. Девушка, кажется, еще не утратила окончательно естественной способности краснеть, — заметив мой взгляд, заливается краской.

Невольно вспомнились мелькавшие на страницах японских газет сообщения

относительно торговли молодыми девушками. Школьник с острова Хоккайдо продавали в увеселительные заведения и дома гейш. В префектуре Канагава орудовала целая организация торговцев «живым товаром», в течение ряда лет продававшая девушек из бедных семей хозяевам баров, кабаке и других подобных заведений на курортах Атами, Осака, где развлекается зажиточная публика. И много других случаев.

Мои соседи только что вернулись после танца. Ее партнер вышел в круг танцующих, забыв, вероятно, о своем одряхлевшем сердце и подагре. Ему уже небезопасен даже чинный менюэт, а тут — темп «бассановы».

— В этой невероятной давке я лишь к концу обнаружил, что танцую не с вами, май дарлинг, а с каким-то не очень трезвым субъектом, который уцепился за меня, словно краб, своими клешнями,— разочарованно произносит он, ощупывая свои обвислые усы. Весь его вид, его манеры — пошлы, непристойны.

Но юная «баргерлз» молча, иронически улыбается, издеваясь над его подслеповатостью. Собственно, она и не участвует в разговоре, а лишь меланхолично повторяет короткие междометия «со дэс нэ», «со дэс ка», напоминающие русские восклицания «ах, вот как!», «да что вы!». Зато захмелевший старец непрестанно нашептывает ей что-то, жуя тлеющую манильскую сигару огромных размеров и окутывая все вокруг желто-зеленым чадом. Время от времени он извлекает из кармана газовую зажигалку и подносит к потухшей сигаре. Но вскоре окончательно размякает и заплетающимся языком, хотя продолжает потягивать вино, «изливает душу» перед арендованной «баргерлз»: с гейшами, мол, он тоскует по домашней обстановке, а с женой — по обществу гейш...

Вскоре оба достигают той степени опьянения, когда забывается благоприличие. А вокруг любезничают с посетителями «баргерлз», щеголяя в соблазнительных нарядах. Среди них немало немолодых, уже нескрываемо подурневших. Но и они продолжают кокетничать, танцевать и подпевать глухими, хриплыми — «хаски войс» — голосами. Некоторые из них, видимо, хорошо понимают, что пора их давно миновала, что уже потеряна и маска молодости, которую они так искусно носили долгое время, и мужчины уже не находят в них былой привлекательности. Они пытаются восполнять этот изъян косметикой, развязностью манер, явно выставляя себя напоказ. Обитательницы баров давно отказались от национальных нарядов. Кимоно ничего не обнажает, все скрывает в отличие от платья голливудского покроя, которое столько открывает, что почти ничего не оставляет для воображения...

Но вот снова звучит судорожный латиноафриканский ритм, он яростно вытаскивает публику из-за столиков, гонит от малиновой стойки к танцевальному кругу, весь зал начинает конвульсивно вздрагивать и двигаться в такт ударных инструментов.

...Я остаюсь у опустевшей стойки.

— Да, сэр, что вам угодно? — обращается ко мне японец бартэндэр по-английски.

— Немного сакэ, пожалуйста, подогретого... После прогулки под холодным ливнем, — отвечаю бартэндэру, застывшему в угодливой позе перед иностранцем.

— Извините, сэр, сакэ не располагаем...

— Новый год... исчерпались запасы?

— О, нет, сэр, в нашем ресторане этой продукции не бывает. Сакэ — напиток японцев... Сакэ, видите ли, как бы для второразрядных заведений, для национальных ресторанов...

Наш разговор с бартэндэром привлекает внимание управляющего рестораном — скуластого японца с энергичными бровями, настойчивым взглядом.

— Чем могу быть полезен, сэр? — с заискивающей улыбкой произносит он по-английски с американским выговором.

Сверхвежливая предупредительность, с которой встречают в ночных европеизированных ресторанах посетителей, всегдастораживает. Это вежливость не

от гостеприимного сердца, а от торгашеского расчета. Такая угодливая вежливость здесь нередко переходит в наглость.

Бартэндэр, не дожидаясь моего ответа мэтру, быстро объясняет по-японски смысл нашего с ним разговора о сакэ, замечая, что иностранец, очевидно, по ошибке зашел в «Амбассадор».

— Простите, сэр, но наш бар предназначен... не для местных японских напитков... Наша клиентура, насколько я понимаю, отличается более взыскательным... иностранным вкусом.

— В таком случае, что бы вы предложили?

— Весь шар земной в его лучшем пьянящем виде, сэр, к вашим услугам! Для согревания, позвольте заметить, — грог из ямайского рома, кубинский «бакарди», сухой лондонский джин, виски «кентукки», «таверн стрейт», французский «арманьяк»...

Ресторатор с нескрываемой гордостью продолжает называть все новые виды иноземного алкоголя, а затем и начинает подкреплять свою энциклопедическую осведомленность предметным показом заокеанских изделий в фирменной посуде с многокрасочными этикетками, наклейками, печатями, медалями, гербами, коронами...

Продемонстрировав авангардный эшелон горячащих напитков, ресторатор переходит ко второй шеренге — менее грозной продукции, акцентируя на итальянских аперитивах — «чинцано», «карпано», «кампари». Он бережно берет в руки каждую бутылку. Когда в его руках оказалась французский коньяк «наполеон», он, казалось, принял позу «смирно» и был готов отдать воинскую честь прославленному полководцу, как это предписано самурайским кодексом.

— Среди лучших разновидностей виски, — произносит он почти доверительно, — корона первенства, сэр, безусловно принадлежит «ройял скоч» — Джордж Балантайн, Джони Уокер («блэклебл» — черная этикетка), «импириел виски» и, конечно, шотландскому продукту «олд смаглер»... Уже сами названия — «императорское виски» или «старый контрабандист», — шепчет мне на ухо японец, — внушают какую-то трепетную почтительность...

И он снимает с полки необычную склянку, как бы примятую при нелегальном провозе, из бугристого стекла с матовой заиндевевшей поверхностью.

— Это уникальный напиток, непостижимая вершина подлинно европейской цивилизации.

— Но ведь и японское виски, особенно «сантори», кажется, славится теперь...

— Помилуйте, сэр, но это несопоставимо... то гениальность, а это — домодельное островное пойло, японская фальсификация!..

Рассуждения ресторатора, его манеры и жесты все более убеждают меня в том, что национальное изящество уживается в нем с развязностью янки. Это — типичный продукт внешней культуры: высшей мерой джентльменства он, конечно, считает отутюженные брюки и начищенную до блеска обувь. У него психология лавочника с кругозором курицы. Он занят спиртными авантюрами, гастрономией и демонстративным рассматриванием американских «комиксов».

Когда заговорили о напитке «универсального назначения», пригодном для любого случая, выбор пал на классическую «шерри» (вишневая настойка).

— Не составите ли компанию?

— Благодарю вас, сэр, но мне надо несколько экономнее пользоваться алкоголем, особенно с утра.

Общительность токийского ресторатора вознаграждает меня вскоре посвящением в таинства пополнения винного подвала его бара.

— Япония — нация торгующая: мы все покупаем, все продаем. Экспорт, конечно, — это прекрасно, но он, как одностороннее движение, ведет к застою или истощению ресурсов. Во всем необходима циркуляция, как в живом организме кровообращение. Япония, видите ли, никак не может без импорта... материального

и духовного, во всех областях. Импортные напитки — это как бы концентрированное выражение западной культуры, индустриальной и интеллектуальной.

— Но в Японии, кажется, существуют строгие импортные правила, таможенный барьер.

— Разумеется, как во всякой другой стране. Делать все надо, конечно, осмотрительно, с соблюдением... Мы во всем опираемся на самих стражей законности... Наша в высокой степени добропорядочная клиентура, поверьте, в первую очередь озабочена общегосударственными соображениями, интересами внешней торговли, дипломатии.

И ресторатор «совершенно конфиденциально» дает мне понять, что и сейчас во внутренних помещениях «Амбассадора», в более интимной обстановке, встречают Новый год солидные деловые люди, — «хай сосайети!» — высшее общество.

— Особенно гостеприимно двери «Амбассадора» открыты для иностранных гостей. Зарубежные бизнесмены, путешественники, дипломаты — наши желанные гости. И теперь их немало в наших залах. — И, словно в подтверждение японской мудрости: «Кто улыбаться не умеет, пусть торговли не начинает», — оделяет меня широкой улыбкой.

Я приглаждаюсь к посетителям бара и вижу группу загулявших янки, «тихих американцев». Они с высокомерным выражением, явно чванясь своей иностранной речью, своим неумением произнести хотя бы слово по-японски, взируют на все вокруг. И тем не менее даже на их самовлюбленных физиономиях проглядывает смущение тем подобострастием, которым они окружены здесь.

И я думаю, что за восторженным панегириком ресторатора импортированной алкогольной цивилизации, за восхищением заморским просвещенным гением, несущим-де благоденствие и культуру, стоит всего лишь жажда наживы на контрабандном джине, самый вульгарный блеск доллара. В глазах его я читаю раболепие и алчность торгаша, им владеет одна только мысль — что перепадет ему от богатого господина, от его американской клиентуры. И кутящие здесь политиканы и дельцы — той же породы, только покрупнее, и они тоже рассчитывают на подачку. Это те, кто угодничает перед иностранным капиталом. Они тревожатся лишь о том, что достанется им, чем пополнятся их кошельки да сейфы, и готовы изо дня в день постыдно поступать национальными интересами. Ведь «за деньги и черта можно заставить служить», — говорят японцы.

Я благодарю своего собеседника за внимание. Он расплывается в почтительной улыбке и исчезает в табачном тумане, из которого появился. Рассчитываясь с бартэндэром, я с похвалой отзываюсь о рестораторе, о его безупречном американском акценте, элегантности...

— И у него же часто бывает хорошая осанка, — не без злости процедил японец. Его тонкие музыкальные пальцы с огромным рубиновым перстнем на мизинце привычным жестом смахнули мокрое пятно на малиновой стойке. — С низшими — деспот, перед высшими по земле стелется, как циновка. Такие, как говорится, у начальства пылинки с бороды сдувают.

— Омэдэто! С Новым годом! — поздравляю я бартэндэра вместо прощальной фразы, отходя от стойки.

— Омэдэто годзаймас! — любезно отвечает он, отвешивая традиционный поклон.

... На эстраде появилась маленькая женская фигурка. Луч мертвенного неонного света озаряет ее всю, и мишурный наряд вспыхивает мириадами искр. Под густым слоем грима с трудом узнаются черты лица молодой японки. Она, кажется, сделала все, чтобы беспощадно расправиться со всеми признаками ее национального своеобразия, чтоб уподобиться заокеанским «звездам». Репертуару певицы чужды, разумеется, японские песни. Все исполняется ею не на родном языке. Вкусы «изысканной публики» требуют английского звучания. Японская певица обладает милым голоском, но она старательно подражает тем исполнительницам модных «твистов», «медисонов», «хитов», которые из-за отсутствия у них всяких признаков голоса поют в основном бедрами, закатывая глаза с наклеенными

ресницами. Странной работой всего тела — вращая корпусом, вибрируя конечностями — японка как бы старается подчеркнуть выразительность ритма.

Едва затихли аплодисменты, которыми была награждена певица, как в сизо́й дымной духоте вновь началось пьяное движение силуэтов...

Я припоминаю разговор с супругой Охара сэнсэй. «Наши мужчины по-прежнему, как и до войны, ходят едва ли не каждый вечер в бары и ночные клубы, развлекаются с новомодными гейшами — «баргерлз» и «хостес», — говорила она. — А жены сидят дома. Многие японки по старинке безропотно относятся к этому. И, открывая на рассвете двери, с традиционной покорностью встречают захмелевших мужей... С женщиной в Японии — увы! — никогда особенно не считались...»

В самом деле, сколько раз я сам наблюдал типичные для жизни среднего японца сцены: после таких вот ночных развлечений глава семьи, упившись до положения риз, буквально вползает на порог, а его покорная супруга с нежным участием помогает ему войти в дом, раздевает, укладывает, не смея ни одним словом упрекнуть, не то что устроить семейную сцену. Правда, в послевоенные годы японки обрели большую самостоятельность, многие из них работают — меняются и их нравы. Это заставляет и мужчин задумываться над своим образом жизни.

На улице по-прежнему бушует шквальный ветер, льет холодный дождь, громяхают грозовые раскаты. Но после удушливого микроклимата «Амбассадора» здесь легче дышится. Улицы покрыты сплошными потоками воды. По ним медленно, словно по реке, плывут токийские такси, и свет их фар едва пробивается сквозь плотную пелену дождя. В черных резиновых плащах маячат одинокие фигуры полицейских...

Мрачен и непригляден ночной Токио. Мертвый неоновый свет. Высокие непрозрачные стены, щиты, шторы. Все в глубокой тьме. И редкие прохожие скользят, как тени.

Днем Токио совсем другой. Пестрая толпа людей непрерывным потоком движется по узкому тротуару. Яркие женские кимоно придают неповторимый колорит токийскому уличному пейзажу.

Удивительно изящен национальный наряд японки — и повседневный, и праздничный. В кимоно проявляется самобытный вкус и утонченное ощущение прекрасного, которое сказывается и в фактуре ткани, и в картинности рисунка, и в мягких линиях покроя, и в общей композиции. Примечательно, что японки сохраняют поразительную верность своему национальному костюму. Кимоно для японок не просто одежда, это атрибут их национальной принадлежности. Мы видим их в кимоно повсюду: и дома, и в гостях, и на их родине, и в чужих странах. Экзотична и их обувь — «дзори» и «гэта», изготовленная из дерева и разноцветных тканей, существует множество ее конструкций и фасонов. Стук деревяшек о каменные плиты тротуара — характерная мелодия японской улицы, особенно в тихие утренние часы, когда просыпается город и начинается труд разносчиков продуктов, уличных торговцев, служивого и рабочего люда.

Но множество японцев давно уже свыклось с европейским костюмом, который они не только мастерски шьют, но и умеют носить. Они все более предпочитают европейский наряд, считая его более удобным для работы и повседневных занятий, для путешествий. Но в праздничные дни и в торжественных случаях японцы сохраняют верность своему национальному костюму — кимоно, которое они носят с большим достоинством.

Токио — гигантский город, поражающий всех своими великолепными отелями, громадными универсальными магазинами, равных которым нет, пожалуй, во всей Азии, «модерными» ресторанами, фешенебельными особняками, окруженными экзотической растительностью, бесконечным потоком современных автомашин, учащенной пульсацией городских транспортных артерий. В роскошных центральных районах Токио вам кажется, будто вы находитесь в крупном американском или европейском городе. Но это впечатление исчезает мгновенно, едва только вы сворачиваете с наиболее оживленных торговых магистралей, где непрерывной колонной движутся шикарные, обтекаемых форм американские автомо-

били, и входите в боковые улицы, где уже идут нескончаемые толпы людей, спешащих спуститься в подземелье городского метрополитена. Токио, как нам пришлось часто слышать от японских друзей, не только самый богатый, но и самый бедный город в Японии. Здесь рядом с уходящими вверх живописными террасами, блистающими современной роскошью центральными улицами располагаются мрачные кварталы трущоб — вместилище нищеты и лишений, попрапия и оскорбления человеческого достоинства. По сведениям японских газет, в Токио насчитывается более двухсот тысяч семейств, получающих пособие на поддержание жизни, и в десять раз больше семей, ожидающих его. Это означает, что в Токио каждый четвертый человек живет в нужде и голоде. И днем можно часто видеть десятки бездомных бродяг, роющихся в мусорных ямах в поисках остатков пищи или утиля, а с наступлением темноты устраивающихся на ночлег в тоннелях или под мостами. Общеизвестно, например, что вокруг парка Уэно тысячи людей живут под открытым небом. Самое поразительное то, что на каждые сто человек из них, по данным официального обследования, приходилось два человека с высшим и шесть человек со специальным образованием.

На Гиндзэ — самой шумной магистрали Токио — совсем рядом, бок о бок с многоэтажным универсальным магазином, созданным из железобетона и зеркального стекла, ютятся уютные лавчонки, торгующие испокон веков тушь и кистями для каллиграфической живописи, благовонными свечами и ажурными веерами из сандалового дерева. По соседству с роскошным, европейской архитектуры рестораном, где подают самые изысканные деликатесы, где непрестанно играет первоклассный джаз, а официанты облачены во фраки, располагаются жалкие харчевни с переносной — на коромысле — кухней; их клиенты — бедняки — прямо на тротуаре съедают грошовую еду. На лицах этих людей, стоящих у дымящей паром кастрюли, залегли темные, как мазки театрального грима, тени. Хозяин харчевни, в широком вязаном поясе и высоких, как скамеечка, деревянных «гэта», накладывает в миски еду — кусочки осьминога или каракатицы, — и люди старательно пережевывают их жесткое мясо.

В Токио почти не заметишь постепенного перехода от баснословно богатых кварталов к трущобам. Да, достаточно свернуть с главной магистрали, чтобы тотчас очутиться в совершенно ином мире: узкие, кривые улочки, хилые дощатые фанзы, тесно прижавшие друг к другу, кажется, только для того, чтобы не развалиться. Здесь люди живут не тронутой временем жизнью — такой она была, быть может, не одно столетие назад. У обитателей этих лачуг вид нищих, здесь копошатся голодные, изможденные дети, едва прикрытые пестрым рубищем. Кругом зловоние и грязь: здесь нет ни канализации, ни водопровода, ни цветов, ни деревьев. Все напоминает здесь громадный муравейник.

Но едва только успевают погаснуть последние лучи заходящего солнца, как над городом вспыхивают огни реклам. Неестественный, мертвенный свет неона льется с высоты токийских небоскребов, вздымающихся над морем приземистых дощатых лачуг и хижин из бумаги и бамбука. Пляшущие вспышки неоновых трубок в наиболее оживленном районе Гиндзы и Асакуса продолжают до поздней ночи, а нередко и до утренней зари. Иностранным туристам, впервые увидевшим ночной Токио, Япония кажется сверхблагополучной страной.

«Токио, — писала известная японская буржуазная газета «Майнити», — большой гигант. В нем сосредоточены самые пестрые элементы нищеты, страданий, печали и беспорядка, и эта злокачественная опухоль тяжело сказывается на всем характере города».

Во многом характеристика эта относится и к Осака, превратившемуся еще в XVI веке из маленькой рыбацкой деревушки Нанива в город, а в наше время ставшему вторым после Токио центром Японии. Осака по своему, если можно так сказать, складу и существу сродни Манчестеру или Чикаго. В этом индустриальном центре и международном порте проступают черты европейских промышленных урбанистических колоссов, их угрюмая железобетонная архитектура, вечно нависающая над ними серая, дымная мгла. И кажется, что на город, на его мут-

ные каналы, благодаря которым Осака называют «японской Венецией», все время сеется мелкий дождь.

И в Осака высотные громады — отели «Осака-Гранд», «Нью-Осака», здания банков, телевизионные и радиомачты — утесами возвышаются над морем крохотных бумажно-бамбуковых и деревянных домиков. На окраинах вокруг заводов и фабрик, в узких, захламленных переулках теснятся одноэтажные барачные корпуса с бумажными стенами, грязными и потрепанными, как одежда портового грузчика. Их обитатели довольствуются клетушками в три циновки. Чистоплотность как национальная черта японцев словно бы теряет здесь свою обязательность. Быт заводских и портовых тружеников Осака удивительно напоминает быт трущоб Чикаго, негритянского гетто Нью-Йорка, пригородов Рима... И тут и там следы нужды и лишений. Желто-зеленые лица. Худосочные дети. Запах пота и грязного белья.

В Осака судоверфь сливается с судоверфью, а самый привычный силуэт — это силуэт заводских корпусов и фабричных труб. Гигантские трубы химических предприятий колоннами подпирают небосвод, который, кажется, готов обрушиться под тяжестью свинцовых облаков дыма и испарений. По ночам на горизонте то тут, то там вспыхивают голубые электрические зарницы, как будто невидимые великаны пытаются сварить гигантскими дугами край побережья с океанским массивом. Вся обширная осакская гавань забита судами с флагами почти всех стран мира. К гавани спускается, окружает ее со всех сторон огромный припортовый квартал.

Однажды я с друзьями забрел в квартал, где расположены старинные ремесленные мастерские. Мы увидели здесь новый для нас мир — мир волшебников, мир виртуозного ручного труда. В нескончаемых лабиринтах узких улиц и переулков, в глубине допотопных кустарных мастерских, куда, кажется, никогда не докатится технический прогресс современности, веками изготавливаются тончайшие ажурные украшения и безделушки — подлинные художественные произведения. На крошечных верстачках с помощью примитивных приспособлений руки японских самобытных художников из слитков золота и серебра создают филигранные ювелирные изделия — образцы национального прикладного искусства.

* * *

Япония, как видим, полна контрастов и неожиданностей. Они обнаруживаются повсюду, во всем. Вековые традиции уживаются с самым новейшим модернизмом. Беспощадный, обличительный реализм — со сказочной экзотичностью. И во всем сложном переплетении этих контрастов особенно приметны чужестранцу нормы поведения. Учтивость, сдержанность, вежливость, такт — бросающаяся в глаза национальная особенность японцев, японского народа в его массе. Проявляется она и в большом и в малом, и в сельском захолустье, и в крупных городах. Почтительные поклоны, учтивые манеры, тактичность в отношениях друг с другом — этические нормы, своего рода моральный кодекс — прививаются с детства в школе и в семье. Детей обучают почтительному отношению к старшим, к равным, к младшим. Любовь к родителям, почитание старших, верность родине, культ дружбы воспитываются в них с самых малых лет.

Об этом напоминают повсюду. В общественных местах, особенно в школе и клубах, можно нередко встретить иероглифические свитки, каллиграфические панно с изречениями: «Человек не должен подчиняться ничему другому, кроме добра и учтивости», «Добро и вежливость — часть истинной индивидуальности человека», «Зло и грубость в любой их форме противоестественны». Подобные же надписи встречаются в магазинах, кафе, чайных.

Особую вежливость проявляют японцы при исполнении служебного долга или общественных поручений: персонал железной дороги, авиалиний, пароходного сообщения отличается необыкновенной учтивостью. Слова благодарности за внимание или малейшую услугу не сходят с уст простого японца. Он стремится ода-

рить каждого любезным взглядом, приветливым словом. Это для него норма, привычка.

Мы не переставали удивляться, видя повсюду приветливых и доброжелательных продавцов в магазинах, которые были одинаково любезны с нами и когда мы приобретали что-либо, и когда лишь знакомились с интересующими нас вещами; или видя шуточных и внимательных кондукторов автобусов, тактичных шоферов такси — не успев остановить машину, он протягивает руку, чтобы открыть вам дверцу, в машине японского таксиста всегда не только включен счетчик, но висят забавные безделушки или живые цветы, и у них непременно обнаруживается и сдача, и не тянется рука за чаевыми...

«Здесь обслуживание всегда сопровождается улыбкой и никогда — чаевыми!» — отмечает английский журналист Мишель Коннорс в своих очерках «Сервис с улыбкой». И «эта почти неправдоподобная комбинация, естественно, весьма существенно увеличивает удовольствие от посещения Японии». «И если, помимо прочего, я так рад вновь вернуться к себе домой, то это оттого, что мне не нужно постоянно беспокоиться о подачках на чай», — не без радости говорят японцы, побывавшие в заморских странах...

В самом деле, чаевые, как правило, не приняты в Японии, и, если они по незнанию кем-либо даются, их отклоняют или тут же с достоинством возвращают вместе с извинением за отказ...

Но зато, приходя в гости, принято обмениваться подарками. Приносят обычно пирожные, печенье, сладости и т. п. В магазинах существует особая упаковка покупок, предназначенных для подарка. Их завертывают в особую белую с красным бумагу и обвязывают бело-красной бечевкой, а на бумаге обычно отпечатан особый знак подарка — «носи». Иногда «носи» в виде особым образом сложенной бумаги с кусочком морской капусты внутри просто засовывается за веревку.

Гость всегда пользуется особым уважением. Принимая гостя, даже при деловом визите, полагается угощать чашкой чаю. От предложенного чая и угощения не принято отказываться.

Примечательно, что ни к чему не принято прикасаться, не извинившись предварительно перед хозяином и не спросив на то его разрешения. В летнее время у подушки, заменяющей стул, часто лежит веер, которым обычно пользуются только после того, как предложит хозяин, извинившись предварительно за бесцеремонность.

По традиции на следующий день после визита гость в письменной форме выражает благодарность за прием, заботы, угощение. Если гость и хозяин встречаются после визита на улице, они прежде всего с удовлетворением вспоминают о встрече, благодарят за визит, за внимание, оказанное во время посещения, и т. п.

Обычай гостеприимства сказывается и в том, как принимают покупателя в японской лавке. В пустую лавку входят, как в дом, с традиционной фразой, возмущающей о вашем приходе: «Гомэн насай!» — «Извините, пожалуйста!» «Ирасся-имасэ!» — «Пожалуйста!» — слышится обычно из глубины лавки голос хозяина. Покупатель может долго рассматривать товар, интересоваться разными вещами, расспрашивать хозяина, для чего употребляется тот или иной предмет, сколько он стоит и т. п. Он всегда получит вежливый ответ. Однако прежде чем взять что-либо в руки, японец покупатель извинится и спросит разрешения хозяина.

В быту строго соблюдается установленный порядок дня. Время еды определено точно и раз навсегда. Никакая срочная работа, развлечение, свидание, деловой разговор, как правило, не заставят изменить распорядок дня. Все дела прекращаются и откладываются на после обеда. Пища принимается три раза в день. В эти часы беспокоить неучтиво.

С прислугой в ресторанах, кафе обращаются вежливо. Стандартное обращение к официантке: «Тетто, нэ-сан!» — «Сестрица, на минутку!» Но тем не менее нередко можно наблюдать, как японки идут, тяжело нагруженные, а мужчины следуют рядом или впереди, восхищаясь силой и выносливостью своих жен.

Во время рассказа собеседника считается невежливым сохранять молчание. В таких случаях неоднократно повторяют излюбленное выражение: «Содэс ка?» — «Вот как?»

Знакомить без предварительного согласия принято лишь людей одинакового общественного положения. Обычно японцы представляют занимающему высшее положение в обществе лицо, занимающее низшее положение, только при предварительном его согласии на это.

По существующему этикету на улице лицу низшего положения полагается идти несколько позади лица высшего. Да и вообще японцы стараются идти несколько позади, чтобы подчеркнуть почтение к своему спутнику. Им очень импонирует подчеркнутая вежливость. Было бы, однако, ошибкой представлять абсолютно всех японцев образцом учтивости или тактичности. «И вежливость хороша вовремя». И «шляпу снимай лишь тогда, когда нужно»... — гласят японские поговорки. Тут, разумеется, имеют значение и обстоятельства, и характер взаимоотношений, и степень знакомства. Тут полное сходство с тем, что при входе в дом с зеркально полированным полом японцы снимают обувь и переступают порог в носках, а в школах и университетах все ходят в ботинках, всюду пыль, мусор, в классах никогда не топится, нет даже печей и отопительных приборов...

Нельзя считать большой редкостью, когда японцы, справедливо гордящиеся своей вежливостью, держатся вызывающе и когда на смену учтивости приходят грубость и надменность. Мы нередко видим деланно спокойное лицо, привычную маску японцев, рафинированная обходительность которых мгновенно сменяется грубостью, оскорблениями, цинизмом. Но даже при этом вежливость — одна из типичных черт японцев, народа в целом.

Вежливость и такт нашли отражение в лексиконе японца. Любопытны такие распространенные выражения, как «вежливость открывает все двери», «вежливость — залог успеха», «вежливость обязательна даже среди близких», «и с друзьями следует такт соблюдать» и т. п. Существуют специальные сборники, энциклопедические словари вежливой речи. Ни один, пожалуй, язык не содержит столько степеней вежливости, как японский.

В современном японском языке существует сложнейшая система, именуемая «вежливой речью». Умение быстро и правильно пользоваться такой речью составляет едва ли не самую трудную сторону японского языка. Иностранцы, хорошо владеющие японским языком, обычно употребляют лишь самые примитивные формы «вежливой речи», так как полностью овладеть этой системой «возвеличивания собеседника и уничижения себя» удастся только после длительной практики и постоянного общения с японцами. Разумеется, японцы прощают многие ошибки и упущения, допускаемые иностранцами, но они весьма требовательны и строги, когда собеседник-японец допускает нарушения сурово соблюдаемого «кодекса учтивости». Крупный знаток японского языка профессор Чемберлен считает, что «нет в мире другого такого языка, который содержал бы в себе такое огромное количество правил и оборотов вежливой речи, как японский».

«Вежливая речь» образуется путем подбора специальных слов и выражений и особыми морфологическими образованиями, специально предназначенными для этой цели. Вот несколько примеров. Чтобы сказать обыкновенное «нет, не имеется», нужно знать три степени этого отрицания: «най», «аримасэн» и «годзаймасэн», которые применяются в зависимости от ранга собеседников.

Весьма своеобразны формы и степени выражения благодарности. Обычное слово «спасибо» или «благодарю» приобретает самые различные оттенки в зависимости от социального и служебного положения собеседника, а также от характера услуги или внимания, за которые выражается благодарность. Для выражения благодарности за сувенир или подарок независимо, разумеется, от их материальной значимости, а также за всякую самую малую услугу, не сопряженную с затратой физических усилий, или за приглашение в гости применяется форма «О рэй о моосимас». Форма «О сэва сама ни наримаста» используется для выражения бла-

годарности, например, в значении «спасибо за внимание и обслуживание». Выражение «Итадакимас» преимущественно употребляется в тех случаях, когда с благодарностью принимает предложенное вам угощение. Для выражения благодарности в русском значении «спасибо за угощение» применяется форма «Го тисо сама дэсита».

Правильное употребление всех многообразных форм и степеней вежливости рассматривается японцами как само собою разумеющееся, поскольку они считаются естественными и усваиваются с самых ранних пор, буквально с первых шагов ребенка. И всякое отступление, а тем более нарушение в применении соответствующих форм и степеней осуждается как грубейшее нарушение элементарных и традиционных норм вежливости, неперенных правил общения. Столь самобытное явление, бытующее до сих пор в общественной жизни японцев, нередко ставит иностранцев в чрезвычайно трудное, а порой и смешное положение. Незнание этих условностей часто заставляет иностранцев, недостаточно хорошо знающих японский язык, отделяться молчанием, когда элементарная этика повелевает незамедлительно реагировать на соответствующие высказывания собеседника или «многозначительно» произносить ничего не значащие междометия.

* * *

Первый день нового года. Утром по старинному обычаю с новогодним поздравлением ко мне домой пришел сын профессора Охара — Тосио сан.

Тосио сан — аспирант Токийского университета. Он выглядит очень торжественно и празднично. На нем черный парадный халат с длинными широкими рукавами, из-под которых выглядывают белоснежные отвороты; на груди — украшения из тисненых позументов. Опустив руки, он почтительно склоняется в низком поклоне и негромко произносит приветственную фразу: «О мэдэто годзаймас!» — «Поздравляю с Новым годом!»

Ночного ненастья как не бывало. Наступило затишье, благостный покой. Как говорят японцы, стало «тихо, как после наводнения».

Я живу за городом, в небольшом японском домике у самого берега моря. Из одного окна я вижу сверкающие громады токийских небоскребов, а из другого открывается далекий горизонт, где зеркальная поверхность воды почти незаметно сливается с небосводом. Едва колышущаяся морская гладь покрывает все пространство от застывшего каменного побережья до слияния с небом. Через открытую раму окна в комнату доносится запах свежей, только что выловленной рыбы — привычный запах японского рыбацкого поселка, приморских селений.

В деревнях — и в глубинных, и в прибрежных, где японские крестьяне прадедовским способом черпают воду из колодцев при помощи дубовой бадьи, — в народе живет древний обряд — наполнение первой бадьи водой в новом году. «Вака мидзу» — «молодая вода», воспетая японскими поэтами и народными сказителями многих поколений, — символ жизни и здоровья, неизменно вызывает у японцев чувство благоговейного поклонения.

По очень древнему обычаю японские крестьяне поднимаются в первый день нового года вместе с солнцем, умываются «молодой водой», облачаются в праздничные кимоно и всей семьей, во главе со старейшим в роду, собираются в лучшей комнате дома. Здесь, под кровом своих предков, они обмениваются новогодними поздравлениями, добрыми пожеланиями и пьют «фукутя» — «чай благополучия», приготовленный из «молодой воды». Он готовится в старинной бронзовой или чугунной посуде, безупречно вычищенной внутри, но покрытой густым слоем копоти снаружи от долголетнего пользования ею. Пьют японские крестьяне обычно либо зеленый чай, либо настой из особым способом обработанных морских водорослей, богатых йодом и минеральными солями. К «чаю благополучия» подаются маринованные абрикосы: считается, что зеленый чай и острые маринованные абрикосы и сливы благодаря их целебным свойствам оберегают человека от разного рода недугов.

В середине новогоднего дня я со своими друзьями совершил небольшую прогулку в соседний рыбацкий поселок. Он состоит из нескольких домиков, крытых рисовой соломой, с раздвижными бумажными рамами. Мы подошли к одному из них.

Навстречу нам вышел хозяин — коренастый, почерневший от солнца и морского ветра. В первые минуты он, видимо, чувствовал себя смущенным — понимают ли гости по-японски, но когда сомнения его рассеялись, он глубоким поклоном, почти до самой земли, пригласил нас войти в бревенчатый домик с дощатыми подвижными перегородками внутри и бумагой вместо стекла на окнах. Все здесь крайне просто. Никакой мебели. Свежие светло-зеленые циновки служат обитателям дома и полом, и ковром, и местом ночлега.

Хозяин приглашает нас присесть. Мы сели, поджав под себя ноги. И в этом было что-то очень простое, естественное, пробудившее приятные воспоминания детства, которое прошло на далеком отсюда Кавказе. — и там в горных аулах и по сей день сохраняется обычай сидеть на ковре, разостланном на полу.

К нам, столь внезапно появившимся иностранцам, хозяин проявляет обычное для японцев гостеприимство. Но этот простой и тактичный человек не торопится досаждать нам расспросами. Из соседней комнаты входит хозяйка в скромном опрятном халате. Переступив порог, она тотчас же опускается на колени и приветствует нас долгим поклоном, почти прильнув к самой циновке. Потом она поднимается и так же безмолвно выходит в соседнюю комнату. По виду ей лет около сорока. Правильные черты лица. Приятная, бесхитростная улыбка. Мягкие движения.

Через несколько минут она входит снова, неся поднос с чаем.

Опустив поднос на циновку, прежде чем подать его гостям, японка садится на колени и не спеша берет каждую чашку с зеленым чаем обеими руками — что должно выражать ее почтительность, — подает гостям. Она проделывает ту же процедуру перед каждым из нас — подходит, становится на колени, осторожно берет чашку обеими руками и ставит ее так, чтобы ею было удобно пользоваться. И ставит не просто, а слегка поворачивает чашку и потом лишь отнимает от нее руки. Эти ритуальные тонкости едва уловимы для глаза иностранца. Движения натруженных рук нашей рыбачки, потрескавшихся на морском ветре, совершенно естественны и пластичны.

Поставив чашки с чаем, японка снова выходит: я знаю, сейчас она принесет сладости — непременно угощение и в роскошных гостиных, и в доме простого японского труженика. Но она вносит хризантемы. Я озадачен — каково их назначение? Но оказалось, что хризантемы сделаны из сахара. А у нас и малейшего подозрения не возникло, что это цветы неживые. Кондитерское мастерство жены рыбака вызвало у нас восхищенье. Мы долго не могли отвести глаз от тончайших лепестков и листьев, сделанных из обыкновенного тростникового сахара. Впечатление о «натуральности» хризантем усиливалось тем, что они лежали в небольшой корзинке из ивовых прутьев и казались только что сорванными в саду.

Много времени прошло с того новогоднего дня, когда в домике японского рыбака нас так удивил и восхитил эпизод с хризантемами. Впоследствии мне не раз приходилось бывать на многих выставках живых и искусственных цветов, видеть прекрасные коллекции изделий японских умельцев, которые не раз изумляли меня изощренной фантазией, нестоимым воображением. Но простая плетеная корзиночка с хризантемами из сахара встает в моей памяти каждый раз, когда я пытаюсь отличить правду искусства от искусной подделки.

Японская рыбаčka из маленького поселка, где жизнь проходит в суровой борьбе с морской стихией, с тайфунами и хищниками, конечно, не от скуки занималась своим искусством. В доме рыбака все говорило о скромности и даже нужде. И японка стремилась хоть чем-то сгладить постоянное ощущение бедности. Просто сахар, поданный к чаю, не может скрасить положения. Секрет — в мастерстве. Искусные руки и художественный вкус преобразили обстановку бедного домика, вдохнули в него красоту и радость...

* * *

Дорога от ворот нашего дома проходит среди рисовых полей, и мы, направляясь в город, нередко задерживаемся, глядя на труд японских крестьян. Они обрабатывают свои крохотные участки так тщательно, как граверы свои филигранные изделия. А вокруг теснятся домики с решетчатыми стенками, жмущиеся друг к другу, точно озябшие существа. А над их чешуйчатыми кровлями — роща крестообразных телевизионных антенн.

В японской деревне в значительной степени сохранились старые земельные отношения. С незапамятных времен все лучшие пахотные земли, прежде всего поливные рисовые поля, принадлежали феодально-помещичьим семьям, составлявшим ничтожное меньшинство сельского населения. Миллионы деревенской бедноты столетиями трудились на чужой земле, находясь в рабской зависимости от владельцев латифундий.

При весьма высоком техническом уровне промышленного развития в Японии поражает невероятная техническая отсталость сельского хозяйства. Основными орудиями обработки земли остаются, как и многие века назад, деревянная соха, водяной буйвол и допотопная мотыга, которой человечество научилось пользоваться на заре первобытной цивилизации.

Крестьянские руки, в немалой мере руки детей и женщин, взрыхляют землю и орошают ее таким же способом — стоя по пояс в глиняном болоте, — как, вероятно, и тысячелетия назад. Безмерно монотонен изнуряющий труд на рисовых плантациях, особенно в период летней жары.

* * *

Кончается первый день нового года. В сумерках мы выходим из дома и бредем по тропинке, усыпанной острыми обломками скал. С моря веет солоноватой свежестью. Над нами ветви могучих криптомерий и сосен, а поодаль сиротливо прильнули друг к дружке белые березки. Вокруг первозданная тишина. И этот каменистый берег, и набегающие на него мелкие волны, и вековые криптомерии — это то вечное и прекрасное в природе, что всегда приносит радость человеку в его полном тревог бытии. «Государства гибнут, а горы и реки остаются», — вспомнилась мне японская поговорка. Мы глядим на всю эту красоту, и у нас, россиян, сладко и больно щемит сердце при мысли о березах, а перед глазами возникает зимняя картина родного Подмоскovie и белая, заснеженная березовая роща.



ПУБЛИЦИСТИКА

К. ЛАГУНОВ

★

НЕФТЬ И ЛЮДИ

1

Директивы XXIII съезда КПСС воплощаются в новый пятилетний план — строго продуманный, научно обоснованный, точно учитывающий экономический потенциал, реальные возможности страны и жизненные нужды народа.

И доклады Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина, и речи делегатов съезда, и все его решения пронизаны заботой о возможно более скором и полном удовлетворении всех потребностей советских людей. Все, что они воздвигнут, создадут, добудут, соберут, откроют, — все это для них, во имя их.

Представьте себе карту Советского Союза 1970 года. Сколько будет на ней новых городов, дорог, электростанций! Особенно много их появится за Уралом, там, где ныне шумит зеленый океан тайги, в том числе и на территории крупнейшей в стране Тюменской области.

Полтора миллиона квадратных километров занимает эта область, простирающаяся от жарких степей Казахстана до вечной мерзлоты Заполярья. Двадцать пять тысяч больших и малых рек, десятки тысяч безымянных озер. Болота, болота, болота. Непроходимые таежные урманы. Безлюдье. Бездорожье. Свиристый гнус.

Глухим и отсталым был этот край до сравнительно недавнего времени. Жизнь текла неторопливо, взгляды и вкусы менялись медленно, неохотно.

Так продолжалось до той поры, пока в этих краях не были открыты крупнейшие в Союзе месторождения нефти и газа и Тюмень оказалась столицей Сибирского нефтяного континента.

Шесть лет прошло с того дня, когда забил первый нефтяной фонтан в Шанме, а как изменилась жизнь края. Эти перемены особенно заметны в самой Тюмени. Два новых вуза. Девять научно-исследовательских институтов и филиалов. Сто пятьдесят докторов и кандидатов наук. Десятки вновь созданных главков, трестов, управлений нефтяной и газовой промышленности. Новые улицы, проспекты, комбинаты, заводы. Продукция тюменских предприятий экспортируется в сорок две страны мира.

А какие перспективы, какие захватывающие дух горизонты открывает перед этим краем новая пятилетка!

«В Западной Сибири, — говорил А. Н. Косыгин на XXIII съезде КПСС, — на базе вновь открытых месторождений нефти и газа будут построены крупные промыслы; к концу пятилетия здесь будет добываться нефти столько, сколько сейчас добывается в Азербайджанской республике».

В мае 1964 года началась пробная эксплуатация нефтяных скважин Усть-Балыкского и Мегионского месторождений. С тех пор страна получила более миллиона тонн тюменской нефти. В этом году нефтяники Тюмени добудут уже не менее трех миллионов тонн, а в последнем году пятилетки — не менее двадцати миллионов тонн нефти.

Если учесть, что основные месторождения нефти расположены в глухих, труднодоступных таежных районах, вдали от городов и дорог, то можно с полным

основаннем сказать: мировая практика разработки нефтяных месторождений еще не знала таких темпов и масштабов.

Уже вступил в строй первый магистральный нефтепровод Шаим—Тюмень. Четыреста двадцать шесть километров через болотные топи, лесные дебри, стремительные, полноводные реки. Форсируется строительство нового нефтепровода Усть-Балык—Омск. Его трасса пролегает по такой глухомани, где на сотни километров ни жилья, ни дорог, ни следов человека.

Завершен первый газопровод Игрим—Серов: пятьсот двадцать восемь километров! По нему ежегодно будет перекачиваться на Урал десять миллиардов кубометров тюменского газа. Скоро из самых северных районов области новый газопровод потянется в Ленинград, Белоруссию, Прибалтику.

Среди тайги и болот поднялись новые города и поселки — Урай, Нефтеюганск, Мегион, Правдинск. По глухим лесным чащам пролегли новые железные дороги: Ивдель — Обь, Тавда — Сотник. В недалеком будущем стальные рельсы протянутся от Тюмени через Тобольск в Сургут.

Со всех концов страны непрерывным потоком поступают в Тюмень машины, механизмы, энергопоезда, строительные материалы, топливо, металл. Нефтяники Башкирии, Татарии, Азербайджана послали лучших специалистов на сибирскую нефтяную целину, объявленную всесоюзной ударной комсомольской стройкой...

История того, как открывали сибирские нефтяные богатства, еще не написана. Но это уже история. Этап, пройденный нами, стал хоть и не отдаленным, не остывшим, но все же прошлым. Предоставим же историкам и романистам глубокое изучение и подробное описание невиданного даже в нашей героической истории многолетнего, напряженного, полного драматизма и пафоса единборства человека с природой. Не все вышли из этого жестокого поединка живыми и невредимыми.

Сорвавшаяся с буровой вышки ледяная глыба убила московского инженера Лютова.

Трагически погиб начальник партии Павел Воронов вместе со своим заместителем и техноруком.

«Выписка из истории болезни № 242.

Ермолаева Евгения Георгиевна, 37 лет.

Лаборант экспедиции.

Дистрофия на почве долгого голодания.

Заблудилась и с 3 по 25 июля 1965 года находилась одна в тайге, без спичек и пищи, питалась прогорклой клюквой и брусникой...»

Но первые страницы истории завершены блистательной победой. Ученые мира провозгласили открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции величайшим открытием двадцатого века. Доклады о тюменской нефти горячо обсуждаются на международных конгрессах и симпозиумах в Германии, Индии, Японии. «Тюмень — энергетический гигант мира», — провозгласила американская пресса. Пятьдесят шесть месторождений нефти и газа. Миллиарды тонн, триллионы кубометров прекрасного топлива и отличного химического сырья подарили родине тюменские геологи.

Отстремели салюты, отзвучали праздничные тосты, высохли чернила на триумфальных рапортах. Первый фонтан. Первая тонна промышленной нефти. Первый шов на трубопроводе. Все было первым, и все уже в прошлом.

А впереди самое главное: отпереть подземные кладовые, достать из них все сокровища, причем с наименьшей затратой сил.

Геологи снимаются с насиженных мест и уходят в глубь тайги, в тундру, к побережью Ледовитого океана, уступая отвоеванные плацдармы нефтепромысловникам и строителям. Этим отсюда некуда уходить, им надо обживать таежный край, строить города, дороги, добывать нефть.

Люди людям и для блага людей — таков основной закон нашего бытия.

2

Сердце Западно-Сибирской нефтяной провинции — Сургутский район. Здесь расположены самые мощные месторождения. Отсюда потянулся в Омск гигантский нефтепровод. Сюда нацелена строящаяся железнодорожная ветка от Транссибирской магистрали. В Сургут днем и ночью прибывают самолеты из Тюмени, Свердловска, Салехарда. Сургутский аэропорт ежедневно «переваривает» не менее тысячи пассажиров. Над городом не затихает рев АН-24, протяжный гул ЛИ-2, пулеметная стрекотня вертолетов всех марок.

Кто только не едет в Сургут! Высококвалифицированные специалисты геологии и нефтяной промышленности, архитекторы, проектировщики, строители всех отраслей и рангов. Их ждут, встречают.

В полном составе приезжают буровые бригады из Татарии и Башкирии. Целыми подразделениями прибывают демобилизованные воины. Скопом, всем курсом приземляются выпускники профтехучилищ.

А сколько едет сюда романтиков, искателей счастья, любителей приключений! Они едут налегке, на последние деньги, а то и вовсе без денег. Весь их скарб умещается в заплечном мешке. Эти хотят все испробовать, все изведать, ко всему приложить свои жадные до работы руки.

В нескончаемом человеческом потоке, хлынувшем на Север, есть и надломленные судьбою люди, кинувшиеся в лесной край, как в спасительную гавань, с надеждой укрыться от житейской бури, спрятаться от самого себя.

Сургут расположен на стыке сухопутных дорог, водных путей и авиалиний. Куда бы ни лежал твой путь: в Нефтеюганск или в Нижнеуртовск, в Правдинск, в Мегион или в иной менее известный поселок вроде Трамагана или Варь-Ёгана — все равно Сургута не миновать. Здесь пересадка. И с той минуты, как ты ступил на сургутскую землю, твоя судьба зависит не от погоды и не от расписания, а от обстоятельств, необъяснимых и никому неведомых. Ты можешь отсюда улететь через час, а можешь просидеть неделю, десять дней, ожидая попутный спецрейсовый самолет или вертолет. И даже для рейсовых самолетов не существует обязательных расписаний. Сиди и жди.

В зале ожидания Сургутского аэропорта, как в галерее ГУМа.

Молодая женщина в повязанной по моде красной косынке укачивает на руках ребенка. У нее усталое, бледное лицо, безразличный взгляд. Это харьковчанка Валя Брижатая. Она ждет самолет в Нижнеуртовск.

— Кто там у вас? — любопытствовала от скуки соседка по скамье.

— Вся родня. И родители и муж. Они с отцом буровики.

— Давно вы здесь?

— Третий день. Обидно очень. Всего сорок минут лёту. Хоть бы комната отдыха была. Ни поспать, ни поесть нигде. Даже газетного киоска нет.

— Три дня — чепуха, — забасил парень в демисезонном пальто, надетом поверх стеганки. — Я вот десятый день сижу. В Угут мне надо. Друг там работает. Решил и я туда. В Угут не летают. Знал бы дорогу, давно пешком ушел. Тут, говорят, всего сто километров. А я охотник. Мне не привыкать по тайге шастать. Хоть бы кто сказал, в какую сторону идти...

Неприветливо встречает Сургут новоселов. А ведь можно же иметь в аэропорту какое-нибудь бюро по перевозке пассажиров в места, куда не летают рейсовые самолеты. И гостиницу, и столовую, и все иные службы быта нужно, да ведь, наверное, и можно здесь иметь.

Сургут — старинный город Сибири. Он доживает уже свой четвертый век. На одиннадцать километров вдоль Оби протянулись нестройные ряды просторных бревенчатых изб с тесовыми крышами, с потемневшими от времени и непогоды резными наличниками. Перед избами — обнесенные штакетниками палисады, где в дремотном безмолвии застыли побеленные снегом елочки, закружавленные березы да черемуха. Вдоль заборов высятся огромные сугробы. Из них косо тор-

чат почерневшие телефонные столбы. Наезженная до желтого блеска дорога петляет по проулкам, прыгает по ухабам. Над кровлями лениво кольшутся темные пушистые хвосты дыма. По улицам спуют собаки — мохнатые, рослые, равнодушные ко всему происходящему вокруг. В солнечные дни озябшие псы забираются на крыши низеньких амбарушек, на вершины сугробов и, безжизненно распластавшись там, подолгу неподвижно лежат, подставив лохматые спины скупому северному солнышку.

Редкие прохожие, подгоняемые морозом, почти бегут. Слежавшийся снег тоненько повизгивает под ботинками, умиротворенно урчит под валенками и унтами. Унты здесь самая распространенная обувь. меховые, обсоюженные кожей, на толстой войлочной подошве — они легки, теплы и удобны. Даже далекие от геологии люди щеголяют в унтах и куртках на меху, с застежками-молниями. Эта своеобразная униформа — одна из внешних примет нынешнего Сургута.

На автобусных остановках весь день людно. Ожидающие пританцовывают на месте, хлопают рукавицами, крикают, вполголоса клянут застрявший в пути автобус. Иногда его приходится ждать по получасу, а то и более. Намерзшиеся люди ожесточенно штурмуют двери переполненной машины. Побеждают наиболее ловкие и сильные. Остальные вольны выбирать: либо еще полчаса торчать на лютом холоде, либо добираться пешком. А если мороз за сорок да с ветерком? Тут уже не раз ругнешься в сердцах, пока дошагаешь до дому.

До 1963 года Сургут рос черепашьими темпами. Каждый новый дом был событием. Каждый свежий человек сразу брался под прицел десятка любопытных глаз. Невесты знали всех женихов в городе. С 1959 по 1963 год число жителей увеличилось немногим более чем на полторы тысячи человек. А вот за последние два года население Сургута сразу выросло в два с половиной раза: с восьми до двадцати тысяч. Это не удивительно. Ведь до шестидесят третьего года ни Госплан, ни союзный совнархоз не признавали сибирскую нефть, считали ее мифом. И только когда запасы открытых месторождений стали исчисляться сотнями миллионов тонн, когда успешно прошла пробная эксплуатация основных месторождений, тюменскую нефть признали. Принимались решения, отпускались средства, направлялись специалисты.

За последние два года в Сургуте появилось сорок новых учреждений — трехствов, управлений, контор и иных организаций, занятых разведкой и добычей нефти, организацией нефтепромыслов. И все они поневоле пытаются закрепиться на уже обжитом пятачке, обойтись тем жилфондом, теми службами быта, культуры, связи, которыми обходился заурядный сибирский райцентр, каковым и был до недавнего времени старинный Сургут.

Аврал всегда порождает опасные перекосы. И если с помощью аврала можно выдрать палубу корабля, вытащить цех из прорыва, вытянуть заводской план, то превратить таежную глухомань в современный индустриальный центр авралом нельзя. Хлынувшие в Сургутский район строители и нефтепромысловики оказались в положении человека, одетого с чужого плеча. Надо бы побыстрее шагать, да обувка тесна, ноги трет. Надо бы размахнуться пошире, да узкий пиджак не пускает. А остановиться, перекроить тесную, не по росту одежду не дает план нефтедобычи. Он беспощадно гонит вперед и вперед. Вот и приходится на бегу перешивать...

И все же Сургут рос не только числом жителей. На Черном Мысу на месте пустыря встали шеренги двухэтажных белостенных домов — целый городок. А на противоположной окраине города, на Белом Яру, потеснив тайгу, вырос большой поселок НПУ (нефтепромыслового управления). Там лучший в Сургуте промтоварный магазин, хорошая столовая, ремонтная база, склады.

Нефтепромысловикам предстоит превратить глухоманный край в «третье Баку» по счету и в первое по значимости. Командный состав и большая часть специалистов Сургутского НПУ — люди бывалые, не один год проработавшие на нефтепромыслах Татарии, Башкирии, Азербайджана.

Вот главный геолог Сургутского нефтепромыслового управления Рафкат Шакирьянович Мамлеев. Невысокий, худощавый. Узкое с выдающимися скулами лицо, небольшие живые глаза. Черные усики, черные взлохмаченные волосы. Воротник свитера кажется непомерно большим на его тонкой длинной шее. Руки беспокойные, нервные. Он то и дело вскакивает с места. Пройдет по кабинету, остановится перед картой, мельком глянет за окно и снова на минутку присядет к столу. Начиная доказывать правильность своих взглядов, он горячится, размахивает руками, становится едким и язвительным.

Рабочий кабинет Мамлеева невелик. На стене — геологическая карта Западно-Сибирской низменности, схема размещения буровых. Стол завален бумагами, книгами. Тут же лежат моложок и отвертка.

Мое внимание привлекла стопка книг на английском языке. Я взял одну. Это был Хаггард — «Люди тумана». Перехватив мой взгляд, Мамлеев обронил мимоходом:

— Боюсь позабыть. Язык требует постоянной тренировки.

И снова заговорил о том, что его больше всего волновало.

— Мы уже полтора года здесь, а проект разработки все еще не утвержден. Постоянной схемы нет. Живем одним днем, как временные жильцы. Ни уровень добычи, ни количество скважин, ни система давления на пласт — ничего толком неизвестно. Все как-нибудь да кое-как. Уж больно далеко от нас живут проектировщики. Посудите сами, сорок НИИ и проектных организаций заняты проблемами тюменской нефти и газа. Сорок! И только два из всех этих учреждений — в Тюмени. А остальные в Москве, Ленинграде, Киеве, Куйбышеве. Проектанты бывают здесь лишь наездом. Чтобы выработать проект разработки Усть-Балыкского месторождения, мы десятки раз собирались и в Москве и в Тюмени... — Он невольно улыбнулся. — Когда летом шестьдесят четвертого собрались в Москве, нам предложили строить здесь эстакады и вести подводную добычу нефти, как в Баку. Непонятно? Нам тоже было ни черта непонятно. А все оказалось проще простого. Проектировщики приезжали сюда в июне, во время весеннего паводка. Посмотрели на залитый водою лес и решили строить эстакады... Надо наконец все эти Гипр, Гидр, Лен, Мос и прочие проектные организации собрать в одно целое и посадить здесь, на то самое место, судьбу которого они решают...

Слушая гневную речь Мамлеева, я вспомнил отчет о подготовке к строительству нефтепровода Усть-Балык — Омск, самой важной, самой крупной магистрали, по которой хлынет сибирская нефть, — с которым имел случай познакомиться. Документ этот датирован 1 августа 1965 года, а к апрелю 1966-го строители должны были дотянуться до Демьянска, уложив двести девяносто шесть километров труб. Через болота, при полном отсутствии дорог и средств связи, при расчетной температуре воздуха минус сорок градусов. Десятки строительных организаций, прибывших на место стройки, имели в своем распоряжении всего тридцать — сорок навигационных дней, чтобы по рекам подвести необходимое оборудование, механизмы, материалы. И в том же отчете я прочитал: «До сих пор полностью отсутствует проектно-сметная документация. Не открыто финансирование строительства».

Волчьей ямой на пути пионеров сибирской нефтяной целины чернеет эта отсутствующая проектно-сметная документация, и ни обойти ее, ни объехать. За то, что где-то, в какой-то высокой канцелярии кто-то вовремя не рассчитал, а кто-то не подписал нужную бумагу, приходится расплачиваться такой ценой, которую не выразишь в рублях. Можно подсчитать разницу стоимости провоза оборудования по воде и по воздуху, можно исчислить убытки, которые понесут строители из-за вынужденного простоя. Но как подсчитать, да и в каких единицах измерения выразить тот моральный урон, который наносит эта вопиющая безответственность, неорганизованность, межведомственная неразбериха и путаница?

Да не так-то уж мы и богаты, чтобы из-за чьей-то тупости и беспечности швырять на ветер миллионы народных рублей. А ведь здесь не то что копейку, но и червонец не берегут: «Нефть все спишет...»

Получаемые при испытании скважин сотни тысяч тонн первосортной нефти либо тут же сжигают, обогревая белый свет, либо спускают в озера и реки, морят рыбу. Зато котельные топят привезенными за тысячи километров углем или соляной...

Начата промышленная добыча нефти. Вступил в строй один, строится другой нефтепровод. А куда девать сотни миллионов, миллиарды кубометров попутного газа — великолепного сырья и топлива? Их сжигают в факелах на ветру.

За многие тысячи километров везут в нефтяные районы пиломатериалы, от строительного плаха до тарной дощечки, а сотни тысяч кубометров прекрасной древесины ежегодно вырубается на профилях, дорогах, стройплощадках и остается гнить там, где ее свалили, да еще за бесхозяйственность порубщики (геологи, нефтяники, строители) выплачивают лесхозу огромные штрафы.

Для укладки последних километров трассы нефтепровода Шаим—Тюмень не хватало труб. Из-за чьей-то нераспорядительности их во время навигации не подвезли, а пусковой срок приближался. Тогда руководство стройки решило возить трубы на вертолетах МИ-6, выплачивая за каждый час работы воздушного гиганта по тысяче четырехста рублей. В общей сложности за подвозку нескольких километров труб пришлось уплатить четырехста тысяч рублей. Этих расходов можно было избежать, если бы планирующие и проектные организации ответственнее, заинтересованнее относились к тем, кого они призваны обслуживать.

А какие смешотворные казусы получились при застройке Нефтеюганска! На том месте, где одни запроектировали пристань, другие наметили строить клуб, третьи решили проложить шоссе...

— До каких пор будет страдать дело из-за ведомственной неразберихи, оторванности планирующих организаций от места, бюрократической волокиты?

Что я мог ответить разгневанному Мамлеву? А он выжидательно молчал и смотрел на меня так, словно ответ на этот всем навязший в зубах вопрос лежал в моем кармане. Хорошо, что зазвонил телефон. Жена напомнила Рафкату Шакирьяновичу: пятый час, а он еще не обедал. Мамлеев пригласил меня к себе домой. Ввел в гостиную, обставленную современной мебелью, познакомил с женой и квартиранткой учительницей. Мамлеевы приютили ее с мужем на время, пока достраивается дом, где им обещана квартира. Мамлеев заговорил с учительницей по-английски. Забавно было смотреть на этого человека с обветренным скуластым лицом, в дубленом черном полушубке и высоких валенках, когда он, стоя посреди гостиной, старательно выговаривал по-английски:

— Надеюсь, у вас сегодня отличное самочувствие?..

Женщины ушли в кухню и занялись пельменями, хозяин, извинившись, вышел в соседнюю комнату переодеться, а я стал знакомиться с книжными полками. Среди сочинений Горького, Диккенса, Стендаля, Тургенева, современных советских и зарубежных писателей выделялся непомерно большой том в ледеринковом переплете. Оказалось, кандидатская диссертация хозяина. Вот уж действительно упорный, целеустремленный человек. Ему тридцать шесть, и половине из них равен его трудовой стаж. Октябрьское, Туймаза, Альметьевск, Азнакай — памятные вехи развития отечественной нефтяной промышленности, они же и вехи трудовой биографии Мамлеева. За восемнадцать лет пройден нелегкий путь от рядового оператора до главного геолога нефтепромышленного управления. И в то же время окончен вуз, аспирантура, защищена кандидатская диссертация. И ею он не собирается кончать свою научную работу.

— Ничего не поделаешь, — шутит он, — сила инерции.

Хорошая инерция. Дай бог каждому такую.

Разговор за столом снова о нефти. И не удивительно: жена Мамлеева и муж квартирантки учительницы тоже работают в НПУ. В Сургуте говорят о нефти все и всюду: и на свадебном пиру, и на поминках, и в клубе, и в школе, и в автобусе.

Как быстрее и с минимальными затратами средств организовать добычу нефти? Вокруг этого и завертелся наш разговор. Оказывается, происходит борьба

двух теоретически обоснованных точек зрения на методы разработки нефтяных месторождений Западной Сибири. Они отличаются густотой скважин и методами воздействия на пласты. Сторонники первой — ее отстаивают некоторые тюменцы, особенно Мамлеев, — предлагают редкую сетку скважин и активное воздействие на пласт методом внутриконтурного заводнения. Сторонники другой ратуют за частую сетку и отказ от заводнения, что давно уже применяется во «втором Баку».

Если принять предложение первых, то на разработку Усть-Балыкского месторождения следует затратить двадцать шесть миллионов рублей, пробурить двести сорок скважин, доведя годовую добычу нефти до десяти миллионов тонн — с себестоимостью тонны немногим более двух рублей. А если следовать вторым путем, то на разработку того же месторождения придется затратить пятьсот миллионов рублей, пробурить свыше пятисот скважин и добывать семь миллионов тонн по себестоимости шесть рублей тонна. После долгих дебатов была утверждена сетка разбуривания — сорок два гектара на скважину.

— Это, конечно, хорошо, что нам удалось доказать свою правоту. И все же мы не дошли до конца, остановились на полдороге. Вот посмотрите сюда. — Мамлеев проворно положил на стол лист бумаги, извлек из кармана карандаш и крупно написал цифру «200». — Столько миллионов тонн нефти в год должна давать Тюменская область в ближайшие десятилетия. Если разбуривать месторождение по сетке тридцать гектаров на скважину, то на устройство промыслов потребуется одиннадцать миллиардов рублей. А если по шестидесятигектарной сетке, то лишь пять миллиардов. При сетке же сто — сто двадцать гектаров на скважину потребуется всего три и две десятых миллиарда, то есть восемь миллиардов рублей экономии и те же двести миллионов тонн. Подумайте-ка об этом!

Свое предложение Мамлеев высказывал в печати, на разных заседаниях, в докладных записках. Но руководители Главтюменнефтегаза не решаются на это. Ведутся бесконечные дебаты, унылая переписка. А время уходит. Не пора ли включиться в этот затянувшийся спор и Госплану, и Министерству нефтяной промышленности, и научно-исследовательским институтам страны и задуматься всерьез? Ведь дело-то безотлагательное, а цифра выигрыша, прямо скажем, астрономическая.

3

И еще одно дело. Оно еще безотлагательнее и болезненнее для всех, кто готов отдать свои силы, чтобы тюменская нефтяная целина была освоена как можно скорее.

В Нефтеюганске на 1 декабря 1965 года проживало более одиннадцати тысяч человек. В их распоряжении имелось 25 263 квадратных метра жилой площади. Если положить по пять метров на душу — значит, в поселке можно «разместить» пять тысяч человек. Где же живут остальные? В «балках» (железных и деревянных вагончиках), в «кунгах» (автомобильных кузовах), землянках, «насыпушках» и даже в палатках.

С марта 1964 года конторой бурения № 1 принято на работу более двух с половиной тысяч человек, а по состоянию на 1 декабря прошлого года в ней числится только семьсот восемьдесят один, остальные уволены. Причина увольнения единственная — отсутствие жилья.

Телеграмма в трест бурения Главтюменнефтегаза из Нефтеюганска от директора конторы бурения № 1 Филимонова: «Состояние 15 ноября УБКРБ № 1. Причине отсутствия жилья осталось только четыре бурбригады. Ежедневно приходят буровики заявлениями увольнении. Коллектив полученный большим трудом распадается. Помогите сохранить коллектив Филимонов».

Говорит начальник Главтюменнефтегазстрой А. Барсуков: «Проектные институты, не задумываясь над гидрогеологическими, климатическими условиями Западной Сибири, «механически» переносят элементы привязки, планировки и проектирования жилых массивов из условий европейской территории Союза к нам...»

В Нефтеюганске строят сборные щитовые дома. Их везут в лесной район за тысячи километров. Дома холодные. Строят их плохо, вовремя не обеспечивают положенным паровым отоплением, и люди вынуждены отогреваться кто как может. Самодельные печки-временки, «козлы», электроплитки. В результате непрерывные пожары. В одну неделю в Нефтеюганске сгорело общежитие геологической экспедиции, несколько балков, ремонтные мастерские.

В городе нет кинотеатра. Нет ни клуба, ни дома культуры. Единственный красный уголок на пятьдесят мест (на одиннадцать тысяч жителей!), в котором и собрания проводятся, и кинофильмы демонстрируются. Нет стадиона, нет катка, нет спортзала.

В больнице нет зубного врача, рентгенолога, нет самых необходимых медикаментов и оборудования. Не хватает даже пробирок. Больные лежат в собственном белье. Из-за отсутствия дров больница по нескольку дней не отапливается.

В поселке одна баня на тридцать два места.

Две пекарни выпекают хлеба три тонны вместо потребных шести.

Тысячу шестьсот пятьдесят детей нужно немедленно определить в детсады и детские сады — ведь их родители заняты на работе. В поселке всего двое яслей на сто тридцать мест. Дети остаются без надзора. 26 ноября в половине одиннадцатого утра над маленьким, игрушечным домиком-насыпушкой плотника Олухова поднялись клубы едкого дыма. Двадцатипятилетний Василий Олухов и его жена Фаина были на работе. В насыпушке запертыми остались двое малышей: шестилетний Алексей и трехлетний Сергей. В соседних балках, кроме ребятишек, тоже никого не было. Люди узнали о беде слишком поздно. Сейчас местные блюстители закона выискивают в кодексе статью, по которой можно было бы привлечь к ответственности родителей за гибель их детей. Родителей, а не руководителей конторы бурения, в которой работает Василий Олухов.

Нельзя молчать об этих кострах, о длинных очередях на ветру и морозе за водой и хлебом, о столовых, в которых за столами сидят в промасленных полушубках и едят однообразную, невкусную, опостылевшую пищу, о безобразном пьянстве — следствии неустроенного быта, об антисанитарии, из-за которой каждое лето поселок охватывают эпидемии. Нельзя молчать потому, что все эти безобразия вовсе не результат недостатка средств или других объективных причин, а следствие безответственности и черствости.

Главтюменнефтегаз в прошлом году имел на строительство учреждений культуры шестьсот тридцать семь тысяч рублей, а освоил из них только одну тысячу — то есть одну шестьсот тридцать седьмую часть.

НПУ Сургутнефть на строительство социально-бытовых и культурных учреждений ассигновало в прошлом году один миллион триста четыре тысячи, а за одиннадцать месяцев было освоено лишь четыреста тринадцать тысяч, или 31,6 процента.

Каковы же причины срыва строительства важнейших в условиях Нефтеюганска объектов?

Детсад-ясли на сто сорок мест в четвертом микрорайоне — из-за отсутствия сметы;

детсад-ясли на двести восемьдесят мест — потому что объект не привязан, не полностью обеспечен проектно-сметной документацией;

кинотеатр на шестьсот мест — та же причина...

И так далее. Не в средствах, не в недостатке рабочей силы, не в дефицитных стройматериалах коренятся причины неустроенности быта покорителей сибирской нефтяной целины.

Один из руководящих товарищей, выслушав все это, сказал не без самодовольства:

— Да, у нас передний край, здесь люди проходят испытание на прочность.

На прочность чего? Веры в свои силы? В целесообразность и нужность переносимых лишений?

В 1964 году правительство выделило средства, стройматериалы, машины для создания нормальных жилищно-бытовых условий тем, кто обжигает сибирский нефтяной район.

В сентябре 1965 года руководители Тюменского облисполкома строго предупреждены о личной ответственности за создание нормальных жилищных и культурно-бытовых условий населению в нефтяных районах области.

Прошло уже много времени, и... можете еще раз перечитать приведенные выше официальные цифры и факты.

4

Когда я задумываюсь о том, каким должен быть коммунист-руководитель, в памяти моей тотчас встает образ первого партийного работника, с которым судьба свела меня и которому я обязан непоколебимо глубоким уважением к званию коммуниста.

Мне было девятнадцать лет, когда меня избрали секретарем Голышмановского райкома комсомола (Тюменская область). В ту пору первым секретарем нашего райкома партии был Василий Степанович Рыбаков.

Высокий, поджарый, смуглолицый. Голос у него сильный, но говорил он негромко, убежденно и немногословно. Он умел слушать собеседника, сочувственным вниманием располагая того к откровенности.

В те годы в руках районного партийного секретаря была, прямо скажем, необъятная власть. И, что греха таить, были тогда такие секретари, которые весь район считали своей вотчиной.

С тех пор прошло более двадцати лет. Многие из пережитого бесследно улетучилось из памяти, а это осталось на всю жизнь...

Мимо райкома нестройной толпой шли школьники с ведрами и вилами в руках. Обутые в тяжелые отцовские сапоги, они медленно брели по вязкой осенней грязи. Куцые воротники фуфаек не защищали ребячьих лиц от резкого студеного ветра и мокрого снега.

Рыбаков стоял у окна, проводив взглядом ребятешек, подошел к телефону.

— Квартиру.— И после небольшой паузы: — Дора? Где Эдик? Почему не пошел копать картошку? Что? Насморк... Дай ему трубку. Эдька! Сейчас же одевайся и догоняй своих. Живо! Я стою у окна...

Минут через пять мимо райкома, волоча за собой лопату, просеменил мальчишка...

Мы приехали в колхоз вечером. Пока Василий Степанович разговаривал с председателем, в конторе собралось десятка полтора женщин и стариков.

— Потом договорим,— сказал Рыбаков и подошел к людям, сгрудившимся возле железной печурки. Закурил, присел на табурет и, встретившись глазами с пожилой женщиной, мягко спросил:— Ну, как живешь, мать?

И потекла неторопливая беседа о сынах и мужьях, пропавших без вести, о пенсиях, о хлебе и о многом другом, чем жив тогда был простой человек. Рыбаков успокаивал, убеждал, судил.

От приглашения председателя отужинать с ним Рыбаков отказался. Попросил только принести кринку молока.

Когда контора опустела, Василий Степанович вынул из кармана полущубка горбушку пополам с овсюгом испеченного хлеба, разломил на две неравные части, протянул большую мне:

— Ты молодой, тебе знаешь как нужно есть.

А сам медленно цедил сквозь зубы холодное молоко.

Ночевали мы в конторе на полу, подстелив тулупы и фуфайки, а в пятом часу утра поднялись и пошли на ферму...

На сенокосе Рыбаков появился утром. Разыскал бригадира.

— Дай-ка мне косу, повострей да поболее какая.

Скинул гимнастерку, зашел в ряд косарей.

— Держись, отец, пятки подрежу!

Тонкий посвист да чмокание кос, шарканье брусков, тяжелое дыхание людей слышались на лугу.

Вечером у костра, прихлебывая из кружки обжигающе горячий, настоенный на смородиновых листьях чай, Василий Степанович рассказал колхозникам о событиях на фронте, о начавшемся сборе средств на строительство танковой колонны.

Тут же, между делом, без нажима и окрика, без громких фраз о долге люди решили, кто и сколько даст на эту колонну, и оказалось, что дали больше, чем значилось по разверстке райисполкома...

Я часто вспоминаю о Рыбакове и много рассказываю о нем. Именно о Рыбакове вспомнил я и в тот день, когда в Нефтеюганск прибыл главный инженер главка Тюменнефтегаз Филановский Владимир Юрьевич.

Высокий, молодой, розовощекий с морозу, он вошел в кабинет директора конторы бурения решительным шагом хозяина. Главного инженера сопровождала целая свита работников главка, треста, нефтепромыслового управления.

Едва поздоровавшись, Филановский попросил карту и схему размещения скважин. Внимательно рассмотрел их и, сопровождаемый целым эскортом, отправился знакомиться с материально-технической базой нефтепромысловиков. Побывал на складах, в ремонтных мастерских, осмотрел энергопоезд и причал.

Мороз в тот день был градусов двадцать пять, с реки тянул не сильный, но непрерывный ветер, он особенно чувствовался на большой открытой поляне, где полукругом стояли тракторы, бульдозеры, грузовики. Здесь, под открытым небом, и размещался «гараж» буровой конторы. Чтобы к восьми утра выехать из такого гаража, водители приходили сюда в пять и в течение трех часов кто как мог разогревали моторы и ходовые части машин. В таких климатических условиях да при здешнем бездорожье техника быстро выходит из строя. И сейчас с полсотни разных машин неподвижно стояло на снегу. Вокруг поднятых капотов, у снятых гусениц работали люди. Погреют руки над ведром с горячей соляной — и снова за молоток, за раскаленные холодом металлические детали. Я почему-то подумал: вот сейчас главный инженер подойдет к рабочему, склонившемуся над мотором, поздоровается, протянет пачку папирос и скажет по-рыбаковски: «Ну, как дела, отец?» Промерзшие люди соберутся в кружок, выскажут все, что у них наболело на душе, распросят о планах, а на прощанье Филановский скажет им: «Тяжело вам приходится, друзья. В этом мы виноваты. Не подготовили вовремя ремонтно-техническую базу, прямо скажем, прошляпили. Каемся. Придется вам эту зиму под чистым небом работать. Выдюжите?» Конечно же, они ответили бы ему: «Выдюжим. Нам не впервой, не привыкать!» И вдесятеро легче было бы им одолеть все эти трудности. И других товарищей по труду заразили бы они своей энергией и верой.

Но никто из высокой комиссии к рабочим не подошел, не поздоровался, не перекинулся добрым, человеческим словом. А когда у складов навстречу нам вышла сторожиха — до глаз укутанная полушалком маленькая женщина в ватнике, — и почтительно поздоровалась, и остановилась, выжидательно поглядывая на Филановского, тот даже и взглядом не удостоил ее, и, стусевавшись, женщина поспешила укрыться в сторожке.

Обедали мы в рабочей столовой, но без рабочих: на этот час столовую закрыли для посетителей. За десять дней скитания по Северу я уже отвык от таких добрых обедов и потому удивленно воскликнул:

— Хорошо у вас готовят!

— Уж не думаете ли вы, что это спецзаказ? — угадал мои мысли директор конторы Филимонов. — Приходите завтра, и вы увидите, как мы кормим рабочих.

Я последовал его совету и пришел. Простоял пятьдесят минут в очереди у кассы, потом двадцать минут в очереди у раздатчицы... Словом, директор обманул меня. Если бы только меня...

Четыре часа продолжалось совещание главного инженера с руководящими

работниками НПУ и буровой конторы. Это был очень интересный, толковый разговор деловых людей об усилении разведки и добычи нефти. О чем только не говорилось на этом совещании. И о строительстве нефтепровода, и о прокладке водовода, и о монтаже линии электропередач. О трубах, о тракторах, о солянке, о причалах, о складах. Не говорили лишь об одном — о людях. Вроде бы все эти ДЭТы, АТСы, КРАЗы, МАЗы, ЛЭПы и прочие механизмы сами по себе добудут нефть, построят город. Вроде бы это будут делать не люди и не для людей. Так почему же о них забыли?

И это после той телеграммы Филимонова о развале коллектива из-за отсутствия жилья. Или эта телеграмма всего лишь ширма, за которую Филимонов намерен спрятаться в минуту ответственности?

Как тут не вспомнить одноэтажный особняк, который красуется в самом центре четвертого микрорайона Нефтеюганска. Особняк за зеленым забором. С крытой верандой, с гаражом. Это особняк Филимонова. Он буквально торчит занозой у всего поселка.

Нет, мы вовсе не против того, чтобы директор конторы бурения имел крышу над головой, но мы решительно против особняков в городе, где половина жителей ютится с детьми в балках, насыпках, кунгах.

Думается, что именно этот особняк помешал Филимонову заговорить с высоким начальством о жилищно-бытовых условиях рабочих своей конторы. Этот особняк мешает Филимонову зайти в рабочее общежитие, подсесть в перекур к рабочим и запросто побеседовать с ними о житье-бытье.

Но почему промолчали об этом остальные руководящие работники главка, треста, НПУ?

Почему Филимонову не зайти бы вечером в балок к рабочему? Попросту так, без свиты, без предупреждения, подсесть к столу, кликнуть соседей да за чашкой чая и поговорить обо всем, что наболело на сердце.

Помню, с каким восхищением рассказывал мне один геолог о неожиданной встрече с секретарем Тюменского обкома партии А. К. Протозановым.

— Проснулся я от холода. За ночь из балка все тепло выдуло. Выполз из спального мешка, давай печку шуровать. Смотрю, кто-то спит на нижней полке, закутавшись в полушубок. Такого полушубка в нашем отряде не было. Спрашиваю соседа: «Кто это?» — «Секретарь обкома». — «Какой секретарь? Какого обкома?» — «Нашего». К нам начальник партии раз в месяц заглядывал, по три недели газет не получали. И вдруг секретарь обкома. Ты понимаешь...

И долго еще рассказывал, как они беседовали с Протозановым, как угощали его обедом в походной столовой.

— Он все торопил нас: «Скорей, скорей. Ваши данные нужны нам, как воздух!» А ведь это было, когда многие считали, что мы зряшным делом занимаемся. Понимаешь?

Я понимаю чувства геолога. Для них Протозанов был не просто Протозановым, а областным комитетом партии, всей партией. Это ей пожимали они широкую, сильную руку, с ней разговаривали начистоту, делились сомнениями, заглядывали в будущее.

Мне запомнился разговор с парторгом СМУ-3 (строительно-монтажное управление) полковником запаса Анатолием Георгиевичем Герасимовым.

— Это в порядке вещей, — с горечью сказал Анатолий Георгиевич. — Вот здесь недавно побывал заместитель министра газовой промышленности. Машины осмотрел. С начальниками отрядов план работ обсудил, а вот с рабочими встретиться не выбрал времени. Конечно, у руководителей всех этих НПУ, СМУ, СУ дел невпроворот. Того нет, другого не хватает. Проект не готов, смета не утверждена. За какую нитку ни потяни, та и рвется. По-моему, на период обустройства при НПУ и строительных организациях нужно иметь политотделы. Комиссар здесь нужен вот так. — Он провел ребром ладони по горлу. — Чтобы собрал вокруг себя коммунистов, чтобы знал, чем живет, о чем думает каждый рабочий, чтоб не давал хозяйственнику из-за мазута и цемента не видеть человека.

5

Здесь, на обском Севере, странные, непривычные слуху названия деревень. Трамаган, Аган, Варь Ёган... А есть и с гройным наименованием: Пилюгино-Аллочка-Поищи Уздечку.

Уклад жизни в деревнях своеобразный, отличный от сел центральной России. Близость тайги, постоянное общение с ней накладывает неизгладимый отпечаток на людей. Они крепки телом, сильны духом и все умеют. Надо — костер в любую непогоду разожгут, надо — в снегу переночуют, надо — избу срубят.

Жители таежных деревень редко болеют, а уж если и прихватит хворь, вышибают ее дедовскими средствами: банькой с веничком, либо водочкой с перчиком, либо настоем целебных трав. С виду эти люди равнодушны, медлительны, а на деле очень общительны, восприимчивы, неугомонны. И поговорить любят, и без песен да плясок не попируют.

В глухой, таежной деревушке из двадцати дворов прошло и мое детство. От нас до ближайшего телефона было три версты, а до медпункта — восемь.

В деревне пробуждались прежде зорьки, зато и спать ложились очень рано. Летом огней не зажигали, не сумерничали. Закатилось солнце — и все на покой. Иредна твякнет собака, или вздохнет корова в хлеву, или с сонной хрипотцой прогорланит петух. Кажется, все спит. Но это только кажется.

На лавочке под черемухой собрались парни. Молча покуривают, поджидают девчат. В темноте видны огоньки папирос. Не спеша сходятся к заветной черемухе девушки. Скоро скамья не вмещает всех, и те, кто приподнялся, выстраиваются перед ней полукругом.

Вот гармонист растянул мехи гармоники. Лопнула, разлетелась в осколки сонная тишина.

Кончив перебор, гармонист заиграл тише. Озорной девичий голос затянул частушку:

Карие глазеночки
Стояли у казеночки,
Стояли, улыбались,
Кого вы ждали?

Парни дружно, во весь голос подхватили припев:

Оба, делай,
Полушалок белый!
Давай по-старому гулять,
Больше так не делай...

Все жарче и веселее играет гармошка, громче поют девчата. С присвистом, с гиканьем, заглушая ее, вопят парни.

Гармонистова зазноба выпорхнула в круг, притопнула каблучком, крикнула: — Шестёру!

Парень и две девушки выскочили в круг. Перед ними тотчас появилась такая же тройка. Мнут, топчут траву молодые сильные ноги. С веселой яростью пляшут девчата, пляшут и поют, одна голосистой и задорней другой. Им прихлопывают, притоптывают, присвистывают.

Даже в черные годы войны не умерла частушка, не забылась «шестёра». Зато сейчас в деревнях не услышишь припевок, не увидишь перепляса. На концертах и смотрах сельской художественной самодеятельности исполняются испанские, кубинские, румынские танцы. Исполняются неумело, порой карикатурно, танцоры живого испанца и в глаза не видали, да и мелодия, и темп, и рисунок танца чужд сибирскому парню. А вот «шестёру» объявили устаревшей.

Прежде частушка рождалась в народе и отсюда приходила в репертуарные сборники. Ныне наоборот. Сидит в городе досужий стихотворец и сочиняет припевки для селян. А в тех припевках чего только нет. И «догоним Америку по

молоку», и «проведем химизацию сельского хозяйства», и «посеем кукурузу», и «вырастим бобы» — словом, все, что угодно тем, кто оплачивает это «народное творчество».

Много нового — и доброго и недоброго — внесла жизнь в извечный уклад таежной деревни. А как изменился и облик, и темп жизни там, где ныне проходит передний край великой битвы за нефть.

До недавнего времени даже тюменцы не знали о существовании деревушки Каркатеево. Да и что это за деревушка? Полтора десятка домиков возле непроходимого болота. Ни леса доброго рядом, ни реки. Жизнь деревеньки текла, как пересыхающий ручей.

Но когда решили, что трасса нефтепровода на Омск возьмет начало от Каркатеева, безвестная, глухая деревушка ожила. Заронились над ней вертолеты, поползли по улочке вездеходы-тягачи, и скоро с обеих сторон Каркатеево обступили балки да вагончики строителей. С севера балки выстроились полукольцом, будто заняли круговую оборону, в глубине которой — шеренга молодых пугливых елочек.

В тот день ветер был очень сильный и мороз градусов под тридцать. На таком ледяном, пронизывающем холоде и в полушубке не постоишь. А землеройщики, сварщики, трубоукладчики целый день на открытом месте, и возле них нет даже фанерной будочки, куда можно было бы хоть на минутку спрятаться: отогреться, перекурить, запастись живительным теплом.

К вечеру мороз стал еще лютее и ветер усилился. Люди прятали багровые лица за поднятыми воротниками и торопились из последних сил, норовя поскорее дойти до укрытия. Только один человек шел неторопливым широким шагом, и головы от встречного ветра не клонил, и лица не прятал. Да и одет он был на удивление легко: брезентовый плащ поверх фуфайки, а на ногах кирзовые сапоги. Таким предстал нам командир землеройщиков, начальник участка Василий Гаврилович Чепига.

— Легко вы одеты, — укоризненно сказал я, здороваясь с Чепигой.

— Ни унтов, ни валенок сроду не нашивал, — спокойно ответил тот. — Сапоги на шерстяной носок, и все. Мне ведь бегать надо, бегать. А в валенках да шубе далеко ль убежишь? Сегодня вот километров пятнадцать протопал по снегу. И ничего.

Кабинет Чепиги занимал половину вагончика. Здесь же и квартира начальника. Все тут на своем месте, все под рукой у хозяина, видно, поэтому и не чувствуется теснота. Привык Василий Гаврилович к кочевой жизни. Он прокладывал нефтепровод «Дружба» и высокогорную трассу газопровода на Кавказе. Строил первый на Тюменщине нефтепровод Шаим—Тюмень. Девяносто километров из четырехсот двадцати шести проложил отряд Чепиги.

В цепкости сильных, обветренных рук, в рассудительной неторопливости речи, в умении как будто невзначай больненько подкусить собеседника, во внешней простоватости, скрывающей глубокий и ясный ум, — во всем этом проглядывает мужик, земледелец. Так оно и есть. Василий Гаврилович — кубанский казак. Крестьянин и сын крестьянина.

— Слушай сюда, — говорил он бульдозеристу, склоняясь над картой, — вот здесь косогор и здесь. Знаешь? — Уловив неуверенность в ответе бульдозериста, подвинул к себе чистый лист бумаги и одним росчерком карандаша вычертил нужный участок трассы, обозначил точками косогоры. — Вспомнил? Теперь слушай сюда. Этот косогор нужно сравнять. Вот так. — Он нарисовал косогор и показал карандашом, как надо его сравнять. — А этот придется обойти здесь. — Острие графита обежало стороной воображаемый косогор. — Понял?

Когда бульдозерист ушел, Василий Гаврилович стал сокрушаться из-за нехватки техники.

— Мне бы теперь пяток новых бульдозеров. Те, что есть, все измотаны. Половина слот, половина на ходу. Разрешили бы мне, я бы теперь же пяток новых бульдозеров перегнал по зимнику. Не самоходом, не. На КРАЗах. Слушай

сюда. КРАЗ поднимает двенадцать тонн, а бульдозер без оснастки весит одиннадцать четыреста. Вот я и погрузил бы бульдозер на КРАЗа. Да смастерил бы трап, чтобы в случае чего бульдозер мог по нему сойти на землю и вытащить застрявший КРАЗ. Ловко? Вытащит КРАЗ, снова на него вскарабкается — и поехал дальше. А?

В вагончик вошел рослый парень в куртке с заиндевевым воротником. Поздоровался и заявил, что пришел наниматься экскаваторщиком. Чепига изучающим взглядом окинул парня с головы до ног, пытливо засматривая ему в глаза, спросил:

— На каких экскаваторах доводилось работать?

Выслушал ответ и, по-прежнему не спуская с собеседника глаз:

— А для труб приходилось траншеи рыть? Ведь у нас траншея знаешь какая? Прямая, как выстрел.

— Как выстрел, — эхом откликнулся парень и понимающе улыбнулся.

Улыбнулся и Василий Гаврилович. Хлопнул новичка по плечу.

— Давай документы и завтра с утра на трассу.

А когда за экскаваторщиком закрылась дверь, Чепига легко прошелся по вагончику, присел на край широкой полки-скамьи.

— Какие люди у нас, нет им цены. Работают на морозе. Машины ремонтируют тоже на морозе. Не каждый день обедают. То свету нет, то воду не подвезли в столовую, вот и нет обеда. Ни кино, ни почты, ни библиотеки в поселке нет. И никаких жалоб...

За нами обещали прислать вертолет, да, видимо, из-за непогоды не прислали. Надо было как-то выбираться отсюда. До Нефтеюганска двадцать километров. Ночью, да еще против ветра, да в дохе и валенках пешком такое расстояние не одолеть. Оставался один выход: выйти на дорогу и ждать попутный самосвал. Ничего приятного такое ожидание не сулило. Тогда-то мой спутник, бывавший уже здесь, вспомнил, что рядом, в поселке строителей насосной станции, есть грузовой автомобиль. Решили отправиться туда и попытаться счастья.

Начальник участка невысокий черноволосый Аркадий Ефимович Кучма понял с полуслова.

— У нас всего одна машина. На ней и на трассу, и за продуктами, и в больницу. Считай по двенадцать часов не вылезает парень из-за руля. Да сам же еще и машину ремонтирует. Заставить я его не могу, а попросить попробую. Ленька, сбегай за Крамором.

И вот пришел Крамор — шофер этой единственной автомашины. Он был в замазученном ватнике и насаженной на глаза солдатской ушанке.

— Звали?

— Звал. Застряли у нас два товарища. Не подбросишь до Нефтеюганска?

Крамор скользнул взглядом по нашим лицам и, не раздумывая, согласился. Кучма вышел на крыльцо проводить нас. Усаживаясь в кабину, я слышал, как он спросил шофера:

— Что за баллоны в кузове?

— Газ.

— Пропан?

— Ацетилен.

— Как же ты с ним едешь? Выгрузи сейчас же.

— Ладно.

И не выгрузил. Я слышал, что ацетилен — вещество взрывчатое, что перевозить его надо с особыми предосторожностями, в специально оборудованных автомобилях. Заглянув в заднее окошечко кабины, я увидел два баллона, которые вертелись и перекатывались в кузове, стучаясь друг о друга и о борта.

— Не бойшься? — спросил я Крамора.

— Не, — небрежно отмахнулся он и стал закуривать. — Я с таким грузом и не по этим дорогам ездил. Ничего.

Дорога была отвратительная. Машину кидало с боку на бок. Она то круто ныряла вниз, то, надсадно урча, с трудом карабкалась по отвесным склонам. Чтобы скоротать время, я спросил водителя, откуда он родом и живы ли его родители.

— Отец у меня давно умер. А мать... Когда мне было четыре года, сплывила меня в детдом. Надумала замуж выходить, а мы ей мешали, вот она сразу троих и сдала. В детдоме, сами знаете, не шибко сладко, и напросился я в колхоз, на патронат. А там, как стукнуло мне четырнадцать, председатель и говорит: «Хватит, парень, в ребятишках бегать, пора мужиком стать». Ну, я и стал. Вся крестьянская работа через мои руки прошла. Видишь, какие ладони — любой гвоздь отскочит. В сорок первом я уговорил председателя, выдал он мне справку, два года приписал. С той справкой ушел я по комсомольскому призыву во флот. Семь лет плавал. Потом лет десять шоферил в Красноярском крае. Между прочим, там и со своей матерью повстречался. Не признала она меня, не сын ты мне, говорит. А когда я напомнил, как мой батька умирал, признала. Ревела, каялась. Только от ее слез мне ни капельки не полегчало. Да... Вот в кино показывают: не видятся дети с матерью или с отцом от пеленок до двадцати, скажем, лет, а потом как встретятся, так сразу ох и ах! — это, значит, родственные чувства в них пробудились. А во мне никаких таких чувств не проснулось. Конечно, если надо, я деньгами всегда помогу ей, но не от души, а против души. Девятый год я уже странствую с нефтяниками. Все строим и строим. И все кочуем. Конечно, в бараках да вагончиках жить несладко. Одно утешение — дочка. Ей уже пять годков. Уходим оба с женой на работу, а ее к чужой тетке относим. Вся душа изболится, пока вечера дождешься да забереешь ее домой. Долог день-то. Я ведь с семи уже возле машины. Танцую вокруг нее с паяльной лампой, разогреваю. Она же всю ночь на пустыре стоит. Можно бы ее за ветерок, поближе к бараку ставить, да боюсь: вдруг ночью загорится барак и машине крышка, а она у нас одна. Слыхали, столовая у нас сгорела? От недогляду же. Одна раззява прожоргала, а теперь все жуют всухомятку. Из-за одной растяпы... Ей-богу. Видишь ли, ее сон сморил. Конечно, поспать человеку нужно. Но дело прежде всего. А если каждый станет думать только о себе, мы далеко не уйдем. Трудно ли, больно ли, а ты терпи, раз за твоей спиной товарищи. Да...

Я слушал неторопливый рассказ Крамора и не раз вспоминал слова Василия Гавриловича Чепиги: «Золотые люди у нас. Нет им цены».

6

Сибирь, как гигантское горнило, обжигает и закаляет человеческие характеры. Не всякий выдерживает этот накал. Когда на Тюменщину повалили буровики, монтажники, строители и иные специалисты из Башкирии, Татарии, Поволжья, многие старожилы сибиряки встречали новичков скептическими улыбками: «Поживем — увидим, как развернутся».

Выработка вновь прибывших буровых бригад далеко отставала от показателей ветеранов геологоразведки — Семена Урусова или Николая Мелик-Карамова. Даже прославленная буровая бригада Аллоярова, прибывшая сюда в полном составе и встреченная с величайшим почетом, — даже она по скорости и метражу проходки очень сильно отставала не только от работавшего по соседству мастера Мелик-Карамова, но и от других буровиков геологоразведки. А тут еще среди новичков нашлись люди нестойкие, захандрили от первой неудачи и повернули оглобли. Скептики злорадствовали, доброжелатели огорчались. Но вот новоиспеченные сибиряки обжились, освоились и развернулись, да как!

В минувшем 1965 году бригада бурового мастера Шаимской конторы бурения Шакшина Анатолия Дмитриевича пробурила 35 845 метров, а бригада прославленного первооткрывателя шаимской нефти Семена Никитича Урусова — 33 003 метра. Бригада Максима Ивановича Сергеева из Усть-Балыкской конторы бурения пробурила 21 037 метров, установив всесоюзный рекорд скорости проходки, а бригада ветерана Усть-Балыкской геологической экспедиции, ее лучшего

проходчика Николая Борисовича Мелик-Карамова — 21 439 метров. Вот тебе и новички, вот тебе и «поживем — увидим»...

Максиму Ивановичу Сергееву скоро сорок: Лицо у него моложавое, открытое. Он смотрит прямо в глаза собеседнику, охотно откликается на шутку, говорит спокойно и ровно, ни показной скромности, ни самодовольства. Каков есть человек — таким и представляется. И это сразу пробуждает к нему доверие и симпатию, и с первой минуты знакомства проникаешься уважением к этому человеку.

Мы встретились с ним возле буровой. Максим Иванович неторопливо спустился по трапу. На нем — забрызганные глинистым раствором стеганка, ватные брюки и огромные валенки-бахилы с непромокаемой резиновой подошвой.

Конторка мастера занимала половину единственного деревянного балка. И хотя от буровой до Нефтеюганска всего четыре километра, а вахтенная машина ходит регулярно, мастер нередко остается здесь ночевать. Вот и теперь Сергеев уже третьи сутки не покидал буровую. Эту скважину бригада решила пробурить скоростным методом. Все расписано по часам и минутам. Рассчитали, что можно за сорок восемь часов сделать то, на что отпускалось шестьдесят. Пятнадцать лет Сергеев шел к своему рекорду. Этот путь он начал учеником помбура. Был бур-рабочим, был верховым. Он и родился в нефтяной Туймазе.

О себе Максим Иванович говорит неохотно и скупо.

— У нас ведь как принято, — рассуждает он, потирая ладонью высокий выпуклый лоб, — если бригада добилась хороших показателей, то там, значит, выдающийся бригадир, а у него обязательно свои производственные секреты. В нашей бригаде ни того, ни другого нет. Я, значит, так думаю. — Он поднял над столиком руку с растопыренной пятерней, сжал пальцы в кулак, с глухим стуком уронил его на стол. — Понял? Вот в чем наша сила. В спайке, значит, в дружбе, в коллективе... Но никакой круговой поруки. Каждая вахта получает за свой труд особо, а не в общем, значит, котле. И пусть-ка кто-нибудь попробует опоздать или появиться на буровой с похмелья — мы его сразу в бараний рог. Не я, а мы, значит, все вместе... Я не удерживаю людей на вахте, а прогоняю их. Сколько раз Ивана Константиновича Горбунова силком с вахты домой выпроваживал. Буровик шестого разряда, ударник коммунистического труда, делегат профсоюзного съезда. Одна беда: до сих пор без семьи, в общежитии живет. Второй год скитается хуже любого условника. Приедет жена, погостит — и назад к детишкам. Тяжко это ему, а молчит, ждет. Сами, говорит, знают, что мне квартира нужна. Вот, значит, в чем весь наш производственный секрет. Конечно, есть у нас и соревнования, и техучеба, и точный график работы каждой вахте в зависимости, значит, от глубины проходки. Но главное — люди.

Он закурил и принялся рассказывать, как организован в бригаде контроль за выработкой, показал, какие и на какой глубине бурения достигнуты скорости проходки. По твердому убеждению Максима Ивановича, здесь вполне можно бурить и по двадцать пять, и по тридцать тысяч метров в год. Только бы толково был организован труд буровых бригад.

— А у нас ведь что получается? Вот, к примеру, бурили мы пятьсот седьмую. Пробурили две тысячи двести метров за одиннадцать дней. Рекорд? Шиш. Почему? А потому, что пробурить-то мы пробурили, а потом и засели в ожидании обсадной колонны. Почти две недели просидели, ожидая, пока ее с пирса трактор перетаскал. А от нашей буровой до того пирса и было-то всего пять километров. Только колонну спустили, приготовились на новом месте простой навестать, а нам «окошечко» преподнесли на восемнадцать дней. Вот тебе и выработка, вот и скорость проходки. В этом году план у нас был четырнадцать, обязательство семнадцать, а мы двадцать одну наверняка дадим. На будущий год возьмем двадцать пять. Сибирь нам не страшна. Для моих детишек она будет родиной, да и мне уже стала родной. И вот ведь до чего же обидно мне, что шлют к нам сюда всякую нечисть. И тунейдцев, и этих самых, значит, условников...

«Условники». Это многим не известное слово следует расшифровать. Так называют заключенных, условно освобожденных из-под стражи. С них берут подписку, по которой они обязуются честно трудиться, соблюдать правила социалистического общежития и без разрешения соответствующих органов никуда не уезжать. За соблюдение этих обязательств условника устраивают на работу сообразно его наклонностям, ему выдают сполна заработную плату с выработки, предоставляют место в общежитии, или комнату, или даже квартиру. Он имеет право жениться или привезти семью, может по разрешению на время отпуска выехать в любое место Союза. Каждый год пребывания условника, скажем, в Нефтеюганске или в Сургуте зачитывается ему за год заключения, и по истечении приговорного срока он получает паспорт и все права советского гражданина.

Среди условников есть разные люди, привлеченные к уголовной ответственности за всевозможные преступления. Тут и убийцы, и воры, и казнокрады. Все они обеспечены работой, жильем, заработком. В общежитиях условников есть красные уголки, есть и специальные штатные воспитатели для организации культурно-массовой работы.

Лицевая сторона этого явления выглядит отлично: еще одно проявление гуманизма и веры в человека, в добрые начала в нем, наиболее эффективное использование здорового влияния рабочего коллектива на неустойчивых, оступившихся, пошатнувшихся в жизни людей.

Но есть ведь тут и обратная сторона...

Общение преступника с честным человеком — явление, как известно, обоюдоострое. Кто на кого повлияет и в какую сторону — вопрос, недоступный предположению. Все зависит от характера обоих, от их жизненного опыта и еще от массы порой совершенно случайных причин. Вспомните «Тройку, семерку, туза» В. Тендрякова. Жизненность факта, положенного в основу этой повести, мне кажется неоспоримой. А в Сургуте соотношение условников к взрослому населению составило один к семи, в Нефтеюганске — один к пяти.

Все еще бездорожной, плохо связанной с центром таежной приобской Сибири нужны такие новоселы, которые не только умели бы лес валить или бульдозером управлять, но и были бы примером бескорыстного, беззаветного служения высоким идеалам коммунизма. Сюда в надежде на глушь («тайга — закон, медведь — прокурор») и так добровольно съезжается немало просто любителей «зашибить деньгу», безнаказанно поколобродить, побесчинствовать, покутить. Как же оградить от дурных влияний добровольца, увлеченного бескорыстной жадной подвига и приехавшего сюда по велению сердца? Над этим стоит призадуматься всерьез.

7

Этот «Обязательный минимум подготовительных работ, подлежащих выполнению до начала бурения на разведанной площади» утвержден в четырех высоких инстанциях, написан четким, ясным, деловым языком, не оставляет никаких лазеек для любителей обходных путей. Главное категорическое требование «Минимума»: строительство скважин на разведанных площадях не разрешается без осуществления подготовительных работ, включающих водоснабжение, подъездные пути, энергоснабжение и средства связи, материально-техническое обеспечение, жилищные, культурно-бытовые и складские объекты, ремонтно-механические базы.

В переводе на всем понятный язык это означает: прежде чем начать добычу нефти, построй для рабочих жилье, детсады, ясли, школы, больницы, клубы, столовые, построй дороги, пристани, аэродромы, обеспечь промыслы необходимой техникой, водой, электроэнергией.

Очень разумные и крайне важные требования.

Почему же пренебрегли ими сургутские нефтепромысловики?

А потому, что, едва ступив на тюменскую землю, не успев еще вырубить лес на месте, облюбованном под НПУ, они уже получили план нефтедобычи на этот год.

И вот результат: ни одно из требований «Минимума» не было выполнено до

начала эксплуатации Сургутского и Усть-Балыкского нефтяных месторождений. Ни жилья, ни ремонтных баз, ни водопроводов, ни связи — ничего еще не было построено в Нефтеюганске для нормальной работы нефтепромысловиков, а добыча нефти уже началась.

Разумеется, те полтора миллиона тонн нефти, что добыли тюменские нефтяники за минувшие два года, нужны были отечеству.

Верно и то, что «Москва не сразу строилась» и на первых порах такого грандиозного строительства неизбежны и трудности и просчеты.

Все это так бы и было, если бы основные требования «Минимума» были соблюдены. А ныне речь идет не о временных грудностях, а о вопиющей, все возрастающей диспропорции между неуклонно растущими планами нефтедобычи и материальной базой. В результате этого летят на ветер миллионы народных рублей и многое делается кое-как, на бегу, лишь бы заткнуть «пробойну».

А как пагубно все это отражается на разработке богатейших в Союзе нефтяных месторождений.

Нефть из Нефтеюганска увозили в баржах. А баржи то по две недели не приходили к месту добычи, а то вдруг прибывали целым караваном. Промысловики могли заготовить к приходу барж всего шесть тысяч тонн нефти: на большее не хватало емкостей. Что же делать? Допустить простои судов, сорвать выполнение взятых обязательств или... Выбрали второе. Открывали «на всю катушку», без шуцеров, мощнейшие восьмидесятую и шестьдесят третью скважины и выжимали из них за сутки более трех тысяч тонн. План даже перевыполнили. Зато погубили лучшие скважины. Теперь промысловики говорят, что это сделано специально, так как эти скважины подлежали заводнению. А что еще они могут сказать?

Эта тенденция «Давай-давай! Нефть все спишет» уже не раз выходила боком, да еще как!

Только что отгремели овации, отзвучали торжественные речи на митинге, посвященном окончанию строительства первого нефтепровода Шаим—Тюмень. Тысячи безмянных людей — трактористов, экскаваторщиков, бульдозеристов, сварщиков, пилотов, шоферов, подводников — совершили коллективный трудовой подвиг. Они пробились сквозь тайгу, болота, озера, реки, проталицы за собой четырехсоткилометровую трубу. Народ заслуженно назвал этот нефтепровод трассой мужества. Строительство его — блистательная страница в истории Сибири.

Группа ученых ЗАПСИБНИГНИ (научно-исследовательский геологический нефтяной институт), детально изучив Шаимское месторождение, пришла к выводу... Вот что говорит об этом доктор геолого-минералогических наук Макс Яковлевич Рудкевич:

— Этот нефтепровод многому научил. Стройка начиналась без самой необходимой расчетной документации, под честное слово. Нас, специалистов, даже не спросили о запасах Шаимского месторождения. И только когда строительство закончилось, от нас потребовали точные данные. Может быть, со временем еще откроют мощные нефтеносные пласты. Наверное, так оно и будет. Тогда нефтепровод заработает во всю силу. Но разве можно расходувать сотни миллионов рублей в расчете на авось?

Забота о грядущем поколении — в крови человека. Не для себя крестьянин строит дом, запахивает залежь, корчует лес, выращивает сад. Лишь частицу плодов своего труда человек пожинает сам, а все остальное дарует потомкам. И так из поколения в поколение. Оттого и растет непрерывно духовное и материальное богатство народа.

Настоящему хозяину несвойственны охотничий азарт и торопливость в деле. Вспомните ленинское: «Лучше меньше, да лучше».

Вправе ли мы в таком великом и трудном деле, как освоение сибирской нефтяной целины, пренебрегать многовековым опытом народа и поощрять вредную и дорогостоящую поспешность?

Разве не разумнее было бы с первых дней организации нефтепромыслов максимум внимания, сил и средств посвятить обустройству, сообразно требованиям

того самого «Минимума», о котором шла речь выше? Ведь для того, чтобы на полную мощь развернуть добычу нефти в том же Сургутском районе, чтобы обеспечить бесперебойную работу начатого уже строительством нефтепровода Усть-Балык — Омск, надо на месте нынешнего деревянного Сургута, не имеющего в достатке ни воды, ни хлеба, ни электроэнергии, ни дорог, ни связи, ни жилья, выстроить современный промышленный центр.

На самых первых порах Сургуту надо иметь ТЭЦ, завод металлоконструкций, авторемонтный завод, завод по ремонту строймашин и механизмов, автобазу, завод крупнопанельного домостроения, завод сборных железобетонных изделий, заводы по производству арголита, товарной извести, бетона, асфальто-бетонный, керамических блоков, кислородный, деревообрабатывающий комбинат и многое, многое другое. А эти предприятия должны строить люди, и работать на них тоже будут люди. Значит, к сказанному надо прибавить сотни тысяч квадратных метров жилой площади, ремонтно-техническую базу, больницы, магазины, аптеки, клубы, кинотеатры, дворцы, школы, спортзалы, стадионы.

Разумеется, за год-полтора все это не построишь, но основу-то можно заложить. А пока что ни одно из названных предприятий не строится, и сюда за тысячи километров везут кирпич и фанеру, цемент и доски, бензин и бетон. И район этот похож на гигантский пересыльный пункт. Не больше трети новоселов оседает здесь, остальные бегут из-за неустроенности быта.

Болезнь легче предупредить, чем вылечить. Ну, а если уж она началась, нельзя ее запускать. И надо без промедлений сосредоточить основное внимание всех организаций, осваивающих Сибирский нефтяной комплекс, на устройстве людей, на создании необходимой промышленно-технической базы, которая позволила бы полным ходом повести разумную, наиболее дешевую и экономичную, наиболее долговременную эксплуатацию одного из крупнейших в Союзе нефтяных месторождений.

У нас изумительный народ, глубоко понимающий интересы общества, верный долгу и слову. Он непритязателен, умеет довольствоваться малым, терпелив на удивление даже самому себе. Но надо ли злоупотреблять его терпением и сознательностью? Ведь речь идет о самом минимальном: тепло, хлеб, крыша. Разве нельзя, к примеру, делать балки просторнее, умело разместив в них шкафы, полочки и многое другое, нужное человеку в быту, снабдив разборными сенями с кладовками? Разве невозможно утеплить эти балки пенопластом или другим материалом? Неужели трудно изыскать способ утепления разборных щитовых домов, если уж нельзя их не строить в Сибири?

У нас есть специальные научно-исследовательские институты, лаборатории, экспериментальные заводы. Есть средства, материал, рабочие руки. Чего же не хватает? Человечности, душевной теплоты. Нужно, чтобы руководитель отвечал не только за метры проходки, себестоимость полученной нефти, расход электроэнергии или дизельного топлива, но (и это прежде всего) за человеческие души. А если голова и руки хозяйственника целиком заняты запчастями, проектами, сметами, тогда, может быть, и впрямь следует при главках, трестах, НПУ иметь политотделы или иные подобные органы.

И наверное, было бы правильно все жилищно-бытовое и культурное строительство сосредоточить в руках местных органов советской власти. Пусть они будут держателями титулов и генподрядчиками. Тогда исчезнут и отсебятина, и ненужная и вредная ведомственная конкуренция.

Сейчас в нефтяных районах органы советской власти по существу не имеют никакой власти: все решают начальники трестов, главков, контор, управлений. Решают самостоятельно, не согласуя своих действий с местными Советами. Это принижает авторитет власти, вносит ненужную сумятицу и неразбериху.

Те специалисты, с кем мне довелось беседовать, полностью одобряют эти мысли.

Главный инженер треста бурения Главтюменнефтегаза Леонид Иванович Вязовцев сказал:

— Я старый нефтепромысловик, но не помню, чтобы где-нибудь этот «Минимум» выполнялся. Мы многого не требуем. Нам хоть бы первый год давали на подготовку жилья и строительной базы. Вот сейчас хорошие специалисты бегут из Нефтеюганска из-за отсутствия жилья. От Филимонова уже сбежали две буровые бригады в полном составе. Средства на жилье есть, но генподрядчик не смог их освоить. Нас должны обеспечивать материалами и товарами на год и триста дней будущего года. А нам в навигацию и половины этого не завозят. Вот и приходится строить через тайгу и болота зимники, гробить на них машины. А деньги! Доставка сюда тонны груза водой стоит ну максимум два рубля, а перевозка ее по зимнику обходится минимум в сто рублей. Да чтобы перевезти сейчас только недостающие нам трубы, потребуются миллионы рублей!

Леонид Иванович говорит сдержанно, пожалуй, даже спокойно. Чувствуется: привык человек к подобным не порядкам и уже не верит в то, что может быть иначе, что может быть так, как этого требует приведенный выше «Минимум».

— Возьмите технику. Нас снабжают ею как будто в достатке. Но получаемые машины непригодны для работы в этих условиях. Здесь зимой снег, летом песок да болото. Два-три месяца — и ходовая часть летит. А у нас ни ремонтной базы, ни запчастей. Наши «толкачи» мечутся по всей стране, правдами и неправдами добывая запчасти. Пора научно-исследовательским институтам всерьез заняться изобретением машин, способных в здешних условиях проработать без ремонта хотя бы год. Или возьмите оплату труда...

Система оплаты труда на севере Тюменской области действительно похожа на запутанный лабиринт, из которого не сыщется выход и самый умудренный экономист. В Сургутском районе ныне действуют шесть систем оплаты труда:

у лесорубов, рыбаков, советских работников — тридцать процентов надбавка к зарплате;

у речников и авиаторов — пятьдесят процентов;

у строителей — семьдесят процентов;

у геологов — сто процентов (вместе с полевыми);

у строителей нефтепровода — сто двадцать процентов (вместе с полевыми);

у работников ВОХРа, техснаба, милиции, военкомата — никакой надбавки.

И получается такая картина. В двух учреждениях работают два бухгалтера или экономиста. Оба с одинаковым образованием, стажем, опытом. И объем работы у них один и тот же, а зарабатывают... один вдвое больше другого.

Оплата труда, как и многое другое, требует немедленного упорядочения. Разнобой в надбавках лишь плодит летунов, понуждает руководителей искать обходные, незаконные пути, чтобы компенсировать труд ущемленных работников.

8

Кто-то пустил крылатую фразу: «Время геологов прошло. Теперь героями дня будут нефтепромысловики».

Нет, время тюменских геологов не прошло, оно еще только начинается. Разведано всего восемь процентов перспективных площадей. Сколько еще открытий предстоит сделать нашим геологам, сколько потаенных подземных кладовых нащупывают они в недрах Тюменщины!

В минувшем году тюменские геологи открыли девять новых нефтяных месторождений. Только разведчики Сургутской экспедиции подготовили шесть новых структур, в том числе такую крупную и перспективную, как Лянторская. Три из шести структур — Карь-Еганскую, Тепловскую, Мамонтовскую — «нащупала» сейсмическая партия геофизика Геннадия Григорьевича Шаталова.

Ему тридцать два года, но выглядит он значительно старше. Годы скитаний по тайге оставляют неизгладимые зарубки на лице и в душе человека. В облике геофизика, в расчетливой скупости и точности движений, в сжатости речи есть что-то от таежных охотников, привыкших к долгому одиночеству и близости тай-

ги. Восемь лет Геннадий Григорьевич бродит с «сейсмиками» по таежному бездорожью. Балык, Пим, Кулык-Игол, Сагун и еще десяток таежных рек избороздил он от истока до устья, возглавляя водные геофизические партии.

На карте Сибирского нефтяного континента Шаталов оставил свой неизгладимый след.

Мы поехали на профиль в АТЛе. Трое втиснулись в кабину, остальные — в кузов. Машину повел Геннадий Григорьевич.

Дорога — обычная лесная просека, пенек на пеньке.

— Снежку бы побольше, — сокрушался Шаталов, орудуя рычагами.

Порой, сокращая путь, мы ехали совсем по бездорожью. Вездеход упрямо полз по сугробам. Иногда под гусеницы АТЛы ложилось сразу несколько дорог. Геннадий Григорьевич, и секунды не тратя на раздумье, безошибочно выбирал нужную.

На крутом откосе АТЛ «разулась» — слетела левая гусеница. Мы, семеро мужиков, кряхтя и охая, с трудом растянули стальную змею-гусеницу вдоль дороги.

— Хорошо, что нас много, — раскуривая папиросу, заговорил Шаталов, когда мы снова тронулись в путь. — Я частенько один езжу. Иногда в такой капкан залетишь... Прошлая зима сильно снежная была. Здесь вот, неподалеку, есть глубокий, крутой овраг. Так его доверху снегом засыпало. Я на «атээлке» целиной ехал, думал, перескочу овраг-то, и со всего разгону бухнулся в эту волчью яму. И кабины не видно было из-под снега. Часа два крутился в этой чертовой ловушке, пока наконец понял, что своим ходом из нее не выбраться. Стал машину тросом вытаскивать. Привязал один конец к дереву, а другой за гусеницу зацепил. Включу скорость, гусеница закрутится, и машина сама себя тянет. Сделает гусеница пол-оборота, я опять перевязываю трос. Совсем было выкарабкался, да сплосшал и снова угодил на дно ямы. Пришлось за топор браться, деревья валить. Кубометров пять наворочал. Мороз под тридцать, а у меня пиджак насквозь мокрый от поту. Дотемна пластался, а выбраться не смог. Бросил машину и по колено в снегу побрел в отряд за восемнадцать километров. Всю ночь шел. К утру еле жив добрался. Сел на трактор и снова сюда. И надо же, одно к одному — прогорел котел подогрева. В общем, двое суток заняла эта баталия...

Позднее от жены Шаталова я узнал, что, возвращаясь домой после этой «баталии», Геннадий Григорьевич не дошел двух саженей до родного порога и упал. Пришлось его поднимать и вести под руки.

Четвертый год Шаталов с семьей живет в Карь-Ёгане. Ни на одной карте этого названия не найдешь. Был здесь лесоучасток, потом лесорубы ушли, оставив в тайге еще один мертвый поселок.

Пригласился он геологам, и разместился здесь штаб геологической партии Шаталова.

Карь-Ёган — полтора десятка домишек — прилепился на крутом берегу озера. Красный флаг на длинном шесте и усатая радиомачта делают поселок схожим с полярной зимовкой.

В вековой тайге, как в гигантской, поседевшей от времени глыбище, прорублена узкая просека. По ней, как по ущелью, ползет нестройная шеренга тракторов с деревянными балками на прицепе.

Взревев мотором, С-100 круто свернул с просеки в лес. Затрещали деревья, обрушив на спину железного жука снежный водопад. Когда снежная пыль осела, трактор был уже далеко. Он штопором ввинчивался в живую стену леса, оставляя за собой груды поверженных деревьев.

Передвижной буровой станок УШБТ похож на груженого верблюда. Медленно, вразвалку тащится стальной верблюд по просеке, волоча на загорбке десятиметровую деревянную вышку, а за собой — огромные сани, груженные шнеками (трубы для бурения).

Люди здесь сжились и понимают друг друга без слов. Каждый знает свое место и свое дело. Пока Константин Мирсаянов с Григорием Рагозиным да Евге-

нием Кандауровым налаживают УШБТ, сейсморабочие Бликова и супруги Савченко разматывают «косу», устанавливают приборы, которые должны поймать и передать на осциллограф отраженную нутром планеты взрывную волну.

Вот вышка встала посреди просеки. Стальные щупальца ротора мертвой хваткой подцепили первый шнек с долотом на конце, и бурстанок заработал.

— Теперь это просто делается, — сказал Шаталов, — я помню, как мы бурили вручную. А весь скарб на лошадке возили. Вот было весело...

А разве не так и теперь кочуют по тайге топографы, любовно прозванные «топиками». Месяцами бродят они по чащам, неся на себе все снаряжение. Тысячекилометровые просеки прорубили они топорами в вековой тайге. В любой мороз, в любую метель «топики» ночуют в палатке, за сотни верст от жилья...

Промерзшая земля плохо поддается буру, но вот пройден слой вечной мерзлоты, и в земную утробу один за другим уходят семь трехметровых шнеков. Взрывник закладывает в скважину взрывчатку, и над тайгой летит крик: «Не шевелись!» Все замирают. Сейчас по сигналу начальника отряда Ивана Давгули грохнет взрыв. Через три — пять секунд испещренная непонятными знаками лента сейсмограммы ляжет на стол Давгули. Отсюда она уедет в Карь-Еган, а потом с попутным вертолетом в Сургут. И кто знает, может быть, именно вот эта сейсмограмма возвестит об открытии нового месторождения нефти...

Снимаются геологи с насиженных мест, уходят все дальше в глубь тайги, на новые, необжитые земли. Три года назад Усть-Балыкская геологическая экспедиция обосновалась на крутом и диком обском берегу. Каждый метр отвоевывали у тайги. Сейчас на месте геологического поселка вырос город Нефтеюганск. В нем теперь хозяйничают нефтепромысловики. А экспедиция готовится к переезду на новое место. Снова на дикий берег Оби.

Они разведчики, а разведчикам на роду написано быть всегда впереди.

Тюмень.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ф. СВЕТОВ

★

О РЕМЕСЛЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1
С то тридцать лет назад в пушкинском «Современнике» была напечатана статья без подписи «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Автор ее сетовал на то, что «бесцветность была выражением большей части повременных изданий», что «читатели имели полное право жаловаться на скудость и постный вид наших журналов». Но «как ни бедна эта эпоха,— утверждал автор,— но она такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности».

Статья эта и в свое время не прошла незамеченной, вызвала, естественно, противоречивые суждения и, несомненно, сыграла свою роль в развитии отечественной литературы. А между тем именно в ту «бедную» эпоху в журналах, огорчавших автора «бесцветностью», «скудостью и постностью», печатались стихи и сказки Пушкина, рассказы Гоголя, в эти годы блистательно начинал Белинский.

Чем же была вызвана такая оценка? Придирчивостью критика? Молодым задором? Неумением почувствовать главное, выбрать существенное? И правда, посвятить статью о движении литературы барону Брамбеусу и не заметить Пушкина...

Впрочем, Пушкин и сам писал в «Литературной газете» в заметке «О журнальной критике» несколькими годами раньше: «Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных».

Думается, что именно понимание важности «нравственных наблюдений» над природой успеха сочинений г. Сенковского и побудило молодого Гоголя написать статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и предложить ее «Современнику».

Во всяком случае полемика Гоголя с Шевыревым, в благородном порыве негодования обрушившимся «на прозаическое, униженное направление литературы», продиктовано уже непосредственно интересом к природе «успеха или влияния» ничтожных в литературном отношении сочинений на читателя. Автор статьи «О движении журнальной литературы» предлагал обращать больше внимания «на бедных покупателей, а не на продавцов» и, отводя «несправедливые упреки» от книгопродавца Смирдина, заслуживающего «одну только благодарность за предприимчивость и честную деятельность», все же замечал: «Нет спора, что он (Смирдин.— Ф. С.) дал, может быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателец, но корыстолюбие искательно»...

Статья Гоголя вспоминается, когда начинаешь размышлять о потоке «бесцветных» или, как сейчас чаще говорится, серых произведений, появляющихся и в наше время — ежемесячно в журналах или спустя некий срок в виде книг, затем часто переиздаваемых...

Гоголя поражали когда-то тиражи барона Брамбеуса, по тем временам действительно немалые: «мнения его разносились чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России». В наше время масштабы другие: иной роман выходит ныне

миллионными тиражами, «разносятся» еще быстрее...

Каждый месяц выходят «толстые» журналы — шесть в одной Москве да еще «Юность», «Огонек», «Смена»... И два в Ленинграде. И в Новосибирске, Воронеже, Свердловске. А теперь и в Саратове... И в каждом номере обязательно роман или повесть. И, может быть, нет ничего страшного (хоть это и огорчительно!), что в этом потоке немало произведений пустых и ничтожных — вот ведь и при Пушкине, кроме Гоголя, печатались барон Брамбеус и Кукольник. Так, видимо, всегда было, что ни говори — литературный процесс. Гениев или даже заметных талантов всегда было мало. А надо ж что-то печатать, не выходить же журналам с белыми страницами. Да и требования критики, читательские вкусы, как известно, понятия далеко не абсолютные. Кому-то нравился в свое время Кукольник, был свой — и немалый — читатель у барона Брамбеуса. Да и кто знает, может быть, шедевры в таком безбрежном потоке и зарождаются: чем он обширнее — тем их больше?

Не из подобной ли заманчивой «количественной» логики и родилось пренебрежительное отношение к литературному мастерству — мол, это «дело наживное»? Не отсюда ли идет и столь легкомысленное и уж никак не бережное отношение к подлинным талантам — легко его заменить, выбор-то, мол, большой! Напомним и слова Гоголя: «Талант не искателен, но корыстолюбие искательно...»

Раздаются порой и такие «успокаивающие» рассуждения: мол, средний уровень литературы сейчас значительно выше, чем раньше, сегодня и интересующийся поэзией школьник умеет сочинять стихи со сложной современной рифмой, версификаторство достигло уровня, немислимого сто лет назад, а уж «средний»-то поэт в наши дни с блеском зарифмует вообще все, что угодно. Этот возросший, общий, так сказать, уровень профессионализма чувствуется и в прозе. Но имеет ли все это отношение к подлинной литературе, определяющей сегодня художественный уровень своего времени?

И тем не менее «проходной», «средней», «серой» литературой заниматься надо. Слова Пушкина о его интересе к произведениям «ничтожным», о необходимости разобраться в причинах успеха и — главное — в нрав-

ственном влиянии таких книг на читателя представляются важными и злободневными и сегодня.

Я сошлюсь еще на один авторитет. Очень точно выразил когда-то Писарев самую суть интересующей нас проблемы. «Обыкновенно... литературные произведения бездарных писателей оставляются без внимания здравомыслящими критиками, — писал Писарев, — всякий видит, что это — хлам, и всякий понимает, что без хлама не обходится ни одна литература и что от хлама не отобьешься никакою критикою, потому что на свете всегда будет очень много людей, совмещающих в себе гениальность шестинедельного ягненка с честолюбием Александра Македонского. Но когда честолюбивый ягненок приобретает себе своими каракульками всероссийскую известность, тогда критика поневоле должна нарушить свое презрительное молчание. Критика должна во всяком случае удовлетворять умственным потребностям публики. Если публика еще способна обольщаться каракульками, значит она нуждается в том, чтобы ей объяснили негодность таких художественных произведений.

Нечего делать! Давайте разбирать каракульки и обсуживать претензии честолюбивых ягнят. Это очень печальная обязанность, но делать нечего. Не публика существует для удовольствия критиков, а критики существуют для того, чтобы принести пользу публике».

Не будем сетовать на откровенность критика, на неприкрыто, как ныне иногда в таких случаях говорят, «недоброжелательный тон» его рассуждений. Существо их и сегодня остается справедливым: «Если публика еще способна обольщаться каракульками, значит она нуждается в том, чтобы ей объяснили негодность таких художественных произведений». Попробуем обратиться к современной нам книжной продукции.

Прежде всего всякий оказавшийся на моем месте встанет перед трудной проблемой: ежемесячно только в журналах печатаются, без преувеличения, десятки романов и повестей, столько же, если не больше, романов и повестей выходит в издательствах — сотни произведений имеют полное право занять свое место в нашем разговоре. Предстоит выбор, в котором бесспорно будет допущена несправедливость — уделив внимание одной книге, мы обойдем

молчанием десятков других, быть может, более достойных критического разбора... Остается надеяться на то, что разговор этот будет продолжен критикой и справедливость в конце концов, как и всегда, восторжествует.

Чем же все-таки руководствоваться при выборе материала для нашего рассмотрения? Очевидно, критерии здесь должны быть наиболее объективными.

Попробуем воспользоваться количественными критериями. Самый большой тираж? Если книг с тиражами в сто тысяч экземпляров немало, может быть, существует не так много произведений, выдерживающих в первом издании тираж, скажем, в миллион экземпляров? И здесь нет преувеличения. В самое недавнее время вышла повесть тиражом в 2000000 экземпляров. Она опубликована в одном из самых массовых наших изданий, в журнале, который, казалось бы, должен весьма дорожить своей площадью — что было бы вполне естественно при его малом объеме и колоссальном тираже.

Тринадцать номеров подряд (№№ 10—22 за 1966 год) — три месяца — «Огонек» печатал повесть Николая Асанова «Богиня Победы». Не детектив и не юмористическую повесть — «современную повесть с прологом и эпилогом».

Приметы так называемой «современной повести» обозначаются сразу. Перед нами столичный институт ядерных исследований, один из центров современной науки; Дубна, разговоры, споры и размышления об «архиважных» проблемах ядерной физики; самый современный спорт — водные лыжи; молодые ученые — талантливые, дерзкие, насмешливые; чиновники от науки, понатеревшие в различного рода хитроумных кознях, и мудрые «небожители», все разом решающие и разрешающие... Конфликт — столкновение молодого, вечно юного с отживающим и дряхлым, нескончаемая, как сама жизнь, борьба добра со злом, борьба долгая и упорная — на протяжении всех тринадцати номеров. И вот наконец финал: справедливость, добро восторжествовали. Богиня Победы — прелестная вещичка, дважды на протяжении повести побывавшая в комиссионном магазине на Арбате, — заняла наконец место на столе у того, кто больше всего этого достоин. Ей. — Нике — пришлось нелегко: ее покупали, дарили, передаривали снова, ей отламливали

крылья, выводили дредлю издевательские надписи, потом стирали эти надписи, опять сдавали на комиссию, снова покупали, припавали крылья...

Сюжет раскрутился, автор, пообещавший в прологе еще раз встретиться с читателем, свое обещание сдержал и встретился с ним в эпилоге.

Каков же итог всей этой напряженной интеллектуальной жизни читателя в течение трех месяцев, прожитой вместе с героями Н. Асанова, в чем нравственное влияние этой книги?

Прежде всего одно частное замечание. В прологе и эпилоге повести автор поделился обстоятельствами, так сказать, личного и творческого характера. Мы узнали, к примеру, что он любил, бывало, постоять возле витрины комиссионного магазина на Арбате («денег, правда, в те времена было не густо», он «просто наслаждался, глядя на всякие красивые вещицы»), что, увидев однажды в витрине фигурку богини Победы, он подумал, «почему бы мне не сопрягать каждое свое деяние с нею, богиней Победы, рискуя больше, чем я рисковал до сих пор, ища более важные предметы для размышления и суждений о них!»; что иногда он «одерживал победы духа, порой терпел жестокие поражения...».

Но этим не ограничивается рассказ автора о творческой предыстории повести. Для того, чтобы написать это произведение, признается автор («чтобы повесть ожила...»), ему пришлось «познакомиться не только с героями, но и с местом действия, проникнуть в суть научных исследований моих действующих лиц и, пожалуй, прежде всего в душу человека...». Это естественно. Странно, если бы автор стал писать повесть, не побывав в том месте, которое решил избрать, и не познакомившись с людьми, выбранными им в качестве героев.

Но вот тут-то случилась неприятная неожиданность. Прототип Михаила Борисовича Красова (одного из главных героев повести), видимо, догадавшийся, что в будущем произведении ему предстоит быть отрицательным героем, перестал быть откровенным с нашим автором, прервал всякие разговоры, а потом и просто отказал ему в пропуске в «место действия». Непонятно, правда, чего уж такого натворил в тех «местах» наш автор, но обеспокоился он серьезно: «Вполне возможны некие «административные меры», — подумал он. И тут же

успокоил себя: «Меня-то они, может (!), и не коснутся, а вот на тех, кто делится со мной своими мыслями, могут нечаянно обрушиться». Тем не менее он быстро закончил работу, но только лишь отдал рукопись в редакцию, как раздался звонок «из одной высокой научной инстанции»: «Мы хотели бы ознакомиться с повестью, чтобы помочь автору избежать ошибок...»

Рукопись была послана «в инстанцию» на неделю, пролежала там полгода, автор занимался тем временем другой работой (он подробно об этом рассказывает), кроме того, звонил, ходил — требовал решения вопроса. И, естественно, был возмущен: «Ведь автор писал не о науке, а о людях, творящих науку!..» Но, «видимо, что-то случилось в институте!» — замечает писатель, — ожидаемых возражений против опубликования повести, тем более «административных мер» не последовало. Как сказал автору положительный герой о герое отрицательном: «Он стал грусоват. В прежние времена, доведись ему заполучить в руки такую рукопись («Богиню Победы». — Ф. С.) — я ведь понимаю, что вы не лавровый венюк ее сплели! — едва ли бы вы получили ее обратно. А если бы и получили, так она оказалась бы такой же подстриженной, как английские газоны»...

Может быть, иного читателя, «заполучившего» в конце концов всю повесть Н. Асанова, и взволнует столь доверительный рассказ о, так сказать, творческой лаборатории автора. К литературе все это, разумеется, отношения не имеет. Но одно из признаний писателя для нас ценно и дает нам право трактовать повесть «Богиня Победы» как произведение литературы: «автор писал не о науке, а о людях, творящих науку».

Бог с ней, с наукой, — «творится» она, разумеется, не в повестях и романах, а в «местах действия», специалистами, а не беллетристами. А вот к разговору о людях, благо они и составляют предмет исследования писателя по его же признанию, мы и перейдем.

2

В литературе существуют так называемые расхожие идеи. Когда-то они явились плодом долгих и глубоких размышлений, сыграли свою роль в литературном развитии, остались жить в истории литературы как определенный ее этап. Но порой жизнь такой идеи продлевается искусственно, она,

как говорится, «лишнего живет». Не выражая уже реального содержания, она становится неким иероглифом, символом. Идея продолжает свое «обращение», она расходится бесконечно, мельчает, компрометирует острую когда-то мысль, становится общим местом, пародией на себя: трагедия оборачивается фарсом, сатира — анекдотом, гражданская мысль — кухонной сплетней.

Впрочем, литературному ремесленнику расходящаяся идея служит незаменимым материалом для постройки. Она придает всему сооружению видимую современность. Она заменяет собой необходимость в самостоятельном открытии, заранее предупреждает о своей «остротех», трубит об ожидаемых ею для себя грозных последствиях и обвиняет всех инакомыслящих в ретроградстве... Кроме того, это материал необычайно удобный: он всегда под руками, тот, кто пользуется им, может не размышлять и не сомневаться. Нет материала лучше, чем расходящаяся идея!..

В центре повести Н. Асанова стоит проблема отцов и детей в науке, проблема, так сказать, вечная, традиционная и одновременно модная. На первый взгляд кажется, что в повести «Богиня Победы» она — эта проблема — воплощена в столкновении таланта и бездарности: молодые, полные задора таланты и уставшие, «обескрылевшие», мечтающие существовать за чужой счет дельцы от науки.

Противники составлены четко. Заведующий лабораторией член-корреспондент Михаил Борисович Красов, его помощники и сподвижники Крахмалев и Подобнов; а с другой стороны — молодые кандидаты Алексей Горячев и Ярослав Чудаков. Вместе с ними и дочь Красова — красавица Нонна.

Вся энергия Красова и его приятелей направлена на устройство карьеры: сам Красов хочет стать академиком, Крахмалев и Подобнов соответственно — один член-кором, другой доктором. В свою очередь Горячев и Чудаков хотят...

И вот здесь-то, казалось бы, стройный замысел повести ломается, начинается путаница. Чего хотят и с чем борются Горячев и Чудаков, к которым автор относится с откровенной симпатией? Пожалуй, можно ответить так: они борются с бездарностью, лишь занимающей место в науке, к ней примазывающейся, тормозящей и прочее. А во имя чего они свои подвиги совершают? Во имя того, видимо, чтобы ничто не

мешало движению науки, чтобы каждый занимал место соответственно, так сказать, выданной им продукции, а не уменью вести интриги и строить козни...

Что ж, замечательно, перед нами повесть о настоящих рыцарях без страха и упрека, борцах за справедливость... Попробуем к ним приглядеться внимательнее, не часто нам такое знакомство предлагают...

Нужно сказать, что анализировать героев Н. Асанова при очевидной их элементарности не так просто. И прежде всего потому, что герои повести мало похожи на живых людей, на реально существующие характеры — каждый со своей психологической логикой и правдой.

Вот, скажем, попробуйте проанализировать героев отрицательных — Крахмалева и Подобнова. Что мы о них знаем? Что герои положительные — Чудаков и Горячев терпеть их не могут, потому что те все время норовят примазаться к чужим идеям и открытиям, а сами в науке ничего не смыслят; что одного из них — Крахмалева — зовут Сергей Семенович, а прозвище у него «Кроха», или «Крох», что однажды, присутствуя на эксперименте Чудакова и Горячева с античастицами, этот Крох за мгновение до положительного результата ехидно в нем усомнился, но тут же был посрамлен; потом он обвинил Горячева и Чудакова в идеализме («Папа римский должен прислать благодарность нашим открывателям!»). Однажды Чудаков сказал ему: «Я даже не дал тебе по морде, а следовало бы», Крахмалев тогда, естественно, разволновался, попробовал апеллировать к свидетелям — техникам и лаборантам, но те быть свидетелями отказались («Ничего мы не слышали...»).

Вот, собственно, и все случаи, когда Крахмалев «проявляется». Подобнов — и того меньше. Мы не знаем даже, как его зовут. На протяжении повести он ни разу не раскрывает рта. Это некто в ампула проходимца, на которого Михаил Борисович Красов почему-то тем не менее опирается.

О Красове говорится значительно подробнее. О нем сообщает много любопытного автор, его дружно ругают Горячев и Чудаков, его разоблачает дочь Нонна. В повести он раскрывается главным образом как человек обходительный, но себе на уме, твердо, хотя и прямолинейно для хитрого человека, каким он назван, ведущий свою линию. Воспитанник некой научной «школы», ее

«выдвиженец», он считает, что пора иметь собственную «школу». Представляет ее он себе весьма примитивно: в лаборатории у него будут трудиться талантливые молодые люди, а он станет подписывать их работы. Вот и будет «школа М. Б. Красова».

Собственно, вся повесть Н. Асанова об этом: Красов вместе с Крахмалевым и Подобновым хотят подписать очередную работу Горячева и Чудакова, а те больше идти на это не желают, им надоело — так было уже тринадцать раз.

Что ж, «конфликт» вполне возможный. Действительно скверно, когда руководитель, пользуясь служебным положением и играя на чувствах не самых лучших, вынуждает сотрудников идти на подобные сделки. Разумеется, это безнравственно. И разумеется, об этом можно написать в художественном произведении. Но, очевидно, мошеническое приписывание себе научной работы станет лишь, так сказать, самым общим контуром сюжета, некой отправной точкой, либо даже деталью сюжета...

В повести Н. Асанова эта «деталь сюжета» становится содержанием произведения, мало того, она это содержание и исчерпывает. «Проблема» присвоения чужой работы, борьба за права Горячева и Чудакова, настаивающих именно и только на своем авторстве, становится борьбой за прогресс в науке, и еще шире — вообще за прогресс, за свободу, так сказать, за мир и демократию! Герои повести настолько полны сознания значительности своей деятельности, что любую неурядицу или мелкое столкновение трактуют расширительно и с особым значением.

Даже состязание на водных лыжах, на которое подначивает Горячева дубнинский физик Тропинин, воспринимается Горячевым с особым смыслом: «Это не было шуткой! Это было предупреждением!» Он считает, что именно так — значительно-иносказательно — отнеслись к его прогулке на водных лыжах за глиссером и все «болеельщики», загоровшие на берегу Волги («молчаливые люди, которые до того готовы были кричать: «Распни его!»... вдруг присмирели, проводили его сочувственными и доброжелательными взглядами, как будто прочитали за тем видимым, что произошло у них на глазах, то невидимое...» и т. п.). Горячев, устояв на лыжах, исполнен «гордости и злости», причем не просто спортивного задора, вполне здесь естественного, но

высокой гражданской гордости и высокой, так сказать, гражданской злости. «Эту борьбу они (Горячев и Чудаков.— Ф. С.) ведут не для себя. Немало молодых талантливых ученых в разных областях науки совершают открытия и остаются неизвестными. А под их работами, выстраданными кровью, бессонницей, усталостью мозга и сердца, стоят подписи равнодушие и пустое чванство...» Недаром победителю в повести Н. Асанова обещана и вручается богиня Победы. Символика повести окрашивает развернувшееся на ее страницах сражение в тона напряженно экзотические. Ее положительные герои не просто научные сотрудники института, авторы некоей работы, которые не хотят выполнять несправедливое указание администрации, а Рыцари, борющиеся с Несправедливостью, готовые на все ради Истины...

К слову сказать, некоторые положительные герои повести — лица все же более живые, чем их противники, персонажи скорее, так сказать, памфлетные, чем реально существующие.

В этом смысле характерен Ярослав Чудаков. Это — лицо живое. Более того — это единственно живой человек в повести «Богиня Победы», и потому на нем следует остановиться подробнее.

Чудаков с виду «недоросток», «маленький, чернявый, по-мальчишески подвижный». Ходит он обычно в лыжных шароварах, в толстом свитере. Он человек прямой, «неудобный», режет в глаза правду-матку, с начальством особенно не церемонится; склонен выражать свои мысли образно — в форме пословиц и поговорок, творчески порой перерабатываемых: «Ближе к делу, ближе к телу», «С миру по нитке — удавленнику веревку» и т. п. Чудаков, так сказать, наследственный экспериментатор: отец и дед его были людьми мастеровыми, у него тоже золотые руки — руки, которые «думают».

Чудаков человек семейный. У него удобная квартира, сын Ярослав Маленький (имя Ярослав потомственное в семье Чудаковых — сам он Ярослав Ярославович), милая жена, которую Чудаков свирепо и без видимого повода ревнует, даже к сыну. Яр-Ярыч, как его называют, — «уже остепенившийся физик» (это он сам так о себе думает, имея в виду кандидатскую степень и размышляя о близкой докторской). Он любит поваляться на диване, с удовольст-

вием вспоминая о том, чего он добился в жизни: квартира, положение и т. п. Его дружба с Горячевым в то же время счастливое научное содружество ученых разных дарований (теоретик и экспериментатор). Совместно они сделали уже тринадцать работ, завершены на наших глазах работы четырнадцатая и пятнадцатая. Кроме того, Чудаков «с необыкновенной ловкостью» показывает карточные фокусы и стоит на голове... Автор Чудакова любит, в повести «Богиня Победы» он и Горячев как бы представляют собой будущее нашей науки.

Но пока что речь шла только о некоторых внешних приметах характера, фактах биографии. У Чудакова есть страсть, которой он живет, которая иссушает его тщедушное тело. Чудаков — завистник. И как бы автор это ни прятал, указывая на «умные руки» и «колючесть» своего героя, это очевидно. Именно эта страсть, как становится ясно читателю, и движет всеми поступками и помыслами Чудакова.

Чудаков крайне подозрителен, даже озлоблен. Интриги и козни против него и его приятеля Горячева чудятся ему за каждым словом и поступком, за молчанием или обычным, вполне рядовым действием. Не успел еще Чудаков, например, обрадоваться статье в газете, в которой директор института академик Гиреев расхвалил их последнюю работу (с этого начинается повесть), как тут же отметил, что его друг Горячев назван в статье по имени-отчеству — «Алексей Фаддеевич», а он лишь инициалами «Я. Я.», что говорится об обоих соавторах, по его мнению, недостаточно «пылко и восторженно».

Тем не менее и такое «признание» ему очень приятно, и он радуется сразу же последовавшему приглашению «на раут» к Красову, хотя терпеть его не может. Чудаков с удовольствием подсчитывает, сколько раз он упомянут в недавней обзорной статье американского автора (одиннадцать из двадцати шести)... Сообщение о том, что их открытие опоздало, что некий американец опубликовал статью о тех же частицах двумя неделями раньше, совершенно выбивает Чудакова из колеи: ему «душно, хотя вокруг текло свежее майское утро», на светский раут к Красову он, конечно же, теперь уже не пойдет, ошарашенному Горячеву он выговаривает за его «донкихотство», за то, что он не понимает, что все это происки Красова, Крахмалева и Подоб-

нова, задержавших опубликование работы, их месть за то, что он — Чудаков — однажды уже отказался включить их в число соавторов... «Да, именно младшие, — с горечью восклицает Чудаков. — Младшие научные сотрудники! Так это и записано в наших с тобой трудовых книжках. А эти Крохи, Подобновы и Анчаровы давно уже старшие научные сотрудники, доктора наук, а некоторые и члены-корреспонденты...»

Или в другом месте повести, не успев обрадоваться удаче следующей работы (обрадоваться «за науку, за институт, за Алешу Горячева, за весь свой коллектив»), Чудаков «пытается разгадать мысли» тех, кто присутствует на эксперименте, причем если эти мысли он «немножко и шаржирует, — замечает автор, — то только как художник, для остроты изображения».

Что же думают, по мнению Чудакова, об их удачном опыте товарищи по институту? Подобнов, скажем, «непосредственно и грубо завидует», «мстительно мечтает» о том, чтобы открывателей прямо здесь же постигла неудача. Красов радуется тому, что открытие совершилось в его лаборатории, стало быть, ему удастся за чужой счет поживиться. Теоретик Яков Арнольдович Анчаров делает здесь свою маленькую карьеру: завтра он первым доложит директору «не только обо всем увиденном, но также и об услышанном». Проникнуть в мысли Крахмалева Чудакову не удается («Чудаков много бы дал, чтобы выяснить, о чем думает Кроха»), но «во всяком случае все записи по эксперименту надо запереть в сейф» (!).

Да, воображение у Чудакова действительно буйное, хотя и однообразное. «Все хриstopродавцы, — говорил когда-то о жителях губернского города N Собакевич. — Один гам только и есть порядочный человек: прокурор, и тот, если сказать правду, свинья...»

Весь этот клубок мелких чувств и страстей иссушает Чудакова. Этот молодой человек порой кажется уставшим и старым, надломленным. И не удивительно, что по существу он пасует перед Красовым и Крахмалевым. «Я пойду в дворники, ну, а тебе прямой смысл стать тапером, тем более, что музыку ты не бросил», — весьма жалко говорит он Горячеву, когда конфликт обостряется. Предложение друзей написать в знак протеста заявление об уходе из института воспринимается им с мрач-

ной иронией: «Коллективочка»?.. Конечно, времена не те, но за такую «коллективочку» по головке не погладят. Тут уж действительно придется идти в дворники...» и т. п.

Даже «божий человек» — Горячев жалеет перепуганного приятеля, а тот совсем в панике. «Хорошо еще, что сейчас не средневековье, — мрачно «шутит» Чудаков. — В те времена старшины цеха просто выпороли бы нас на площади и выпроводили за стены города»; «наше дело швах. Впрочем, был бы хомут, а шеи у нас крепкие...» Он уже ни во что и ни в кого не верит; срочно забирает из лаборатории свои бумаги, боится, что его больше не пустят в институт, и т. п. Совершенно естественное предложение Горячева, несмотря на всякое отсутствие практичности, сообразившего, что надо пойти в партком, к директору своего института, написать письмо в Президиум Академии наук, — подумаешь, делов-то: настоять на том, чтобы самим подписать собственную работу, коль уж ты человек принципиальный и решил бороться с безобразием, — даже эти разумные и вполне осуществимые предложения воспринимаются им безнадежно: «Ну что может Кириллов?» (секретарь парткома). Впрочем, этот пессимизм тут же сменяется обычной подозрительностью: «Кстати, тебя никогда не занимало, почему в нашем институте секретарем парткома всегда выбирают кого-нибудь из инженеров и никогда ученого?»

Видимо, одно дело говорить прибаутками и дерзить начальству, а другое — вступить с этим начальством в конфликт.

Что ж, как говорится, дело житейское: «умные руки», «крепкая шея», шутки и прибаутки, но ведь, строго говоря, впереди защита докторской диссертации. К тому же Чудаков привык к удобной квартире, ему приятно пересчитывать количество «упоминаний» о нем... Правда, в самом финале повести, в разговоре с директором института, почувствовав его поддержку, Чудаков воспрянет духом и опять станет дерзить Красову и разоблачать Крахмалева с Подобновым («Сколько наших работ вы подписали, Михаил Борисович?»). Но читателю он уже ясен, цена его подвигов, его человеческая сущность очевидны.

Этот «поворот» в характере одного из центральных «положительных» героев повести кладет неожиданную тень на все произведение Н. Асанова. Да и сама проблема

«отцов и детей» поворачивается новой гранью. Ведь если представить себе на мгновение, что Красов, Крахмалев и Подобнов живые люди, а не схематическое изображение злодеев и дельцов в науке, то и борьба их с «детьми» — Чудаковым и Горячевым — станет всего лишь столкновением людей, в природе которых нет ничего принципиально различного. Да, скажет Красов, он действительно ставил свою подпись под чужими работами, но ведь он руководитель лаборатории. Горячев и Чудаков — его ученики, они выполняют тематику, продуманную и утвержденную им. И приведет десятки других, вполне аргументированных, формально безупречных соображений. Когда-то ведь и Красов был молодым талантливым ученым, и он подписывал свои работы совместно со старшими товарищами, потом «школа» его выдвинула — это традиция... Различие между Красовым и Чудаковым чисто временное — возраст! Так или иначе, но Красов, Крахмалев и Подобнов в конце концов уйдут на пенсию, а Чудаков и Горячев займут их место, у них вырастут свои ученики, которых они будут учить чиновничеству и безбидному мошенничеству. Нечего сказать, веселая перспектива!

Конечно, у читателя нет прямых оснований предполагать, что Горячев станет использовать свое служебное положение для упрочения собственной карьеры (правда, ведь и Красов сначала не был «злодеем», когда-то его отмечал сам Гейзенберг!), но что Горячев фигура весьма схематическая, неживая, это всего лишь авторская декларация, а вот во что разовьются, чем обернутся страстишки Чудакова — это представить себе можно с достаточной определенностью.

3

Мы выбрали для анализа повесть Н. Асанова, руководствуясь мотивами объективными, хотя и случайными. В конце концов тираж — это призыв издателей и книготорговцев. Внимательное чтение повести убеждает в том, что она тем не менее характерна для весьма многочисленного ряда произведений. Видимо, и в издательском «произволе» есть своя закономерность. Непредубежденный читатель, дочитавший до конца «Богиню Победы», не может не поразиться полнейшей пустоте ее конфликта. Намеченная в ней расхожая идея, которая должна была сцементировать всю построй-

ку, обещавшая хоть какую-то «глубину», «остроту» и даже «смелость», обернулась уже совсем пустым недоразумением. Молодых людей, обратившихся наконец в партком и в дирекцию с жалобой на «шефа», который хотел примазаться к их открытию, поддержали, успокоили — подписывайте на здоровье, никто вас не собирается травить, увольнять и посылать в дворники!

Конфликт лопнул, стоило ему лишь наметиться, а героям перестало подзревать, намекать и склочничать меж собой. Как только противоборствующие герои столкнулись наконец во вполне реальных жизненных обстоятельствах, то оказалось, что автор ничего решать и не собирался, что он даже робеет перед самой попыткой как-то высказаться о подобной серьезной ситуации, затрагивающей целый комплекс взаимоотношений в мире современной науки, нравы, давнюю традицию... Молодые люди несогласны с неверной практикой своих научных руководителей... Что надо в этом случае делать молодым ученым, чтобы остаться принципиальными? Что предпринимает руководство, если оно упорствует в своих узаконенных привычках? Но конфликт, хоть в какой-то мере серьезный и жизненный, не входил в намерения автора, и он поспешил его «снять». Оказалось, что никто в повести не собирается испытывать принципиальность молодых людей, никто не пытается и проверить степень безнравственности руководства. Недоразумение разрешилось полюбовно: слегка распроясавшихся старших пожуррили, младших, несколько зарвавшихся, фамильярно похлопали по плечу. И волки сыты, и овцы целы.

К тому же в повести Н. Асанова нет ни «волков», ни «овец», как нет ни «отцов», ни «детей». Бывают люди, в силу различия в возрасте при равной ничтожности натуры, враждующие меж собой за место под солнцем — только это вытекает из всей логики повести.

Но стоило ли тогда огород городить, иллюстрировать эту небогатую идею в тринадцати журнальных номерах, выпускаемых тиражом в два миллиона экземпляров?

Пустой конфликт в повести Н. Асанова характерен: иллюстративное и прямолинейное воплощение расхожей идеи не может создать произведение, в котором был бы художественный анализ действительности. Жизнь заменена в таком произведении отголоском литературных споров, персонифи-

цированных в фигурах героев, не выдерживающих хоть сколько-нибудь внимательного анализа.

Я пролистал десятки «толстых» журналов за последние год-полтора, говоря словами поэта, я нырял по журналам, как водолаз, — повести, не отличимые от пухлых романов, разве что размер чуть поменьше; романы, не отличимые от долгих повестей. Молодой, полный задора директор и старый, отработавший свое консерватор, сохранивший тем не менее полезные знания и опыт, тупые очковтиратели и молодые бесребреники-энтузиасты. Любовь, столкнувшаяся со стяжательством, любовь, не выдержавшая испытания производственным долгом, любовь, такое испытание выдержавшая...

Я стараюсь как-то классифицировать проблемы и конфликты, интересовавшие авторов, пытаюсь представить себе реальную жизнь, изображенную в этих произведениях. Ведь, разлегвшись сотысячными тиражами по городам и весям нашей страны, они поглотят многие тонны столь дефицитной для художественной литературы бумаги, и что самое тревожное — найдут своего читателя...

Роман Ю. Грачевского «День без ночи» о судостроительном заводе в северном городке, напечатанный в первом номере журнала «Нева» за этот год, словно бы совсем не похож на «Богиню Победы» и тем не менее — это родной ее брат.

Герой романа — Леха-кудряш, Леха-бригадир, Леха-запевала, помнит этот северный берег «еще голым и тундристым», он превращал эту «хлябь в твердь». Сейчас, спустя годы, он — Рукавицын — приезжает снова на родной завод, но уже директором. Да, он всегда любил свой завод, болел за него. Когда однажды при нем Севрыбстрой стали ругать как предприятие убыточное, «он так взъярился, что всех начал правдой обжигать невзирая на лица». Не для того он подарил заводу молодость, чтобы потом все это списали как «неразумную затею» и т. п.

Правда, кто такие противники Рукавицына, которые хотели «списать» целый судостроительный завод, читатель так и не узнает. Но читатель у нас терпеливый, привык и не к таким странностям — он идет дальше. Новый директор, человек свежий, отказывается от коттеджа («На что он мне! Я в нем заскучаю, от шума вдали»), от личного шофера — сам водит директорскую

«чайку», напевает за рулем: «Чайка смело пролетела..»; влюбляется в редактора многотиражки — милую молодую женщину, оформляет развод с предыдущей женой... Завод тем временем выходит из прорыва, Рукавицын налаживает отношения с заказчиками — рыбпромышленными организациями, которые всегда были серьезно недовольны заводом, привлекает к работе снятого до него директора Одрова — что ж, правда, он представитель «волевого» стиля руководства, работу он завалил, дров наломал, но человек с большим опытом и знаниями — будет полезен. И хотя кое-кого на заводе это поражает и пугает, сам Рукавицын считает именно это дело «самым трудным из всех дел, какие удалось ему сладить после назначения на Севрыбстрой». По его мнению, нельзя упускать Одрова, «чей опыт — производственный и нравственный — может стать питательной средой для тех, кто растет» (и действительно, хорошая должна быть «питательная среда» — «волевой опыт» Одрова!).

Впрочем, «производственная» часть романа проходит совсем незаметно для читателя, его не только не утруждают технологическими подробностями процесса создания судов, он вообще по существу завода не видит; наше внимание приковано к другому — так сказать, нравственному конфликту, завязавшемуся на первых страницах романа и так и не разрешенному в его финале.

В первый же день приезда в город юности, еще инкогнито. Рукавицын зашел в гастроном — «решил понзучать магазинь». К нему тут же обратились: «Слышь, друг, сложимся на троих?» Сложился, отправились к Рукавицыну в гостиницу. Выпили, поговорили, Рукавицын представился, собутыльники оказались рабочими «его» завода. А потом чушь подвыпившие Холстов и Хнык по дороге домой, заступившись за женщину, ввязались в уличную драку.

Эта драка расследуется на протяжении всего романа. Холстова и Хныка хотят снять с доски передовиков, собираются судить. Рукавицын сбился с ног, пытается им помочь. Оказывается, что заступились они за Ирину — дочь Одрова — бывшего директора завода, чертежницу в их конструкторском бюро. Обидел же ее некто Якимчик — тоже рабочий завода. Но на самом деле не так уж он ее и обидел — он сам обиженный. Ирина — его жена, а Одров не поощряет такой мезальянс. Якимчик тянул Ирину к себе —

как-никак законная жена, а она, боясь гнева отца, сопротивлялась. Благородные рыцари Холстов и Хнык, не зная сложности ситуации, вступились за нее, и что теперь со всеми ними делать — никто не знает, в том числе и автор. Эта вымученная история тянется, как уже говорилось, на протяжении всего романа, о ней думают, говорят, спорят; автор — отдадим должное его изобретательности — придумывает в связи с ней все новые и новые ситуации — это костяк книги!..

Ну и дела, подумает читатель, лихо закручено! И хулиганы, оказывается, не хулиганы, а защитники женской чести, и пострадавшая — не пострадавшая, а послушная дочь, и оскорбитель женской чести — никакой не оскорбитель, а законный супруг, сам оскорбленный высокопоставленным вельможей, да и вельможа — тоже не вельможа, а просто человек, привыкший к «волевому» стилю руководства! Есть к тому же еще следователь, пытающийся во всем этом деле разобраться, — человек высокопринципальный, заботящийся только о справедливости. И наконец Рукавицын, который вносит в это дело страсть, задор и неукротимое стремление добиться правды.

Прекрасно! Опять читатель дождался книги, посвященной борьбе за правду, в которой действуют благородные рыцари, борцы за справедливость... Беда только в том, что сама-то эта борьба — вся история, которая так взволновала нового директора Рукавицына, — яйца выеденного не стоит. И все это понимают, не говоря уже о читателе, — все участники этой истории. Все, кроме главного героя и автора, с профессиональной изобретательностью продолжающего распутывать этот «узел».

А судьба завода, проблема нового стиля руководства, наконец любовь, о которой тоже ведь идет здесь речь, — это все фон, антураж, общие слова, штампы и штампы, которые уже столько лет служат материалом для пародирования.

Конфликт в романе «День без ночи», как и конфликт в повести «Богиня Победы», хотя внешне эти произведения и совсем не похожи, имеет общую основу: равнодушие к подлинной жизни и ее реальным конфликтам; это заранее обдуманная и безопасная игра в жизнь.

А разве не то же самое ждет читателя в десятках других романов и повестей, появившихся совсем в недавнее время? Конф-

ликт в этих произведениях разворачивается, скажем, на фоне борьбы какой-нибудь милой девушки-ихтиологички за прекращение хищнического уничтожения рыбьей молоди, а его суть в том, что двое-трое, нет, четверо мужчин добиваются ответного чувства героини, а один из них — бывший уголовник — замерзает, пытаясь раздобыть для героини настоящего голубого песка; пострадавшего спасают его соперники. В другом произведении молодой мастер из-за неполадок в работе остается на ночь в цехе, а девушка, которую он любит — милая и хорошая, — не может этого ему простить; остальные герои повести ему сочувствуют, их мнят. Герои третьего произведения живут под Москвой, но конфликт у них вполне ветхозаветный: родители пытаются выдать дочь замуж за жулика — человека ничтожного, а герой этому препятствует — увозит девушку с собой. Или конфликт более сложный, так сказать, психологический: герой ищет «клад», закопанный им двадцать лет назад, во время войны. Это нужно ему для того, чтобы найти ребенка, которого ему когда-то доверили. Ребенок (уже взрослая девушка) считает своей матерью не свою мать, а просто добрую женщину, подобравшую ее когда-то, а отца, живущего рядом, считает соседом. (Героиня повести говорит в финале: «В неправде я мать ее, и мы счастливы — я и она. Ты видел. Не мать только потому, что не родила ее, а так мать... мать, для нее — мать. И если мы счастливы, то зачем правда...»). Еще в одном произведении «миляга» герой шоферит на горных дорогах, сначала дружит с калымщиками, потом знакомится с геологами, потом расходится с калымщиками, начальство его одобряет...

Впрочем, иной раз читатель находит в журнале и повесть с трагическим конфликтом, природа которого тем не менее все та же. Например, повесть В. Собко «Четвертая рота» («Октябрь», № 9, 1965). Ее герои — заключенные в тюрьме, расположенной на западе нашей страны. Начинается война, охрана разбегается, заключенные предоставлены самим себе, они свободны, и вот целым подразделением «четвертая рота» пробивается на восток вместе с откатывающимся фронтом к своим: пусть там вершится правосудие. Люди разные — коммунисты, ставшие жертвой клеветы и нарушения социалистической законности, и уголовники. В центре повести любовь: Катерина, зару-

бившая из ревности мужа топором, нежно и преданно влюбляется в учителя немецкого языка Артема — комсомольца, честного человека, арестованного по ложному доносу и приговоренного «постановлением тройки» к расстрелу «за шпионаж». Любовь этих людей вдохновляет их сотоварищей на подвиги («Они смстрели на Катерину, на ее ясные глаза, улыбку, и сами светлели лицами. Если эта красивая женщина так радуется, значит еще жива мечта, радость и счастье может прийти к каждому»). Автора не интересует суть трагического конфликта (осужденные советским судом честные люди поставлены перед выбором: «свобода» у немцев или тюрьма у своих — об этом только говорится мимоходом, декларативно), и он окончательно запутывает весьма принципиальную разницу в судьбах всех этих людей — скажем, убитой человека Катерины и невинно пострадавшего учителя Артема: «как странно, еще совсем недавно она была пионеркой, училась в школе. А он сам разве давно был пионером...» По существу Катерина особенно и не рассказывает в своем преступлении («Топором она билась не вслепую. Это выдумки, будто человек может от злобы себя забыть»), она говорит о сделанном с некоторой даже гордостью: «Он мне изменил. Изменники не имеют права жить на свете». И комсомолец Артем с таким ее «правосознанием» вполне согласен: «Это правда, изменники не имеют права жить на свете». Во всяком случае себя он считает значительно более виноватым: «Разве ты комсомолец? — думает он о себе. — Комсомольцы тверды духом. Ты не комсомолец, ты подписал ложное признание (Артем «признался» в шпионаже. — Ф. С.). Да, у меня не стало силы, не хватило характера. Я плохой комсомолец. Но я хочу быть хорошим...» и т. п. Он испытывает муки совести, стонет, страдает, и Катерина вынуждена его утешать («Жалко мне тебя...»), она «опустила руку и тяжелой ладонью провела по волосам Артема, приласкала нежно и сердечно...»

Не правда ли, странное впечатление производит эта «тяжелая ладонь» вчерашней убийцы, нежно утешающей человека, арестованного по клеветническому доносу, несправедливо приговоренного к смерти и тем не менее вконец растерявшегося от сознания вины перед несправедливым судом (если можно назвать судом «тройку», нарушав-

шую элементарные нормы социалистической законности)!

Так и проходит по повести В. Собоко эта нежная пара, провожаемая умильными взглядами остальных героев («Посмотри только, какие у них счастливые лица!»), поощряемая автором; она его утешает, они признаются друг другу в любви: «Какая ты красивая!..» — «Не боишься меня?» — «За чем?» — «Меня все в тюрьме боялись». — «Нет, я не боюсь. Я знаю: ты хорошая». «Ты меня любишь?» — неожиданно спросил он. «Да, — просто ответила Катерина. «И я. Очень люблю тебя. Ты лучше всех...» Я уже не говорю о безнравственности этой ситуации, она поражает и своей ненатуральностью, полнейшим психологическим неправдоподобием: преступник с одобрения окружающих хвастается своим преступлением! («Говорить про это не принято», — писал еще Достоевский в «Записках из Мертвого дома»...)

В повести «Четвертая рота» все те же уже знакомые нам приемы — вместо серьезного разговора спекуляция на острой, сложной теме, пустота и ничтожность, выдаваемые за гражданскую смелость.

4

Перед нами характерные примеры так называемых «серых» произведений. Произведений, в которых все словно бы настоящее, «как в жизни»: и, казалось бы, реально существующие серьезные проблемы, и поддержка хорошего, за которое мы боремся, и отрицание плохого, против чего мы выступаем... Но мы присматриваемся внимательнее к тому, о чем эти произведения говорят, и видим, что все это не правда, а только «литературная» похожесть на жизнь, разработка литературных штампов и шаблонов — в меру ремесленно умелая, в меру соответствующая истинному положению вещей.

Посмотрите, как точно отмерено, скажем, в характере Леонида Рукавицына (роман Ю. Грачевского) «личное» и «производственное», как умело «расчислен» в романе ничтожный, пустой конфликт! Или вспомните финал повести Н. Асанова: Чудаков и Красов, поставленные наконец у барьера, лицом к лицу, продолжают, как и на протяжении всей длинной повести, оскорблять друг друга каждый в силу своего житейского опыта и темперамента. Но стоит ли что-нибудь серьезное за этим конфликтом, что-нибудь

выходящее за пределы обычной склоки между человеком пожилым, успевшим «схватить» все положенное, и молодым, боящимся, что он что-то «упустит»? Что-нибудь, что разъяснило бы нам природу характера Красова и природу характера Чудакова, общественную значимость их конфликта, что-то, что помогло бы представить, видимо, сложную и нелегкую, но реальную картину жизни людей нашей науки?.. Удивительно, что во всех подобных произведениях, построенных, казалось бы, даже на остроконфликтном материале, в которых названы проблемы действительно большие и важные, используются приемы именно бесконфликтные. Старая как мир идея столкновения хорошего с отличным, видимо, необычайно живуча и дорога литературному ремесленнику, великолепно изучившему путь к сердцу издателя.

Сумма литературных приемов при умелом использовании обеспечивает создание своеобразного подобия жизни, где автор по своему произволу делает с героем все, что ему в данный момент представляется более удобным. Навыки ремесла заменяют собой художественное мастерство. Как ни странно, часто это обеспечивает произведению зеленую улицу к читателю...

Прекрасное слово *мастерство* в критике у нас как затаскали и обесценили, что порой кажется, оно и вовсе утратило всякий смысл. Сегодня можно услышать рассуждения не только, скажем, о мастерстве «Маленьких трагедий» или «Смерти Ивана Ильича», но никто не удивится и статье, книге, даже дискуссии о мастерстве романа «Хлеб — имя существительное» или о «Стряпуче замужем». А между тем термин *мастерство* сам по себе настолько высок, что может быть отнесен лишь к произведению подлинного искусства, в котором художественность изображения жизни уж никак не может вызвать сомнений. В рассмотренных же нами произведениях, как и в только что названных последних двух, речь могла бы идти, скажем, о достоинствах и недостатках сюжета, о верности или ошибочности в раскрытии темы, наконец об определенном профессиональном навыке, но никак не о мастерстве.

Обо всем этом, трижды известном и банальном, к сожалению, все еще нужно говорить. Прежде всего для того, чтобы уточнить разницу между приемами ремесла и мастерством, без которого искусство не существует.

Путаница здесь не только мешает верно оценить конкретное произведение литературы, но и указывает писателю ложную, хотя, видимо, и заманчивую дорогу. Продолжая совершенствовать свои профессиональные навыки, можно стать очень ловким. Но удастся ли таким «тренажером» развить в себе — «нажить» — *мастерство*, которое позволило бы создать подлинную картину жизни — произведение истинного искусства, — дало бы возможность выразить время, сказать читателю нечто необходимое?

Проблема эта представляется сегодня важной и для читателя: ведь надо не только помочь ему выработать верный художественный вкус, испорченный ремесленными поделками, но нельзя и продолжать этот вкус портить.

В чем же состоит сумма приемов, с помощью которых современный литературный ремесленник создает подобие жизни? Что он делает для того, чтобы его произведение, оставаясь по сути мертворожденным, внешне как бы «ожило», говоря словами Н. Асанова?

Приемов «оживления» не так уж много, и они широко известны. Это вольное жонглирование поверхностными бытовыми приметами, которые словно бы создают картину жизни, а на самом деле являют собой лишь приблизительное описание. Это произвольное — в угоду сюжетной потребности и порой в нарушение элементарных психологических законов — обращение с весьма тонкими человеческими чувствами и страстями. Это мнимое «заострение» конфликта, чисто, так сказать, словесное и вполне безответственное, потому что оно чурается серьезности, жизненности его разрешения. Это наконец внесение в невыразительную, стертую речь героев программных деклараций с характерными, запоминающимися словечками, присущими якобы именно этому лицу, призванными выражать его индивидуальность, даже определенный тип.

Скажем, «индивидуализация» речи одного из центральных героев повести «Богиня Победы» Красова производится при помощи частицы «архи». «Между прочим у Горячева есть архиоригинальные мысли о новых странных частицах...» — говорит Красов в одном месте повести, а в другом восклицает: «Весомо! Весомо! Архифундаментально!», «...архиоригинальная мысль о практическом применении античастиц». — говорит он еще раз. У героя Ю. Грачевского — Рукавицы-

на — другая отличительная «черта» — он любит словечко «сугубо» (кстати сказать, это словечко своего рода «масонский знак», по которому можно безошибочно определять руководителя крупного предприятия в целом ряде «производственных» произведений). «Все будет сугубо правильно! Выходной дается нам на предмет отдыха...» — категорично говорит Рукавицын своему шоферу. «Ничего, юноши, все будет сугубо правильно!» — ободряет директор разоткровенничавшихся с ним рабочих. «Надеюсь, что со мной все будет сугубо правильно! — попробовал он внести излюбленное уточнение» (это в разговоре с женщиной, которую Рукавицын полюбил, и с ее матерью). «У нас ведь система оплаты прогрессивно-премиальная — вот и давайте ее гибче использовать. И тогда все будет сугубо правильно!» — мудро замечает он еще в одном месте романа.

Естественно, долго злоупотреблять столь «архирегинальным» приемом нельзя, и порой героям в своих речах приходится обходиться, так сказать, привычными средствами. Но тогда бывает не столь просто отличить, скажем, стертую речь директора Рукавицына — «Лехи-кудряша» — от высказываний члена-кора Михаила Борисовича Красова. «Все будет зависеть от того, как спланируем свои внутривзаводские силы, как людей сумеем направить — их энергию. У иного и желание имеется, и себя не шадит, бедняга, а мы его силушку направляем обратным ходом. Он-то вкалывает, а корабль идет не по курсу. Я тут ежедневно слышу: нехватка силенок, без помощи извне не обойтись. Давайте людей! Специалистов давайте!.. А где их взять?.. Но я вижу — не в том беда. Если бы все силы, какими мы располагаем, разумно использовать — нам ничья подмога не нужна...» Это — Рукавицын. А вот Красов: «Ошибки можно найти почти в каждой работе, особенно, если она принадлежит противнику. А другие работы можно объявить неактуальными. Впрочем, это, возможно, и не требуется. Посмотрим, что вы сумеете сделать без камеры, без лаборантов, без помощников. И кто вообще согласится теперь работать с такими скандалистами? Напрасно вы думаете, что находитесь на передовой, вы попали в окружение! А жаль, жаль. Мне так хорошо работалось с вами, что я в отчаянии, теряя талантливых друзей! Тем более, что, как говорится, я вас породил...»

Заманчиво было бы дать два этих моно-

лога вперемежку — фразу Рукавицына — фразу Красова, — прием такого монтажа широко используется в современном критическом фельетоне. К тому же ведь речь идет не только о двух произведениях разных авторов, не только о людях, не похожих психологически, с разным опытом, обстоятельствами жизни, образованием, но и о героях «положительном» и «отрицательном», о монологах с противоположным смыслом! И вот одна и та же равнодушная речевая стихия, общая лексика, один и тот же прием сдобривания стертой, бесцветной фразеологии шаблонными словечками...

Надо изобразить место действия? Северный городок Устьинск (в романе Ю. Грачевского). «Асфальт выстелил улицы гладко, и не верится, что бунтует под этой гладью болотная хлябь»; «орудовец с балетным проворством руководит воскресным автопотоком»: все спешат в автобусах, в такси, на собственных «москвичах», «запорожцах», «мотоциклах с устрашающим посвистом», «мотороллерах с ветерком»; «деткишки резвятся на песчаной отмели»; «волна зеленая играет»; «но Север остался Севером» — «пиджаков-свитеров не снимает никто»...

А вот подмосковная Дубна — «город физиков» (в повести Н. Асанова). «Аккуратный маленький городок, на улицах которого остался дикий лес», коттеджи «за причудливыми заборами», пахнет Волгой и соснами, по улице идут «молодые физики в очках-светофильтрах, в пестрых летних рубашках»; катят коляски с младенцами, несут «авоськи» с продуктами и «похожими на маленькие луны апельсинами»; рядом с ними шествуют их «молодые длинноногие жены с пышно взбитыми волосами, в ярких платьях», они идут с мужьями под руку — «будто все тут были молодоженами»...

«Оживление» материала происходит по одному общему рецепту, используются приметы только поверхностные. Разумеется, они могут дать лишь самое поверхностное представление о своеобразной жизни северного Устьинска или подмосковной Дубны, но вполне устраивают авторов, рисующих только картинку, призванную красочно оформить расхожую идею произведения.

Приметы лишь внешние, ничего не выражающие, не требующие даже обыкновенной наблюдательности и командировки в «место действия». Вот квартира физика Горячева («Богиня Победы» Н. Асанова): книжные стеллажи, письменный стол с арифмометром

и пишущей машинкой и «множество пепельниц в самых разных местах, что доказывало: здесь часто собираются беспокойные люди, спорят, много курят, порою немного выпивают...» Вот корпусной цех судостроительного завода («День без ночи» Ю. Грачевского): «Оглушающее царство металла. Бам-м-м-м... Бан-н-н... Там-м-м-м... Тан-н-н... Вз-з-з... Вж-ж-ж-ж... Трах-тах-тах-тах... Ах-ах-ах-ах-ух... Бум-м-м-м! Каскады звуков режущих, ухающих, свистящих, тархтящих, взикающих, вжикающих, грохочущих, бухающих сливаются в один властвующий под этими сводами звук — звук судосборки...»

В этом иллюзорном мире, представляющем собой лишь некое подобие жизни, люди целиком подчиняются произволу автора, идущему порой вразрез с элементарной психологической логикой, нравственными законами.

Богиня Победы, как мы помним, это вполне реальная бронзовая фигурка, купленная на Арбате в прологе повести Н. Асанова. Избалованная Нонна Красова сказала тогда влюбленному в нее Горячеву, что подарит ему эту Нику — «Если вы будете победителем!» Прошло время, в Москве, в доме Красовых, появился некто Бахтияров — известный физик-строитель, создатель реактора под Ленинградом — человек крупный и обаятельный. Он влюбился в Нонну, а она в него, и однажды, когда Бахтияров в салоне Красовых был особенно красноречив (он «прочитал нечто вроде реферата о том, что может существовать прямая связь между микромиром и Вселенной...»), то Нонна, совершенно потрясенная, встала, «как сомнамбула», вышла в свою комнату, вернулась с уже известной нам бронзовой статуэткой и «медленно, как в транс, едва роняя слова, произнесла: «Позвольте вам подарить эту вещь! Вы действительно достойны богини Победы!..» Горячев, «как и подобает побежденному», тихонько ушел, а Бахтияров встал на одно колено, «прильнул губами к руке Нонны» и проч. и проч.

Что ж, можно представить себе взбалмошную хорошенькую девицу, которая, влюбившись, забывает о страданиях своего верного поклонника ради нового, принимает салонную болтовню за откровения гения и «в транс» делает столь ценные подарки. Во всяком случае нет ничего удивительного в том, что после того, как, уехав из Москвы, Бахтияров «дал Нонне телеграмму из трехсот слов», она тут же все бросила и «очертя

голову ринулась в Ленинград, к человеку старше ее на двадцать лет, у которого к тому же была семья». Удивительного здесь, повторяю, ничего нет — история житейская и в литературе не однажды изображенная.

Но дальше в повести Н. Асанова произошло уже нечто «архиреальное». Бахтияров, получив большую дозу облучения, умер, Нонна забросила свою музыку, кончила институт, защитила диссертацию, через пять лет вернулась в Москву специалистом по вычислительной технике, поступила на работу в институт к отцу и вместе с Горячевым и Чудаковым открыла новые античастицы. И вот тогда-то, по возвращении Горячева из Дубны, когда он устоял на водных лыжах, а кроме того, проверил у дубнинских физиков свое открытие, Нонна поставила перед ним все ту же бронзовую статуэтку: «Это вам, Алеша! — тихо произнесла она. — Вы давно заслужили ее!..»

Дальше автор сообщает о смятенных чувствах Горячева: он-то помнит, что когда-то статуэтка была подарена другому, теперь он мертв, может быть, это «переходящий приз»². «Нет, ты не можешь думать так плохо. Это знак. Это символ. Ника не может нести на своих крыльях ничего дурного...»

Фигурка богини Победы в повести Н. Асанова действительно «знак» и «символ» — недаром она вынесена в название произведения и ее история рассказывается столь значительно и сочувственно. Но, кроме того, это и вполне конкретная милая вещица, которую обещают, в случае его удачи, одному человеку, потом, отвергнув его любовь, дарят другому, а когда тот умирает, отдают первому!..

Вся эта символика — поразительно примитивная и безвкусная — свидетельствует всего лишь об элементарной эмоциональной неграмотности людей, вынуждаемых автором совершать поступки, которые нормальному человеку просто в голову бы не пришли! А ведь история с многострадальной статуэткой в повести Н. Асанова на этом не кончилась: Чудаков (хотя Ника принадлежит Горячеву) подарит ее Красову, обломав при этом крылья и написав дредью издевательскую надпись (завистник в припадке злобы может стать и варваром), Красовь отнесет изуродованную фигурку в магазин, где Горячев и автор опять найдут ее и купят... И вся эта пошлейшая символика призвана обрамлять и, так сказать, поэтически одухотворять героев, действия которых..

удивляют на каждом шагу простодушной безнравственностью, поразительной ненатуральностью слов и поступков...

А ведь читатель хочет поверить герою, понять его. Читатель хочет узнать в судьбе героя свою судьбу, через него пытается разобраться в проблемах действительно важных, современных, от решения которых порой зависит его собственная жизнь. Читатель ждет от литературы ответа на самые главные вопросы жизни, его давно уже не интересует пресловутая игра в конфликты хорошего с отличным.

Разве реальная жизнь рабочих судостроительного завода где-нибудь на Севере, жизнь «производственная» и «личная», похожа на бесконечные переживания по поводу недоразумения между мужем и женой, недоразумения, в котором участвуют десятки людей, как это происходит в романе Ю. Грачевского? А трагедия несправедливо осужденных советских людей, оказавшихся лицом к лицу с фашистами — перед выбором! — разве может раскрыться в слащаво-изысканном романе оклеветанного комсомольца Артема и зарубившей мужа Катерины, как в повести В. Собко?..

5

Впрочем, быть может, и правда довольно уже литературе заботиться о серьезных проблемах, трагедиях, ставить вопросы и искать ответы, бороться с ложью? Куда приятнее было бы прочитать повесть или роман о героях, прекрасных во всех отношениях, рыцарях без страха и упрека — и только о них. Но ведь и писатель, глубоко и безжалостно анализирующий природу «отрицательного» в нашей жизни, его происхождение, бесстрашно прослеживающий его связи в реальном мире, заслуживает по крайней мере внимания. Конечно, в разговоре с таким собеседником мы не сможем развлечься, «провести время», сладко забыться, увлечься яркими и приятными «подробностями». Но из такого разговора мы выйдем вооруженными знанием предмета, оно поможет нам самостоятельно понять сущность явления, оно разбудит дремлющее в нас нравственное чувство, оно уже не даст возможности ему уснуть снова...

Конечно, я отдаю себе отчет в том, что далеко не всякий читатель, познакомившись с честной, глубокой, правдивой — словом, настоящей — книгой, становится гражданином и борцом с несправедливостью. Не вся-

кий, но некоторые! А это уже немало. Для этого писатель и работает, только это и вознаграждает его за его тяжкий, порой неблагодарный труд.

Но, как говорится, есть здесь и «другая сторона вопроса». Что, если наш читатель столкнется с произведениями авторов, для которых литература всего лишь возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки? Такая книга, несомненно, вооружит увлекшегося ею читателя, но совсем другим оружием: легкомысленным и вполне безответственным отношением к жизни, к ее серьезным, большим и реальным проблемам; вооружит привычкой говорить красиво, а поступать наоборот, пренебрежением к проблемам нравственным и гражданским, убежденностью в том, что литература рисует только подобие жизни, занимается игрой в так называемые конфликты...

Разумеется, не всякий читатель такой книги превратится в равнодушного лицемера — ведь эта книга будет для него не единственной, читал, верно, он и иные. Но кого-то она все-таки и заманит, кто-то ей поверит. И, конечно же, ее читателю не придет в голову задуматься над жизнью для того, чтобы понять происходящее.

Можно ли оставить читателя во власти такой литературы, утешая себя тем, что у каждого, мол, писателя есть своя читатель... Можно ли не слышать громких, даже восторженных славословий количественному росту и количественным же достижениям нашей литературы, торжественных перечислений названий десятков повестей и романов, которые по своему характеру, по уровню художественности неотличимы от только что рассмотренных? А сколько многозначительно гордых слов говорится в иных критических статьях об этих самых романах и повестях, как умиляются там их смелостью: шутка сказать, кандидаты наук нашли в себе мужество (с четырнадцатого раза) отказаться от того, чтобы руководство — доктор и член-корреспондент — подписывало вместе с ними их работу! И появится целый ряд статей, одни из которых будут поддерживать роман — какая острота! — а другие порицать мужественного автора — на что ведь замахнулся?! Может начаться и громкая дискуссия, знаменующая собой, как будет сказано в ее итоге, «невиданный доселе прогресс в освещении злободневных проблем, решении острых вопросов»!..

В свое время Добролюбов писал, размышляя о подобной обличительной маниловщине: «Кто-нибудь напишет в повести: «меня обокрали неизвестные люди», — сейчас поднимаются крики о том, что у нас процветает гласность. Сделают ученое открытие, что от увеличения налога на соль она не подешевеет: начинают с благоговением повторять, что наука идет у нас вперед исполинскими шагами. Сказал кто-то новую мысль, что жид — человек, а не скотина, и ничто человеческое ему не чуждо: тотчас в трубы трубить начали, что у нас гуманность на высшей ступени развития (исключая только некоторые презренные личности). Напишет кто-нибудь, что дурно делали наши мелкие чиновники, когда взятки брали, мгновенно поднимается оглушительный вопль, что у нас общественное сознание пробудилось...»

И даже тот читатель, который устоит от соблазна и не станет умиляться гражданскому подвигу молодых ученых, победителей рутинеров Чудакова и Горячева или бескорыстному благородству приверженца нового стиля руководства директора Рукавицына, — не поддастся ли даже такой самостоятельный читатель восторгу критики, набрасывающей на расхожую идею флер многозначительности, трубящей о смелости и гражданственности подобных книг?

Что ж, действительно, каждый писатель находит своего читателя, и не следует за это слишком сурово судить последнего — не так просты были его отношения с литературой на протяжении жизни хотя бы одного поколения. А вот критика, не желающая видеть разницу между произведением таланта и ремесленной поделкою, провозглашающая гражданственность там, где налицо всего лишь спекуляция на расхожей идее, такая критика должна нести полную ответственность за то, что читатель перестает видеть в литературе друга и советчика, и привыкает считать, что это либо развлекатель, либо недостойный обманщик.

Критика должна все решительнее поднимать сегодня свой голос против, говоря словами Пушкина, «ничтожных» в литературном отношении сочинений, как мы видели, весьма часто встречающихся.

Доверие к таланту, поддержка всего талантливому, уважение к подлинному мастерству должны сочетаться в работе нашей критики с той высокой мерой требовательности, при которой нетерпима серость в нашей литературе, нетерпимо поощрение ремесленных поделок, халтуры, спекулирующей на высоких словах, чувствах и понятиях.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ЛИТВИНОВА

★

ВСТРЕЧИ И РАЗЛУКИ

(Из воспоминаний о М. М. Литвинове)

Медленное, постепенное и анонимное сперва вызревание нашего знакомства началось в тысяча девятьсот пятнадцатом году на одной из крутых улочек лондонского предместья Хемпстед. Еще бы два года, и знакомство это так никогда бы и не состоялось, ибо в семнадцатом году русским политэмигрантам было уже не до утренних прогулок: они устремлялись в городские читальни к самому открытию, пытаясь сквозь решетку газетных столбцов проникнуть в суть событий, вершащихся у них на родине, вели яростные споры за столиками дешевых ресторанчиков Сохо или «клубились» в своем клубе на Шарлотт-стрит. А я? Что было бы со мной? Сидела бы, верно, в своей комнатухе, стучала бы на машинке при свете газового рожка или, потчюя друзей какао с французскими булками, ахала бы вместе с ними по поводу очередного налета цеппелинов на наш остров и вместе с ними радовалась бы тому, что в далекой России царь-деспот отрекся от престола.

Но в тысяча девятьсот пятнадцатом году, когда на булыжных мостовых еще раздавалось цоканье конских копыт, когда пешеходы останавливались на перекрестках, смиренно выжидая, пока мимо них не прогромыкает фургон булочника, и когда прохожие на Хай-стрит знали друг друга в лицо, я испытывала легкое чувство разочарования, если мне ни разу за день не попадался навстречу пиквикоподобный джентльмен с палкой, которую он крепко сжимал в заложенных за спину руках. Я любила наблюдать, как он замедляет свои легкие, торопливые шаги, чтобы окинуть — как мне казалось, тоскующим — взглядом сдобы и пирожные с вишневой начинкой, выставленные в витрине венского кондитера Цванцигера, и не подозревала, что и ему было не совсем безразлично, пройдет ли мимо него сегодня своим широким шагом в туфлях на толстой подметке растрепанная девица или нет. Не подозревала, что и мои повадки — преувеличенно рассеянный взгляд и привычка одаривать вниманием лишь встречных собак да кошек в окнах домов — тоже взяты на заметку.

Формально познакомились мы в доме моей бывшей однокашницы, которая вышла замуж за русского и жила с ним на одном из старинных скверов Хемпстеда, неподалеку от Хай-стрит. Филис Клышко была года на три или на четыре меня старше, в школе мы были едва знакомы, но когда ее мужу понадобилась английская машинистка, она вспомнила, что за последние два года у меня было опубликовано два романа, и, рассудив, что начинающий автор должен, по всей вероятности, обладать пишущей машинкой и нуждаться в деньгах, решила меня разыскать. Оба ее предположения оказались правильными, и я стала время от времени приходить к ним — писать под диктовку мужа Филис Николая Клышко. Работа эта была не совсем обычная. Как у многих эмигрантов, английский язык служил ему как бы чехлом для его русских мыслей и оборотов, подчас чехол этот прорывался, и мне приходилось латать его на ходу. Однажды после двух часов

такой работы с Николаем, выйдя из его кабинета, я увидела в гостиной моего Пиквика! На старинном столике перед ним стоял стакан чая, в котором плавал кружок лимона. Я слышала, что русские пьют чай из стаканов и кладут в него лимон, и поняла, что это и есть русский жилец Клышко, о котором мне говорила Филис. Ни он, ни я не подали виду, что уже в некотором роде знакомы, но из-за пенсне мне на миг сверкнула стальная молния, которая тотчас растворилась в добродушной улыбке. Я не уловила фамилии, и Филис повторила ее, когда я уже сходилась по ступенькам их каменного крыльца. Литвинов.

Теперь, встречаясь на Хай-стрит, мы уже раскланивались, как знакомые, но на ходу, не заговаривая. Он приподнимал довольно поношенную шляпу, я с улыбкой ему кивала, и мы шли дальше, каждый в свою сторону. Однако тайное наблюдение друг за другом сделалось несколько интенсивнее.

Недели две или три спустя миссис Идер, моя «социалистическая тетка», пригласила меня в Фабианское общество на вечер. Каково же было мое удивление, когда в толпе гостей я заметила знакомую плотную фигуру! И я еще больше удивилась, когда увидела, что моя тетушка и «мой русский» встретились как старые приятели. Оказывается, они провели весь август вместе в Уэльсе, где принимали участие в летнем семинаре Фабианского общества. От внимания тетушки не ускользнула зарождающаяся между нами симпатия, и она пригласила нас обоих к себе обедать. Когда убрали со стола, миссис Идер попросила Литвинова рассказать историю его побега из киевской тюрьмы в 1902 году. Посреди своего рассказа Литвинов заметил горящие глаза и раздумывавшиеся щеки сына миссис Идер и напомнил ей, как его доклад о революционном движении в России был в последнюю минуту отклонен по требованию некоторых фабианок, испугавшихся впечатления, которое доклад этот мог произвести на их сыновей-подростков. «Может, не продолжать?» — спросил он с улыбкой.

Теперь, встречаясь на Хай-стрит или в метро, мы уже останавливались, чтобы переброситься несколькими словами. А однажды — дело было перед рождеством 1915 года — он вошел в маленькое кафе-молочную, где я уныло запивала сдобный сухарик чаем с молоком, и самым непринужденным образом ко мне подсел. Я спросила его, где он проводит рождество, и он с грустью сказал, что русские его друзья этот праздник не справляют, а немногочисленные английские знакомые хоть и приглашали заглянуть к обеду, «если будет настроение», тут же прибавляли: «Только забросьте накануне открыточку» (телефонов в частных домах тогда еще было мало). Традиционные праздники всегда меня тяготили, и я собиралась удрать от елок и рождественского ритуала к подруге за город. «Если вам совсем уже некуда будет податься, — сказала я ему, — то вот мой адрес на всякий случай». По правде сказать, я не рассчитывала, что он придет. Однако на третий день нашего деревенского житья моя подруга выглянула в окно и увидела, что какой-то джентльмен в пальто, кашне и лоснящейся мягкополой шляпе возится у калитки, пытается поднять щеколду. «Вот и твой славянин!» — сказала она. Я побежала открыть дверь. «У вас новая шляпа!» — радостно воскликнула я и сама удивилась, что уже так хорошо его знаю. «Это специально», — сказал он, держа шляпу в руках — у него даже были перчатки! — и со скромной гордостью разглядывая ее сквозь запотевшие стекла пенсне.

Прошло три дня, а наши отношения не продвинулись ни сколько. Моя подруга была очень живая женщина, много старше меня. Но она привыкла слышать от мужчин потоки любезностей, а Максим не привык их поставлять. К тому же между ними почти сразу обозначился скрытый, подспудный антагонизм. Малейший намек на военные события, газетный заголовок, прочитанный вслух одним из нас, — и глухая эта вражда прорывалась наружу. Джейн всегда казалась мне ультрапрогрессивной и даже дерзкой в своих взглядах, а тут она была чуть ли не в драку лезть готова, если иностранец позволял себе какое-либо замечание, которое не звучало бы панегириком британскому оружию. Атмосфера накалилась, никто уже не смел развернуть газету в присутствии других, и мои друзья словно на цыпочках ходили друг перед другом. Хоть мы и гуляли все вместе по заснежен-

ным дорогам и полям, ели и отдыхали, но настоящего тепла между нами не было. Джейн должна была явиться на службу 2 января, у Литвинова был урок с каким-то «преподобием», желавшим изучить русский язык, и все, казалось, испытывали тайную радость при мысли о предстоящем возвращении в город. И вдруг накануне отъезда Джейн как ни в чем не бывало говорит: «А вам-то, собственно, куда спешить? Почему бы вам обоим не провести здесь еще денек? Только не забудьте запереть дом и занести ключ миссис Уайт — это через дом». И вдруг оказалось, что «преподобие» можно легко отложить и что вообще никакой спешки нет.

Мы сидели, глотая чашку за чашкой скверного кофе, болтая без умолку и подбрасывая дрова в пылающий камин, от которого мы так и не разошлись по нашим ледяным спальням до утра.

После завтрака, состоявшего из яичницы с грудинкой, я вложила ему глиняный кувшин в руки и отправила в ближайшую пивную за сидром, а сама между тем принялась сочинять обед из остатков привезенной нами из города ветчины и разогретого яблочного пирога. Сидр имел успех. Максим сказал, что он ему напоминает напиток его родины — квас. После обеда мы заперли дом и отправились на станцию. Путь был неблизкий, но и к концу его мы не успели дорассказать друг другу «историю своей жизни». Я впервые услышала о тайных типографиях, о тюремных голодовках, о социал-демократах и социал-революционерах, большевиках и меньшевиках, и новизна этой жизни и терминов меня ошеломляла. Со своей стороны я могла лишь рассказать о сугубо личных переживаниях, выпавших на мою долю: ранняя смерть обожаемого отца, трудные отношения с чуждым мне по духу отчимом, детство, проведенное во второразрядном пансионе, на смену которому пришли годы корпения над бумагами страхового агентства. Два романа, непонятно каким образом вырвавшиеся из-под моего пера и увидевшие свет. И наконец разрыв с семьей и одинокая, свободная жизнь в Хемпстеде. Максим мог вспомнить только внешние события своего детства, и моя семейная хроника была для него не меньшим откровением, чем для меня повесть о его приключениях. Он спрашивал, все ли образованные англичанки бьют своих детей — ведь в книгах эта функция отводится отцам. Я была убеждена, что мой отец никогда бы не стал меня сечь, и в оправдание своей матери рассказала, как прошло ее детство — по гарнизонам, в которых служил ее овдовевший отец-полковник, где она могла наслушаться о преимуществах розги перед всеми остальными методами воспитания. Еще больше поразило Максима мое сообщение о том, что к пятнадцати годам моя академическая карьера окончательно оборвалась.

Мы остановились у какого-то домика, чтобы спросить дорогу на станцию, но, дойдя до следующего перекрестка, беспомощно посмотрели друг на друга: ни он, ни я не запомнили ни одного слова из подробнейших и обстоятельнейших объяснений, которыми нас снабдили. Впрочем, это, как оказалось, было не так уж важно, потому что Литвинов имел обыкновение всюду носить с собой карту местности. Мы благополучно добрались до станции, а в городе доехали вместе до Оксфорд-серкус, сдали там свои чемоданчики на хранение и разъехались каждый по своим делам — Литвинов к своему любознательному «преподобию», а я к своим друзьям Мэннелам, с которыми у меня было заранее условлено встретиться в этот день.

Я рассказала там о моем новом знакомстве. Все слушали меня с интересом, а Фрэнсис Мэннел даже спросил: кто он, мой русский, — эсдек или эсер? А я, гордая тем, что теперь и сама в этом разбираюсь, уверенно ответила на его вопрос, впрочем, не помню, правильно ли.

Часу в десятом я простилась с хозяйками и зашагала по длинной Оксфорд-стрит к метро. Не успела я подойти к камере хранения, как там появилась знакомая плотная фигура. Литвинов! Итак, подумала я, рок решил вмешаться в мои дела. Мы провели полный блаженства час над бокалами шоколада со сбитыми сливками в кафе «Аппенродт» на углу Оксфорд-стрит и Мюзеем-стрит. Было уже очень поздно, и официанты играли в шашки в задней комнате. Нам чудом уда-

лось попасть на последний поезд подземки, отправлявшийся в Хемпстед. Совесть рационалиста не позволила Максиму оставить меня в приятном заблуждении относительно рока. Ни совпадения, ни судьбы, сказал он, в том, что мы оба разом очутились за прилавком камеры хранения, не было: он ожидал меня, спрятавшись за колонной, так как узнал мой чемоданчик среди всех прочих по обрывку веревки, которым ручка была прикреплена к железной скобе. А я тотчас вспомнила деликатную усмешку, с которой гардеробщик протянул нам наши вещи.

В этот день сюрпризов мое жилье — две комнатки на втором этаже, куда прямо с улицы вела деревянная лестница, в небольшом домике на выложенной булыжником площади — было еще одним открытием для Максима. Притолока над дверью была такой низкой, а потолок над нею так зловеще нависал, что Максиму, хоть он и не отличался высоким ростом, пришлось, входя, наклонить голову. Плакаты Стейнлена и Форена на белых стенах, громоздкий камин, в углу некрашенные книжные полки; два-три стула и стол, придвинутый к стене, довершали меблировку. Ему трудно было понять, как могла девушка из английской буржуазной семьи среднего достатка покинуть уютный дом и поселиться в таком убожестве. Он еще не знал о чисто британском умении приспособлять свои вкусы к необходимости и не мог скрыть своего недоумения, когда я сообщила, что, по мнению моих подруг, я очень удачно устроилась. Впоследствии он привык встречать литературные знаменитости на вечеринках, устраиваемых в мансардах над конюшнями, где некогда ютились грумы, но у меня он впервые познакомился с этой старательно культивируемой атмосферой суровой простоты.

Еще одним поводом к недоумению служила моя изумительная неосведомленность во всем, что касалось общественных отношений, политики и истории, — он не чаял когда-либо встретить столь торжествующее невежество в человеке, причисляющем себя к интеллигенции. В свое оправдание я могла привести лишь то, что всякий раз, когда я читала о забастовке, сердце мое инстинктивно было на стороне рабочих, да еще то, что, усвоив в детстве из иллюстрированных хрестоматий, что предок современного человека обитал в пещере, я поняла — как только начала сознательно мыслить, — что мы не так уж далеко ушли от своего предка. «Ну что же, — сказал Максим со вздохом, — для начала и это годится».

Не подозревая о доверии, которое внушали его исполненное глубокой серьезности лицо и благородная сдержанность манер, он удивлялся отваге, с какой я вручила свою судьбу человеку, с которым была едва знакома. Я об этом не пожалела, сказал он. Бывало, ему вверялись и человеческие судьбы, и большие суммы денег, и все всегда оказывалось в полной сохранности. Так будет и со мной. А я в этом и не сомневалась. Ни минуты. И когда он прибавил: «Но как только барабаны революции призовут меня под ее знамена, я должен буду пойти за ними даже ценою разлуки с тобой», — я сказала, что ничего подобного не случится: я пойду за ним и за его барабанами, и ни о какой разлуке не может быть и речи.

Казалось бы, атмосфера, в которой я воспитывалась, меньше всего должна была приготовить меня к такому шагу, как брак с безвестным эмигрантом, не имеющим определенных источников существования. Так, матушка моя, например, никак не могла решить поначалу весьма для нее существенный вопрос: джентльмен ли Максим или нет? Внешность у него вполне представительная — это она не оспаривала. Да и нравился он ей почти против воли, в нем было нечто человеческое, «теплое и человеческое», как выразилась она. Но отец ее и все ее дядья были офицерами британской армии, один пал в Крымской войне и погребен на севастопольском кладбище; на мольберте в гостиной стоял огромный, сделанный сепией портрет ее отца в фельдмаршальском мундире с треуголкой в руке. Закрывая верхний угол картины, с мольберта грациозно свешивалась кофейного цвета драпировка. Мать очень огорчалась, что ей так и не удалось приучить своих дочерей разбираться в знаках различия на погонах ее дядюшек, чьи фотографии красовались в семейном альбоме. Ни одна из нас, как мама ни билась, не могла запомнить, кто из этих почтенных предков полковник, кто бригадный генерал, и все мы горели желанием — мать прекрасно это понимала — отправить фельдмарша-

ла на чердак, так как он не «ввязался» с фотогравюрами прерафаэлитов, которыми были украшены стены гостиной.

Моя матушка пронесла неприкосновенным сквозь годы литературно-богемной жизни в Лондоне образ идеального зятя, написанный некогда ее молодым воображением. Правда, род наш вступил в эпоху упадка, и она понимала, что слишком высоко метить нельзя, но уж во всяком случае зятя ее должны были окончить Оксфорд или Кембридж и служить если не в армии, то на государственной службе. Она согласилась бы и на священника, адвоката, пусть даже на врача, и, разумеется, приветствовала бы молодого, но подающего надежды литератора — только уж очень неверное это дело, литература! А впрочем, Айви вот уже два года как «живет своей жизнью» в Хемпстеде, и слава богу, что она собралась наконец вступить в законный брак. Такое снисходительное отношение к моему замужеству было, возможно, продиктовано воспоминанием о том, как ее родня в свое время приняла в штывы ее собственное замужество. Разве первый ее муж не был тоже в некотором роде чужестранцем!

Максимилиан Лева, отец моего отца, был выходцем из Венгрии и ревностным сторонником Кошута. Когда Кошут прибыл в Англию искать политическое убежище, дед мой последовал за ним и обосновался в Лондоне, где содержал свою многочисленную семью с помощью хитроумных спекуляций на бирже. Он был к тому же зятем крупного финансового магната в Венгрии и имел возможность предоставить всем своим сыновьям и, что в ту пору было редкостью, всем дочерям солидное английское образование. Никто из его отпрысков, однако, не пошел по его стопам — все они средства к существованию добывали пером.

Когда моя матушка вышла замуж за младшего сына Максимилиана Вальтера Лоу (как стала писаться и произноситься наша фамилия на английский лад), который едва сводил концы с концами с помощью журналистики и уроков, дед мой, ее отец, не пожелал присутствовать на свадьбе дочери с «еврейским училишкой».

В моем сближении с политическим эмигрантом соблазнительно было бы усмотреть верность семейной традиции, но, увы, исторические мои познания были скудны, никто при мне никаких политических эмигрантов не упоминал, а если и упоминал, я умудрилась пропустить мимо ушей. а имя Кошута, стыдно сказать, я впервые узнала из биографии моего дядюшки сэра Сиднея Лоу, вышедшей уже в 1936 году! После второго замужества моей матери связи с семьей отца почти совершенно оборвались. Впрочем, в гостиной от него остались три книжные полки: одна была уставлена рядом небольших томиков, переплетенных в суровое полотно, на другой — книги побольше, с темно-синими корешками, и на третьей — пять-шесть каких-то зеленых томов. Странные были названия у этих книг! «Дворянское гнездо», «Хаджи-Мурат», «Бесы»... Русские классики появились на книжных полках моего отца еще до переводов Констанс Гарнетт и до того, как в английских литературных кругах — незадолго до войны — вспыхнул бурный интерес к русской культуре. Эти книги овладели моим воображением, это они меня приподняли над мещански-богемной средой, в которой я прозябала, они — в этом я не сомневаюсь ни минуты — и побудили меня решиться на такой странный шаг, как «выйти замуж за русского».

Из моих родственников и друзей мало кто был в состоянии оценить могучий литвиновский интеллект и его обширный политический кругозор. Тетки со стороны матери отметили всего лишь то, что «Айвин молодой человек» совсем немолод (ему было тридцать девять, мне шел двадцать шестой, но солидное телосложение и зрелая серьезность лица заставляли его казаться старше), что манера его чересчур прямолинейна для «настоящего джентльмена», что костюмы его, помимо их чудовищного кроя, вечно топорщатся от газет и путеводителей, которыми он набивал карманы, что из кармана жилета торчит расческа. что обувь стоптана и что на безымянном пальце моей руки не красуется обручальное кольцо.

Отчим мой, научный сотрудник Британского музея, не отличавшийся особенной элегантностью сам, был, разумеется, выше подобной мещанской вульгарности.

Это был маленький человек с возвышенным, несколько ходульным образом мыслей, обожавший звук собственного голоса в такой же мере, в какой мы, его домашние, этот звук ненавидели. Почитая себя либералом, свои взгляды на политические события он безмятежно черпал из передовиц ультраконсервативной «Морнинг пост». Максим со снисходительной улыбкой выслушивал его разглагольствования и однажды посоветовал ему подписаться на «Дейли телеграф», которая, по его словам, шире освещала европейские события, нежели «Морнинг пост» и «Таймс». Совет этот был принят со смирением, и вскоре мой отчим благодаря своей связи с русским политэмигрантом стал считаться среди «своих» признанным авторитетом по русскому вопросу.

Родные по отцовской линии, разумеется, были людьми совершенно иного толка. Блестящая карьера моего дядюшки сэра Сиднея Лоу, в восьмидесятые и девяностые годы прошлого столетия редактировавшего консервативную «Сент-Джеймс газетт», уже приходила к концу, однако он все еще писал передовые для «Ивнинг стандарт». Его книга «Управление Англией» была переведена на несколько языков, и когда в 1921 году я приехала впервые в Россию, молодые наркоминдельцы радостно сообщили мне, что изучали эту книгу в студенческие годы. В Англии наибольшей популярностью пользовалась другая его книга, «Облик Индии», которую он написал, состоя в качестве корреспондента «Ивнинг стандарт» в королевской свите во время августейшего посещения доминиона. Подобно своему кумиру Дизраэли, дядя Сидней отдал все свои силы служению классу, которому он был чужд по своему происхождению и формации и для которого он так до конца и оставался чужаком.

Услыхав, что его племянница Айви живет невенчанной, да еще с выходцем из России, по всей вероятности нигилистом, дядя нанес мне визит в моих скромных пенатах — первый раз за мою жизнь! Дядя Сидней умолял меня вернуться к матушке, «пока не поздно», напомнив, что в подобных историях расплачиваться всегда приходится женщине. Я позволила себе немного поиздеваться над заезженностью прописной истины, которой он меня вздумал потчевать, дядюшка надулся и ушел. Однако, познакомившись с Литвиновым, он тотчас оценил его достоинства и стал приходить к нам снова и снова, чтобы распросить Максима о России и о политическом положении в Европе. Он был польщен, обнаружив, что Максим читал его «Управление Англией» (чего, конечно, я так никогда и не удостоилась сделать). В награду за патриотизм и верную службу на четвертом году первой мировой войны он был возведен в рыцарское достоинство. В своем дневнике за 1918 год 1 января он записал: «В почетном списке я уже значусь как «сэр Сидней Лоу».

Остальные братья и сестры моего отца были менее консервативны. Изю всех английских домов Максим лучше всего, пожалуй, чувствовал себя в семье Идеров. Доктор Идер был человеком подкупающей простоты и душевной цельности. Жизнь его была полна самых разнообразных приключений. Он открыл новый приток Нила, участвовал в европейском анархическом движении и когда наконец осел в Англии и занялся медициной, он не потерял ни своей легкости на подъем, ни интереса к революционному движению. Эмигранты, бежавшие от политического гнета, всегда могли рассчитывать на его сочувствие, и никакие уговоры никогда не могли заставить его брать с них деньги за лечение. Я находила нечто общее с Максимом в его душевном складе, и, быть может, это сходство было еще одной причиной, по которой я потянулась душой к русскому эмигранту. Общим была свойственна некоторая резкость манер, оба были несловоохотливы и застенчивы, прорываясь в красноречие лишь под напором сильного чувства, у обоих был чрезвычайно широкий диапазон настроений — от глубокой серьезности до буйного веселья — и наконец оба прекрасно ладили с детьми, особенно с малышами.

Тетушка Эдит, жена доктора Идера, была женщиной большой культуры, блестящего ума. Она прекрасно разбиралась в политике и философских течениях девятнадцатого столетия. Ей Максим был чрезвычайно симпатичен, и она рассказывала, что он покорила все сердца в фабианской летней колонии. Уже одно то,

как он сидел в кресле, утверждала она, внушало чувство доверия. И прибавляла: какая жалость, что он так предан своим догматическим взглядам на политику! Подобно своему мужу, она была убежденной сионисткой, а в последние годы оба всей душой прониклись теориями Фрейда. Максим ни сионизму, ни фрейдизму не сочувствовал, и это вызывало подчас трения.

С тех пор как я два года назад ушла из дому, у меня завелся свой круг знакомств, но хоть друзья мои проявляли несколько большую осведомленность в событиях общественной и международной жизни, чем я (меньше было бы трудно!), их интересы так же, как и мои, почти целиком сосредоточивались на искусстве и литературе. У авангардистов того времени русские были в большой чести. Группе русских писателей, прибывших в Англию, был оказан радушный прием. Их книги еще не были переведены на английский язык (почти столетия спустя мне довелось вместе с дочерью перевести «Хождение по мукам»), но это ничуть не уменьшило их популярности. Журналист, бравший интервью у Алексея Толстого, упомянул, что он был в красной блузе, «совсем как русский мужик!». Русские сигареты, очень длинные, но «полупустые» (с папиросами англичане не были до тех пор знакомы), появились в витринах табачных лавочек на Пикадилли, вошел в моду чай в стаканах и с кружочком лимона, в фешенебельных домах за ужином в качестве изысканного деликатеса стали подавать изумленным гостям — в гомеопатических порциях — какую-то маслянистую черную массу с зеленоватой жидкостью по краям (в те времена в лондонских гастрономических лавках еще не было холодильных установок). В старейшем лондонском театре Ковент-Гарден русский балет давал спектакли, и Нижинский сделался кумиром английской интеллигенции. Всюду, где я бывала, говорили о Тургеневе и Толстом, а я еще ввела Достоевского в обиход моих друзей.

С выходом в свет моего первого романа я получила доступ в известную литературную семью Мэннелов, уже упомянутую мною. Алис Мэннел была признанной поэтессой, ее муж — покровителем молодых поэтов, а их дети, несмотря на то, что воспитывались в католических монастырских школах, все были заражены социалистическими идеями à la Вильям Моррис. Одна из дочерей, Виола Мэннел, которая и была, собственно, моей подругой, писала повести, ее сестра Оливия занималась живописью, а младший сын Фрэнсис начал печатать свои стихи на столбцах лейбористской «Дейли геральд». Впоследствии он сделался ревностным сторонником русской революции. В гостиной Мэннелов, впрочем, не было принято говорить о политике: «дети» щадили «отцов». По вечерам там читали вслух стихи Фрэнсиса Томпсона (1859—1907) или играли в какие-нибудь словесные игры. Это был не тот дом, в котором русский революционер мог бы чувствовать себя хорошо. Да и принимали его там не слишком радушно. А если уж говорить все, то и ко мне самой — независимо от моего замужества — они относились несколько настроенно: они как бы против воли впустили меня в свой круг, но до конца своей не считали. И были правы.

Была еще одна семья, с которой я дружила, — люди такой культуры и обаяния, что, только взглянув на них глазами Максима, я поняла всю их реакционность. Муж, адвокат с хорошей практикой, спросил Максима, не явилась ли война сокрушительным ударом для его партии. Максим ответил на своем не совсем каноническом английском языке: «Или удар, или наоборот». Затем муж моей подруги спросил, не отказались ли они от надежд на революцию. Максим ответил: «Отнюдь». — «На что же вы рассчитываете?» — «На широкие массы», — ответил Максим. — «Ну да, это я читал в «Призыве»¹, — сказал Доналд с напускным цинизмом. — Я думал, вы мне что-нибудь новенькое скажете».

Тут в разговор вмешалась моя подруга и спросила, не может ли Максим сообщить ей, сколько евреев служит в царской армии и правда ли, что большая их часть умудрилась уклониться от воинской повинности и состоит в различных тай-

¹ «Призыв» («The Call») — орган Британской социалистической партии. Выходил в Лондоне в 1916—1920 годах.

ных организациях. Почувствовав в ее расспросах плохо скрываемое недоброежелательство, Максим промолчал и плотно сжал губы. Впрочем, подруга моя была дамой весьма светской и не затрагивая больше «вопросов», сумела его разговорить за чаем и изумительными сэндвичами с копченой семгой, которой Максим не ожидал встретить в английском доме. Я полагаю, что подруга моя так никогда и не поняла всей глубины отчуждения, которое испытывал по отношению к ней Максим. Уже в дверях, когда мы стояли на приступке, она сказала: «У Максима форма головы точь-в-точь, как у Бисмарка». Не говоря ни слова, Литвинов вернулся в прихожую и своим удивительно легким шагом подошел к овальному зеркалу в золотой раме. Он тотчас с улыбкой повернулся к хозяйке, и все ждали — не без напряжения, — что он скажет.

Здесь я хочу немного остановиться на его улыбке, потому что все, кто знал Литвинова, не могут не помнить литвиновской улыбки. Одни находили ее добродушной, другие — саркастической. Мне кажется так: добродушие и детская веселость были свойственны ему по природе, поэтому улыбка легко и естественно сидела у него на лице. Но он был душевно раним, и горький жизненный опыт, в который он окунулся еще в раннем детстве, плюс острый ум, не позволяющий ему скользить по благообразной поверхности явлений, как бы вынуждали его подчас прибегать к улыбке, как к защитной мере. Но даже когда он улыбался «нарочно», природа брала свое, и ребяческая резвость и добродушие сангвиника все равно прорывались в его улыбку.

Улыбаясь, Максим повернулся к хозяйке и сказал: «Покойной ночи. Был прекрасный вечер. Я благодарен».

Вот и все, что он сказал, но моя подруга, целуя меня на прощание в щеку, почему-то шепнула: «А он у тебя остряк!» Словом, все кончилось самым приятным образом. Но Максиму, разумеется, было не по себе в этих домах, где к нему относились с плохо скрываемой предубежденностью, а подчас даже с враждебностью. Что касается меня, то хоть я и знала, что большая часть моих родных и знакомых и в подметки не годилась моему мужу, все же я остро ощущала их критическое отношение к нему и тайно терзалась, ибо, по всей вероятности, была гораздо менее свободной от предрассудков, чем полагала.

Зато члены небольшого кружка русских политэмигрантов, осевших в Англии, радушно распахнули двери своих скромных жилищ перед женой товарища. Между тем они имели гораздо более веские основания сокрушаться по поводу его выбора, чем мои родные и знакомые по поводу моего. Впрочем, я была для них не совсем чужой. Многие из них знали доктора Идера, кое-кому он некогда оказал ту или иную услугу. И если привычка к конспирации и мешала им говорить о политике и партийных делах в моем присутствии, то я пребывала в блаженном неведении и весело болтала обо всем, что мне придет в голову, радуясь, что встречаю таких отзывчивых слушателей. Меня и моих сестер воспитывали в детской, на втором этаже, подальше от гостиной, куда только за час до сна нас приводила, вымыв и причесав, очередная тиранившая нас няня, и поэтому я была очарована семейным укладом русских, которые жили в своих двух комнатных, в близком, спокойном и постоянном контакте с детьми. Правда, меня несколько поражало, что они своих детей совсем маленькими отправляют в ближайшую школу, ибо в те времена в английском среднем сословии родители ограничивали себя во всем, лишь бы поместить детей в частной школе, лишь бы избежать общения с детьми «бедных» и с их плебейскими наставниками, которые передали бы им свой вульгарный акцент. Впрочем, многое во мне удивляло моих новых друзей тоже. Однажды я зашла к миссис Митровой и обнаружила у нее за столом учительницу из городской школы. Оправившись от удивления, я нашла в мисс Уилкинс интересную и приятную собеседницу, несмотря на то, что и одега она была не так, как женщины, с которыми я привыкла пить чай, и что акцент ее сильно отличался от того, который был принят в нашем кругу. Мне очень хотелось встретиться с ней еще раз и поговорить о воспитании, но почему-то я не решалась пригласить ее к себе.

В свою следующую встречу с миссис Митровой я сказала: «Я никак не пойму мисс Уилкинс — можно ли ее причислить к порядочному обществу?» — «Если вы имеете в виду общество культурных и образованных людей, — сказала миссис Митрова, — то безусловно можно».

Мы обе прекрасно понимали, что я вовсе не это имела в виду, и в один миг я прозрела и увидела всю нелепость снобизма, в котором меня воспитали.

«А вы знаете, что мисс Уилкинс сказала о вас?» — спросила добрейшая миссис Митрова, сделав вид, будто не замечает моего смущения. — Она сказала, что очень хотела бы посмотреть, что с вами будет через десять лет».

Как тактично меня осадил и как эффектно! Без всяких преувеличений я могу утверждать, что с того самого дня мое отношение к людям переменилось радикальнейшим образом.

Я не пересказала нашего разговора Максиму. Я знала, как чувствителен он был к впечатлению, которое я производила на его друзей, знала, что он всегда опасался, как бы я невзначай не показала своих «мелкобуржуазных» ушей, какие уши я, впрочем, показывала с достаточной регулярностью. Так, например, однажды, когда кто-то прочитал вслух сообщение, напечатанное в «Таймс», о недоедании, от которого вследствие войны страдало гражданское население Европы, я ничтоже сумняшея привела заезженное клише, которое было тогда особенно в ходу, — о том, что больше народу якобы умирает от переедания, чем от голода. Замечание мое вызвало тягостную паузу, после которой кто-то тактично переменял тему разговора. Другой раз, у кого-то на вечере, куда собралась чуть ли не вся колония, я вдруг звонким голосом спросила: «А в конечном результате — кто сделал больше для социализма, Маркс или Толстой?» Как всякий риторический вопрос, мой вопрос остался без ответа.

Как только между людьми устанавливаются хорошие, счастливые отношения, они стремятся во что бы то ни стало как-нибудь эти отношения изменить. Довольно скоро после нашего знакомства Максим съехал от Клышко и снял две меблированные комнаты на respectable улице у подножья Хемпстедского холма. Он был очень доволен своим жильем, ему там было удобно, да и большая часть его русских друзей проживала поблизости. А мне было хорошо в моем буклическом окружении. До моих друзей мне тоже было рукой подать, в любую минуту я могла к ним заскочить — пообедать или просто поболтать. Но моя обитель никак не отвечала его вкусам. Неужели он для того так далеко забрался от родины, чтобы поселиться в избе, в то время как к его услугам в какой-нибудь миле отсюда были все удобства гигантской европейской столицы? А я, неужели я отказалась от буржуазной банальности Вест-Кенсингтона для того лишь, чтобы поселиться в стандартном домишке, ничем не отличающемся от пятидесяти точно таких же домов, расположенных по обе стороны окраинной улочки, с окнами, выступающими «фонарем», полированными входными дверьми, украшенными наверху разноцветными стеклами фабричной работы?

Сковывать себя узами буржуазного брака было противно его убеждениям. Чувство — вот единственный, по его мнению, регулятор отношений между мужчиной и женщиной. Да и зачем они были мне, эти узы? Ведь я не так давно освободилась от семейных оков сама и только начала наслаждаться свободой. Казалось бы, в свете всех сомнений и несогласий во вкусах проще всего было бы оставаться каждому на своем месте. Но нет, почему-то ни один из нас и думать не хотел о какой-либо иной форме сосуществования, кроме брака, самого обыкновенного законного брака. И когда моя подруга сказала мне: «Но послушай, Айви, если Максим убежденный противник брака, да притом ты сама сомневаешься, что тебе так уж необходимо быть замужем, почему бы вам не продолжать жить, как живете?» — когда она осмелилась сказать мне такое, я чуть не задохнулась от ярости. «Сама небось уже второй раз замужем, — подумала я. — а не хочет, чтобы у меня был свой собственный муж и чтобы я жила своим собственным домом!»

Короче говоря, мы подыскали себе квартиру в три комнаты — две боль-

шие и одна маленькая — на самом верхнем этаже шестиэтажного дома, посреди таких же точно шестиэтажных домов, подымающихся по пригорку Хемпстеда. Это были мрачные викторианские дома, в которых ванная помещается на полтора этажа ниже жилых комнат, а кухня в подвале. Уголь для камина (имевшегося только в одной комнате — остальные две никак не отапливались) приходилось тащить по черной лестнице из подвала на кухню и оттуда волочить на шестой этаж. Чтобы налить чайник, мы спускались в ванную. Таким образом, каждый из нас чем-то поступился (Максим — своими представлениями об удобствах, я — своим эстетическим чувством), причем ни один из нас ничего от этого не выиграл. Что, по всей вероятности, и требовалось доказать. Правда, из наших окон выстирался несравненный вид на Хемпстед, на его зеленые склоны, на группы вековых деревьев — ни одного строения! — и мы оба в равной степени наслаждались этой панорамой. Итак, мы зарегистрировали наш брак в хемпстедском бюро регистраций, и надо сказать, что более уродливой смеси бюрократизма, ведомственного остроумия и средневекового ритуала, нежели заключение брака в английской регистратуре, трудно себе вообразить.

Пожалуй, самое справедливое высказывание о браке принадлежит Роберту Льюису Стивенсону, который сказал, что вступить в брак — это все равно что приютить ангела, ведущего реестр ваших прегрешений. Как только мы зажили общим хозяйством, я почувствовала, что бесконечный список моих несовершенств, невидимым мелом наносимых на невидимую доску, пополняется с каждым днем. Максим привык поддерживать в своем жилище скрупулезную чистоту и порядок, а я, неряшливый продукт второразрядного английского пансионата для девочек, завершила свое воспитание в богемном разгроме, царствовавшем у нас дома. Кресла, на которых были навалены всевозможные предметы одежды, и ящики комодов, которые не закрывались из-за того, что их содержимое било через край, приводили его в ярость. Его справедливые упреки только раздражали меня, а исправить были не в силах. Когда я жила одна, никому дела не было до моей неаккуратности, и все, что попадало на пол, так там и оставалось лежать, покуда звук шагов на лестнице не заставлял меня поспешно выбросить все в заднюю комнату и плотно притворить дверь. Как же было ему не вздыхать по уютному порядку его холостяцкой квартиры, где он в любую минуту мог найти нужную ему вещь? Но как ни серьезны были конфликты, возникающие на почве моей безалаберности, были и еще более глубокие причины для несогласий. Разница в возрасте, воспитанной каждым из нас культуре, в традициях, его непримиримый пуританизм, моя беззаветная импульсивность — все это вместе создавало атмосферу хронической бури для нашего углого челна. Находились друзья — с обеих сторон, — которые качали головой и не без тайного удовольствия предвещали кораблекрушение. Впрочем, муж меня чрезвычайно обрадовал однажды — и удивил! — когда в ответ на цитату, приведенную мною из Самуэля Джонсона, утверждавшего, что хоть брак и несет с собой множество неприятностей, холостая жизнь лишена всяких радостей, он с каким-то торжественным выражением кивнул головой и сказал, что замечание это совершенно справедливо. «Неужели надо непременно выбирать между браком и одиночеством? — вырвалось у меня невольно. — Вот ведь философ Годвин и Мэри Уолстонкрафт, например, снимали комнаты в разных домах, чтобы не подвергать свое чувство испытанию постоянных мелких раздражителей, неизбежных в совместной жизни». — «Это намек?» — мрачно спросил Максим. Это не было намеком. Нет, я совсем не собиралась обменять неприятности семейной жизни на радости одиночества.

Подобно всем русским, Максим был заядлым туристом. Разумеется, и до моего знакомства с ним мне доводилось участвовать в загородных прогулках с друзьями, но ни один англичанин не знал окрестностей Лондона так досконально, как этот русский политэмигрант. Штудирование путеводителей было у него страстью. Бывало, целый день мы с ним бродили по лесам, паркам, холмам и долам, минув шоссе и проезжие дороги и только спускаясь в небольшой городок

или село, чтобы превосходно закусить на постоялом дворе, знакомом ему по опыту или понаслышке.

И в какой бы стране мы ни были, самые счастливые часы Литвинова проходили за составлением маршрутов — независимо от того, составлял ли он их для себя или для кого-нибудь другого. Он страстно любил природу, но только ту, до которой было долго и сложно добираться. Он словно не признавал права именоваться «природой» за тем, что было рядом, окружало его каждый день. Человек городской и книжный, он не различал пород деревьев, а единственный цветок, название которого он знал, была роза, да и ту он признавал, только увидев в витрине цветочной лавки. Быть может, это отчасти объяснялось и особенностью его зрения — у него была большая близорукость. Бывало, я поднесу к его глазам полустлевающий кленовый листок, разрушительными силами природы превращенный в ажурное кружево, и он со мной согласится, что это интересно. Но видеть в этом «красоту» решительно отказывался. В зависимости от настроения он мог умилиться, заинтересоваться или подосадовать на меня за то, что я отрываю его от газеты, чтобы показать сложный узор надкрылий какого-нибудь жучка, выловленного мною на полянке возле дома. А если я призывала его полюбоваться вместе со мною маневрами паука, ткущего свою гигантскую паутину в углу под потолком, Максим тотчас хватался за метлу. Однажды, впрочем, мне все же удалось заставить его посидеть две-три минуты спокойно, наблюдая за работой этого короля ремесленников. Он даже сказал, что это «настоящее откровение», но тут же снова уткнулся в свою газету. Там в хитросплетении строк ему виделось другое кружево, и он постигал недоступную мне грозную красоту истории.

Максим был музыкальнее меня. Слушать музыку было у него потребностью и привычкой, и он водил меня на все концерты выдающихся музыкантов, гастролировавших в Лондоне. Воспитанная на Бахе и Бетховене, я умела слушать музыку, но могла спокойно обходиться без нее. Зато к пластическим искусствам он относился с почтительным равнодушием, и я довольно скоро обнаружила, что его потребность в живописи примерно равнялась моей в музыке. Что касается современного искусства, то оно для него просто не существовало. В чем был, однако, сходились полностью, это в любви к литературе. С европейскими классиками он был знаком, но к тому времени, когда мы с ним встретились, он романов не читал вообще. Со свойственной ему методичностью он принялся читать одну за другой книги, стоявшие у меня на полках, — школьные призы (которые я получала только за «литературу»), подарки по случаю дней рождений и книги, «зачитанные» мною у друзей. К моей несказанной радости, он полюбил многих моих любимцев — Джейн Остен, Роберта Льюиса Стивенсона, Джорджа Мура, кое-что из Генри Джеймса даже. Но самым любимым его чтением оказался Треллоп. Его он мог читать без конца. Он говорил, что политические романы Треллопа могут служить без всякой скидки путеводителем по английской парламентской жизни. Заставить его читать современную художественную литературу мне не удалось. Откровенность Д. Г. Лоренса оскорбляла его чувствительность, и он с удивлением смотрел, как я с жадностью набрасываюсь на какой-нибудь новый роман, на каждой странице которого, как ему казалось, старательно толкалась вода в ступе. «Ты самое несчастное существо на свете!» — воскликнул он однажды. — Ты и полчаса прожить не можешь без книги, причем это должна быть непременно новая книга, и непременно роман, да при этом еще английский». Все, кроме первого утверждения, было несправедливо. Даже в ту пору я была уже не столько читателем, сколько перечитывателем, и три-четыре раза успела перечитать основные романы английских писателей восемнадцатого и девятнадцатого веков; письма, мемуары, биографии и путешествия меня волновали не меньше романов, а что касается русских классиков, то многих из них я знала почти так же хорошо, как и Максим. Мне хотелось читать их по-русски, и он отважно ринулся обучать меня этому языку. Увы, это было покушение с негодными средствами! Ему с его дисциплинированным умом невозможно было понять всех трудностей, которые осаждали такого человека, как я, — человека, которого ничему не могли научить

в школе и который к тому же после пятнадцати лет начисто забыл, что такое сознательное умственное напряжение. Не более успешными оказались мои попытки помочь ему усовершенствоваться в английском языке. В ту пору мое владение английским синтаксисом было чисто инстинктивным, а о фонетике я и слыхом не слыхала. Со страшными мучениями мы продирались вместе сквозь «Евгения Онегина», и только лет двадцать спустя научилась я по-настоящему наслаждаться этим обаятельнейшим из шедевров мировой литературы. Впрочем, года через два-три я все же могла уже бегло читать по-русски и читала русскую прозу с такою же яростью, как и английскую, так что Максиму пришлось отказаться от еще одного пункта своего обвинения — «это должен быть непременно английский роман». И все же до сегодняшнего дня я так и не берусь судить о художественном достоинстве книги, если она не написана на моем родном языке.

Не успели мы обосноваться в нашей первой совместной квартире, как нам уже пришлось подумывать о другой: мы совершенно забыли об одном из возможных последствий брака. Когда же оно не замедлило сказаться, стало очевидным, что нельзя растить ребенка в квартире на шестом этаже, с ванной на четвертом и кухней в подвале. На этот раз я уже ничуть не заботилась об эстетическом окружении. В январе семнадцатого года мы нашли трехкомнатную квартиру на первом этаже в тихой улочке Вест-Хемпстеда — правда, далеко до Хемпстедской поляны, но зато с собственным садом. И в этом доме кухня была расположена в подвале, но здесь она была в нашем полном распоряжении, и мы могли пользоваться ею как столовой. Ванная на этот раз была на полтора этажа выше жилых комнат.

Шестнадцатого февраля Максим повез меня в родильный дом. Всю дорогу нас сопровождал визг воздушной тревоги, и вскоре после полуночи, в тот самый час, когда в противоположном конце города десятки младенцев гибли от бомб, сброшенных цеппелинами, родился мой младенец. Из-за свирепствовавшей в Лондоне эпидемии кори мне пришлось провести в родильном доме целый месяц. Но как ни тихо, как ни покойно было в этой пещере (где врач был чем-то вроде Просперо, медицинская сестра — его послушным Ариелем, а Калибана и в помине не было), я все же чувствовала, что «сей остров полнится шумами». Из разговора Максима с одним из его товарищей, который вместе с ним пришел меня проводить, я поняла, что русские чем-то до крайности взволнованы. Оказалось, что вот уже несколько дней, как в газетах не было никаких известий с русско-германского фронта. Максим и его друзья строили всевозможные предположения, и во всяком случае ясно было одно: что-то в России происходит.

Максим навещал меня каждый день. Хоть он смотрел, не отрываясь, на сморщенное задумчивое личико своего первенца, я чувствовала, что он во власти какой-то одной, всепоглощающей мысли. Шестнадцатого марта утром, после завтрака, он позвонил мне и спросил, видела ли я «Таймс».

«Что-нибудь случилось?» — спросила я, но он в ответ только сказал, что заедет за нами во второй половине дня и отвезет домой. «А ты пока почитай газету». Мне послышалось в его голосе сдавленное волнение, но больше я из него не могла «выжать» ни слова. В приемной на столе, за которым заведующая отделением сидела и хмурилась над счетами, лежала газета. «Царь отрекся от престола!» — воскликнула я. Заведующая взяла газету из моих рук, подержала ее перед собой и без единого слова вновь склонилась над своими счетами.

Я позвонила тете Эдит, та поздравила меня, но тут же несколько остудила мой энтузиазм, сказав, что это всего-навсего, вероятно, дворцовый переворот. Впрочем, на другой день пришла весть об отказе великого князя принять венец и об аресте царя.

В то утро Максим ушел из дому тотчас после завтрака и вернулся только вечером. Колония решила, что можно скорее связаться с Временным правительством, и многие полагали, что первым в Россию поедет Литвинов. Но в конце концов было решено послать Янсена, он был постарше, и дети у него достигли уже школьного возраста. «Ведь у тебя одного новорожденный», — утешала я его. «В том-то и беда, — отвечал он. — Недаром я говорил, что революционер не имеет права об-

заводиться семьей». — «Но ведь даже в Библии сказано, — продолжала я, — что кто возьмет в дом свой жену, тот должен сидеть дома год и ее утешать».

На этот довод Максим не ответил ни слова и попросил открыть машинку и записать кое-что под его диктовку. Он испытывал настоящую потребность зафиксировать события и переживания этого дня. Казалось бы, ему было бы естественно излиться на родном языке, но у него было отвращение к процессу письма, и он привык диктовать мне не только свои английские письма, но даже дневник — скудные, отрывочные заметки, главным образом записи предстоящих деловых встреч. У меня сохранилась каким-то чудом страничка, продиктованная им в тот вечер. По своему обыкновению (тюремная привычка?) он быстро шагнул из угла в угол маленькой комнаты, которая называлась у нас «кабинетом», и судорожно произносил одну за другой короткие фразы. Я озаглавила эту страничку: «Из дневника русского политического эмигранта». Вот она:

«Марта 17-го, Лондон.

Я лег вчера в большом волнении. Новость, которую я узнал, казалось, открыла все шлюзы в моем мозгу. Затопившие его мысли не дали мне уснуть всю ночь. Мне стало невмоготу лежать, и я вскочил в шесть утра, бурля нетерпением скорее увидеть газеты. Неужели это и есть Народная Революция? Газетные строки прыгали перед глазами. От восторга я не мог заставить себя читать все подряд и то перескакивал к концу столбца, то заглядывал на середину другого — я словно хотел проглотить эту новость всю разом! Не помню, как прошло утро. Как-то машинально проделал все утренние процедуры. Пытался побриться зубным порошком, потом сел в пустую ванну и забыл открыть кран. Завтракал ли я в тот день? Не помню.

Какая радость, какая радость! Неужели нельзя мне никак попасть в Россию? Сейчас же? Я ринулся в Русское консульство, чтобы выхлопотать себе паспорт, но унылые чиновники сообщили, что никаких инструкций не получали, что я должен снести с Хоум-оффис и т. д. и т. д.

Что делать? Может, запросить по телефону у Временного правительства разрешение на въезд? Но у них сейчас дела поважнее, чем мое возвращение в Россию. Я вспомнил, как в 1905 году мне было жаль товарищей в ссылке, когда они не могли вместе со мной наблюдать радостное зрелище революционных событий. А теперь я сам в подобном положении. Невероятное счастье и невероятная боль. Какая трагедия — провести полжизни в...»

Здесь запись обрывается. Но насколько я помню, там было еще о том, как они с товарищем требовали, чтобы в Русском консульстве снимали портреты царя и царской фамилии со стен, как им ответили, что не получали такого предписания. Помню, как с тем же товарищем они ринулись в палату общин, вызвали Рамзея Макдональда и спросили, как он намерен реагировать на русскую революцию. Макдональд тоже, очевидно, не получил еще на этот счет предписаний.

Окончив диктовать, Максим вдруг остановился посреди комнаты и спросил, откуда эта цитата о человеке, который должен целый год сидеть с женой. С ним так бывало часто: ему что-нибудь скажешь, и он как будто пропустит мимо ушей, а потом оказывалось, что он все слышал. «Откуда-то из Ветхого завета, — сказала я, — точно не помню, кажется, из Книги царей». — «Я думаю, ты хоть Библию знаешь как следует», — сказал он с упреком. А за ужином вдруг положил рядом с моей тарелкой листок из блокнота. «Если кто взял жену недавно, — прочла я, — то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял (Второзаконие, 24, 5)».

Между уроками, свиданиями с товарищами, с которыми было необходимо обсудить текущие события, и множеством других срочных дел, о которых я не имела представления, он все же нашел время заглянуть в публичную библиотеку.

Что же будет с Россией? Этот вопрос занимал всех. В Лондоне усилился интерес к русским политическим эмигрантам. Репортеры не давали Литвинову про-

ходу. Всюду, куда бы мы ни пошли — на улицах, в метро и даже у самой калитки нашего дома, — мы на них натыкались. «Литвинов, скажите нам что-нибудь, — молили они. — Что вам известно? Назовите хоть какое-нибудь имя!» Он отвечал, что скоро они услышат о человеке по фамилии Ленин, и тотчас репортерский карандаш записывал это имя в блокнот. «Да, но кто этот Ленин?» — спрашивали они.

А вскоре весь мир узнал из газет о новой революции в России — Октябрьской. «Репортеры, верно, думают, что я уже тогда все знал», — сказал мне Максим. «А на самом деле — знал?» — спросила я. «Ленина я знаю давно», — ответил он.

Попасть в Россию ему суждено было только лишь через два года. Пароход, на котором отправился вместо него Янсен, нарвался на мину и затонул. В рассказах о безмерном горе его пожилой жены и детей-подростков мне чудился невольный укор, но в глубине души я могла твердить себе только одно: «Если бы не мы с Мишей, с этим пароходом утонул бы Литвинов». К тому же миссис Янсен ведь уже за пятьдесят — не может быть, чтобы ее чувства обладали такой же остротой, как мои! Но какая-то печаль, смутная горечь осели на дне моей души. Неужели так непременно счастье одного человека должно быть за счет другого?

Новый, 1918 год русская колония встречала в нашей просторной гостиной. Справляясь с обстоятельнейшими наставлениями, выписанными из кулинарной книги мадам Малаховец, мы с мужем совместными усилиями сварили борщ, разделили селедку и зажарили индюшку в нашей подвальной кухне, а гости принесли с собой водку и холодную закуску. Среди различных тостов пили за Литвинова как за будущего большевистского посла в Лондоне, и я имела колоссальный успех, продекламировав тщательно заученное мною предложение из учебника русского языка Отто-Нотти Сауэра: «Где коньки посла?»

Второго января 1918 года сэр Сидней Лоу записал у себя в дневнике: «Большевистское правительство назначило Максима Литвинова (Айвиного мужа) послом в Англию».

В прогрессивных кружках, среди сочувствующих русской революции, среди фабианцев и основателей «Клуба 1917-го года» весть о том, что возвращавшийся среди них скромный учитель русского языка Максим Литвинов назначен послом в Англию, произвела в некотором роде сенсацию. Мне кажется, что все эти милые люди должны были сетовать на то, что он не холост. Жены знаменитостей редко пользуются общественным расположением. Впрочем, надо было соблюдать требования приличия, и поскольку «миссис Литвинофф» существовала, ее тоже приглашали на обеды и ленчи и в Вестминстер, и в фешенебельный Мейфер, а однажды даже и на Даунинг-стрит. Меня посадили рядом с Рамзеем Макдональдом, напротив Бертрана Рассела. Перегнувшись через стол, я спросила его, что он думает о Фрейде? На мгновение философ остановил свой орлиный взор на моем лице, но не удостоил дерзкую ответом. Впрочем, все были со мною отменно любезны. Моя соседка по правую руку завязала со мной разговор. «Я думаю, вы очень должны были удивиться, миссис Литвинофф, — сказала она ласково, — когда из вашей тихой жизни с мужем и малышом в Вест-Хемпстеде вы вдруг попали в водоворот мировых событий. Мы представили себе, как утром за завтраком вы наливаете мужу чай, а он протягивает вам «Таймс» и говорит: «Поздравляю тебя, дорогая, ты, оказывается, жена посла!»»

Я уверила свою соседку, что эту новость мы узнали не из газет. «Мы этого ждали, — спокойно сказала я, вспомнив «коньки посла». — Но только какой же он посол, когда его правительство не признано?»

Посреди всей этой суеты я вдруг занемогла. Странные приступы тошноты, головокружения... Максим, сам обладавший железным здоровьем, пришел в отчаяние. Он испугался, как бы его молодая жена не примкнула к легиону страдальцев, столь знакомых ему по хандрящей провинции царской России: из года в год ходят они по медицинским светилам, пробуя одно патентованное средство за другим. Страх его оказался несостоятельным, и недели через две я оправилась вполне. Но как было сообщить истинную причину моего недомогания, которую я уже

знала! Максим так безмерно радовался моему выздоровлению и вновь обретенному могучему аппетиту! Он смеялся по всякому поводу и без повода, пел по утрам в ванной, являлся домой посреди дня с букетом фиалок или подснежников. Моя же новость должна была его огорошить и огорчить: я снова была беременна. А теперь это было еще более некстати, чем когда-либо. В самом деле, как можно было думать о том, чтобы везти женщину с двумя — вернее, с полутора — малышами в страну, которую терзала интервенция и раздирала гражданская война?

В августе 1918 года с великолепным пренебрежением к нашим планам и намерениям родилась наша дочь Таня. Я еще была в родильном доме, когда до меня дошла весть о покушении на Ленина. От меня прятали газеты, но по тому, как держались врач, сестра и даже няня, я чувствовала, что атмосфера сгущается: поджатые губы, косые взгляды в мою сторону и худо скрываемое возбуждение, торжество и даже восторг на лицах. Многие с надеждой ожидали смерти Ленина, а с нею и гибели революции.

Любовью английского обывателя Ленин тогда не пользовался. На него смотрели как на виновника того, что Россия «подвела союзников», то есть ускорила конец мировой кровавой бойни. К тому же обыватель любит, чтобы за покушением следовали похороны. А то что же это такое: в человека стреляют, а он выздоравливает. Даже обидно.

Недели через две после моего возвращения из родильного дома наша проходящая работница Шарлотта перестала приходить, и мне пришлось хозяйничать одной с двумя малышами, из которых один был грудной, а другой вступил в тот опасный возраст, когда нельзя спускать с ребенка глаз ни на минуту. Тетя Эдит ринулась к Шарлотте, чтобы узнать, в чем дело. В это время свирепствовала испанка, и мы подумали, что Шарлотта подцепила эту болезнь. Но Шарлотта была на ногах. Она сама открыла дверь и впустила миссис Идер. Нет, нет, она не может больше ходить к миссис Литвинофф, она никогда ничего такого себе не позволяла и не желает, чтобы люди видели ее входящей и выходящей из дома, над которым учрежден полицейский надзор. Вот уже несколько дней, как она заметила, что у фонаря напротив их окон околачиваются сыщики, и как только мистер Литвинофф выходит из дому, следуют за ним по пятам. Она не представляет себе, в чем он мог провиниться перед властями, он такой спокойный и вежливый джентльмен, но, как бы то ни было, она не желает связываться с полицией. И как тетушка Эдит ни уговаривала ее, Шарлотта оставалась непреклонной. Все дело было в том, что в России только что был арестован британский дипломат Локкарт, и британское министерство внутренних дел Хоум-оффис в ожидании решения своего правительства на всякий случай учредило надзор над советским дипломатом. Сыщики, впрочем, относились к своим обязанностям не слишком всерьез и по вечерам, завидя, как их подопечный собирается спуститься в подземку на Черинг-кросс или Оксфорд-стрит, они любезно осведомлялись: «Домой, сэр?» — и, пожелав ему покойной ночи, сами разъезжались по домам. Через несколько дней Литвинова арестовали и увезли в Брикстонскую тюрьму, где он величался «гостем его величества» и ожидал конца переговоров по обмену его на Локкарта. Его выпустили примерно через неделю, и скоро, очень скоро Литвинов уехал в Москву. Без меня. Как обычно, житейские соображения оказались сильнее велений сердца. Доводов против моей поездки с ним было много, и все они были вескими: ехать в страну, переживающую бурю, с двумя маленькими детьми по меньшей мере рискованно, а я к тому же еле владела языком этой страны, не могла бы ни объяснить с людьми, ни понять их. «Вы мне будете только в тягость, — сказал муж со свойственной ему прямолинейностью. — Мне пришлось бы все время возиться с налаживанием быта для вас, а у меня будет много других дел». Итак, было решено, что нас не берут.

Когда мой дядя Сидней Лоу услышал, что Максим отправляется без меня, он сказал: «Я так и знал, что этот тип ее бросит». Однако все остальные мои

друзья и родственники видели в этом решении всего лишь трезвую рассудительность. Точно так же смотрели на дело и мы с мужем. И тем не менее это трезвое решение рассеяло одну из самых драгоценных иллюзий, какие лелеет человек: иллюзию о самом себе. Либо я должна была считать, что была дурочкой тогда, вначале, либо признать себя ничтожеством, которое не в силах подняться над житейскими мелочами. Так или иначе, то был сокрушительный удар по моему самолюбию.

Он уехал, а для меня потянулись самые бессмысленные и самые ненаполненные годы моей жизни; из них мне запомнилось только то, что мы переезжали весной из города в деревню, а осенью из деревни в город. Встретились мы с мужем через два года в Копенгагене, куда его направили вести переговоры об обмене военнопленными. Еще через год мы переехали в Христианию (ныне Осло), где жили призрачной жизнью гостиничных постояльцев. И снова Максим поехал в Россию без меня. Мой третий ребенок, сын, умер через месяц после родов. И снова для меня потянулись нескончаемые месяцы одиночества, горя и недомогания. Барабаны русской революции отлучили меня окончательно от родных. Муж не мог быть в разлуке с революцией — приходилось расплачиваться одиночеством. Но наконец мы снова съехались, на этот раз в Ревеле. Своего второго сына Максим так и не видел, и его взволнованные расспросы согревали мне душу. Он хотел знать о нем все до мельчайших подробностей, говоря, что с его потерей чувствует, будто лишился части самого себя. Как это не похоже было на моих друзей и родственников, которые писали мне в утешение, что все это было к лучшему!

Только зимой следующего года мы подобрали оборванные разлуками концы нашей жизни и попытались соединить их вновь. С тех пор нашим домом сделалась Москва.

Перевела с английского Т. Литвинова.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турнов. Зов земли.— **М. Роцин.** Штурмья Парнас.— **Е. Гинзбург.** Ожившие тени.— **Л. Копелев.** Мертвый хватает живых.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Петраков, К. Гофман. Поучительные размышления.— **И. Забелин.** Выдающийся ученый.— **Б. Марушкин.** Франклин Рузвельт. Ретроспективный портрет.— **Г. Федоров.** Об энтузиазме, бескорыстии и дилетантизме.— **А. Кондратов.** Проникновение в мир непознанного.

Литература и искусство

ЗОВ ЗЕМЛИ

Леннарт Мери. В поисках потерянной улыбки (Дневник путешествия к 160-му меридиану). «Молодая гвардия». М. 1965. 320 стр.

Видимо, с легкой руки легендарного эстонского богатыря Калевипозга, пустившегося на своем корабле «Леннук» на край света, его потомки тоже отличаются страстью к путешествиям. И сам жанр путевых заметок приобрел в эстонской литературе давние права гражданства и прочно связан с именами Фридеберта Тугласа, Йоханнеса Семпера, Юхана Смуула.

«В поисках потерянной улыбки» — третья книга Леннарта Мери, прежде написавшего о своих странствиях по Средней Азии и Якутии.

Уже в самом названии этой книги сказывается ее своеобразие, сочетание лиричности с точностью научного дневника. Юмористическое описание быта отправившейся на Камчатку экспедиции соседствует в ней с вдумчивыми экскурсами в прошлое этого края, в историю географических открытий и в этнографию.

Научная экспедиция, которую возглавлял Леннарт Мери, отнюдь не состояла из педантов, «сухарей», наглухо замкнутых каждый в своей узкой области. При всем том,

что ее участники имели каждый свою, четко очерченную сферу работы, всех их, пожалуй, объединило и устремило в путь романтическое желание воочию увидеть один из удивительнейших краев нашей огромной родины.

«Чего стоят таблицы цифр в сравнении с единственным потоком лавы! — пишет Л. Мери. — Ведь это все равно, что пытаться передать «Монну Лизу» перечнем длины волн отдельных цветковых пятен. Это, конечно, точно, умопомрачительно точно, но улыбка-то пропадает! Не потеряла ли школьная география улыбку мира? Не следует ли нам открыть эту улыбку заново?»

У нас стало общим местом упрекать писателей, да и простых смертных, что они смотрят на посещаемые ими края глазами туристов. Это слово неожиданно приобретает обличительный оттенок, а когда кого-нибудь хотя бы похвалить, то так прямо и пишут: не как турист, мол, побывал имярек в этой стране и т. п.

Конечно, туризм туризму рознь, и, по остроумному замечанию нашего автора, есть

такие исхоженные тропы («Пярну и Паланга, Карпаты, Крым и Кавказ»), которые «...до того глубоко втопганы в землю, что турист движется по ним, словно по желобам, видя лишь то, что мелькнет перед ним в окне поезда или гостиницы».

Однако автор книги видит в этой страсти к путешествиям характерную черту времени, закономерно возникшую у людей тягу к природе. «Природа должна занять в жизни человека такое же место, как солнечный свет,— пишет Л. Мери,— не только раз в год во время отпуска и не только раз в неделю во время субботней поездки за город, но каждый день — как работа, книга, еда и сон, — и на равных правах с ними».

Книга заражает любовью к природе, страстью познания мира во всем многообразии его проявлений, причем делает это без высокопарных заклинаний. Даже там, где патетика, кажется, так и напрашивается, автор поступает с нею так же, как его спутники с чересчур нарядными дорожными куртками: «дезинфицирует ее в крепком растворе иронии». «С грехом пополам удавалось проглатывать восклицательные знаки, которые щекотали горло, словно остья ячменя», — комически повествует он в одном месте об ощущениях участников экспедиции.

Но опытный читатель давно знает, что юмор — это часто переодетый пафос, что в шутовском тоне легче говорить о дорогих сердцу вещах. И тем ярче выделяются на фоне слегка иронического повествования лирические и патетические «обмолвки» автора. Так, описание Петропавловска завершается восторженным признанием, что взгляды путешественников «обращены к этой картине, ликующей и яркой, как рев медных труб в день сотворения мира». «Кедровник смыкается за нашей спиной, как недочитанная книга» — как грустный вздох расставанья, звучит финал рассказа о Долине гейзеров.

С гордостью пишет Леннарт Мери о том, что в исследовании Камчатки, как и Дальнего Востока вообще, немалую лепту вложили эстонские путешественники и исследователи. Говоря об одной из экспедиций, которую, по его словам, можно без преувеличения назвать «кругосветным плаванием

Тартуского университета», автор в своей обычной манере замечает: «И чертовски здорово, что мы протирали те же скамьи, что и эти люди!»

В прошлом Камчатки много трагизма, дикости и мрачности. Причем речь тут идет не о «варварстве туземцев», а о жестокости, с которой прокладывал себе путь прославленный Беринг, и о невежестве и самодурстве камчатских чиновников. «...никому не запрещают делать того, что ему взбредет в голову, к великому ущербу Камчатки и ее жителей», — с горечью говорится в одном из приведенных Леннартом Мери документов.

Край, ныне предстоящий перед путешественниками, нисколько не утратив своей природной суровости, решительно преобразился, «приблизился» — благодаря авиации и радио — к другим краям и странам, пережил подлинную культурную революцию за годы советской власти. Встречи с коряками оленеводами, разговоры с местной молодежью, описанные в книге, позволяют автору, при всем его целомудренном отношении к патетике, заметить, что «машина времени» и здесь включена на полный ход — в будущее».

Рассказывая про то, как в книжном ларьке отдаленнейшего села оказалась книжка Ф. Тугласа «Маленький Иллимар», Л. Мери пишет: «...эта встреча кажется мне вполне естественной. Это примета нашего времени, сплавляющего различные культурные руды в благородный металл, в коммунистическую культуру, объединяющую Балтийское море с Тихим океаном».

Жаль расставаться с героями этой книги, с ее автором. Они запомнились мне исчезающими в тумане со своими огромными рюкзаками: «...голов совсем не было видно, — казалось, рюкзаки сами ползут вверх, перебирая, как букашки, коротенькими ножками».

Я гляжу им вслед, надеясь на встречу с ними в новых книгах, а быть может, и на настоящих путевых тропах: ведь всякого читателя очерков Леннарта Мери тоже тянет в дорогу — к новым местам, к новым людям, навстречу прекрасной улыбке земли!

А. ТУРКОВ.



ШТУРМУЯ ПАРНАС

В. л. Федоров. Вечный огонь. Роман в повестях. «Советский писатель».
М. 1965. 328 стр.

Литературная судьба девятнадцатилетнего артиллериста-десантника Виктора Брагина началась в конце войны, в майские дни победы. Его вызвал к себе командир дивизии, «прокаленный генерал» Кавун, за просто предложил сесть, закурить и... сыграть партию в шахматы. Виктор не оробел. «Вороная конница Виктора бесстрашно скакала по генеральским тылам. Кавун почесал затылок.

— Можешь! Недаром тут писатель Шмелев тебя разрисовал: и швец, и жнец, и на дуде игрец! Прошу его: «Напиши нам походную!» А он: «У тебя под рукой могучий взвод!..»

Затем генерал вызывает трубача ефрейтора Пожарского. «— Сочиняешь? — в упор оглушил его Кавун» и раскрыл наконец карты: «— Нужна творческая кухня. За Брагиным слова, а ты, трубач, давай музыку! Ведь можешь!..»

— Будет, товарищ генерал, песня! — обещал высокий смекалистый трубач...

Прищуренные глаза Кавуна засветились.

— Песня — це така штука! То-то!.. Ищите таланты и — всех под метелку! Певцов, плясунов — в агитбригаду! Смотрите мне! — комдив погрозил пальцем Пожарскому. — Никаких заграничных штучек-дрючек! «Приказ: голов не вешать и смотреть вперед!»

И поредел второй расчет противотанковой батареи. Оказалось, что наводчика Артема Муравчика втайне соблазняли лавры батарейного Демьяна Бедного. Он писал ершистые басни и пародии на популярные песни. Недаром этот рыжий сибиряк учился в московском ремесленном (!). Как сыпанет занозистыми частушками!

А белолицый москвич Игорь Веленгуров, кудрявый скульптор и баянист, лихо управлялся со скрипучим трофейным аккордеоном.

Я прошу прощения у читателя за длинную цитату, но хочу обратить внимание, что именно с этого прямодушного заказа («всех под метелку!») и начинается мирная жизнь и гражданская деятельность «кудрявых скульпторов и баянистов» и «батарейных Демьянов Бедных». По странности судьбы все они, и в первую очередь поэт Брагин, начавший с «неуклюжих, но яростных» стихов, и «высокий смекалистый трубач» По-

жарский окажутся через несколько лет в самом центре культурной жизни Москвы, и Брагин, в частности, будет, как сказано в аннотации к этому «роману в повестях», «мужественно бороться с нездоровыми явлениями в жизни и в искусстве, с влиянием буржуазной идеологии».

Сами себя вчерашние артиллеристы без ложной скромности назовут «майскими соловьями», «крылатыми», «незамутненными ключами» и другими романтическими именами, а друг Брагина, тоже поэт и «одержимый инструктор культпросвета» Саутин воскликнет однажды в простоте душевной: «...И водрузим знамя морской пехоты на горе, которую древние греки нарекли Парнасом!..»

Но в чем дело? Почему Парнас надо брать штурмом? Тем более что герои романа, если верить автору, стихийно талантливы и имеют нужную подготовку: напомним, что ученье в «московском ремесленном», с точки зрения автора, есть едва ли не высшая аттестация культурного уровня и творческих способностей человека.

Тот же генерал Кавун, «бритоголовый рубака», в другой душевной беседе с Брагиным говорит такие слова: «Быть тебе, Брагин, солдатом всю жизнь! От себя не уйдешь... Ну а кто про Отечественную напишет? Заглядывал я в журналы — пока не густо. Один будто из окопа не вылезил, другой — из штабного блиндажа...» (Заметим в скобках для справки, что в это или примерно в это время уже существовали «Молодая гвардия», «Василий Теркин», «Звезда», «Спутники», «В окопах Сталинграда», военная проза и публицистика Шолохова, Леонова. Эренбурга, Горбатова, Гроссмана, Полевого, стихи Алигер, Берггольц, Симонова, Суркова, Исаковского и молодых, пришедших в поэзию после войны Гудзенко, Недогонова, Межирова, Винокурова.) И генерал продолжает: «Рискни, Брагин. Авось получится...»

«Авось», — думает и Брагин и с этой минуты всю свою жизнь посвящает штурму Парнаса. Мысли о жизни, о судьбе литературы, сомнения, мучения творчества, овладение культурой — все это ему неведомо. Главное — пробиться, главное — успех, свой и группы близких друзей. «Авось получится».

Но дело осложняется тем, что, едва Брагин и его друзья «рискнули», едва столкнулись с послевоенной литературной, музыкальной, художественной жизнью, как оказалось, что в Москве, в редакциях, в жюри, в критике, в прозе и поэзии, свили гнездо люди приземленные, безыдейные, а по-человечески просто противные, нечистоплотные... Брагин и его друзья — «незамутненные», «крылатые», а эти «бескрылые». Если судить по роману, то в Москве в ту пору существовала вообще одна-единственная подозрительная по снобизму редакция некоего журнала «Восход», один Литературный институт, писательский городок под названием Серебряное озеро и пять-шесть писателей, из которых по меньшей мере четверо — омещанившиеся мерзавцы, зажимающие молодые, свежие таланты.

Словом, Брагину и его друзьям на первых порах приходится туго. Этот самый «Восход» отклоняет *Их* стихи. Никаких сомнений относительно стихов, разумеется, возникнуть не может: не стихи плохи, а «Восход» плох. Как не закипеть бешенством от такой несправедливости! И автор выводит целый сонм персонажей, имеющих отношение к «Восходу», из которых один другого хуже.

В одном «течет кровь мелких шляхтичей и крупных коммерсантов», другой «округл, отекаем», третий просто почти уголовник. И конечно, эти люди заполняют журнал «ползучими детальками, бескрылыми мешанскими пятиминутками».

Что ж, с таким отношением к художественной среде, с очернительством по отношению к творческой интеллигенции мы уже встречались в некоторых произведениях последних лет — таких хотя бы, как роман «Тля». В этом смысле, при всем своем старании, Вл. Федоров мало что добавил к тому, что уже бывало.

Но, может быть, герой Вл. Федорова человек глубоко идейный и чистый, необыкновенно талантливый, человек высокой культуры, и он вправе занять достойное место на Парнасе, даже расшвыряв оттуда тех, кто ему неуютен? Посмотрим, каков этот человек.

В романе немало цитат из Маяковского, Есенина, Шевченко, Фурманова, Н. Островского. Но, к сожалению, образцов творчества самого Брагина в книге, как ни странно, нет. Есть только названия. Поэма «Майские соловьи», сатирическая комедия

«Голубой конь» и незаконченный, но «неотвратно нарастающий, необходимый, как весенний ливень», роман «Поэты». Правда, один из персонажей так характеризует лирику Брагина: «Блеск! Стихи немножко под Кольцова, немножко под Маяковского...»

Итак, стихов нет, зато есть другое: советы Брагина, его афоризмы, его оценки других произведений и т. п. Есть и описание творческого процесса. Достаточно привести несколько примеров, чтобы получить представление о вкусе Брагина, его интеллектуальном уровне, размерах его таланта.

Однополчанин Брагина десантник Саша Лапушкин, «невысокий, жилистый плясун», которого погубит потом московская богема, приносит однажды фронтовику другу свои первые стихи. «Как тебе сказать, Сашок? — ласково, как заправский хирург (?), начал наконец Брагин. — Складу нет, а душа есть. Такая чистая, звонкая, как первый ручеек...» А вот Брагин разбирает стихи ремесленника (это другой ремесленник) Дмитро Добрыни, написанные паренком для стенгазеты: «Во-первых, не «начал», а «на́чал», а во-вторых, не «сожмал», а «сжал», а в-третьих, из тебя будет толк! Есть экспрессия и ударная концовка...» Почему должен выйти толк из неграмотного Добрыни, написавшего стихи для стенгазеты, непонятно.

Но дальше. Вот как защищает Брагин свою комедию «Голубой конь» от критики модного поэта-модерниста Манина и его подруги, «рассеянной красавицы» Нонны Непомнящей: «Есть алые чернила романтики книжной и есть красная кровь романтики жизни. Я за вторую». Затем в другом разговоре по поводу своей комедии он высказывается менее высокопарно: «Пусть у меня будет не как во МХАТе, а как в хате!» Или: «Общие у нас не одеяла, а идеалы».

А уже окрепший, уже почти одолевший своих врагов Брагин так формулирует свое идейное кредо: «Правду не ищут — правду делают!» Он произносит эту фразу гордо, «крылато», совершенно не чувствуя ее низизма: что же это за правда, которая не существует объективно, которую надо не познать, а можно «сделать».

Вот как изображается творческий процесс. В нем почему-то непременно участвуют женщины. Например, уехала жена Брагина Талка, и у него уже не клентся дело с романом. «Его не напишешь без Талки. Без ее насмешливо прищуренных глаз, без под-

задоривающих реплик, без хлестких пометок на полях, без ее неутомимой, как дятел, машинки... Здорово пишется, когда Талка рядом. Распахнешь форточку, нет,— окно. В комнату влетают снежинки. Лукаво поблескивают удивительные Талкины глаза...»

(Кстати, об этих глазах. Они — «удивительные, непонятные. Не то серые, не то светло-карие, не то зеленоватые. Насмешливые, прищуренные». А у другой возлюбленной Брагина, венгерки Марии, были, например, не глаза, а очи: «доверчиво-тоскливые очи», «очи, как чернослив в росе».)

А вот как идет работа, когда жена рядом. «Виктор бросался за стол и всю ярость обрушивал на бумагу. А Талка украдкой поглядывала на своего бравостого, упрямого, как она, солдата. ...Вот сидит сердитый Виктор за столом, и никому, кроме Талки, кажется, до него нет дела. А прочтут люди его хлесткую комедию и подумают: «Точно подметил. Коси!..»

Она молча целует бормочущего Виктора в горячее ухо, которое в отличие от его губ никогда не причиняло ей зла (!).

Однажды Виктор пришел к своему другу, «кудрявому скульптору и баянисту» Игорю, который порвал с женой и у которого творческий кризис. К другу Виктор «собирался полтора года. Больше медлить нельзя». И вот он приехал, застал Игоря в беде. Пожурил его. А потом «начал читать вслух» свои стихи и «скоро забылся». А художник, слушая Брагина, принимается работать: «он слушал, кивая в такт стихам, а руки, казалось, сами подправляли лицо рабочего парня. Во взгляде паренька появилось что-то мечтательно-осмысленное. Виктор, очнувшись, ахнул.— Ну вот видишь! А еще спорил... Стоя на земле, не забывайте о небе, десантники!»

Тот же Игорь чувствует огромный прилив вдохновения, когда ему рассказывают историю о некоей тетке Кылине, вдовушке, которая не хочет выходить замуж, пока две ее дочери на свадьбу не придут: одна дочь — волею судеб — живет в Марселе, другая — на Дальнем Востоке.

«И до тетки Кылины дошла, значит, международная политика? — говорит Игорь, — ...обязательно поеду к Денису, на твою Белогорщину. Вылеплю эту тетку Кылину и ее терпеливого жениха...»

Вот с такой святой простотой разрешаются творческие мучения, возникают замыслы, создаются произведения...

Брагин как будто любит своих друзей, верит в них, считает их «незамутненными ключами». Но стоило ему услышать случайно от человека, которого впервые видит (правда, это работник обкома), что один из бывших десантников, Примаков, ныне преподаватель, изменил фронтовому братству, он и на минуту не усомнился в справедливости сказанного. «Делец! — вырвалось у Виктора.— Я его знаю... Точнее, теперь узнал до конца... Делец! Струсил. А рубаку из себя корчил!.. Догматик! Какой он биолог? Биолух... царя небесного...»

Словом, чем больше знакомишься с Брагиным и его друзьями, тем меньше они вызывают симпатии. Откуда такая спесь, «занозистость», недоброжелательность, нескромность, невежество, подсчеты, кто сколько напечатал, сколько получил? Ведь все это признаки не таланта, а бездарности. Может быть, у Брагина «душа есть, а складу нет» и все объясняется очень просто? Ведь есть люди, которые, стремясь прикрыть свою творческую несостоятельность, используют для этого и фронтовые заслуги, и демагогию, и придуманных врагов? Не принадлежит ли к ним наш герой?

Если нет, то очень странными кажутся некоторые вещи. Например, то, что Брагин ничего не знает о своем народе, о своей стране, — по крайней мере мы не видим, чтобы он об этом думал. После армии двадцатилетний поэт нигде не поработал. Он учится в институте, пишет, женится, яростно борется с теми, кто его не печатает, — вот и все. И когда Брагин обличает мещан — мещанами он считает тех, у кого узкие брюки, страсть к джазу, шубы, квартиры и автомобили, — странно, что он не причисляет к мещанам и себя самого, потому что на протяжении всего романа он думает только о себе.

Да и зачем он учится, непонятно: он и так все знает и умеет учить других. Очень ценят Брагина обласкавшие его учителя Литературного института — некий Илларион Архипович с «мефистофельской улыбкой» и Касьян Степанович, «человек крутой закваски», который такими словами встречает Брагина: «Фронтвик? Мне нужны парни, на которых можно опереться. На первом курсе — народ отборный. Всяких сморчков, слюнтяев, хлыщей, маменькиных сынков — под зад метелкой! Свисту-

ны-низкопоклонники! И среди преподавателей есть эта бацилла. Присмотрись».

А еще один преподаватель Литинститута, поэт и покровитель Брагина Ерошин, вот в чем признается «майским соловьям»: «Я ждал вас еще в сорок пятом. Но ко мне приходили какие-то аккуратные мальчики, называвшие себя морской пехотой, ротными писарями. Не победители, а какие-то заменители из каптерки!»

Таким образом, еще на подступах к Парнасу ложится на крутые плечи Брагина тяжесть борьбы. Учиться некогда, надо других учить. Надо бороться. Присматриваться...

Какое за всем этим невежество, эгоизм, злоба, желание растоптать всех ногами! Понятно, что для оправдания такого мироощущения нужны противники не просто литературные, но идеологические диверсанты, буржуазные прислужники.

Но не будем многого требовать с героев. Ни с них, ни с автора. Тем более что в той аннотации, которую я уже цитировал, издательство предупреждает, что «Вл. Федорову присущи метафоричность языка, поэтическая символика, психологическая достоверность и юмор — то мягкий, то колючий». Кстати, видимо, все эти качества и побудили издательство «Советский писатель» выпустить книгу «Вечный огонь» сотысячным тиражом. Или, может быть, издательство привлекла «острота» внутрилитературных склок и пасквильных портретов?

Думаю, приведенные в рецензии цитаты дают достаточное представление и о «поэтической символической» автора, и о «психологической достоверности». (Сюда хотелось бы отнести еще эпизод, когда венгерка Мария, уязвленная иронией Брагина, раздирает на себе «буржуазное» платье.) Но нельзя удержаться, чтобы не привести еще одного образчика «метафорической» федоровской прозы. Речь пойдет о скульптурном портрете Ленина, который еще в армии изваял Игорь Веленгуров — тот самый, что лепил

под чтение Брагиных стихов. Итак: «Товарищ Ленин. Молодой, несхожий (?), дерзкий, с необычной (?) раздумкой в прищуренных глазах. Рука, согнутая в локте, словно утверждает (?), что дорог, ведущих к скалистым вершинам, не бывает без крутых поворотов (!)».

Генерал Кавун (все тот же крестный отец наших десантников.— М. Р.), молча осмотрев скульптуру, довольно крикнул: — Он! Такого я еще не видал» (!).

Позволительно спросить: что ж это такое? Как можно так бессмысленно нанизывать одно на другое примитивные, банальные слова? Если в иных местах, на иных страницах (пусть уж!) и можно бы писать: «девчурке очень хотелось конфет из новогоднего кулька строгой матери», или про все эти «доверчиво-тоскливые очи», или про то, как «русый чуб Романа фонтаном бил на невысокий лоб», то в случае с Лениным следовало бы, наверное, несколько прояснить свой «метафорический язык»!

Но довольно. Думаю, понятно, какую странную, оскорбительную книгу для советской литературы, для тех, кто пришел в литературу после войны, написал Вл. Федоров. Странную и оскорбительную не тем, что якобы обличил в ней нескольких литераторов, каких вообще на свете не бывает, — это полбеды. Но странную и оскорбительную тем, что за представителя советской интеллигенции, за достойный подражания образец он выдает человека малограмотного, неумного, завистливого, самоуверенного и пошлого.

И тем более странно было прочитать на страницах «Красной звезды» (25 июня 1966 года) рецензию, в которой утверждается, что роман Вл. Федорова, «ставящий острые проблемы современности, войдет в ряд художественных произведений, ярко изображающих образы героев нашего времени, сильных своей идейной убежденностью».

М. РОЩИН.

ОЖИВШИЕ ТЕНИ

А. Ф. Кони. Воспоминания о писателях. Лениздат. 1965. 391 стр.

Эту книгу открываешь с предвкушением радости. Залог такого чувства — имя автора, человека, умудрившегося на посту видного судебного деятеля старой России не только провозгласить, но и претворить в жизнь принцип «быть слугой правосудия, а не лакеем правительства».

Обаяние глубокого аналитического ума, душевного благородства, яркой талантливости хорошо памятно каждому, кто читал юридические мемуары Кони, кто знает о его роли в таких известных судебных процессах прошлого века, как дело Веры Засулич или обвинение в ритуальном убийстве крестьян удмуртов из села Старый Мултан.

В «Воспоминаниях о писателях» Анатолий Федорович Кони раскрывается перед читателем другой стороной своей многогранной личности. Активный участник литературной жизни своего времени, личный друг, а порой и советчик великих писателей, доброжелательный и квалифицированный критик и наконец автор замечательных литературных портретов встает со страниц этой книги.

Показания современника, видевшего то, чего не видели другие, правдиво и достоверно записавшего свои наблюдения, уже сами по себе большая ценность. В данном случае ценность эта удваивается благодаря тому, что сам мемуарист был замечательным человеком своего времени, к тому же щедро одаренным умением видеть точно и писать увлекательно. Блестящий оратор, Кони и в письменной речи сохраняет непринужденность устных интонаций. Книгу прочтываешь, что называется, на одном дыхании.

Свои литературные мемуары Кони создавал в закатные годы жизни. И тем не менее они пронизаны страстным отношением к материалу, гордостью за подвиг великих корифеев русской литературы, благодарностью судьбе за то, что довелось с самой юности жить в водовороте стихий своего времени, участвовать в борьбе передовых слоев общества, близко знать Толстого и Тургенева, Некрасова и Достоевского...

Несмотря на то, что Кони пишет в очень свободной манере, давая своеобразный сплав литературно-критического исследова-

ния, биографического очерка и эпизодов жизни, которым он часто предпосылает подзаголовок «Отрывочные воспоминания», читатель все же явственно ощущает и общественно-политическую, и философскую позицию автора.

Воинствующий шестидесятник встает перед нами уже со страниц вводного очерка «Петербург. Воспоминания старожила». На фоне талантливо нарисованной столицы Российской империи половины прошлого века как бы крупным планом выделены, с одной стороны, зловещий дом на Фонтанке — Третье отделение, с другой — деревянный одноэтажный с садиком дом Галченкова на углу Бассейной и Литейной, где, «упорствуя, волнуясь и спеша», работал и умер Белинский.

Чем дальше углубляешься в книгу, тем яснее ощущаешь неповторимый аромат эпохи, живые страсти, тревоги, раздумья ушедших людей, самый воздух, каким дышала русская интеллигенция тех времен. Какие удивительно точные и емкие слова находит Кони для характеристики предреформенных литературных нравов!

«Печатный поноситель и тайный доноситель на живые литературные силы, пользующийся презрительным покровительством шефа жандармов», — это Фаддей Булгарин.

«Общественная и государственная «фасадность»... леденящий гнет...» — это условия, в каких приходилось пробиваться творческой мысли в дореформенной обстановке.

И так по-человечески понятна становится радостная готовность мыслящей молодежи шестидесятых годов воспринять «благодетельные перемены» своего времени как начало светлого будущего страны, а каждое смелое писательское слово — как «спраздник ума и сердца на заре сознательной жизни».

Мы почти физически ощущаем нетерпеливое и жадное волнение, с каким добывалась и раскрывалась читателем тех лет свежая книжка журнала, печатавшего слова правды, и горечь, рождавшаяся, когда цензуре удавалось придать вышедшему произведению такой вид, точно оно «было положено в щёлок, который выел все краски и на все наложил один серенький колорит».

Умело вводит нас мемуарист и в атмосферу восьмидесятых годов, когда средь вновь опустившегося на русскую жизнь сумрака единственным средоточием всех надежд оставалась литература, когда именно писатель был «властителем дум» передовой молодежи. Недаром же Кони кажется, что трехдневные празднества в Москве по случаю открытия памятника Пушкину знаменуют собой некий перелом после ряда удручивших в нравственном и политическом смысле лет. Недаром он возвращается к этому событию снова и снова в ряде своих очерков. Ведь это был для него «праздник на нашей улице».

Как зримо отражена душевная жизнь лучших людей того времени в картине летней ночи, проведенной в поезде, везущем литераторов из Петербурга к Москву на открытие памятника Пушкину!

«В поезде оказался некто Мюнстер, знавший наизусть почти все стихотворения Пушкина и прекрасно их декламировавший. Когда смерклось, он согласился прочесть некоторые из них. Весть об этом облетела поезд, и вскоре в длинном вагоне первого класса на откинутых креслах и на полу разместились чуть не все ехавшие. Короткая летняя ночь прошла в благоговейном слушании... Мюнстер так приподнял общее настроение, что, когда он окончил, на середину вагона выступил Яков Петрович Полонский и прочел свое прелестное стихотворение, предназначенное для будущих празднеств... За ним последовал Плещеев... ..И все мы встретили, после этого поэтического всенощного бдения, восходящее солнце растроганные и умиленные».

Чем дальшеходишь в мир, раскрываемый для нас мемуарами Кони, тем яснее видишь, какую выдающуюся роль играли в тогдашней духовной жизни передовой русской интеллигенции те связи, которые не вполне укладываются в наше теперешнее суховатое выражение «личные контакты». Речь идет о постоянной потребности в ощущении дружеского локтя, в ободряющем слове единомышленника. Чуть шутливо, но с чувством глубокой благодарности к ушедшим друзьям повествует Кони о проникновенных, искренних разговорах, которые были так приняты в жизни тогдашней интеллигенции. Кони с улыбкой называет их «типически русскими беседами», которые-де с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели.

Между прочим, именно в этой позе представляет нам мемуарист Льва Толстого. Уже поздней ночью яснополянский хозяин присел на краешек постели своего гостя Анатолия Федоровича Кони. «Сел на краешек, начал задушевный разговор — и обдал меня сиянием своей душевной силы».

Темой этой памятной беседы — да и многих других — были вопросы морали. Нравственная проблематика проходит через всю книгу Кони. Вот спор с Толстым о непротивлении злу насилем, спор, в котором Кони, несмотря на свое благоговение перед великим правдоискателем, приводит «резкие примеры из жизни, где насиле неизбежно и необходимо и где отсутствие его угрожает последователю непротивления возможностью сделаться попустителем и даже пособником злого дела». Вот другой разговор с Толстым, где в связи с сюжетом «Воскресения» горячо обсуждался кантовский категорический императив, проблема «права на наказание», вопрос о проявлении общеобязательного нравственного закона в конкретном житейском случае.

А вот великая хвала Тургеневу, провозглашенная в очерке о нем, хвала за то, что, по мнению мемуариста, писатель всей своей образной системой отрицает так называемый «утилитарный оптимизм», проповедующий не без натяжек пользу добра, и, наоборот, утверждает не столько пользу, сколько красоту добра, доставляющую нравственное наслаждение, которое в свою очередь способствует оздоровлению души.

В мемуарах ощущаешь все время два мощных встречных стремления: желание судебного деятеля Кони осмыслить и осветить свой практический повседневный путь великими гуманистическими идеями, а с другой стороны, потребность писателей опереться в своих обобщениях на факты жизни, увиденные добрым и зорким глазом.

Это взаимное тяготение приводило и к деловому общению великих писателей с юристом, сделавшим своим девизом истинное правосудие. Вот перед нами рассказ о совместной с Достоевским поездке в колонию малолетних преступников на Охте, о переписке с Короленко по Мултанскому делу, по которому Кони дважды добивался отмены возмутительного приговора, о визите Чехова, пришедшего специально поговорить с Кони о Сахалине перед изданием своей книги.

Мы с интересом читаем о сюжетах, под-

сказанных Кони писателям. На первом месте тут, безусловно, стоит беседа Кони с Толстым об одном случае из судебной практики. В конце семидесятых годов к А. Ф. Кони, занимавшему тогда должность прокурора в петербургском окружном суде, пришел молодой человек и попросил разрешения жениться на подследственной — проститутке Розалии Онни, судившейся за кражу у «гостя» ста рублей. Свое странное желание проситель объяснил тем, что именно он в свое время соблазнил несчастную одинокую девочку, толкнув ее этим на путь порока.

Толстой выслушал рассказ Кони со вниманием и утром сказал, что всю ночь думал об этом. Через одиннадцать лет после этого разговора появилось «Воскресение».

Из рассказа А. Ф. Кони возникла и замечательная некрасовская новелла «Про холопа примерного — Якова верного», а также широко известное в то время драматическое стихотворение Апухтина «Последняя ночь», вышедшее с подзаголовком «Из записок прокурора».

Что касается манеры создания автором литературного портрета, то она вызывает исключительное сочувствие читателя своей точностью, доброжелательностью, умением возвыситься над преходящей злобой дня, над ходячими мнениями. Современник тех, о ком пишет, Кони владеет искусством отойти от своей «натуры» на столько шагов, сколько требуется, чтобы не потерять перспективы. Он отбирает только те частности и детали, которые важны для понимания целого, умело показывает сложное переплетение личных черт писателя с характером его творчества.

По сути дела почти все нарисованные Кони портреты писателей полемичны. Особенно это относится к очеркам о Тургеневе, Некрасове да в значительной степени и о Толстом. Кони полемизирует с теми критиками и мемуаристами, которые, по его выражению, «радуются унижению высокого и слабостям могучего». Несколько раз он вспоминает, обращаясь к этим литераторам, строку из стихотворения Боровиковского:

Ты сосчитал на солнце пятна —
и проглядел его лучи!

Оценивая Тургенева как «достоинейшего из современных ему преемников Пушкина», Кони резко отзывается о попытках бросить тень на имя писателя. В частности, изобра-

жение Тургенева в «Бесах» под именем писателя Кармазинова Кони объявляет темной и печальной страницей в творчестве Достоевского. Оспаривает он и воспоминания Фета, который, по мнению Кони, удивительным образом сочетал в себе «философские знания и понимание и чудный поэтический дар со строевыми идеалами кавалерийского штаб-ротмистра».

Нападки на Некрасова Кони называет «шипением злобы» и противопоставляет им свои свидетельства очевидца, показывающие гражданское мужество Некрасова, его любовь к народу, трогательную заботу о молодых литераторах. Известный горький факт — посвящение стихов Муравьеву-вешателю Кони рассматривает как отчаянную попытку спасти от гибели «Современник» и «Русское слово». Подчеркивая душевные муки, которыми поэт искупал это кратковременное падение, Кони утверждает, что именно способность осознания своих ошибок и прегрешений и есть основной критерий в оценке нравственного образа человека.

В заключение полемики с хулителями поэта Кони восклицает: «Литературные и нравственные заслуги Некрасова пред русским обществом так велики, что пред ними должны совершенно меркнуть его недостатки, если бы они и были точно доказаны».

Завершая свой портрет Толстого (сам Кони скромно называет этот очерк «кусочками мозаики, которые могут дать материал будущему историку или критику»), мемуарист заявляет, что ни на одну минуту не почувствовал он по отношению к мыслителю и художнику «ни малейшего житейского диссонанса», не мог уловить в своей душе «и тени какого-нибудь разочарования или недоумения».

Исключительный интерес представляют страницы, в которых Кони оценивает живое, устное слово Льва Толстого, его манеру рассказчика. Мемуарист характеризует эту толстовскую манеру, сравнивая ее с манерой речи других писателей, с которыми ему приходилось общаться. Блестящие лапидарные характеристики заставляют увидеть и услышать говорящего.

Вот Писемский, который «не говорил, а играл, изображая людей в лицах. Его рассказ не был тонким рисунком искусного мастера, а был декорацией, намалеванной твердой рукой и яркими красками».

Вот Тургенев «с его мягким и каким-то

бабьим голосом, высокие ноты которого так мало шли к его крупной фигуре». Речь Тургенева Кони сравнивает с искусно расплавленным садом, в котором каждая тропинка — результат целесообразно направленной мысли.

Речь Гончарова напоминает мемуаристу картины Рубенса, в которых сочные и густые краски с одинаковой тщательностью изображают и очертания целого, и мелкие частности.

Автор заставляет нас услышать и «отрывистую бранчивость» Салтыкова, и «сдержанную страстность» Достоевского, и «изысканную поддельную простоту» Лескова, приводя к выводу, что каждый из них в качестве рассказчика стоял ниже написанных им страниц. Всем им Кони противопоставляет истинную манеру Толстого, его живое слово.

«Совсем иным характером отличалось слово Толстого. За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно точно по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и в распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой обыкновенно заключалась его цель и внутренний смысл».

Как бы ни разнообразны были оценки, даваемые мемуаристом личности и творчеству его великих друзей и современников, один критерий остается общим для всех: выше всего Кони ставит в писателе бесстрашие мысли, стремящейся к познанию правды жизни. Ярче всего эта ведущая идея выражена в очерке, посвященном Че-

хову. Восхищаясь духовной самостоятельностью писателя, Кони пишет: «Он следовал завету Пушкина «идти дорогою свободной, куда влечет свободный ум»... И всю жизнь он был поклонником духовной свободы... от давления ходячих идей, навязанных лозунгов, суждений по шаблону, одним словом от того, что столь ошибочно называется общественным мнением, которое редко бывает проявлением общественной совести, но зачастую является выражением общественной страсти, слепой в увлечении и жестокой при разочаровании».

Фарисейству «ходячих идей, навязанных лозунгов» Кони противопоставляет органическую чуткость к правде и добру, которую он видит в толще русского народа. Как самая высокая хвала звучит в его устах адресованное Некрасову определение: «Он был слугой народа».

Эти слова, такие привычные нам по сегодняшнему дню, еще более усиливают ощущение связи времен, неотступно следующее за читателем этой книги. Плотно обступают вас мысли и образы, великие тени облекаются плотью и кровью, тревожения вчерашнего дня захватывают и вплетаются в раздумья о дне нынешнем.

И не только потому, что автор книги прожил большую жизнь, что он, еще застав на земле Белинского, успел побывать лектором в революционном Питере восемнадцатого года и профессором Ленинградского университета в середине двадцатых годов, а главным образом потому, что книга полна мыслью о суде последующих поколений, о будущем великой русской литературы.

Е. ГИНЗБУРГ.

Львов.

★

МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВЫХ

В. Кёппен. Смерть в Риме. «Иностранная литература», № 10, 1965.

Когда я впервые читал роман Вольфганга Кёппена «Смерть в Риме», внезапно за его строчками так явственно проступила коротко стриженная квадратная голова плечистого, с бычьей шеей генерала СС Юдеяна, который весь был олицетворенной смертью, «грубой, пошлой, неповоротливой, бездарной смертью», что мне показалось: я знаю его — видел, слышал...

Ведь именно так выглядел генерал-майор Эрдманнсдорф, комендант Могилева, который сдался в плен нашим частям в июне 1944 года.

Он говорил примерно так же, как Юдеян, — отрывисто, с каркающими казарменными интонациями. И мысли его были такими же короткими, прямолинейными, истинно солдатскими. И так же сочетались

в нем храбрость и трусость: он лихо командовал под огнем в окруженном городе, тащился в бинокль, не кланяясь пулям, но, когда положение стало безнадежным, смертельно боялся капитулировать, послушаться приказа Гитлера, а в плену то хамил, зло поблескивая кабаньими глазками, то потел от страха, заискивая лопотал о своей симпатии и уважении к русской армии.

Года через три я прочел в газете, что его судили и повесили; оказалось, что он повинен в массовых убийствах, пытках, в жестоких преследованиях жителей Могилева.

Герой Кёппена Юдеян тоже был приговорен к смерти, но заочно. Он бежал и стал генералом в одной из стран Ближнего Востока. Опять командовал, муштровал, превращая запуганных, замордованных парней в покорных, бездушных солдат.

Кёппен разглядывает своих персонажей с той почти анатомической зоркостью, которую придает взгляду художника хорошо отстоявшиеся ненависть и презрение. Он ничего не преувеличивает, не сгущает до гротеска, но уверенно прорисовывает главные черты. Так возникают обер-бургомистр Фридрих Вильгельм Пфафрат — бывший офицер кайзера, бывший сановник нацистского рейха, ныне сановник Федеральной Республики — самоуверенный и раболопный, «беззащитный пред любым крикуном, который с достаточным нажимом говорит о «национальном»; его сын Дитрих — студент-юрист, расчетливый, беззастенчиво циничный в откровенном себялюбии, корыстности и карьеризме; жена Юдеяна — иступленная фанатичная нацистка, по-прежнему слепо верящая во всех поверженных кумиров, неизменная в ненависти и в истерическом обожании. Эти персонажи у Кёппена выписаны рельефно, отчетливо. Они важны и сами по себе, и как существенное дополнение к центральному образу, служа для Юдеяна и фоном, и почвой, и средой. Они необходимы для того, чтобы существовал он, — так же, как он необходим для них.

Да, именно таким был хладнокровный обер-палац, наслаждавшийся властью и презиравший подвластных, яростно ненавидевший всех, в ком подозревал соперников или ощущал непримиримо враждебные себе силы разума, человечности. Он, казавшийся грозным сверхчеловеком, пугавший столько ближних и дальних, был по сути мелким пошляком, недоучившимся гимназистом, который мучительно завидовал богатству и

власти, боготворил мундир, казарму, блестящую мишуру торжественных ритуалов. Его сила — только притворство бессилия, его храбрость — преображенный страх, все его идеалы мужества, дисциплины, служения государству, расе так же, как его властолюбие, растут из подавленных чувств собственной неполноценности, злобной подозрительности, зависти.

Образ Юдеяна предельно конкретен, предельно точно указаны его «координаты» во времени и пространстве — немецкий мешанин первой половины XX века, раздувшийся на дрожжах нацистской идеологии, выпеченный в адских печах фашистской государственности, избежавший петли, ставший наемным воякой. И сегодня он уже может вернуться в ту Германию, где его ждут родственники, приятели, бывшие и будущие единомышленники. Даже те из них, кого он презирает, неразрывно связаны с ним. Они было отреклись от него, иные даже прокляли, но они по-прежнему боятся и чтут его и готовы опять подчиниться его командам, блаженно восхищаться им — властным, сулящим величие и порядок.

Но конкретность характера и судьбы героя в романе Кёппена наполняются таким художественным обобщением, которое выходит за пределы породившего его времени и места. Юдеян как бы олицетворяет влечение мешанина к «твердому порядку», дурманящую мифологию солдатчины, воинственной героики, национализма, гипноз величия, декоративной пышности парадов, орденов, мундиров, монументов и упоение казарменной, тюремной дисциплиной.

Противоположный полюс для Кёппена — блудные сыновья Юдеяна и Пфафрата, композитор и монах, представители искусства и религии. В отличие от гнусных отцов они человечны, бескорыстны, совестливы. Но при этом они слабы, не уверены в себе, не знают, как жить, к чему стремиться. Зигфрид Пфафрат творит талантливую, но болезненную музыку и сам не вполне нормален, он гомосексуалист. Адольф Юдеян безволен, измучен сомнениями, отягощен инстинктами страха и похоти, унаследованными от отца, одержим ужасом перед его властью, отвратительной, но подавляющей.

Писатель не показывает иных полюсов, никак не представляет иных сил, противодействующих хаосу, бесчеловечности, смерти. Но в замкнутой орбите этого романа, в его четко очерченных тесных пределах, по-

жалуй, и не нашлось бы места для иных сил. В этом его ограниченность, выразившаяся и в его художественном построении. Два потока повествования чередуются и перемежаются, не прерываемые никакими знаками разделов или глав, но тем не менее четко отделенные различиями лексики, интонации, синтаксического строя. О композиторе Зигфриде Пфафрате больше всего рассказывает он сам, в первом лице; он — рефлектирующий интеллигент, беспощадно правдивый и мучительно ищущий правду. О Готтлибе Юдеяне рассказывает автор, зоркий, внимательный, как ученый, исследующий уродливое, но любопытное насекомое. Впрочем, нет, он вовсе не ученый, а прежде всего художник, в временах почти самозабвенно увлеченный причудливою пластикой уродства. В нем неутолимое любопытство того же рода, какое явственно в страшных картинах Босха или Гойи.

Иногда кажется, что художник словно бы играет столкновениями контрастных красок и сходных, но непримиримо противоположных страстей, характеров, ситуаций. Таковы сцены, когда монах Адольф Юдеян следит за отцом в подземельях Рима, когда отец и сын охотятся за одной и той же доступной красавицей, когда семейство фашистов Пфафратов-Юдеянов и жена дирижера-антифашиста, дочь замученного в концлагере еврея, вместе слушают музыку Зигфрида, в которой «слишком много смерти, смерти без веселых заупокойных хороводов, та тревожная жуть, которую рождает туман и противоестественное стремление к смерти...».

Все повествование развивается как бы в неразрывности противоречивых, смертельно враждебных и вместе с тем кровно родственных сил.

Роман «Смерть в Риме» образуют события, сосредоточенные на протяжении двух-трех суток. В самых причудливых разрезах предстают многообразные слои современного общества, обычные и необычные человеческие судьбы, характеры, идеи, сомнения, страсти, надежды и разочарования, мысли об искусстве, политике, о жизни и смерти... Борьба общественных сил, борьба фашизма с гуманизмом разворачивается здесь еще и как борьба роковых сил, порочной наследственности с упорным, сознательным стремлением преодолеть наследственность, подавить ее. Но вместе со всем этим роман развивается и как своеобразный идейно-литературный спор с Томасом Манном.

Перчатка брошена уже в самом заголовке и в эпиграфе из новеллы «Смерть в Венеции». В новелле Т. Манна умирает писатель Ашенбах; он — прославленный художник, утонченный и умный. Но он измучен противоестественной страстью и повергнут в отчаяние сознанием трагичности своей жизни, своих поисков в искусстве, которые кажутся ему безвыходными.

Ашенбах умирает в 1911 году, и «потрясенный мир с благоговением принял весть о его кончине». А в романе «Доктор Фаустус» композитор Леверкюн умирает безумным в 1940 году, придя к мысли о гибельности своего искусства и своего «умствования», о том, что он служил злу, отнимал радость и надежду.

Томас Манн, великий художник, блудный сын бюргерской Германии, был одержим стремлением к неумолимому самоанализу, безоглядно обличая все грехи и слабости своего искусства, своего класса и своей отчизны. Для него олицетворениями болезней века становились художники — писатель, композитор. В них он воплощал жестокою диалектику взаимопроничания зла и добра, красоты и порока, творчества и распада. Кёппен спорит с этим, исходя из наилучших побуждений. Он указывает на другую цель борьбы, убеждает, что юдеяны хуже, опаснее всего. Кёппен менее диалектичен, менее глубок, чем его великий оппонент, который мерит своих трагических героев мерой вечности. Но он более непосредственно злободневен. Он видит, ощущает сегодняшнюю конкретную угрозу. Он снисходительнее к людям искусства, но зато само искусство оказывается у него менее значимым, менее трагичным, чем фаустовские грехи и муки Леверкюна.

У Кёппена умирает не художник, а папач. В последних строках романа он иронически напоминает об эпиграфе из новеллы «Смерть в Венеции», замечая, что, когда мир узнал о смерти Юдеяна в Риме, «никто не был потрясен». Писатель умертвил ненастного, нераскаянного убийцу, но эта смерть не ослабляет чувства напряжения и тревоги. Ни монах, ни музыкант не могут противостоять юдеянам и пфафратам, которых не удушили нюрнбергские петли.

В романе Кёппена нет лирического героя. Автор ни на кого не возлагает надежд, никому из персонажей не доверяет полностью выразить свои нравственные и общественные идеалы. Впрочем, и сама природа

его сложного, противоречивого мировосприятия исключает возможность открытого провозглашения какой-либо определенной идеологической программы.

В июне этого года Кёппену исполнилось шестьдесят лет; он пришел в литературу в первые годы гитлеровщины. Короткие романы «Несчастливая любовь» (1934) и «Стена шатается» (1935) привлекли внимание только немногих ценителей изяществом психологического рисунка, мастерством своеобразной, «киномонтажной» композиции, богатством интонаций, выразительностью и непринужденностью языка. Но содержание этих книг было как бы нарочито отстранено от острых и мучительных проблем современности. Тогда Кёппен не нашел читателей. Понадобилось то жестокое испытание, которым стали для всех немцев годы гитлеровщины, сокрушительная встряска войны, поражения и послевоенные лихорадочные перепады разрухи, нищеты, «экономического чуда», чтобы творчество этого зоркого, скептического, страдальчески насмешливого художника обрело новую сосредоточенную энергию, обрело историческую и художественную правдивость.

Романы «Голуби в траве» (1951), «Теплица» (1953) и более всего «Смерть в Риме» (1954) создали Кёппену общенациональную и мировую аудиторию. «Смерть в Риме» остается пока последним из его романов. За последующие двенадцать лет Кёппен публиковал главным образом путевые очерки («В Россию и в другие края», 1958; «Поездка в Америку», 1959). Они написаны умным, честным и наблюдательным репортером-художником, пронизаны искренним стремлением содействовать взаимному пониманию народов и противодействовать силам войны, фанатической нетерпимости, националистическим предрассудкам, настроениям реваншизма и всем попыткам возродить культ солдатчины, тлетворную романтику войны и насилия.

В своей публицистике В. Кёппен, одинокий странствующий рыцарь скептического гуманизма, развивает многие из тех идей, которые стали художественной тканью его романов. Но такова уж природа художественного творчества, что смерть придуманного Юдеяна, описанная двенадцать лет назад, сегодня оказывается ближе к жизни и злободневней совсем недавних репортажей и очерков того же автора, посвященных действительным событиям и реальным людям.

Сегодня по-прежнему звучит хриплый, каркающий смех Юдеяна, который жалеет лишь о том, что слишком мало убивал. Что из того, что он умер в Риме? И до этого он уже тысячекратно умирал под Москвой, в Сталинграде, в Варшаве, в Берлине; его убивали в бою, он подыхал на виселицах. Теперь его опять хоронят с воинскими почестями на кладбищах Западной Германии. Но он все еще командует, муштрует, растит учеников, наследников, преемников. Он всегда с теми, кто так же, как он, убежден, что «войны и тюрьмы, плен и смерть... необходимы во все времена», кто превыше всего почитает мундир, ремесло солдата, дисциплину, послушание, порядок строя и казармы, для кого «жалок мир без рангов и почестей», а героизм всегда означает насилие, кровь и смерть.

Как бы ни спорить с Кёппеном, как бы резко ни критиковать его повышенный интерес к болезненным отклонениям психики, его приверженность к тем методам исследования сознания и подсознания, которые впервые применил Фрейд,—одно бесспорно: этот пытливый, смелый художник осветил страшный опыт прошлого и реальную угрозу современности. Он не боится раздражать и даже сердить читателей, потому что его цель не развлекать, а внушать тревогу. Ведь — говоря словами Брехта — «еще плодоносить способно чрево, которое вскормило гада».

Л. КОПЕЛЕВ.



Политика и наука

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Г. С. Лисичкин. План и рынок. «Экономика». М. 1966. 96 стр.

Вскоре после опубликования решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1965) о проведении хозяйственной реформы на прилавках магазинов появились комментирующие их брошюры и книги. Эта обширная литература неравноценна, однако, по своему практическому значению. Научный комментарий тем и отличается от изложения своими словами соответствующих постановлений, что обязательный его элемент — стремление проникнуть в самое существо намеченных мероприятий, выяснить их глубинные причины, увидеть перспективы дальнейшего развития экономики. К сожалению, наша экономическая литература еще бедна такого рода работами. Вот почему особый интерес как у специалистов, так и у широкого круга читателей вызвала книга Г. С. Лисичкина «План и рынок».

Автор отчетливо понимает, что новая хозяйственная реформа ничего общего не имеет с предшествующими организационными перестройками, которые в конечном счете сводились к перетасовке одних и тех же специалистов по различным управленческим звеньям. Нынешние изменения касаются не только и не столько аппарата управления, сколько самих методов руководства народным хозяйством. На смену административному распоряжению должен прийти экономический стимул.

Эффективность намеченных мероприятий в значительной мере зависит от того, насколько быстро произойдет психологическая перестройка в умах плановых и хозяйственных работников. А перестройка эта весьма серьезна. Если раньше, когда предприятие находилось целиком на помочах государственного аппарата управления, от руководителя требовалась исполнительность, исполнительность и... немного хитрости в отношениях с вышестоящими инстанциями, то теперь необходимо коммерческое мышление.

Привить хозяйственникам вкус к экономическому счету, к ориентации на конъюнктуру социалистического рынка, иными словами — к научному управлению экономикой должна экономическая теория. Но экономистам-теоретикам приходится сейчас переосмысливать свое выпестованное десятилетиями пренебрежение к товарно-денежным

категориям, выражавшееся, в частности, в противопоставлении плана рынку. Такое противопоставление, как совершенно справедливо подчеркивает Г. С. Лисичкин, есть лишь слегка завуалированное отрицание объективного характера экономических законов социализма, отказ от научного подхода к управлению экономикой.

Казалось бы, для всех советских экономистов бесспорен объективный характер экономических законов. Но что понимается зачастую под объективными законами экономики? Формулируются, например, наиболее общие задачи или, вернее, пожелания в области развития народного хозяйства: повышение материального благосостояния трудящихся, рост производительности труда, снижение затрат на производство продукции. Прибавьте к этим формулировкам слово «закон» — и вы получите первую группу экономических законов социализма. Далее возникает вопрос: каким должен быть характер развития нашей экономики? Разумеется, планомерным и пропорциональным. И вот в шеренгу экономических законов встает закон планомерного пропорционального развития. В реальной жизни существуют деньги, цены и другие стоимостные категории. Значит, при социализме продолжает действовать закон стоимости. Но поскольку понятия «деньги», «прибыль» не столь благозвучны, им уготована роль золушки в дружной семье экономических законов. Мы должны в одних случаях «всемерно использовать», а в других, наоборот, «сознательно ограничивать» действие закона стоимости «в интересах» остальных экономических законов.

Такое удивительное по своей поверхностности понимание объективных экономических законов не просто бесполезно для хозяйственной практики, а вредно. Многолетнее противопоставление некоторыми экономистами-теоретиками плана «рыночной стихии» способствовало подмене подлинно научного планирования волюнтаризмом. Борьба против стихии у некоторых не в меру ретивых ученых превращалась в борьбу с объективными закономерностями развития общественного производства.

Книга Г. С. Лисичкина ценна как раз

тем, что в ней последовательно и убедительно доказывается теоретическая убогость и практическая вредность противопоставления плана и рынка в социалистическом хозяйстве. Обращаясь к истории развития советской экономики, автор показывает, что ее успехи «находятся в прямо пропорциональной зависимости от того, насколько смело и последовательно осуществляются в ней объективные требования закона стоимости».

Ряды экономистов, продолжающих в той или иной форме отрицать значение товарных категорий для регулирования нашего хозяйства, в последнее время по разным причинам значительно поредели. Но зато умножилось число экономистов, утверждающих, что, развивая товарные отношения, следует помнить об их подчиненной, второстепенной роли по отношению к плану. Такая постановка вопроса не продвигает нас ни на шаг вперед в понимании реальных связей между планом и рынком по той простой причине, что очень сильно напоминает (да простят нам это сравнение) спор мальчишек о том, «кто главнее» — капитан первого ранга или полковник.

Но попробуем посмотреть на взаимосвязь плана и рынка, не облекая их в заранее подготовленные мундиры. Начнем с более общего положения. Развитие кибернетики позволило сделать вывод, что фундаментальным принципом, лежащим в основе управления любой саморегулирующейся системой (а именно такой системой является общество), выступает принцип обратной связи. Основную идею обратной связи лучше всего проиллюстрировать на простейшем примере. Воспользуемся с этой целью примером, приводимым в книге Ст. Бира «Кибернетика и управление производством» (Физматиздат, 1963). Маховик парового двигателя вращается с возрастающей скоростью, вместе с ним также с возрастающей скоростью вращаются рычаги с грузами. Эти рычаги управляют клапаном, через который производится выпуск пара в цилиндр двигателя. Чем больше пара в цилиндре, тем выше скорость движения, но тем дальше расходятся рычаги с грузами и тем больше сужается отверстие клапана, а следовательно, сокращается поступление пара, падает скорость. Но падение скорости вызывает противоположный процесс и т. д. Таким образом поддерживается работа двигателя в заданном режиме. Что же здесь «главное»? Спор на эту тему схоластичен.

Попробуйте убрать регулятор — и двигатель просто-напросто взорвется; в свою очередь, без двигателя регулятор превращается не более чем в забавную игрушку.

Социалистическая экономика представляет собой сложнейшую систему, которая может нормально развиваться, только используя то, что в кибернетике называется механизмом обратной связи. И роль такого механизма при современном уровне развития производительных сил выполняет рынок. Если продукт произведен в количестве, превышающем общественную потребность, цена на него снижается, в результате его производство становится неэффективным или даже убыточным, а это, в свою очередь, ведет к сокращению выпуска данного изделия. Если же спрос на продукцию определенного вида превышает производственные возможности предприятий, создающих ее, то цена товара возрастает, а следовательно, повышается и рентабельность. Это служит материальным стимулом для преимущественного развития производства дефицитной продукции.

Но позвольте, остановят нас. Разве нельзя прямо учитывать нехватку или излишек товаров и в соответствии с этими данными административными методами регулировать производство? Чтобы ответить на этот вопрос, следует выяснить, что понимается под термином «прямой учет». Предположим, что на складах лежит несколько тысяч тонн какого-либо продукта. Может ли этот факт служить достаточным основанием для того, чтобы сократить производство данного продукта? Ни в коем случае! Ведь вполне возможно, что он не находит покупателя лишь по причине высоких цен. Стоит немного снизить цены — и запасов как не бывало.

Но имеются ли возможности для снижения цен с точки зрения производства? Для этого нужно проанализировать уровень себестоимости продукции и сопоставить его с уровнем цены. При условии, если рентабельность достаточно высока, снижение цен можно провести безболезненно для производства. Причем, следует заметить, что экономическая наука на нынешней стадии ее развития уже в состоянии указать такой размер снижения цен, который позволяет обеспечить максимум валовой выручки, то есть соблюсти интересы и покупателей и государства. Однако это уже предмет для специального разговора. Тут важно указать на другой момент. Как видно из примера,

при решении вопроса об экономической целесообразности расширения или сокращения производства каждого конкретного вида продукции мы вынуждены оперировать экономическими показателями, категориями рынка: ценой, прибылью, себестоимостью и т. п. Ни один натуральный показатель, будь то тонны, штуки, метры, не несет в данном случае в себе ни грана экономической информации. Выгодно ли произвести дополнительный станок, тепловоз, тонну угля или метр ткани, мы не можем сказать до тех пор, пока не будем знать уровень рентабельности производства этих продуктов и степень соответствия цен спросу и предложению.

Но не будет ли означать такое построение экономических взаимоотношений между предприятием и обществом развязывания стихии, отказа от плана? Ответам на подобные вопросы посвящен целый раздел в книге Г. С. Лисичкина. Это позволяет нам ограничиться лишь некоторыми замечаниями. Стихийно и сознательно регулируемые системы отличаются друг от друга отнюдь не тем, что в одном случае существует механизм обратной связи, а в другом случае его использование якобы не обязательно. Сознательное управление общественным производством не освобождает нас от необходимости учета объективных законов его развития. Общество освобождается от разрушающего действия экономических законов не потому, что оно попирает их, а по той простой причине, что, познав эти законы, оно научилось сообразовывать с ними свои действия.

Деятельность руководителя предприятия можно в известной мере сравнить с действиями человека, собирающегося на улицу и мучительно размышляющего, стоит ли брать с собой зонтик. Руководитель капиталистического предприятия имеет перед собой лишь текущую информацию, то есть своего рода клочок неба, видимый из окна квартиры. Директор социалистического предприятия располагает данными о перспективах движения цен и спроса на ресурсы, научно обоснованным прогнозом экономической погоды. Естественно, что его действия будут более обоснованными. Но столь же естественно, что предсказания, содержащиеся в прогнозе, необходимо контролируются жизнью. Справедливость прогноза погоды на день мы можем установить, прожив этот день. Точно так же критерием правильности

составленного плана является потребление продукта, его реализация на рынке. С другой стороны, изучая закономерности реализации продукции, мы получаем необходимую информацию для разработки научно обоснованных перспективных планов развития производства.

Рынок как экономический барометр жесток в своей беспристрастности. Если продукт оказался дефицитным, цена на него должна повыситься. Если же, наоборот, предприятия выпускают ненужную продукцию, цена на нее упадет, а следовательно, уменьшится или совсем исчезнет прибыль — источник премиальных фондов. Стремление повысить прибыль побуждает предприятия производить наиболее необходимую продукцию и изыскивать способы снижения затрат, в частности путем сокращения числа работников. В связи с этим возникает проблема трудоустройства высвобождающихся людей. Эта неумолимость рынка есть лишь отражение неумолимости действия объективных законов. Благие пожелания сами по себе не делают нас богаче. Каждый экономист, каждый руководитель, как бы он субъективно ни хотел сейчас же улучшить жизнь советских людей, должен оставаться в своих расчетах всегда на позициях реальности. Соизмеряй свои желания с возможностями — вот принцип, который необходимо помнить каждому хозяйственнику, на какой бы ступени государственной лестницы он ни стоял.

Известно, что в нашей стране цены на основную массу продуктов устанавливаются в централизованном порядке. Но было бы глубоким заблуждением считать, что это обстоятельство освобождает плановые органы от необходимости учитывать при установлении цен закон спроса и предложения.

В этой связи вспоминается случай, имевший место в 1953 году. Тогда без должного экономического расчета были снижены розничные цены на фрукты сразу на пятьдесят процентов. С точки зрения каждого отдельного покупателя это хорошо. Можно покупать в два раза больше фруктов на те же деньги! Но на деле оказалось, что покупать можно только теоретически: фрукты просто исчезли из магазинов. Спрос на них явно превалировал над предложением. Да плюс к этому предложение начало сокращаться из-за того, что такие цены делали убыточной заготовку фруктов. Положение пришлось срочно исправить: цены были приведены в соответ-

ствие со спросом, а также дифференцированы по сезонам.

Но, то, что уже проникло в сознание работников, ответственных за планирование розничных цен, далеко не аксиома для тех, кто устанавливает цены на средства производства. Парадоксально, но факт: стакан дизельного топлива обходится потребителю дешевле, чем стакан газированной воды без сиропа! Создается впечатление, что топливо необычайно дешево. Однако это не так. Разведка, добыча, переработка и перевозка топлива обходятся нам во многие миллиарды рублей. Поэтому государственные интересы требуют бережного отношения к каждому килограмму горючего. Добиваться этого нужно не только и не столько призывами к «походу за бережливость», сколько созданием экономических стимулов. А стимулы эти могут возникнуть лишь тогда, когда цены отразят действительные затраты общества на производство топлива.

Таким образом, кажущаяся суровость рынка заставляет плановиков и хозяйственников все время оставаться на почве реальности и принимать решения, в наибольшей степени соответствующие интересам общества.

В заключение хотелось бы подчеркнуть еще одну особенность книги Г. С. Лисичкина. В ней с полной определенностью показано, что вопросы, ныне нас волнующие, имеют свою историю. Они являлись острием ленинского плана построения социализма. Они широко обсуждались в советской эконо-

номической литературе двадцатых годов, незаслуженно преданной забвению в настоящее время. А в этой литературе есть что почерпнуть для сегодняшнего дня. Посмотрите только, как современно и свежо звучат сейчас слова лауреата Ленинской премии профессора В. В. Новожилова, сказанные им сорок лет назад, в 1926 году: «Если планируется вопреки рынку, то тогда сомнительна целесообразность существования денежного хозяйства, ибо рынок — мозг денежного хозяйства. Тогда торговлю за деньги нужно заменить распределением по нарядам, карточкам, ордерам.

...Функция ценностного измерения в том состоит, чтобы определять степень целесообразности или нецелесообразности каждого хозяйственного действия как части хозяйственного целого. Ценностное измерение позволяет сделать выбор между различными применениями труда и хозяйственных благ.

...При инертности цен принцип рентабельности отказывается служить, отказывается именно потому, что он не соблюдается: не-коммерческая политика цен — есть отказ от принципа рентабельности» («Вестник финансов», № 2, 1926).

Если бы в то время экономисты прислушались к этим словам, то сейчас не было бы необходимости защищать право рынка на существование. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Н. ПЕТРАКОВ, К. ГОФМАН,
кандидаты экономических наук.

★

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ

Александр Евгеньевич Ферсман. Жизнь и деятельность. «Наука».
М. 1965. 478 стр.

Магеллан за всю свою жизнь руководил всего одной экспедицией. Колумб — четырьмя. Пржевальский — пятью. Недавно скончавшийся президент Географического общества СССР Е. Н. Павловский руководил более чем ста шестьюдесятью экспедициями.

Уже одного этого сравнения достаточно, чтобы понять, как не повезло в историческом плане Пржевальскому, Колумбу, особенно Магеллану...

Шутка?.. Может быть, только внешне. В общем-то, видимо, необходимо все чаще поднимать разговор о путях развития со-

временной науки и о роли отдельной личности в этом развитии, и все тут далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Строго говоря, я рецензирую вполне конкретную книгу. Она называется «Александр Евгеньевич Ферсман. Жизнь и деятельность». Это сборник статей и воспоминаний о Ферсмане, крупнейшем советском ученом.

Ответственный редактор этого сборника — Дмитрий Иванович Щербаков. По давно сложившейся традиции редакторам положено воздавать должное под занавес, в конце статьи.

Я хочу нарушить эту традицию. Ответственность за издание книги о Ферсмани — какая бы она ни была — взял на себя его ученик, его спутник в трудных путешествиях, разносторонний и глубокий ученый. Я лично не был знаком с академиком Щербаковым, но знаю множество людей, которым он помогал выбиться на свой собственный научный путь, отбрасывая своим авторитетом академика мещанские страхи. Я тоже благодарен за помощь академику Щербакову, одной из последних работ которого было редактирование книги о Ферсмани.

А написал я все это потому, что, отнюдь не будучи подражателем, идя своей оригинальной дорогой и в науке и в жизни, академик Щербаков сохранил и приумножил лучшие традиции, в создании которых уже в советское время участвовали такие светила отечественной и мировой науки, как В. И. Вернадский, О. Ю. Шмидт и многие другие ученые — в том числе А. Е. Ферсман.

Книга о Ферсмани — в защиту этих традиций, о которых я сейчас буду говорить, а материал ее, вернее жизнь и деятельность Ферсмана так богаты, что позволяют поставить и другие социологические вопросы современной науки.

В течение примерно десяти лет, с 1919 по 1929 или 1930 год, Ферсман, уже будучи членом Академии наук СССР, занимал следующие должности: члена президиума Академии, вице-президента, академика-секретаря Отделения математических и естественных наук, председателя Комиссии экспедиционных исследований, председателя Совета по изучению производительных сил Союза, руководителя издательского дела АН СССР, директора типографии, директора Радиового института, директора Кольской базы, директора Геохимического института, директора Института кристаллографии, минералогии и геохимии, директора Геологического института, директора Ильменского минералогического заповедника, директора Института аэросъемки, ректора Географического института и т. п. В эти же годы он путешествовал по Кольскому полуострову, где открыл залежи апатита и медно-никелевых руд мирового значения, путешествовал по Средней Азии, по Уралу, Забайкалью, Кавказу, Крыму...

И еще написал огромное количество научных работ — монографий, статей, научно-популярных книг — общим числом до полутора тысяч за всю свою жизнь.

Но возможно ли такое чудо? — вправе спросить читатель.

Оно свершилось, это исторический факт, и, стало быть, возможно, — как возможно было руководство ста шестьюдесятью экспедициями со стороны одного человека, Евгения Никаноровича Павловского.

Для Павловского главным было — выявление очагов заболеваний, из которых с помощью особых переносчиков болезнь распространялась в другие районы. И Павловский организовывал бесчисленные экспедиции, чтобы найти очаги заболевания, чтобы обнаружить переносчиков инфекции. Единая руководящая идея позволяла ему, не участвуя буквально в каждой из предпринятых экспедиций, теоретически руководить всеми.

Я еще буду говорить о многогранности Ферсмана как личности, но, мне кажется, главным в его жизни было — организовать поиск и освоение природных ресурсов на строго научной основе, установить закономерности распределения полезных ископаемых по земному шару, чтобы не искать вслепую. Если теперь под этим углом зрения перечитать список руководящих должностей, которые занимал Ферсман, то нетрудно будет заметить, что набор их не случаен.

Принадлежит ли ученым такого типа будущее?

Безусловно. Что Вернадскому, Шмидту, Ферсману, Иоффе в первые годы советской власти приходилось занимать столь многочисленные ответственные посты, в какой-то степени объясняется скудостью высококвалифицированных кадров в то время. Но по единому плану, с привлечением многих учреждений, велись и ведутся и физические и космические исследования. И нетрудно представить себе, что, когда люди перейдут к непосредственному изучению планет в астрогеографическом, астрогеологическом аспекте, соответствующие работы будут возглавляться учеными типа Ферсмана.

...Написав это, я вдруг почувствовал на себе печально-ироничный взгляд Альберта Эйнштейна. «А мне куда деваться? — словно спрашивал он. — Хотя и недолго я, правда, руководил институтом, но где мне до ваших героев?! Значит — я в прошлом, значит — я, так сказать, затесался случайно в бурный двадцатый век?»

Недавно два американских исследователя предложили такую классификацию деятелей

науки: 1) фанатик — человек, увлеченный наукой до самозабвения, неутомимый, любознательный, для которого научная работа составляет содержание всей его жизни; требовательный, часто плохо уживающийся с другими учеными; 2) пионер — инициативный тип, кладезь новых творческих идей, охотно передающий их другим, стимулирующий работу других научных работников, открыватель новых путей, хороший организатор и учитель; честолюбив, работоспособен; 3) диагност — хороший и умный критик, способный сразу обнаружить сильные или слабые стороны научной работы или предлагаемой программы научных работ; 4) эрудит — человек с великолепной памятью, легко ориентирующийся в различных областях знания, но натура не творческая, легко поддающаяся под других, более инициативных ученых; 5) техник — человек, умеющий придать законченность чужой работе, неплохой логик и стилист, отлично уживающийся со своими коллегами; 6) эстет — увлекается изящными решениями, интеллеktуал с несколько пренебрежительным взглядом на менее тонких «работяг»; 7) методолог — увлечен методологией. любит выступать и учить других, как надо работать, хотя его собственные достижения не всегда значительны; 8) независимый — индивидуалист, который терпеть не может административной работы, увлечен своими идеями, но не любит публично выступать с их изложением и не проявляет напористости при внедрении оных в жизнь; упрям, уверен в себе; отличается острой наблюдательностью и живым умом, больше всего ценит возможность работать спокойно, без постороннего вмешательства.

Я не считаю эту классификацию совершенной — кстати, на Западе существует и множество других. Даже на поверхностный взгляд очевидно, что классификация не учитывает, ну, скажем, тип ученого-крота, добросовестно копающего свою нору, не обращающая внимания на все прочее. И нет в этой классификации типа ученого, который умеет за кротовыми норами, за отдельными деревьями увидеть нечто общее: жизнь земной коры или лес.

Но мне показалось небезынтересным с позиций вот такой, наисовременнейшей классификации найти в ней место Ферсману и Эйнштейну.

По-моему, авторов классификации подвела модная склонность к среднестатистиче-

ским данным, значение которых я вовсе не собираюсь отрицать, но которые далеко не во всех областях человеческого и природного бытия дают одинаково достоверный результат. И еще их подвела убежденность, что время Леонардо да Винчи миновало, и миновало навсегда...

Я не нашел места Ферсману в этой, созданной уже после его смерти, классификации ученых. Он в нее просто не вмещается, и, по-моему, это великолепно и знаменательно, даже если иметь в виду определенно интеллектуально-психологический характер градаций.

В самом деле, разве Ферсман не был фанатиком, увлеченным до самозабвения наукой? Или он не был пионером, кладезем новых идей, организатором и учителем? Или он не был диагностом? Или не был эрудитом, если отсечь последнюю, не творческую часть формулировки?

Ну а если пойти от обратного — разве независимый Эйнштейн не был фанатиком? Не был пионером? Не был диагностом и эрудитом?

Очевидно, в классификацию американских исследователей Гоу и Вудворта, при избранном ими методе работы, попали прежде всего среднестатистические фигуры средне одаренных ученых.

Ни один великий ученый в эту схему, конечно, не уложится. Ни Ферсман, ни Эйнштейн, несмотря на внешнюю противоположность их характеров и их деятельности в организационном ее плане.

Но весь этот разговор я затеял для того, чтобы показать реальность формирования в наше время ученых диаметрально противоположного, но одинаково необходимого человечеству типа. Будущее, и в этом нет ничего странного, принадлежит противоположностям.

Существуют весьма эффективные подсчеты, убедительно доказывающие, что ученых ныне на земном шаре чуть ли не больше, чем было за всю историю человечества в прошлом, что за какое-то совсем незначительное количество лет число ученых удваивается, и тому подобное. Точные цифры в данном случае неважны, а что повышается интеллектуальный уровень человечества, что стремительно возрастает значение науки, что будущее, наконец, принадлежит интеллигенту — это очевидно.

Бурный рост кланов ученых требует его разумной организации, требует особого ти-

па ученого-организатора. Так и есть и так будет.

Но в условиях коммунистического бытия неуклонное повышение культурного уровня членов общества наряду с увеличением свободного времени открывает, по-моему, широкие перспективы для формирования «независимых» ученых, формально в клан ученых не входящих (типа Спинозы, если хотите, — он добывал средства к существованию шлифованием стекол, но прославился не этим своим ремеслом).

Как явление общественное, наука всегда и коллективна и индивидуалистична. На том она всегда стояла и на том она извечно будет стоять.

Она коллективна потому, что ученый всегда опирается на труды своих предшественников и современников и иначе работать не может, даже если он не состоит в штате института.

Но самое трудное в науке — задать природе такой вопрос, которого до вас ей никто еще не задавал, а такие новые вопросы хоть и подготавливаются всем ходом развития науки, то есть коллективно, но возникают всегда у конкретного исследователя, то есть индивидуалистично. Коллективное начало опять берет верх уже после того, как проблема поставлена: в решении ее, как правило, действительно участвуют десятки, если не сотни людей.

Деятельность Ферсмана, его опыт ученого и человека, позволяет поставить и два таких, теперь уже последних вопроса.

...Едва перевернув первую страницу книги, читатель узнает, что перед ним «сборник, посвященный выдающемуся советскому ученому, геохимику и минералогу, кристаллографу и геологу, географу и путешественнику...». В статье Д. И. Шербакова Ферсман, в дополнение к сказанному, справедливо называется «блестящим писателем и популяризатором геологических знаний».

Универсал?.. Безусловно. Личность типа Леонардо да Винчи, Ломоносова... Но можно ли оценить это в историческом плане как «пережиток прошлого»?

Идея обязательной узкой специализации ученого — это, собственно, порождение второй половины девятнадцатого века, и для того имелись свои исторические причины. Но они — и идея и причины — оказались привходящими. Однобокая специализация — чаще всего удел средне одаренных или про-

сто малоталантливых ученых. Они могли внести — и вносили — свой вклад в развитие науки, но не они определяли лицо эпохи.

Не забираясь в далекое прошлое, я могу лишь напомнить, что XIX век — это прежде всего век таких универсалов, как Маркс и Энгельс, Гёте, Гумбольдт, Дарвин, Гельмгольц, Менделеев... Первая половина XX века — эпоха Ленина, Эйнштейна, Вернадского, Ферсмана, Шмидта.

Нет, универсалы никогда не переводились. Они всегда существовали и всегда будут существовать наряду с учеными односторонней специализации, среди которых, конечно, тоже немало гениев — вспомним хотя бы биологов Менделя, Моргана, Де Фриза.

Еще одно противоречие?.. Да, но прежде всего это единство противоположностей, без коего невозможно никакое развитие, науки в том числе.

И последнее. Мне однажды довелось выступать в Политехническом музее вместе с одним весьма темпераментным доктором наук, который, выйдя на трибуну, яростно обрушился на своих коллег, охотно и активно сотрудничающих в газетах. Сердило оратора не только то, что они выступают, но и что относятся к этому делу вполне серьезно. Накал речи был столь высок, что мне казалось: сейчас оратор, разделившись с коллегами, обрушится на Маркса, Энгельса, Ленина, которые, как известно, наряду с весьма серьезными трудами печатали и газетные статьи и даже сами издавали газеты. Эти опасения все же не оправдались: до этого оратор не дошел...

Точка зрения оратора, говоря по правде, ничего оригинального не содержала. Но я тогда подумал, что в самом благожелательном варианте мы определяем научно-популяризаторскую деятельность ученого словами: «Нести знания народу».

Ничего против этой формулы возразить нельзя, но, как и многие прочие такого типа формулы, она не полна. Получается, что ученый, будучи сознательным гражданином, нечто отдает народу, взамен ничего не получая (разве что некоторую известность).

Вот это как раз и неверно: работа в области научной популяризации активно помогает строго научному творчеству. Объясняется это довольно просто: на широкую ау-

диторию не выходят с мелочью, с набором фактов. Широкой аудитории рассказывают о главном, о том, что определяет характер всей работы ученого. Выступление перед широкой аудиторией позволяет либо впервые, либо лишний раз обозначить и выверить свою научно-мировоззренческую позицию, позволяет отчетливее увидеть за фактами идею, которой служишь, а потом уже

эта выверенная идея помогает строже и глубже анализировать факты...

По-моему, это великолепно понимал выдающийся ученый и прекрасный популяризатор науки Александр Евгеньевич Ферсман.

Сборник, составленный и отредактированный Д. И. Щербаковым, поможет понять это многим читателям.

И. ЗАБЕЛИН.

★

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

Н. Н. Яковлев. Франклин Рузвельт — человек и политик. «Международные отношения». М. 1965. 480 стр.

В советской историографии это первое исследование о выдающемся американском президенте. Но в мировой литературе ему предшествует длинный список монографий, популярных брошюр, воспоминаний, сборников документов. Вокруг имени Рузвельта ведутся нескончаемые споры.

Франклин Рузвельт находился у власти около тринадцати лет — дольше, чем какой-либо другой президент в американской истории. Это был период, чрезвычайно насыщенный внутренними и международными событиями.

Какое место занимает «эра Рузвельта» в американской истории? И кем был человек, являвшийся ее олицетворением? Политический и идеологический потенциал имени Рузвельта настолько велик, что по ответам на эти вопросы можно безошибочно определить политическую физиономию любого лица или организации. Крайняя реакция выступает под флагом ревизии «наследства» Рузвельта, называя его начинания предательством «священных» традиций и основ американизма. Передовые круги подчеркивают демократические тенденции в деятельности Рузвельта. Наконец именем Рузвельта в спекулятивных целях пользуются люди, стремящиеся в то же время вытравить все прогрессивное, что имеется в его наследии.

К лагерю прорузвельтовской «официальной» школы принадлежат А. Шлезингер (младший), Р. Шервуд, Р. Тагвелл. Резко антирузвельтовское направление включает Ч. Бирда, Г. Барнса, Ч. Тэнсилла. Историк Дж. Бэрнс рисует Рузвельта воплощением макинавеллизма.

В литературе о Рузвельте, вышедшей на Западе, есть, конечно, и интересные факты,

и объективные оценки. Однако вымыслы и легенды, питаемые политическими спекуляциями, окутывают фигуру президента таким густым туманом, за которым трудно разглядеть подлинные черты.

Если взяться анализировать Рузвельта по его словам или словам о нем, то абсурдность полученных таким путем взглядов можно соразмерить лишь с порочностью метода. Единственный путь — судить по делам, освобожденным от шелухи выспренных фраз. К этому и стремится автор книги, пытаясь показать нам Рузвельта, каким он был. При всем том его книга не претендует на то, чтобы дать исчерпывающие ответы на бесчисленные вопросы. Суждения автора лишены категорической безапелляционности.

«Биографии обычно написаны так, что не только вводят в заблуждение, но просто лживы». По-видимому, Яковлев не случайно выбрал именно эти слова из переписки Авраама Линкольна в качестве эпиграфа книги. Его работа направлена против смешивания правды и вымысла о Рузвельте, против мифологии — как «официальной», так и «оппозиционной».

В книге довольно подробно прослеживается жизнь Франклина Рузвельта от его детства в уютном особняке в Гайд-парке до кульминации в Белом доме. Путь к власти был вполне в традициях политических нравов Америки. Усвоенные моральные ценности и образ действий политика-прагматика никак не противоречили общепринятому в его среде. Яковлев приводит шокирующие подробности блистательной карьеры: закулисные махинации, финансовая поддержка большого бизнеса, оглушительная реклама, обещания направо и налево.

Выступая против идеализации Рузвельта, автор в то же время отнюдь не пытается представить Рузвельта лишь как ловкого демагога, способного честолюбца. Франклин Рузвельт был выдающимся государственным деятелем мирового класса, самой крупной политической фигурой, которую американская буржуазия смогла выдвинуть в первой половине двадцатого века. Таким и рисует его Н. Яковлев.

Что же выделяло Рузвельта из толпы посредственных деятелей, предшествовавших и сопутствовавших ему на политических подмостках Америки?

Рузвельт не случайно вошел в историю как политик-реалист. Он был проницательным и дальновидным деятелем. Он не позволил удержать себя на старом пути, следуя по которому страна скатилась к небывалой экономической катастрофе, а в области внешней политики оказалась в состоянии изоляции от Советского Союза.

Пусть не все оказалось возможным для Рузвельта. Во внутренней политике на его пути, как и на пути каждого буржуазного государственного деятеля, стояли непреодолимые законы капиталистической экономики. В установлении нормальных взаимоотношений с Советским Союзом мешали группировки, политическая близорукость которых доказана историей. Но он отказался идти за ними, хотя и был не в меньшей степени, чем они, защитником капиталистической системы.

В чем же смысл и назначение мероприятий Рузвельта в области внутренней политики, которые вошли в историю под названием «нового курса»? Историки, философы и экономисты исписали горы бумаги, анализируя деятельность спешно созданных после прихода Рузвельта к власти многочисленных организаций по борьбе с экономическим кризисом и его последствиями. Сам Рузвельт рассматривал дело куда проще. Никаких экономических панацей или планов-фантазий, повторял он. Н. Н. Яковлев приводит выдержки из произнесенной Рузвельтом еще в апреле 1932 года чрезвычайно интересной речи, в которой он призывал вернуться с облаков на землю: «...нужны планы, базирующиеся на забытых, неорганизованных, но необходимых элементах экономической мощи, нужны планы, в которых возлагается надежда на забытого человека, находящегося в основе социальной пирамиды». Здесь, как очевидно, можно

уже различить контуры утопии о «народном капитализме». Но, кроме пропагандистских, существовали и практические, реалистические соображения: падение покупательной способности тормозило развитие капиталистической экономики. «Мейн-стрит, Бродвей, фабрики, рудники закроются, если половина покупателей не сможет покупать», — указывалось в той же речи.

Цели «нового курса» были очевидны: спасение капиталистической системы. Рузвельт был реформатором, а не революционером. В тридцатые годы в США бурно развивалось рабочее и фермерское движение, и без уступок массам было невозможно стабилизировать положение, повернуть развитие событий в традиционное русло американской «демократии». В тот период Рузвельт часто повторял изречение Маколея: «Если вы хотите уцелеть — проводите реформы».

В чрезвычайных условиях Рузвельт применил необычные для Америки того времени средства: были введены (правда, крайне робко и непоследовательно) некоторые элементы государственного «регулирования», возросла роль государства в экономической жизни страны. Под давлением масс был проведен ряд прогрессивных социальных мероприятий. Рабочее движение вырвало у буржуазии ряд серьезных уступок. В то время многим из правящей элиты это показалось чуть ли не социализмом. История показала, однако, что «еретик» Рузвельт, вызвавший негодование некоторых деятелей Уолл-стрита, оказался лучшим защитником капиталистической системы, чем критикующие его ортодоксы. «Новый курс» способствовал стабилизации американской экономики в тех пределах, в каких это возможно в условиях анархии капиталистического производства.

Внешняя политика Рузвельта, пожалуй, вызывает в реакционных кругах еще большие нападки, чем его внутренний курс. Американские «бешеные» в политике и историографии до сих пор не могут простить ему союз с социалистической державой во второй мировой войне. В пятидесятые годы, в период разгула маккартизма, в исторической литературе США возникла легенда о «предательстве» Рузвельта, якобы поступившегося американскими выгодами в целях укрепления «противоестественного» союза с СССР. Н. Н. Яковлев убедительно показывает действительные цели

внешней политики американского президента. Реальные соображения, учет существовавшего тогда соотношения сил — одна из важных причин восстановления Рузвельтом политических и деловых отношений с СССР в 1933 году. Президент покончил с абсурдной политикой «непризнания», и его дальновидный шаг принес свои «дивиденды». Позже эти отношения развились (хотя и не без zigzags и помех со стороны политических противников Рузвельта) в союз между США и СССР, сыгравший большую роль в разгроме фашистских агрессоров.

Рузвельт был противником коммунизма, но он считал абсурдным отказываться по идеологическим соображениям от сотрудничества с СССР, когда это соответствовало американским государственным интересам. Налаживание советско-американского сотрудничества во второй мировой войне было делом нелегким: сказывался груз предрассудков, прошлых ошибок и заблуждений. Уже тогда в отношениях между двумя странами было немало элементов того состояния, которое позднее стало известно как «холодная война». Рузвельт не отказывался до конца от империалистических расчетов на ослабление СССР. Достаточно вспомнить, как недвусмысленно оттягивалось открытие второго фронта в Европе. Вместе с тем он понимал необходимость американо-советского сотрудничества.

Политическая линия Рузвельта оказалась бесспорно, плодотворной для его страны. Таков главный урок деятельности одного из наиболее выдающихся президентов

США, обладавшего способностью трезво оценивать обстановку, учитывая подлинные интересы страны и настроения ее народа.

Написанная живо и интересно, книга Н. Н. Яковлева расширяет наши познания о Рузвельте, разбивает стандартные представления, убедительно разъясняет многое, казавшееся неясным и противоречивым. Видимо, автору следовало дать хотя бы краткую оценку той большой западной литературы о Рузвельте, которую он использовал. В некоторых случаях это было даже необходимым, особенно когда используются данные из книг, настолько тенденциозных (например, работа Дж. Крокера «Путь Рузвельта в Россию»), что сами эти данные берутся под сомнение. Иногда скороговорка вдруг заменяет подробный рассказ о важных периодах, в частности о последних годах жизни Рузвельта, особенно интересных, если учесть поворот политического курса, осуществленный его преемниками. Но это частности.

Н. Н. Яковлев, известный своими трудами в области новейшей истории США, сделал важный шаг в деле научного изучения жизни и деятельности выдающегося американского президента. Возможно, что ретроспективный портрет Франклина Делано Рузвельта, нарисованный автором, получился не совсем четким, его контуры несколько расплылись. Но автор и не стремился ретушировать. Портрет противоречив, как был противоречив оригинал.

Б. МАРУШКИН.

★

ОБ ЭНТУЗИАЗМЕ, БЕСКОРЫСТИИ И ДИЛЕТАНТИЗМЕ

Г. Ш то л ь. Шлиман (Мечта о Трое). «Молодая гвардия». М. 1965. 431 стр.

Переведена на русский язык и опубликована в серии «Жизнь замечательных людей» книга немецкого журналиста и популяризатора Генриха Штоля, посвященная описанию жизни и деятельности известного археолога Генриха Шлимана. Советский читатель знаком с произведениями Г. Штоля, в частности с его книгой «Пещера у Мертвого моря», опубликованной у нас в 1965 году и описывающей историю открытия и исследования знаменитых кумранских рукописей. Вслед за Керамом, давшим своей книге «Боги, гробницы, ученые» подзаго-

ловок «Роман археологин», Г. Штоль называл свою книгу о кумранских рукописях «Роман о рукописях Мертвого моря», а последнее (вышедшее в 1964 году) издание рецензируемой работы снабдил подзаголовком «Роман жизни Генриха Шлимана».

Г. Штоль следует К. Кераму не только в определении жанра своих книг. Обоих этих писателей объединяет недюжинный талант популяризаторов, романтическая приподнятость изложения, умение воссоздать атмосферу жизни своих героев и доброе к ним отношение. Вместе с тем и Г. Штоль, и

К. Керам не всегда критически подходят к фактам, порою трактуют их весьма вольно или даже искажают в угоду занимательности.

От подобных недостатков не свободна и рецензируемая книга. И все же она привлекает читателя увлеченностью, нет, влюбленностью автора в своего героя и в археологическую науку.

Каждой из семи книг и каждой главе, на которые делятся книги, предпослан эпитафия из Гомера. Это как бы переносит читателя в ту атмосферу почитания Гомера и служения ему, какой была пронизана жизнь самого Шлимана. Сын сельского пастора еще в детстве увлекся героями Гомера, с двенадцати лет был вынужден сам зарабатывать себе на жизнь, терпел голод, нужду, холод, кораблекрушение и страшные неудачи, жил во многих странах, своей предприимчивостью и энергией скопил огромное состояние, а пятидесяти лет от роду, преодолевая рутинерство и скепсис многих дипломированных ученых, а также препоны, чинимые невежественными и жадными правителями, приступил к раскопкам Трои.

Шлиман при помощи своей удивительной интуиции определил, где именно находились остатки легендарной Трои. Вложив в раскопки огромные личные средства, свою невероятную энергию и самоотверженный труд, он открыл остатки этой Трои и ряд других замечательных памятников, пролив тем самым обозримую историю Греции на целое тысячелетие.

Эта невероятная, хотя и вполне достоверная история вот уже многие десятилетия привлекала и привлекает внимание множества людей в разных странах. И в Советском Союзе опубликованы как переводные, так и оригинальные описания жизни и деятельности Шлимана. Среди последних выделяется прекрасная книга М. Мееровича, вышедшая в той же серии «Жизнь замечательных людей» еще в 1938 году. Автор ее, талантливый и умный писатель, сочетавший литературную одаренность и увлеченность с острым критическим чутьем, погиб в боях на Волге. Издательство «Детская литература» поступает совершенно правильно, переиздавая эту старую хорошую книгу.

Безусловно правильно и издание книги Г. Штоля. Дело тут не только в неослабевающем интересе к личности Шлимана, но и в том, что это, пожалуй, самая «шлимановская» по духу, манере изложения и

образному ряду из всех книг о нем, более всего соответствующая облику, вкусам и воззрениям этого удивительного и противоречивого человека. С этим связаны не только неоспоримые достоинства этой книги, но и некоторые ее недостатки, как это будет показано ниже.

Живо, интересно, лирично рассказывает Штоль о детских годах Шлимана, об окружавшей мальчика таинственной, ласковой и прекрасной природе, о легендах, связанных с древним курганом, озером и другими памятными местами возле его деревни. Эти легенды возбуждали фантазию и живое воображение ребенка, сделав его особенно восприимчивым к эпосу Гомера. Познакомившись еще мальчиком с поэтической историей Троянской войны, Шлиман воспринял ее не как вымысел, а как вполне достоверное повествование. Эту свою веру он пронес сквозь всю свою жизнь, доказательству ее посвятил много лет и сумел действительно доказать, что события, описанные в «Илиаде», в значительной мере подлинны.

Вместе со Штолем мы прослеживаем, как впервые ум и сердце Шлимана оказываются под обаянием величественного мира древнегреческого эпоса. Но вот наступает момент, когда контакт между автором и читателем поневоле нарушается. По крайней мере так было со мной. Штоль, со слов самого Шлимана, торжественно и даже несколько напыщенно описывает, как семилетний (а у Керам — восьмилетний) мальчик дал клятву, что когда он вырастет, то обязательно раскопает Трою. Штоль не только вполне серьезно описывает эпизод с клятвой, но и пытается уверить читателя, что именно с этого момента и до конца жизни Шлиман был одержим только одним желанием: сдерживать свою клятву во что бы то ни стало. А между тем все это было не так просто. Штоль без всякой проверки (как, впрочем, и Керам) берет эпизод с клятвой из той части книги «Илион», которую пятидесяти-шестидесятилетний Шлиман посвятил собственному жизнеописанию.

Шлиман, находившийся в то время на вершине славы, Шлиман, беседовавший с английским премьер-министром, бразильским императором, американским президентом и многими другими сильными мира сего и более известный, чем большинство из них, был озабочен тем, чтобы создать себе биографию, соответствующую своей сла-

ве, канонизировать самого себя. Таким образом и появилась знаменитая «клятва», о которой, кстати сказать, в ранних своих жизнеописаниях Шлиман не упоминал. В «Илионе» он рассказал о ней с той эффектной категоричностью, какая вообще была ему свойственна: если клад, то непременно царя Приама, если золотые диадемы, так уж точно прекрасной Елены, если уж золотая маска, так уж, конечно, Агамемнона, и так далее. Почти все эти определения Шлимана, как показали дальнейшие исследования, оказались неверными. Эффектными, но неверными. Таким же был и эпизод с клятвой. Однако Штоль не отнесся к нему критически, он даже усилил его символику.

Пожалуй, наиболее бледно и неинтересно описано пребывание Шлимана в России. А ведь именно в нашей стране Шлиман прожил более двадцати лет, превратился из нищего приказчика голландской фирмы в миллионера, многое пережил и передумал. Это тем более обидно, что для описания путешествий и пребывания Шлимана в других странах, особенно в Голландии и Америке, Штоль нашел яркие, запоминающиеся краски.

Честно говоря, не вызывает особенного отклика и тот энтузиазм, с которым Штоль описывает достоинства Шлимана-коммерсанта: его предприимчивость, удачливость, зоркость в коммерческих делах и так далее. Но вот закончился период коммерции, и миллионер Шлиман превратился сначала в пожилого парижского студента, внимательно (хотя и недолго) слушавшего лекции по археологии и истории, а затем и в исследователя, идущего на поиски легендарной Трои с томиком Гомера в руках.

Очень интересно и убедительно описывает Штоль, как удивительное сочетание великолепной интуиции, безграничной веры в точность всех сведений, сообщаемых Гомером, и трезвый расчет позволили Шлиману сначала опровергнуть установившееся мнение о местонахождении Трои, а затем и определить, что Троя находилась на холме Гиссарлык. Эти события описаны не только с чувством глубокого уважения к Шлиману, но и с юмором, который лишь подчеркивает значительность происходившего. Так, например, Шлиман, памятуя слова Гомера о том, что во время поединка Гектора с Ахиллесом противники трижды обежали Трою, бежит вместе с проводником турком вокруг холма Бунарбаши, где, по общему мнению,

находились развалины Трои. Вот как описывает этот эпизод Штоль: «Изнемогая от жажды, проводник трусит вслед за Шлиманом, тот то перепрыгивает через ручей, то бежит по полю, то мчится по краю холма. Проводник ни секунды не сомневается, что аллах поразил чужестранца безумием. Два часа продолжается гонка, местами из-за крутизны подъема приходится двигаться на четвереньках, и все же территорию предполагаемой Трои они успевают обежать только раз. Значит, Троя не могла находиться здесь!» Юмор вообще свойствен Штолю, и это в значительной степени компенсирует присущую ему сентиментальность, к тому же усиленную обаянием личности Шлимана, который и сам был не чужд сентиментальности и пафоса.

Рассказывая о взаимоотношениях Шлимана с надменным и невежественным германским дипломатом фон Радовицем, Штоль приводит такой эпизод: фон Радович привез Шлиману собственноручное послание германского императора. Шлиман вежливо поблагодарил и, со своей стороны желая доставить гостю удовольствие, полтора часа водил его по музею. «Потом, расставшись, каждый из них садится за дневник. Один пишет: «Шлиман принял собственноручное послание императора с глубочайшим волнением и благодарностью, но потом ужасно наскучил мне своими старыми горшками». А другой пишет: «С блеском рассуждал о вазах, произвел очень сильное впечатление на Радовица, он меня поблагодарил, а фокус-покус с письмом, на самом деле, ни к чему».

Влюбленный в своего героя, Штоль с глубоким волнением и сочувствием показывает, какими поистине дружескими и сердечными были взаимоотношения Шлимана с его женой и верным помощником, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте и трагикомическую историю сватовства, как Шлиман настойчиво и энергично вступался за несправедливо обиженных людей, как не боялся учиться у настоящих ученых и привлекать их к своей работе. Отлично описаны в книге и рабочие будни археологической экспедиции, и тот напряженный, четкий ритм труда, который как бы и не зависит от людей, а диктуется самим материалом, сроками, условиями и задачами работы полевого археолога.

И все же в каких-то, причем важнейших, положениях книги Штоля с ним невозможно согласиться.

Прежде всего это относится к необоснованному утверждению, что якобы без Шлимана археология и поныне не вышла из младенческого возраста. Это, конечно, не так. Прежде всего такое утверждение весьма спорно в принципе для любой науки. Наука существует как единый поток, и становление и развитие ее связано прежде всего со свободной полемикой, сотрудничеством, обменом опытом, сомнениями, трудами и открытиями многих ученых, а не только с озарениями какого-либо корифея. К тому же Шлиман, хотя и сделал блестящие открытия, корифеем не был. Более того, самоуверенность, поспешность, неправильная методика работ, расчет на внешний эффект, характерные для Шлимана, принесли науке немало вреда. Известный ученый и друг Шлимана Р. Вирхов сказал на траурном митинге, посвященном кончине Шлимана: «Его единственной заботой было стремление к более глубокому познанию истины». Штоль присоединяется к этому утверждению. Однако Вирхов, удрученный смертью друга, великодушно перенес на него то качество, которым в высокой степени обладал сам. Шлиману же при многих иных достоинствах как раз это качество не было присуще. Сам Штоль сообщает о том, что Шлиман держал в Лондоне специального агента для рекламы своих раскопок, сенсационные сообщения в мировой прессе с категорическими, поспешными и почти всегда неверными определениями публиковались или инспирировались Шлиманом, когда выкопанные им древние вещи еще буквально не успевали очиститься от налипшей на них земли.

В старину говорили, что есть две категории ученых — одна для науки, другая для публики. Это, конечно, несколько схематическое определение, однако в нем есть доля истины. Шлиман, безусловно, принадлежал ко второй категории ученых и был одним из наиболее характерных ее представителей.

Жизнь Шлимана при всех его удачах и замечательных находках была трагедией, трагедией дилетантизма. Ежели говорить о Трое, то ведь Шлиман своими руками безжалостно и равнодушно частично разрушил, частично засыпал землей слои той самой гомеровской Трои, которую он так страстно искал всю жизнь. Стремясь пробиться возможно скорее к предскальному слою Гиссарлыка (ведь, по Гомеру, Троя была воздвигнута на скале), приняв за «гомеровский» третий (а на самом деле второй) слой

культурных отложений на холме, где найден был «клад Приама», обнаружив наконец следы пожара (ведь гомеровская Троя погибла от пожара), который в действительности на целое тысячелетие предшествовал гомеровской Трое, — Шлиман без всяких колебаний разрушал и уничтожал все вышележащие слои. В том числе уничтожен был и «слой VII-А», который ныне определен как истинный слой гомеровской Трои. Об этой подлинной трагедии Шлиман начал догадываться лишь к концу своей жизни.

Произошла же эта трагедия потому, что при всех своих выдающихся качествах Шлиман был и оставался всю жизнь дилетантом. В чем разница между подлинным профессионалом и дилетантом? В сумме фактических знаний? Далеко не всегда. Шлиман, например, знал до полутора десятков языков, наизусть читал Гомера, хорошо ориентировался в истории древней Греции. Так в чем же все-таки разница? Как нам представляется, прежде всего в понимании самой сути науки и ее методов, вернее в том, что профессионал их понимает, а дилетант не понимает или не хочет понять. Единственная задача настоящего ученого — поиск истины, ее познание. Дилетант же имеет множество других задач: во что бы то ни стало сделать выдающееся открытие, прославиться, доказать — и также во что бы то ни стало — мысль, высказанную им априорно, и так далее. Из этого проистекает и главное — различие в методах.

Описывая методы раскопок, применяемые Шлиманом в первую кампанию работ в Трое, Штоль сам сообщает о том, что пробивались узкие колодцы и с помощью железных рычагов отламывались и шли в отвал, выбрасывались куски по тридцать—пятьдесят кубометров. Шлиман, конечно, не мог не понимать, что, копая таким образом, он способен был уничтожить остатки целых сооружений, выбросить или проглядеть ценнейшие вещи. Однако вперед, вперед во что бы то ни стало, скорее к Скейским воротам Трои! Все методы, все средства хороши, лишь бы скорее добраться до цели. Однако при подобном основном подходе сама цель оказалась искаленной. При всей неразработанности методики раскопок в то время такие раскопки были чистым варварством!

Неправильно датировать те или иные культурные отложения на Гиссарлыкском холме мог, конечно, и подлинный профес-

сионал. Мог он, может быть, как и Шлиман, принять неолитический слой за слой гомеровской Трои. Однако в этом случае не было бы трагедии для науки. Это оставалось бы личной ошибкой, допущенной ученым в интерпретации памятника, — не больше. Ведь озабоченный лишь поисками истины, применяя для этого и соответственные методы (а их знали и современники Шлимана), профессионал тщательно фиксировал бы все слои культурных отложений — как гомеровские, так и догомеровские и послегомеровские. Это значит, что если после детального изучения выяснилось бы, что к гомеровскому относится не тот слой, который счел им данный ученый, то все материалы по изучению подлинного гомеровского слоя все равно были бы в руках науки. Шлиман же, хотя знания его и методика работы на протяжении многих лет раскопок постепенно совершенствовались и углублялись, до конца жизни оставался дилетантом.

Тем не менее мы с огромным уважением относимся к памяти Шлимана, именем его названы улицы и площади в различных странах мира, о нем написана уйма книг на

многих языках, его жизнь и деятельность продолжают привлекать внимание миллионов людей. Это не случайно. Шлиман, хотя и был дилетантом, обладал горячей, искренней верой в свое дело, служил ему самоотверженным и бескорыстным трудом. Ученые вполне справедливо осуждают методы, примененные Шлиманом во время его археологических работ, однако отдают должное его энтузиазму, удивительной интуиции, самоотверженному бескорыстному труду. При всех своих ошибках, он сумел открыть новые, до того неведомые и важнейшие для науки сооружения и вещи, воочию показал нам облик той культуры, которая в значительной мере лежит в основе основ европейской цивилизации.

Жизнь Шлимана, полная невероятных событий, борьбы, удач и неудач, восторгов, разочарований, неустанного труда, глубоких противоречий, блестящая и трагическая, эта жизнь поучительна и интересна. Поэтому издание новой книги о Шлимане в нашей стране — доброе и полезное дело.

Г. ФЕДОРОВ,

доктор исторических наук.



ПРОНИКНОВЕНИЕ В МИР НЕПОЗНАННОГО

Р. Шовен. От пчелы до гориллы. Перевод с французского Н. Б. Кобриной.
«Мир». М. 1965. 296 стр.

У этой науки еще нет точного названия. Этиология? Теория поведения животных? Зоосоциология (по аналогии с зоопсихологией)? Изучение объединений животных? Новая область знания складывается на наших глазах в теснейшем контакте с такими, казалось бы, различными областями науки, как теория информации, зоология, генетика, семиотика, бионика и ряд других. Наши сведения о сложных формах поведения «общественных» животных (таких, как муравьи, пчелы, дельфины, пингвины, обезьяны) не очень-то умножились со времен Аристотеля — и тем приятнее наблюдать каждое новое открытие в жизни окружающих нас живых существ.

Блестящие исследования немецкого биолога Карла Фриша, посвященные языку пчел; работа американского нейрофизиолога Джона Лилли, изучающего дельфинов; наблюдения советского энтомолога П. И. Мариковского над муравьями; многие

другие исследования ученых СССР, США, Японии, Франции и других стран (в исследованиях этих почетная роль принадлежит Р. Шовену) — все это показывает, что, несмотря на длительный — многотысячелетний! — контакт людей и животных, люди знали очень немного об удивительных свойствах животного мира.

Научные исследования публикуются в специальных журналах. Интерес же к «зоосоциологии» очень велик, и удовлетворить его не могли ни блестящие популяризаторские книги И. А. Халифмана, посвященные пчелам, муравьям и термитам, ни сенсационная книга Лилли «Человек и дельфин» (тем более что выводы Лилли о необыкновенном разуме дельфинов оспариваются многими специалистами), ни монография Фриша «Пчелы», ни книга польского профессора Яна Дембовского «Психология животных». С выходом книги Реми Шовена «От пчелы до гориллы» читатели могут

сами заглянуть в «кухню» исследователей, изучающих поведение животных, структуру их объединений, их сигнализацию, их «язык».

Изучение поведения животных — отнюдь не безобидная «возня с пчелками», как это представляется порой скептикам. Достаточно напомнить, что знаменитые опыты Лилли финансировались Военно-морским флотом США. Исследователю зачастую с риском для жизни приходится добывать необходимые сведения. Так, например, зоолог Шаллер провел четыреста пятьдесят семь часов, наблюдая за стадом горилл, находясь «как свой» в этом стаде! Исследователь даже спал рядом с крупными самцами. «Тут нужно не только тончайшее, до мелочей, знание всех правил поведения, принятых у горилл, но и бестрепетное мужество, — пишет Шовен. — Особенно важно при этом никогда, ни в коем случае не смотреть прямо в глаза горилле; это — непростительная дерзость, грубый вызов, и не исключено, что в ответ разгневанный самец одним небрежным движением руки просто-напросто ответит вам головой».

Если исследователям крупных животных необходимо бестрепетное мужество, то ученые, проникающие в тайны пчелиных ульев, муравейников и термитников, этих «абсолютно нечеловеческих, лежащих за пределами нашего мира обществ насекомых», должны проявлять настоящие чудеса изобретательности. Пчела — один из самых древних спутников человека, но только совсем недавно мы узнали о «лингвистике» пчел и, более того, попытались заговорить с ними на их пчелином «языке». Для этого была создана «искусственная пчела» — закругленный на концах цилиндр из пенопласта длиной в один сантиметр, который вводился на конце металлического стержня в улей и затем с помощью генератора тока высокой частоты воспроизводил ритм и прерывистые движения танца — «языка» пчел... И, послушавшись его, пчелы отправлялись точно к тому месту, о котором информировал «танец-язык!» (Этот опыт, проведенный зарубежным энтомологом Стехе, был успешно повторен и в нашей стране, в Институте физиологии имени И. П. Павлова в Колтушах.)

И все же, несмотря на столь хитроумные эксперименты, наши «сведения о языке пчел, полученные к настоящему времени, весьма неполны, и было бы ошибкой во-

ображать, что здесь все ясно», как замечает Шовен, сам неоднократно экспериментировавший с пчелами. Он приводит любопытнейший факт. Пчелы умеют, но не любят летать над холмами и поэтому предпочитают огибать их. Если по одну сторону холма поставить улей, а по другую — чашечки с сиропом, то пчелы-разведчицы, вернувшись в улей, указывают с помощью «языка-танца» направление по прямой, то есть через холм. Расстояние же они указывают реальное, то есть вокруг холма, в облет. Это «танцевальное сообщение» пчелы-сборщицы понимают без труда. Но и по сей день ученые не знают, в каком же неизвестном оттенке танца зашифровано указание о том, что лететь нужно не по прямой, а в облет? В 1957 году были проведены опыты, в которых перед ульем ставился туннель из нескольких секций. В конце туннеля помещали чашечку с сиропом. Когда туннель был прям, разведчицы указывали нормальное направление и расстояние. Но когда ход туннеля изгибался под прямым углом, танцы пчел указывали направление по прямой, как бы с высоты полета, а расстояние — с учетом кривизны туннеля. «О танцах пчел написано огромное количество трудов, — заключает Шовен, — но сколько еще не разгадано тайн! Объект исследования поистине неисчерпаем!...»

Столь же удивительны, а во многом непонятны для нас и «нравы и обычаи» тысяч различных видов муравьев — единственных представителей класса насекомых, которых человек пока не в силах одолеть. «Несмотря ни на что, ничего не могу с собой поделывать — я нахожу муравьев чертовски симпатичными», — шутливо замечает в этой связи Шовен. Их поразительные «федерации», охватывающие сотни муравейников, простирающиеся на десятках гектарах и соединенные целой сетью постоянных дорог, Шовен изучал с помощью меченых атомов и счетчика Гейгера.

Не менее поразительны и термиты, появившиеся на планете гораздо раньше муравьев и пчел (не менее трехсот миллионов лет назад!). По строению своего тела они очень примитивны. Тем не менее «объединенные взаимными связями (подчеркнуто Шовеном. — А. К.) термиты ни в чем не отстают от муравьев и пчел по сложности своих социальных инстинктов», строят гнезда диаметром более ста метров (!), пи-

таются древесиной и прочими несъедобными вещами — для переваривания их термиты «содержат» в своем кишечнике особые инфузории, и, поглотив древесину и тому подобное, им остается только использовать продукты пищеварения этих инфузорий, а в крайнем случае переварить и самих инфузорий!

Красные тучи саранчи, закрывающие солнце; маниакальные скопища леммингов — маленьких зверьков, не босящихся в определенные периоды показываться в центре города, в домах и даже нападать на человека; полярная крачка, ежегодно покрывающая расстояние в двенадцать — пятнадцать тысяч километров; иерархия у сверчков; сопоставление сигнализации насекомых, птиц, земноводных, млекопитающих; описание «церемонного мира птиц», «мирных стад крупных млекопитающих» и наконец мира обезьян — все это читатель сможет найти в увлекательной книге Шовена.

Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что изучение поведения животных в сообществах имеет не только познавательный интерес. Специалисты по бионике, этой новой научной дисциплине, уже в наши дни черпают в мире животных ценнейшие технические идеи — ведь и сама бионика, как и наука о поведении животных, находится еще в пеленках! Другая молодая наука — теория языков, или семиотика, — находит в «языках» животных интереснейший материал для сопоставления их с человеческим языком и другими средствами общения людей. Без изучения «языка» животных невозможно создание общей теории сигнализации, а ведь создание такой теории является первоочередной задачей семиотики.

Поразительный мир муравьев Реми Шовен назвал настолько чуждым людям, «будто он свалился с Марса». Не исключено, что в недалеком будущем человечеству придется столкнуться с «брагьями по разуму», чья социальная организация будет настолько же отличаться от нашей, насколько человеческое общество отличается от муравейника или улья. И тогда знание объединений животных сможет оказать нам неоценимую помощь в установлении межпланетного контакта. Впервые эту мысль высказал создатель теории инфор-

мации (лежащей в основе кибернетики) математик и инженер Клод Шеннон. В докладе на Всеамериканской конференции по проблемам межпланетных путешествий он доказывал важность принципов «грамматики» сигнализации животных для разработки космического кода. Американские газетчики не преминули осмеять Шеннона. Ныне же «остроты и фельетоны забыты, а мысль Шеннона разделяют и поддерживают многие серьезные ученые», как отмечает в предисловии редактор книги И. Халифман.

Нет нужды говорить, что знание законов поведения животных и их «языка» принесет неоценимую помощь сельскому хозяйству, будь это увеличение числа полезных животных или уничтожение вредных. Большую пользу окажет «зоосоциология» и «настоящей» социологии, изучающей законы человеческого общества. Какими чертами отличаются, говоря словами Шовена, «абсолютно нечеловеческие» общества насекомых и «подчеловеческие» общества птиц и приматов от общества людей? Есть ли в них некие — пусть самые общие — элементы наподобие биологической общности всего живого мира на земле? Или же «универсалии» объединений животных совершенно не совпадают с законами человеческого общества? Каким образом тогда произошло преобразование обезьяньего стада в человеческий коллектив? Наблюдения показывают, что и структура стада, и «характер поведения» макак, горилл, шимпанзе, бабуинов во многом различны. Какова же была та оптимальная структура, которая позволила совершить качественный скачок человекообразным обезьянам, превратив их в людей? Со времени появления работ Энгельса наука накопила огромное количество фактического материала, и он требует осмысления как с позиций философских, так и научных, включая сюда и те новые идеи, которые принесла кибернетика.

У книги Шовена есть один недостаток: в ней не упомянуты работы и имена советских ученых, исследователей поведения и психологии животных, — Анохина, Бирюкова, Воронина и многих других. Но недостаток этот, вероятно, восполнят советские популяризаторы науки.

А. КОНДРАТОВ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О ЗАМЕТКЕ В. АРХИПОВА

В № 1 «Нового мира» за 1966 год Н. Ильина поместила рецензию на «Повесть о моих друзьях-непоседах» М. Алексеева, произведение уникальное если не по легкомыслию, то по самодовольно-рекламному жанру, у нас не распространенному, как правильно отметил критик. Но, оказывается, критиковать можно не всех. Роль «антикритика» на этот раз была поручена В. Архипову, объявившему в № 11 «Огонька» М. Алексеева и его непоседливых друзей, так сказать, неприкасаемыми. «Отповедь» Архипова есть по сути дела вопль: «Наших бьют!»

Трудно представить себе пасквиль более грубый, почти неудобный для печати, чем заметка В. Архипова. О манере и тональности рецензии Н. Ильиной даже В. Архипов не может сказать ничего плохого. Ему приходится признать, что ее ирония «внешне спокойна, объективна, глубоко запрятана». Что ж, очень хорошо, такой и должна быть ирония. Но вот у самого В. Архипова нет ничего, кроме беззубого, но злобного ерничества.

«Мы, невежды, никогда не сомневались в том, что Нат. Ильина была способным ребенком...» (Кстати, кто эти многократно упоминаемые «мы»?)

«...Вы поймете, как чиста и возвышенна нравственность наших народолюбцев... с каким усердием бьют себя в грудь...»

«Там, где речь идет о шкалике (то есть о попойке писателя и его друзей.— С. Х.), душа Нат. Ильиной «встрепенется, как пробудившийся орел», и она начинает свои подсчеты, выкладки и сентенции».

«Гнев на Алексеева и негодование Нат. Ильиной облачены плотным покрывалом иронии» (не дает покою Архипову ирония, настолько не дает, что он уже связно писать не может). «...Осталась глуха и

слепа», «...не расшевелили ее народолюбивого сердца», «...Через заглядывание в словари» и т. п.

В чем же все-таки виновата Н. Ильина? В. Архипов так мало может сказать об этом, что девять десятых своего маленького пасквиля посвящает защите Алексеева в филологических вопросах на таком примерно уровне: «Что же касается Нат. Ильиной, то для нее Москва — это, в отличие от Пушкина», «грязная вода», «телка»...»

Нужно сказать, что в статье Ильиной нет ни слова ни о Москве, ни о Пушкине.

В рецензии Н. Ильиной филологическим познаниям М. Алексеева была посвящена лишь одна десятая часть. В. Архипов именно к этому свел свою антикритику. Но дело все-таки не в филологии, и действительные мотивы «отповеди» В. Архипова выясняются в самом конце, под занавес.

Оказывается, что Н. Ильина совершила прямо-таки преступление. «Ильина заподозрила группу русских писателей в равнодушии к народу, в незнании крестьянской жизни, в неумении сойтись с народом, в самодовольстве, саморекламе и прочих грехах», причем сделала это «буквально в неистовстве» (несмотря на «глубоко запрятанную» иронию). Мы ждем аргументов, которые показали бы ошибочность суждений Ильиной. Аргументов нет. Заявляется просто, что М. Алексеев и его друзья-непоседы сами из мужиков и вообще очень хорошие, а потому заподозривать их во всем вышеуказанном совершенно непозволительно. И все? И все! Правда, делается еще попытка объяснить «диверсию» Н. Ильиной. Оказывается, ее привело в неистовство то обстоятельство, что автор питал чувство благодарности к своим односельчанам-соавторам (?), помогавшим ему в «трудном

деле» — в создании книги. Именно этого почему-то не перенесла Н. Ильина. Совсем плохо: она не только клеветает на М. Алексева и его друзей, но и как-то плохо относится к односельчанам автора. Заодно упоминается и о более ранней «новомирской» критике другого произведения М. Алексева. И так как В. Архипов обнаруживает, что она «написана в той же манере и той же тональности», то это, по его мнению, должно навести читателя «уже на очень грустные размышления». Не в одной, десятка, Ильиной дело.

Читателю действительно остается только предаться грустным размышлениям, потому что дело, конечно, не в одном В. Архипове. Почему именно «Огонек», вовсе не часто занимающийся литературной критикой и полемикой, так яростно вступился за повесть М. Алексева? Почему журнал позволил себе напечатать такую злобную издевку — впрочем, бьющую мимо цели, но показывающую, насколько точно попала в цель Н. Ильина?

С. ХРОМОВ,
профессор МГУ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

СССР И СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ В 1965 ГОДУ (Сообщение ЦСУ СССР и ЦСУ союзных республик об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства). «Статистика». М. 1966. 248 стр.

В итогах последнего года семилетки отразились наши успехи во многих важнейших отраслях науки и техники, в области культурного и экономического строительства. А вместе с тем и трудности, которые приходилось преодолевать в народном хозяйстве.

Специалистам по социалистической экономике, студентам и аспирантам этот сборник даст богатый материал для всесторонних исследований и обобщений. Много интересного узнает и просто любознательный читатель: за лаконичными строками официальных сообщений, за сухими столбцами таблиц проглядывает многогранная и полнокровная жизнь нашей родины.

Выравнивание уровней социально-экономического развития различных районов — огромное достижение СССР и других социалистических стран. Это серьезнейшая проблема, решение которой не под силу капитализму. У нас же решение ее близко к завершению, о чем свидетельствуют высокие темпы развития многих бывших колониальных окраин царской России. Это подтверждают приводимые в сборнике цифры.

Общественный продукт и национальный доход — вот два важнейших показателя уровня социально-экономического развития. Их объем вырос в целом по Союзу соответственно на семь и шесть процентов. При этом продукция промышленности увеличилась на 8,7 процента, а сельского хозяйства — лишь на один процент.

Анализ развития социалистического сельского хозяйства говорит, что многие трудности предшествующих лет еще до конца не изжиты. Однако в ряде республик в 1965 году наметились контуры близкого подъема. На Украине валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на семь процентов, в Узбекистане — на десять, в Молдавии — на пятнадцать. Решения недавних Пленумов Центрального Комитета и XXIII съезда КПСС открывают пути для дальнейшего ускорения этого процесса.

1965 год был годом дальнейшего подъема жизненного уровня широких слоев трудящихся масс. Достаточно сказать, что в конце 1964 и в 1965 году была повышена зарплата

двадцати миллионам работников отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население.

Скромный статистический сборник, если читать его внимательно и вдумываться, может оказаться интересным и полезным для самых различных категорий читателей.

С. Бессонов,
кандидат экономических наук.

★

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ. Атом шагает по странам. «Знание». М. 1966. 144 стр.

Живой и непринужденный рассказ о виденном сочетается в этой книге с компетентным и вместе с тем доходчивым описанием атомных установок и исследований, проводимых в США. Вместе с автором читатель побывает в Кемдене — на строительстве атомного товаро-пассажирского судна «Саванна», на атомных электростанциях — Дрезденской около Чикаго и «Энрико Ферми» близ Детройта, на станции испытания атомных реакторов в Айдахо, в научном центре Беркли, в лабораториях Ок-Риджа и Лос-Аламоса, на урановых рудниках.

В. С. Емельянов знакомит нас с известными американскими учеными. Большинство из них стремится к сотрудничеству с советскими специалистами. Даже Эдвард Теллер, «отец» водородной бомбы, и тот в ответ на вопрос автора заявил, что он за сотрудничество с советскими учеными. На ряде примеров проф. Емельянов показывает, что научным контактам двух стран нередко стремятся помешать официальные круги Соединенных Штатов. «Я убедился, — пишет он, — что в США имеется два течения: холодное, идущее из правительственных сфер, и теплое — из научных кругов».

Работам по мирному использованию атомной энергии придается в США второстепенное значение, львиная доля средств и усилий ученых направляется на производство военной техники, средств массового разрушения и уничтожения. На пути ученых, работающих в области мирного использования атомной энергии, нередко стоит «большой бизнес». Владельцы угольных шахт, газовых и нефтяных месторож-

дений видят в атомной энергии конкурента...

Ученые США, Советского Союза и других стран нередко ищут решения одних и тех же научных проблем, сталкиваются с одними и теми же трудностями. Глава Ок-Риджской лаборатории проф. Альвин Вейнберг, подчеркивая необходимость научных контактов, сказал в беседе с автором книги: «Нас всех волнуют по существу одни и те же проблемы — например, от хлорной коррозии голова болит и у вас, и у нас. Разница только в том, что вы ругаетесь при этом по-русски, а мы по-английски».

Особенно интересна глава, посвященная посещению советскими учеными штата Нью-Мексико. Здесь находится большая часть урановых рудников США, множество заводов по переработке урановой руды, известная лаборатория Лос-Аламос, где была изготовлена первая атомная бомба. Автор рассказывает также о поездке американских ученых осенью 1959 года в Советский Союз — о том, как посетили они атомный ледокол «Ленин», научные лаборатории, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, урановый рудник в районе Кривого Рога.

Книга проф. Емельянова имеет большое познавательное значение: читатель «из первых рук» получает много интересных сведений. Она свидетельствует об успехах советской науки, о готовности наших ученых развивать международные контакты, служащие делу мира и научного прогресса.

Мих. Цунц.

★

И. ГОРОХОВ, Л. ЗАМЯТИН, И. ЗЕМСКОВ. Г. В. Чичерин — дипломат ленинской школы. Политиздат. М. 1966. 112 стр.

Тридцать лет назад, 7 июля 1936 года, умер выдающийся советский дипломат Георгий Васильевич Чичерин. С 1918 по 1930 год он стоял во главе Народного комиссариата иностранных дел. Это были годы напряженной борьбы нашей страны за мир и упрочение своих международных позиций, против сколачивания империалистами агрессивных блоков и подготовки антисоветского «крестового похода». 30 мая 1928 года газета «Известия» в редакционной статье с полным основанием писала: «Перечислять один за другим в последовательном порядке отдельные этапы деятельности Георгия Васильевича — это излагать историю советской внешней политики».

Об этой благородной и самоотверженной деятельности и рассказывается в книге, написанной сотрудниками МИД СССР. Ее общая редакция и вступительная статья принадлежат заместителю министра иностранных дел В. С. Семенову.

Это не первая за последние годы книга, посвященная Чичерину. В 1961 году вышел сборник его статей и речей по вопросам международной политики, в прошлом году журнал «Нева» познакомил читателей с

документальным повествованием С. Зарницкого и А. Сергеева «Нарком Чичерин». И тем не менее новая книга, хотя она и невелика по объему, важный шаг вперед в ознакомлении широкой общественности с жизнью и деятельностью талантливого дипломата-ленинца. Свообразие книги состоит в том, что она представляет собой и научное исследование, хорошо документированное (при этом некоторые документы публикуются впервые), и одновременно интересный, живо написанный рассказ.

Создание советского дипломатического аппарата, налаживание братских отношений с народами Востока, успешная борьба нашей дипломатии с дипломатией старого мира на международных конференциях в Генуе и Лозанне, ознаменовавшаяся успехом для Страны Советов, прорыв дипломатической изоляции и «полоса признаний», расстройство империалистических планов создания единого фронта против СССР — во всем этом немалая заслуга Г. В. Чичерина.

Георгий Васильевич был человеком высокой принципиальности, большого и острого политического ума, широкой культуры и огромных теоретических знаний. Это был один из образованнейших людей своего времени. А его лингвистическим познаниям мог бы позавидовать самый эрудированный языковед. В. И. Ленин говорил о нем: «Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить».

А. Степанов.

★

Г. КУРПНЕК. Повесть о неподкупном солдате. «Лиесма». Рига. 1966. 240 стр.

Многократно поднимаясь на лифте в угрюмом сером доме № 19 в Хлебном переулке Москвы, я и не подозревала, что именно здесь почти пятьдесят лет назад известный английский разведчик капитан Сидней Рейли назначил встречу командиру латышских стрелков Эдуарду Петровичу Берзиню. Это здесь «второй Лоуренс», как его называли, мастер диверсий и шпионажа, выдававший себя за скромного агента Петроградского угрозыска Константина Георгиевича Релинского, начал смертельную дуэль с замечательным советским разведчиком, в которой в конечном счете потерял свою голову.

Г. Курпнек рассказал в своей книге о преступном контрреволюционном заговоре представителей империалистических держав против молодой Советской республики. Он рассказал, в частности, и о том, как враги Страны Советов передали чекисту Берзиню миллион двести тысяч рублей на осуществление контрреволюционного переворота и как эти деньги легли на стол Феликса Дзержинского.

Образ Эдуарда Берзиня предстает здесь во всем его человеческом обаянии на драматическом фоне волнующих событий 1918 года. Один из самых напряженнейших

эпизодов повести — рассказ о том дне, когда Берзинь, командир латышского дивизиона, помогал ликвидировать левозеро-вский мятеж.

В поразительной биографии рижского рабочего, а потом художника, воспитанного в берлинской Академии художеств, ставшего в первую империалистическую войну унтер-офицером и кавалером георгиевского креста, а затем солдатом революции, повторилась жизнь многих и многих большевиков первых лет революции.

А после гражданской войны Эдуард Берзинь по приказу партии строил Вишерский унтер-офицерский комбинат, добывал золото в Магадане и за строительство золотых приисков был награжден орденом Ленина.

Свою книгу автор посвятил пятидесятилетию Великого Октября. Отрадно, что, встречая эту славную дату, мы читаем книги о замечательных людях, имена которых долгие годы находились в несправедливом забвении.

Л. Серебрянник.

★

И. И. СМЕРНОВ, А. Г. МАНЬКОВ, Е. П. ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ, В. В. МАВРОДИН. Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. «Наука». М.—Л. 1966. 328 стр.

Эта коллективная монография рассказывает о мощных народных восстаниях, носящих характер крестьянской войны против феодально-крепостного строя в России.

Первую главу — о крестьянской войне 1606—1607 годов под руководством Болотникова — написал покойный И. И. Смирнов. Он же был ответственным редактором всей книги.

Восстание Болотникова автор признает самой крупной из крестьянских войн. Оно охватило огромную территорию и создало угрозу окружения Москвы, что было сорвано лишь изменой отрядов провинциальных дворян, входивших в состав войска повстанцев. Восстание имело целью уничтожение крепостного гнета и шло под лозунгом — за «хорошего царя» (в данном случае «царя Дмитрия»). Автор метко замечает, что это являлось своего рода «крестьянской утопией» того времени. В главе отчетливо показаны предпосылки восстания: рост феодального землевладения, опричнина времен Ивана Грозного и связанное с ней разорение, указы о запрещении крестьянского перехода, превращение кабальных людей в холопов, обязанных работать на господина до его смерти.

О восстании Степана Разина рассказывает А. Г. Маньков. Он привлек новые источники, в том числе записки современника — англичанина Фабрициуса, состоявшего на русской службе. В книге отмечается, что в восстании Разина наряду с казачеством и русским крестьянством большое место занимали народы Поволжья, а также украинцы.

Е. П. Подъяпольская — автор главы о восстании Булавина — обращает внимание на

недостаточную изученность крестьянских волнений в годы восстания Булавина и непосредственно после него. В повстанческих отрядах, по примерным подсчетам автора, треть составляли казаки, а две трети — крестьяне.

Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Пугачева (глава IV) отличалась от предшествующих восстаний несколько большей организованностью. В. В. Мавродин отмечает создание Главной военной коллегии — штаба и правительственного центра восстания, а также более четко выраженные антикрепостнические цели восставших в манифестах и указах.

В заключительной главе книги, также написанной В. В. Мавродиным, подводятся итоги изучения советскими историками крестьянских войн семнадцатого—восемнадцатого веков. От одного восстания к другому состав их участников становится все более однородным, движущей силой является крестьянство, в качестве застрельщика и организатора выступает казачество. При общей стихийности восстаний возрастают зачатки сознательности. Основные причины поражения восстаний — отсутствие другого революционного класса и возрастающее сопротивление государства с его регулярной армией и местными органами.

Некоторым недостатком книги следует признать чрезмерную беглость указаний на исторические источники.

*Проф. Б. Кафенгауз,
доктор исторических наук.*

★

Е. НОСОВ. Где просыпается солнце. Повесть и рассказы. «Советский писатель». М. 1965. 284 стр.

Уже ранние произведения Е. Носова отличала завершенность рисунка, точность детали, меткость и уверенность каждого штриха создаваемой в рассказе картины. Однако наряду с этим в глаза бросалось и то, что верное и реалистическое изображение жизни в этих рассказах иногда находилось в противоречии с общим осмыслением описываемого явления или факта. Так, например, в повести «Моя Джомолунгма» правдивая картина легкой жизни жителей одного дома вдруг заканчивается осуждением этих людей героем повести, от лица которого ведется рассказ, за то, что они спилили тополь, росший во дворе дома. На фоне атлантического, до мельчайших черточек и оттенков точного описания жизни соседей героя, которым тополь мешал, потому что затенял двор, и, как говорит бабка Степаниха, «какую картошечку или помидорчики посадишь — чахнут», осуждение это звучит просто несерьезно. Вообще на некоторую умозрительность концепции повести указывает и такая деталь, вынесенная в заглавие повести, как сравнение тополя с горой Джомолунгма, символизирующей для героя высоту и величие человеческого духа. Той же умозрительностью, на наш взгляд, страдают такие рассказы, как

«Багульник», «Шуруп», «Радуга» и некоторые другие.

Тем более приятно отметить, что последние по времени рассказы писателя, напечатанные в рецензируемой здесь книге, свидетельствуют о возросшей глубине и основательности суждений автора о человеке и его жизни. Автор по-прежнему очень зорок к обыденным явлениям жизни, умеет выразительно показать их. «Возле подсолнуха,— читаем мы, например, в рассказе «Шуба»,— одиноко торчащего у дороги, стоял теленок. Он обдергивал влажные, обмякшие листья и нетерпеливо жевал их, пересовывая языком черенок то на одну, то на другую сторону. Заметив Пелагею и Дуняшку, он перестал есть и, растопырив уши, задумчиво уставился на них. Недоеденный черенок торчал из его влажных, розовых губ». Живописный вид теленка, однако, наводит героиню рассказа — мать и дочь — на такие размышления: «...Продадим теленка,— говорит Пелагея,— платок пуховый справим.— И ботики! — вся засветилась Дуняшка.— Справим и боты! Справим!» Слушая этот житейский разговор двух женщин, мы начинаем тревожно и озабоченно думать о таких простых житейских вещах, как обыкновенное пальто, боты, пуховый платок, волнуемся о достатке героини рассказа. Мы ловим себя на мысли, что смотрим на жизнь героев не глазами стороннего философствующего зрителя, а человека, сугубо заинтересованного в том, чтобы лучше жилось этой самой Дуняшке и ее матери...

В последних своих рассказах Е. Носов без успеха заявил о себе как о писателе деревенской темы. Деревне, сельским жителям, их жизни и их заботам посвящены рассказы «Подпасок», «На рассвете», «Варька»... В них можно найти недостатки, но нам кажется, что читатели, которые, несомненно, запомнят и маленького папушка («Подпасок»), и образ старой колхозницы Алены Дмитриевны («На рассвете»), и другие персонажи последних рассказов, могут с полным основанием видеть в них залог того, что Евгений Носов порадует нас новыми и новыми талантливыми и интересными произведениями.

Г. Макаров.

★

В. ПОМЕРАНЦЕВ. Неспешный разговор. Повести и рассказы. «Советский писатель». М. 1965. 348 стр.

Рассказы и небольшие повести В. Померанцева, составившие сборник, писались им на протяжении примерно десяти лет. Автор разбил их на четыре цикла, исходя из соображений не столько хронологических или жанровых, сколько из того, чтобы сделать сборник цельным, подчиненным одной развивающейся идее.

Первый цикл своих рассказов он назвал «Вокруг истины». Дорога к истине терниста, и не всегда люди, поступающие неправильно, нарушившие те или иные нормы, делают это по злему умыслу. В рассказе «Случай с прокурором» автор повествует о том, как «слишком правильный» проку-

рор Чижов, который «не верил в случайность, в игру обстоятельств» и был особенно строг с подсудимыми, сам того не ведая, оказался соучастником преступления.

В следующем цикле, «Неотжитое», автор показывает, как люди, живущие косными предрассудками или изуверскими традициями прошлого, по существу оказываются вне настоящей жизни, коверкают свою судьбу и в конце концов горько расплачиваются за свою приверженность к «дедовским» обычаям. Наиболее интересна в этом цикле — да и, наверное, во всем сборнике — повесть «Оборотень», в которой автор рассказывает о быте и нравах раскольничьей деревни, затерянной в сибирской глуши, куда приезжает в начале тридцатых годов его герой, молодой следователь.

Дело о диком самосуде, которое ему пришлось разбирать, несколько необычно. Разоблачив незадачливого вора, мир привязал его к спине оленя и отпустил зверя в лес. «Избавляясь от докучливой ноши, олень катался с ней по земле, бил ее о суки, рвал о деревья»... «Этот закон здесь,— объяснил следователю председатель местного сельсовета Миша Онефриев, работающий по совместительству попом.— Если человек от закона отступится, его надо в лес... Самим грех убивать, а за зверя не отвечают. Но вы не думайте, что это от злости. Нет, тут все смиренные, но только строгие очень. Соблюдают, чтобы греха ни в чем не было». Этот слепой фанатизм в конце концов привел к тому, что следователю пришлось защищать свою жизнь от самого несчастного и в то же время самого последовательного изувера.

Завершают книгу В. Померанцева рассказы, посвященные детям. Автор описывает волнения и проказы маленького Мишки, «башибузука», эгонста, любимца и мучителя всей семьи. Жизнь в детском саду приучает Мишку соразмерять свои поступки с желаниями других и с последствиями, которые вытекают из поступков. Маленький герой начинает понимать, что «непослушание безвыгодно», а «стремление к необузданным вольностям может лишить и того, что было уже завоевано».

Рассказами о Мишке в какой-то мере замыкаются и обобщаются волнующие автора проблемы долга, морали, личной ответственности. Надо заметить, что для В. Померанцева характерен несколько рассудочный подход, когда автор сначала логически решает, насколько идеи, которые он хочет художественно утвердить, вообще говоря, приемлемы и правильны, и лишь потом ищет примеры из жизни, подтверждающие их.

Идеи книги В. Померанцева благородны, справедливы, но над его образами часто тяготеет опасность превратиться в иллюстрацию, в назидательный пример. Особенно заметно это в таких рассказах, как «Однажды в молодости», «На правильном месте», «Случай с прокурором».

Ю. Князев.

ИГОРЬ ЕФИМОВ. Таврический сад. Повесть. «Детская литература». М.—Л. 1966. 96 стр.

Новая детская повесть Игоря Ефимова рассказывает о послевоенных годах. В ней есть точные черточки времени. Вот Люся Мольер, которая все еще играет в куклы. «Правда, всегда в одну и ту же игру — в очередь. Выстроит всех в очередь и каждой чего-нибудь дает. Дает и отводит в сторону. Дает — и в сторону. И говорит при этом: «Вот тебе хлеб. А тебе макароны. А это мыло». Люся Мольер переживает блокаду Ленинграда.

Ребята попадают на свалку металла, затевают игру в войну и неожиданно обнаруживают изуродованный самолет с красной звездой — «нам как-то само собой казалось, что все сваленное и перебитое здесь железо — немецкое. Даже в голову не пришло бы думать иначе».

Но главное, что война нравственно перевернула детство, сделала его для многих ребят бездомным. И взрослые это очень хорошо понимают: «Мне кажется, ребенку это совершенно необходимо, чтобы был освоенный кусочек земли, хорошо бы с крышей и стенами, такой вроде бы плацдарм для дальнейшего наступления на жизнь, если выражаться военным языком».

Герой повести очень боится, что его куда-нибудь не примут — в игру или компанию. Он хочет быть с сильными, независимыми, но его понимание силы и независимости до нравственно и не соединено с другими его чувствами. Его жгучая мечта — попасть в шайку-банду Сморгыги. Сморгыга — это не просто хулиган, а романтически идеализированный мальчиком образ хулиганства, буйства, анархии. Однако жизнь сталкивает героя повести с людьми, чья привлекательность не псевдоромантична, а истинна, — это его товарищ по пионерскому лагерю Волков и учитель физики Игнатий Филиппович.

И главное, у героя повести появляются истинное увлечение — физика — и чувство собственного достоинства, когда уже нельзя ни убежать от хулиганов, ни бояться змей и снарядов, «...и, вообще, многое, что можно было раньше, теперь уже ни в коем случае нельзя... С этим достоинством своим, которое залезло в меня неизвестно когда и откуда, я еще наплачусь и хлебну горя, но тут уж ничего не поделаешь — я его ни за что не отдам и буду защищать изо всех сил...».

Повесть Игоря Ефимова написана в спокойной лирической манере, которая еще больше оттеняет драматические переживания ее героев. Она поможет юным читателям, даст им возможность различать в жизни добро и зло и не быть к ним «постыдно равнодушными».

В. Соловьев.

Ленинград.

★

ЛЕВ РАЗГОН. Под шифром «Рб». Книга о Н. Рубакине. «Знание». М. 1966. 127 стр.

Собрано двести тридцать тысяч книг, создано сорок девять больших научных работ, написано двести восемьдесят научно-популярных книг, составлено и разослано пятнадцать тысяч программ по самообразованию, опубликовано свыше трехсот пятидесяти статей, отвечено на сто пятнадцать тысяч писем...

С изумлением узнаешь, что все это сделал один человек — Николай Александрович Рубакин, которым владела «одна, но пламенная страсть» — неугасимая любовь к книге, к ее пропаганде всеми возможными способами. Об этом замечательном энциклопедисте и написал свой очерк Лев Разгон. Книга привлекает емкостью содержания, большим фактическим материалом и простотой изложения.

Да, это был неутомимый труженик, работавший не покладая рук многие десятилетия. Писатель, библиограф, популяризатор науки, публицист, организатор, вдохновитель самообразования.

Автор подчеркивает, что Рубакин «продирался сквозь дебри увлечений и ошибок, но всегда находил дорогу к народному сердцу». Единственное, в чем можно упрекнуть автора, — это некоторая скороговорка при описании последнего периода жизни Рубакина вдали от родины.

В каталоге Всесоюзной государственной библиотеки имени В. И. Ленина шифр многих тысяч книг начинается с букв «Рб». Это книги рубакинского фонда, составлявшего некогда частную библиотеку Н. Рубакина и завещанного советскому народу. Отсюда и название книги, написанной с большой любовью к замечательному русскому просветителю.

А. Глухов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения. В трех томах. Том I. 642 стр. Цена 1 р. 19 к.

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. 496 стр. Цена 95 к.

Материалы XXIII съезда КПСС. 304 стр. Цена 63 к.

Устав Коммунистической партии Советского Союза. Утвержден XXII съездом, частичные изменения внесены XXIII съездом КПСС. 32 стр. Цена 3 к.

Г. Бареш. Клочок чистого неба (О чехословацком коммунисте Э. Шевчике). Перевод с чешского. 216 стр. Цена 54 к.

М. Беляев, А. Багдасарян, Н. Чураков. Истоки радости. Деревянные зарисовки. 320 стр. Цена 35 к.

Берега Балтики помнят... (Воспоминания участников боев за освобождение республик Советской Прибалтики). 264 стр. Цена 38 к.

О. Гротеволь. Избранные произведения (1945—1960 гг.). 408 стр. Цена 79 к.

Н. Живейнов. Операция РВ. Психологическая война американских империалистов. 296 стр. Цена 57 к.

Их простота и человечность (Письма и документы К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них). 472 стр. Цена 64 к.

КПСС на завершающем этапе строительства социализма (1945—1958 гг.). 112 стр. Цена 12 к.

А. Малыш. Формирование марксистской политической экономики. 352 стр. Цена 1 р. 32 к.

С. Продев. Весна гения (Опыт литературного портрета Ф. Энгельса) Перевод с болгарского. 328 стр. Цена 85 к.

Советы сельскому пропагандисту. 144 стр. Цена 18 к.

З. Субботина, Л. Кунецкая, К. Маштакова. Великий и простой. (По материалам кабинета и квартиры В. И. Ленина в Кремле). 144 стр. Цена 24 к.

К. Цеткин. Воспоминания о Ленине. 40 стр. Цена 7 к.

Экономический справочник сельского пропагандиста. 392 стр. Цена 79 к.

«МЫСЛЬ»

История свободомыслия и атеизма в Европе. 412 стр. Цена 1 р. 18 к.

К. Козлова. Монополии и их буржуазные критики (Об экономическом взглядах идеологов немонополистической буржуазии США). 228 стр. Цена 86 к.

В. Комаров. Человек и тайны вселенной. 208 стр. Цена 32 к.

Н. Лифанов. Ливан. 191 стр. Цена 31 к.

С. Пегов, С. Алитовский. Ирак. 175 стр. Цена 22 к.

Социология в СССР. В двух томах. Т. I. 532 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ЭКОНОМИКА»

Л. Лидумс. Математические способы исчисления дифференциального дохода в колхозах. 96 стр. Цена 28 к.

А. Матлин. Технический прогресс и цены машин. 88 стр. Цена 29 к.

В. Михеева. Математические методы в планировании размещения сельскохозяйственного производства. 103 стр. Цена 32 к.

О. Тарновский. Прибыль и ее использование. Опыт европейских стран социализма. 100 стр. Цена 24 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Альфонсов. Слова и краски. Очерки из истории творческих связей поэтов и художников. 244 стр. Цена 58 к.

Воспоминания о Демьяне Бедном. 432 стр. Цена 91 к.

Всегда по эту сторону. Воспоминания о Викторе Кине. 280 стр. Цена 48 к.

М. Дарбинян. Киоск. Повести. Перевод с армянского. 224 стр. Цена 42 к.

С. Дорошенко. Лев Толстой — воин и патриот. Военная служба и военная деятельность. 316 стр. Цена 83 к.

М. Ибрагим. Пою Аракс. Стихи. Перевод с азербайджанского. 68 стр. Цена 16 к.

И. Исанов. Неистребимый майор. Невыдуманные рассказы. 240 стр. Цена 30 к.

В. Комов. Честность на балансе. Юмор и сатира. 136 стр. Цена 25 к.

С. Кудаш. В моем саду. Стихи. Перевод с башкирского. 104 стр. Цена 17 к.

В. Луговской. Стихотворения и поэмы. 640 стр. («Библиотека поэта»). Цена 2 р. 2 к.

В. Майков. Избранные произведения. 504 стр. («Библиотека поэта»). Цена 98 к.

М. Панич. Полчаса рано утром. 296 стр. Цена 39 к.

В. Петонов. Цветет багульник. Стихи. Перевод с бурятского. 103 стр. Цена 17 к.

Ю. Помозов. Хождение за три моря. 380 стр. Цена 48 к.

М. Ракитный. Полесские были. Рассказы. Перевод с белорусского. 384 стр. Цена 51 к.

В. Синорский. Грань. Стихотворения. 240 стр. Цена 26 к.

Р. Стиенский. Очаг свободы. Исторический роман. Книга третья. Янко Любобратич. 336 стр. Цена 74 к.

Л. Татаренко. Атомнум. Стихи. 104 стр. Цена 17 к.

Ф. Халваши. Медвежий капкан. Повесть и рассказы. Перевод с грузинского. 228 стр. Цена 38 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Бредель. Внуки. Роман. Перевод с немецкого. 552 стр. Цена 1 р. 65 к.

П. Вершигора. Люди с чистой совестью. Рейд за Днепр. **В. Овечкин.** С фронтовым приветом. 496 стр. («Великая Отечественная...»). Цена 1 р. 18 к.

Песни Джо Хилла. Перевод с английского. 96 стр. Цена 60 к.

И. Снегова. Лирика. 248 стр. Цена 44 к.

Советские писатели. Автобиографии. Том 3. 760 стр. Цена 2 р. 25 к.

И. Френкель. Я найду тебя. Стихи и песни. 228 стр. Цена 47 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. И. Ленин.** О молодежи. 432 стр. Цена 73 к.
Л. И. Брежнев. Речь на XV съезде ВЛКСМ. Приветствие ЦК КПСС XV съезду ВЛКСМ. 24 стр. Цена 3 к.
Ю. Абдашев. Летяющие острова. Повести и рассказы. 208 стр. Цена 49 к.
С. Антонов. Разорванный рубль. Повести. 224 стр. Цена 53 к.
В. Даненбург. Путь без привала. Роман. 416 стр. Цена 54 к.
А. Дрилинг. Избранная лирика. Переводы с литовского. 32 стр. Цена 7 к.
Б. Дубровин. Океанская земля. Лирика. 192 стр. Цена 28 к.
Л. Копелев. Брехт. 432 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 93 к.
А. Миронов. Ледовая Одиссея (Записки челюскинца). Документальная повесть. 232 стр. Цена 54 к.
Е. Нилов. Воткин. 160 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 53 к.
Ю. Полухин. Вронеж с птицами. 224 стр. Цена 49 к.
И. Пташников. Лонва. Повесть. Перевод с белорусского. 272 стр. Цена 28 к.
М. Ребров, К. Телегин. За опасной чертой. Повесть. 144 стр. Цена 17 к.
С. Селезнев. Август удивительных открытий. Рассказы об электронике и автоматике. 336 стр. Цена 93 к.
Н. Томан. Незвестная земля. Повести. 240 стр. Цена 48 к.
В. Федосеев. Подсудимый невиновен. 288 стр. Цена 44 к.
М. Шаскольская. Жюлио-Кюри. 208 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 64 к.
П. Шубин. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

«НАУКА»

- Л. Алькаева.** Сюжеты и герои в турецком романе (конец XIX — начало XX века). 188 стр. Цена 65 к.
А. Анисимов. Духовная жизнь первобытного общества. 243 стр. Цена 78 к.
Археологические открытия 1965 года. Сборник статей. 198 стр. Цена 74 к.
Архив А. М. Горького. Т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. 384 стр. Цена 1 р. 92 к.
А. Бергер. Политическая мысль древнегреческой демократии. 359 стр. Цена 1 р. 72 к.
Города феодальной России. 562 стр. Цена 2 р. 43 к.
А. Григорьев. Антиимпериалистическая программа китайских буржуазных революционеров. 1895—1905. 104 стр. Цена 41 к.
900 героических дней. 424 стр. Цена 1 р. 96 к.
Изобретение радио. А. С. Попов. 284 стр. Цена 1 р. 26 к.
История и культура славянских народов. 240 стр. Цена 1 р. 14 к.

- Э. Кольман, О. Зих.** Занимательная логика. Перевод с чешского. 127 стр. Цена 20 к.
Культура древней Руси. Сборник статей, посвященный 40-летию научной деятельности Н. Н. Воронина. 327 стр. Цена 2 р. 20 к.
Б. Поршнев. Социальная психология и история. 213 стр. Цена 67 к.
В. Почтарев. Магнетизм Земли и космического пространства. 144 стр. Цена 24 к.
Проблемы демографической статистики. 351 стр. Цена 1 р. 20 к.
Проблемы советско-итальянской историографии. Материалы советско-итальянской конференции историков. 403 стр. Цена 1 р. 55 к.
Славянское Возрождение. Сборник статей и материалов. 250 стр. Цена 1 р. 10 к.
Словари, изданные в СССР. Библиографический указатель. 1918—1962. 232 стр. Цена 1 р. 29 к.
Б. Ставский. Между Памиром и Каспием (Средняя Азия в древности). 328 стр. Цена 90 к.
Н. Супруненко. Очерки по истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918—1920). 456 стр. Цена 1 р. 27 к.
Д. Узнадзе. Психологические исследования. 451 стр. Цена 1 р. 97 к.
Н. Чегодарь. Кобаяси Такидзи. Жизнь и творчество. 100 стр. Цена 32 к.
М. Шеер. Путешествие по арабским странам. В долине Нила. Перевод с немецкого. 280 стр. Цена 75 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- М. Бломквист.** Выгодное дело. 104 стр. Цена 7 к.
Е. Винокуров. Поэзия и мысль. 88 стр. Цена 10 к.
М. Ганина. Рассказы. 128 стр. Цена 15 к.
А. Гилязов. Три аршина земли. Повесть. 96 стр. Цена 19 к.
В. Гнеушев, А. Попутко. Тайна Марухского ледника. Повесть. 360 стр. Цена 1 р. 2 к.
В. Грачев. Дни тревожной юности. Роман. 248 стр. Цена 55 к.
А. Даржаа. Удаль молодецкая. Повесть. Перевод с тувинского. 128 стр. Цена 34 к.
И. Дворецкий. Источник. Повесть. 96 стр. Цена 12 к.
День первый, день последний. Рассказы и очерки. 312 стр. Цена 94 к.
Ф. Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла. Рассказы. 136 стр. Цена 17 к.
С. Маршак. Разноцветная книга. 16 стр. Цена 9 к.
Н. Михайлов. С планетой вместе. Очерки. 336 стр. Цена 2 р. 8 к.
Новое в планировании сельскохозяйственного производства. 104 стр. Цена 10 к.
Л. Славин. Рассказы. 112 стр. Цена 14 к.
А. Файзи. Тукай. Роман. Перевод с татарского. 344 стр. Цена 1 р. 3 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), Б. Г. Закс (ответственный секретарь), А. И. Кондратович (зам. главного редактора), В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 3/VI 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/VII 1966 г.
 А 10091. Формат бумаги 70 × 108^{1/16}, 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.) Тираж 140.800.
 Зак. 1864.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636